

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Американский претендент. Том Сойер за границей. Простофиля Вильсон

MARK TWAIN

THE AMERICAN CLAIMANT

1892

TOM SAWYER ABROAD

1894

PUDD'NHEAD WILSON

1894

Редактор переводов Т. А. Озерская

Художник Е. Ганнушкин

Американский претендент

Перевод Т. Кудрявцевой

О погоде в этой книге

В этой книге нет описаний погоды. Автор попытался обойтись без оных. В художественной литературе это первая попытка такого рода, и из нее может ничего не выйти, но некоему смельчаку — в данном случае автору настоящей книги — она показалась соблазнительной. Немало найдется читателей, которые рады были бы залпом проглотить какую-нибудь повесть, но не смогли этого сделать по причине длинейших описаний погоды. Да и автору ничто так не мешает, как необходимость через каждые несколько страниц отходить от сюжета, изоцряясь в описаниях погоды. Таким образом, ясно, что назойливые рассуждения о погоде докучают равно и автору и читателю. Правда, погода необходима для рассказа о человеческих переживаниях. С этим нельзя не согласиться. Но надо найти ей такое место, где бы она никому не мешала, где бы она не прерывала нити повествования. При этом описание ее должно быть возможно более добротным, а не каким-нибудь невежественным, убогим, любительским. Погоду тоже надо уметь описывать, и человеку, не набившему себе на этом руку, не создать ничего путного. Данный автор способен изобразить лишь несколько заурядных разновидностей погоды, да и то не очень хорошо. А потому он счел наиболее разумным заимствовать необходимую погоду у высокоопытных и признанных мастеров своего дела, — указывая, конечно, откуда это взято. Описания погоды помещены в конце книги, где она никому не мешает. (См. [Приложение](#), стр. 216.) Читателя просят время от времени заглядывать туда и по мере развития сюжета наслаждаться соответствующими отрывками.

Пояснение

Полковник Малберри Селлерс, которого мы вновь выводим на страницах этой книги, уже появлялся перед читателем много лет тому назад как Эскол Селлерс в первом издании романа, носящем название «Позолоченный век»; как Бирайя Селлерс — в последующих изданиях указанного произведения и, наконец, как Малберри Селлерс, персонаж пьесы, поставленной некоторое время спустя Джоном Т. Раймондом.

Имя Эскол пришлось заменить Бирайей в угоду некоему Эсколу Селлерсу, — он вынырнул откуда-то из необъятных неразведанных пространств, заявил о своей претензии, пригрозив передать дело в суд, и, как только его ублажили, исчез и больше не появлялся. В пьесе пришлось отказаться от имени Бирайя из-за другого представителя племени тезок, и решено было назвать героя — Малберри, в надежде, что истцы к этому времени притомятся и уже не станут затевать никаких преследований. Имя это спокойно существует на подмостках и поныне, а потому мы решили попытаться счастья еще раз, тем более что теперь мы находимся в относительной безопасности, под защитой Закона о давности.

МАРК ТВЕН

Хартфорд, 1892 год.

Глава I

Несказанно прекрасное утро в сельской Англии. Перед нами на живописном холме возвышается величественная громада — увитые плющом стены и башни Чолмонделейского замка, внушительного памятника старины и свидетеля великолепия средневековых баронов. Это одна из резиденций графа Россмора, кавалера орденов Подвязки, Бани, святого Михаила и проч., и проч., и проч., и проч., и проч., обладателя двадцати двух тысяч акров английской земли, а также владельца одного из лондонских приходов с двумя тысячами домов, которые он сдает в аренду, что приносит ему ежегодно двести тысяч фунтов дохода и позволяет влачить весьма приятное существование. Праотцем и основателем этого гордого древнего рода был Вильгельм Завоеватель собственной персоной; имя матери не значится в анналах истории, поскольку она была личностью весьма незаметной и лишь эпизодической — вроде, например, дочери дубильщика кожи из Фалеза.

В это ясное ветреное утро в малой столовой замка находились два человека и хладные останки недоеденного завтрака. Одним из сотрапезников был старый лорд, высокий, прямой, широкоплечий, седовласый и суровый; в каждой черточке его лица, в каждой позе, в каждом жесте чувствуется волевая натура, и в свои семьдесят лет он выглядит не хуже, чем многие в пятьдесят. Другим был его единственный сын и наследник, молодой человек с мечтательным взором; на вид ему лет двадцать шесть, а на самом деле скоро будет тридцать. Прямота, добродушие, честность, искренность, простота, скромность — таковы основные качества его натуры, что сразу бросается в глаза, а потому, облаченный во внушительные доспехи своего полного имени, он кажется чем-то вроде овцы в панцире, ибо полное его имя и звание: его сиятельство Кэркадбрайт Ллановер Марджорибэнкс Селлерс, виконт Беркли из Чолмонделейского замка, в Уорикшире. (А произносится это: К'кабрай Глановер Маршбэнкс Селлерс, вайкаунт Беркли из Чолмндского замка, Уоркшр.) Он стоит у большого окна, всем своим видом выказывая почтительное внимание к словам отца и равно почтительное несогласие с его взглядами и суждениями. Папаша во время беседы расхаживает по комнате и, судя по всему, пребывает в великом гневе, достигшем почти тропического накала.

— Я знаю, Беркли, что, при всей вашей мягкости, если уж вы примете решение, которого, по-вашему, требуют честь и справедливость, то никакие доводы и аргументы (на данное время, во всяком случае) не способны вас остановить. Да и не только доводы, но и насмешки, уговоры, мольбы, приказания. Мне же кажется...

Отец, если вы посмотрите на это без предубеждения, спокойно, то несомненно согласитесь, что мое желание поступить так, а не иначе, отнюдь не является опрометчивым, необдуманым или своенравным и объясняется весьма вескими соображениями. Не я создал в Америке этого претендента на графство Россмор; я не гонялся за ним, не искал его, не навязывал его вам. Он сам выискался, сам вошел в нашу жизнь...

— И превратил ее в ад, целых десять лет досажая мне своими скучнейшими письмами, своими бесконечными рассуждениями, целыми акрами утомительнейших доказательств...

— ...которых вы никогда не читаете и никогда не согласитесь прочесть. А ведь, по всей справедливости, вы обязаны его выслушать. Либо он докажет свое законное право называться графом — и тогда ясно, как нам надлежит себя вести, либо нет — и тогда тоже все будет ясно. Я прочел приводимые им доказательства, милорд. Я их выучил наизусть, терпеливо и внимательно в них разобрался. Цепь родства нигде не нарушена, нет ни одного недостающего звена. Я уверен, что настоящий граф — он.

— А я, значит, узурпатор, безвестный нищий, бродяга! Подумайте, что вы говорите, сэр!

— Отец, а *если* он все-таки настоящий граф — и это будет доказано, — неужели вы согласитесь, сможете согласиться, хотя бы день, хотя бы час, хотя бы минуту пользоваться его титулами и его собственностью?

— Вы говорите глупости... глупости... чистейшую ерунду! Теперь выслушайте меня. Я сделаю вам одно признание, — назовем это так, если вам угодно. Я не читал доводов нашего претендента потому, что в этом нет надобности, — я ознакомился с ними еще в ту пору, когда были живы его отец и мой, сорок лет тому назад. Предки этого малого в той или иной степени оповещали моих предков о своих претензиях на протяжении добрых полутора лет. Что же произошло на самом деле? Законный наследник действительно уехал в Америку в ту пору, когда туда отбыл наследник Фейрфаксов, — или примерно в одно с ним время, — поселился где-то в глуши Виргинии, женился и принялся плодить дикарей, из которых и образовалось племя претендентов. Он ни слова не писал домой; его сочли умершим; младший брат без особого шума вступил во владение титулом и всем прочим. Американец вскоре скончался, и его старший отпрыск незамедлительно заявил о своей претензии, изложив ее в письме — письмо это существует и поныне, — но умер, прежде чем дядюшка, владевший имуществом, выбрал время — или, может быть, почувствовал желание — ответить ему. Но вот подрос сынок этого старшего отпрыска — для чего, как вы понимаете, потребовалось некоторое время, — и теперь уже *он* стал одолевать своих английских родственников письмами и приводить доказательства своих прав. Так оно и шло из поколения в поколение, вплоть до нынешнего идиота. Все они были один беднее другого: никто не смог даже оплатить проезд в Англию и затеять здесь судебное дело. Фейрфаксы — те сохранили свои титулы и по сей день, хоть и живут в Мэриленде, а их друг лишился всего по собственному легкомыслию. Надеюсь, вам теперь ясно, что эти факты приводят нас вот к какому выводу: с этической точки зрения американский бродяга *действительно* является графом Россмором, а с точки зрения закона он имеет на это не больше прав, чем его пес. Ну как, вы удовлетворены?

Наступило молчание; затем сын взглянул на герб, вырезанный на массивной дубовой панели над камином, и сказал с оттенком сожаления:

— С тех пор как существует геральдика, девизом нашего дома было «*Suum cuique*» — «Каждому — свое». Теперь, после вашего откровенного признания, милорд, это звучит как насмешка. Если Саймон Лезерс...

— Слышать не желаю этого омерзительного имени! Десять лет оно оскверняет мой взор и мучает мой слух; оно преследует меня, как назойливый мотив: «Саймон Лезерс! Саймон Лезерс! Саймон Лезерс...» Я даже ходить стал в такт ему. А теперь, чтобы это имя уж на всю жизнь, навеки неизгладимо врезалось в мою душу, вы решили... решили... что вы решили сделать?

— Поехать к Саймону Лезерсу в Америку и поменяться с ним местами.

— Что?! И преподнести ему на блюдечке графский титул?

— Вот именно.

— Сдаться, даже не попытавшись опротестовать это фантастическое притязание в палате лордов?

— Да-да... — нерешительно и несколько смущенно ответил сын.

— Это такая нелепость, что, я думаю, вы сошли с ума, сын мой! Как видно, вы опять связались с этим ослом — этим радикалом, если угодно, хотя оба слова абсолютно равнозначны, — лордом Тэнзи Толмэк?

Сын ничего не ответил, и старый лорд продолжал:

— Значит, признаётесь. Водите дружбу с этим попугаем, этим позорищем своего рода и звания, который считает все наследственные права и привилегии узурпацией, всю знать шарлатанами, все аристократические институты мошенничеством, всякое общественное неравенство узаконенным преступлением и позором, а хлеб — лишь тогда честно заработанным, когда он добыт трудом собственных рук, — *трудом*, ха! — И старый аристократ отряхнул воображаемую трудовую грязь со своих белых рук. — Очевидно, и вы стали разделять эти взгляды? — презрительно добавил он.

Легкая краска, выступившая на щеках молодого человека, показала, что удар попал в цель и оказался болезненным. Но ответил он с достоинством:

— Да, я их разделяю. Я заявляю об этом без всякого стыда, — я его просто не чувствую. Теперь вам ясна причина, по которой я решил отказаться без всякой тяжбы от моих наследственных прав. Я хочу покончить с этим ложным существованием, с этим ложным положением, — а я считаю его ложным, — и начать жизнь заново, жизнь правильную, где все будет зависеть от моих человеческих качеств и где я либо преуспею без всякой помощи со стороны, только благодаря своим личным достоинствам, либо потерплю поражение. Я поеду в Америку, где все люди равны и где у всех равные возможности; я выживу или умру, пойду ко дну или выплыву, выиграю или проиграю — как обычный человек, и только так, не опираясь ни на какую мишуру или фикцию.

— Нет, вы только послушайте его! — Оба минутами друг на друга; затем старший с расстановкой произнес: — Со-вер-шенно о-бе-зу-мел, со-вер-шенно! — Помолчав еще немного, он добавил, словно вдруг увидел в просвете между тучами солнечный луч: — Во всяком случае, одно утешение у меня есть: Саймон Лезерс явится сюда, и я утоплю его в пруду, где поят лошадей. Этаким бедняга — всегда такой смиренный в своих письмах, такой жалкий, такой почтительный; а как преклоняется перед нашей родовитостью и высоким происхождением; как озабочен тем, чтобы расположить нас в свою пользу, как умиленно просит нас признать его своим родственником, человеком одной с нами священной крови, — и какой бедный, какой нуждающийся, какой сырой, разутый и раздетый, какой всеми презираемый, как смеются над ним всякие американские подонки из-за его дурацких претензий! Ох, этот вульгарный, пресмыкающийся, несносный нищий! И вы еще хотите, чтобы я читал его рабские тошнотворные письма!.. Ну, в чем дело?

Последнее относилось к роскошному ливрейному лакею, облаченному в огненный плюшевый камзол с великим множеством пуговиц и короткие штаны до колен; все это венчала сверкающая серебристым инеем, тщательно напояженная голова; он стоял, сдвинув пятки, и, почтительно согнув верхнюю половину туловища, протягивал поднос.

— Письма, милорд.

Милорд взял письма, и слуга исчез.

— Ну и конечно — письмо из Америки. И безусловно от этого бродяги. Ого, да тут произошла перемена! Это уже не конверт из оберточной бумаги, стащенной из какой-нибудь лавки, с фирменной маркой в уголке. Ничего похожего: конверт вполне пристойный... с весьма широкой траурной каймой... очевидно, по случаю смерти его кошки: он ведь холостяк, кто же еще у него мог умереть... Запечатано красным сургучом, целая бляха величиной с полкроны... и... и... печать с нашим гербом! Девиз и все прочее! И адрес

написан уже не прежними неумелыми каракулями: он, видно, обзавелся секретарем, и секретарем с размашистым уверенным почерком. М-да, дела там явно изменились к лучшему, и с нашим кротким бродягой произошла настоящая метаморфоза.

— Прошу вас, милорд, прочтите, пожалуйста.

— Да, на сей раз я прочту. Ради усопшей кошки.

*«Шестнадцатая ул. 14.042, Вашингтон. 2 мая,
Милорд!*

Мне выпала на долю печальная обязанность оповестить Вас о том, что глава нашего именитого рода, высокочтимый, благороднейший и могущественнейший Саймон Лезерс, лорд Росмор, скончался («Наконец-то преставился! Вот это приятное известие, сын мой!») в своей резиденции близ деревни Даффиз-Корнерс, что находится в великом и древнем штате Арканзас. Вместе с ним погиб его брат-близнец: их обоих придавило бревном при сооружении коптильни, и все из-за недосмотра окружающих, явившегося следствием излишней самоуверенности и веселого настроения, вызванного злоупотреблением прокисшим сусликом... («Да здравствует суслик, что бы это ни означало, — а, Беркли?!») Произошло это пять дней тому назад, и не было поблизости ни одного отпрыска нашего древнего рода, чтобы закрыть глаза усопшему и предать его тело земле со всеми почестями, каких заслуживает его прославленное в истории имя и высокое положение; по правде говоря, он и по сей день лежит на льду вместе со своим братом — о чем позаботились друзья, собрав необходимые для этого средства. Но я немедленно приму меры, чтобы отправить Вам парохомом их благородные останки («Великий боже!») для погребения с надлежащим ритуалом и торжественностью в семейном склепе или мавзолее нашего рода. А пока я вывешу два траурных герба на фронтоне моего дома, и Вы, разумеется, сделаете то же самое на Ваших многочисленных владениях.

Кроме того, я вынужден поставить Вас в известность, что в результате этого грустного события я являюсь единственным наследником покойного, вступаю в права и владение всеми его титулами, правами, землями и имуществом и — как мне это ни прискорбно — вынужден буду в ближайшее время потребовать через палату лордов возвращения мне всех высоких званий и всей собственности, которыми незаконно владеет сейчас Ваша светлость.

Заверяя Вас в моем глубоком уважении и самых теплых родственных чувствах, остаюсь

Вашей светлости покорнейший слуга

Малберри Селлерс, граф Росмор».

— По-трясающе! Вот это любопытная личность! Нет, вы только посмотрите, Беркли, какая милая наглость! Это... это... Нет, это просто грандиозно, это величественно!

— Да, этот не слишком раболепствует.

— Раболепствует?! Да он понятия не имеет, что это слово значит. Он, видите ли, вывесит траурные гербы! В память об этом жалком попрошайке и том, втором типе — его братце. Он, видите ли, пришлет мне останки! Покойный претендент был идиот, ну а этот — просто маньяк! А имечко-то! *Малберри Селлерс!* Хоть на музыку клади! Саймон Лезерс — Малберри Селлерс, Малберри Селлерс — Саймон Лезерс. Точно плохо смазанная машина. Саймон Лезерс — Малберри Сел... Вы уходите?

— С вашего разрешения, отец.

После ухода сына старый граф некоторое время постоял в задумчивости. Он думал:

«Беркли — славный, милый мальчик. Пусть следует своим путем: сколько бы я ни возражал, это все равно ни к чему не приведет, только будет хуже. Ни мои доводы, ни уговоры тетки не повлияли на него, — посмотрим, не поможет ли Америка. Посмотрим, не вернут ли на путь истинный эти равные для всех возможности и тяжелая жизнь заблудшего молодого английского лорда. Он хочет отказаться от своего графского титула и стать обычным человеком. Ну что ж!»

Глава II

Полковник Малберри Селлерс, — было это за несколько дней до того, как он написал письмо лорду Россмору, — сидел у себя в «библиотеке», которая одновременно служила ему «гостиной», а также была «картинной галереей» и — в довершение ко всему — «рабочей мастерской». Он называл ее то так, то этак — в зависимости от того, что требовалось в данном случае и при данных обстоятельствах. Сейчас он трудился над какой-то сложной механической игрушкой и, казалось, был всецело поглощен своей работой. Голова его поседела, но во всем прочем он остался таким же молодым, живым, энергичным, мечтательным и предприимчивым, как и в былые дни. Его любящая жена, верная спутница его жизни, сидела рядом, держа на коленях дремлющую кошку; она умиротворенно вязала и думала о чем-то своем. Комната была большая, светлая и производила впечатление уютной, как-то по-домашнему обжитой, хотя обставлена она была скромно и довольно скудно, а безделушки и всякие вещицы, которыми принято украшать парадные покои, не поражали ни количеством, ни ценностью. Зато в ней стояли живые цветы, и в самой атмосфере ее чувствовалось что-то неуловимое, не поддающееся определению, но указывающее на присутствие в доме человека с хорошим вкусом и умелыми руками.

Даже ужасающие цветные олеографии, развешанные по стенам, не удручали взор; они казались неотъемлемой принадлежностью этой комнаты, ее украшением — если угодно, тем, что больше всего привлекало в ней, ибо тот, кому случилось увидеть хоть одну из них, уже не мог оторвать от нее глаз и обречен был страдать до самой смерти, — вы, конечно, видели такие картины. Одни из этих кошмаров изображали пейзажи, другие именовались морем, третьи были, видимо, портретами, а все вместе представляли собой преступление против искусства. На портретах, впрочем, можно было узнать видных американцев, ныне усопших; однако благодаря подписям, сделанным чьей-то смелой рукой, все они фигурировали здесь в качестве «графов Россморов». Самое последнее приобретение вышло из мастерской художника в качестве Эндрю Джексона, здесь же оно по мере сил и возможности выполняло роль «Саймона Лезерса, лорда Россмора, нынешнего графа». На одной стене висела старая дешевая карта железных дорог Уорикшира. С некоторых пор она стала именоваться: «Поместья Россморов». На противоположной стене висела другая карта — самое внушительное украшение комнаты и первое, что бросалось гостю в глаза, — хотя бы по причине ее больших размеров. Когда-то она называлась просто «Сибирь», а сейчас перед этим словом стояло «Будущая». Были на ней и другие добавления, внесенные красными чернилами: на обширных просторах края, в местах, где и по сей день нет ни городов, ни жителей, стояло множество кружочков, обозначающих города с большим населением. Один из них, с населением в 1 500 000 человек, назывался «Свободноорловскозалинский»; был тут и более крупный город, расположенный в центре края и обозначенный «Столица», — назывался он «Освобожденоиванович».

«Замок» — полковник только так именовал свой дом — представлял собой невероятно старое и ветхое двухэтажное строение, правда довольно просторное; некогда оно было покрашено, но уже забыло когда. Стояло оно на самом краю Вашингтона, еще не вполне застроенном, и в свое время, очевидно, было чьей-то загородной виллой. Дом окружал запущенный двор, обнесенный забором, который не мешало бы кое-где подпереть; в заборе имелась калитка, никогда не открывавшаяся. У входной двери висело несколько скромных жестяных дощечек. На самом большом из них значилось: «Полк. Малберри Селлерс, адвокат и посредник по претензиям». Ознакомившись же с остальными, вы узнавали, что полковник является, кроме того, еще и материализатором, гипнотизером, целителем душевных болезней и так далее. Словом, это был человек, который всегда находил для себя дело.

Седовласый негр, в очках и выдавших виды белых нитяных перчатках, вошел в комнату, чинно поклонился и объявил:

— Мистер Вашингтон Хокинс, сэр.

— Великий боже! Проси же его, Дэниел, проси.

Полковник и его жена тотчас вскочили на ноги и в следующее мгновение уже радостно пожимали руки дородному мужчине с грустной физиономией, которому, судя по общему виду, можно было дать лет пятьдесят, а судя по волосам — все сто.

— Вашингтон, милый мой мальчик, до чего же я рад тебя видеть! Садись же, садись и располагайся как дома. Ну-с... выглядишь ты совсем молодцом, немножко постарел — самую малость... Но ты бы его признала, встретив на улице, — правда, Полли?

— Ну конечно, Берри! Он ведь точная копия своего покойного батюшки: тот бы именно так и выглядел, доживи он до этих лет. Да откуда же вы к нам заявились? Позвольте, сколько времени прошло с тех пор...

— По-моему, добрых пятнадцать лет, миссис Селлерс.

— Ну и ну, до чего же быстро время идет. Да-а... сколько с той поры воды утекло...

Она вдруг умолкла, губы ее задрожали; мужчины почтительно дожидались, пока она совладеет с собой и сможет договорить, но, чувствуя, что из ее усилий ничего не выходит, миссис Селлерс отвернулась и, приложив передник к глазам, тихонько выскользнула из комнаты.

— При виде тебя она вспомнила о детях, бедняжка: они ведь у нас все умерли, кроме младшей. Но прочь печаль — для нее сейчас не время: веселиться так веселиться, плясать так плясать — вот мой девиз, а есть ли основание для веселья и для плясок, нет ли — не важно. Чем чаще будешь себя пересиливать, тем бодрее будешь себя чувствовать, с каждым разом все бодрее, Вашингтон, — этому учит меня опыт, а я немало повидал на своем веку. Ну-с, в каких же краях провел ты все эти годы и откуда прибыл сейчас к нам?

— Думаю, что вы ни за что не догадаетесь, полковник. Из Становища Чероки.

— Господи помилуй!

— Совершенно серьезно.

— Не может быть... Ты в самом деле *живешь* там?

— Ну да, если можно так выразиться, хотя какая же это жизнь?! Жалкие лачуги, кролики, вареные бобы да лепешки... отчаяние, разбитые надежды, бедность во всех ее обличьях...

— И Луиза тоже с тобой?

— Да, и дети.

— Они и сейчас там?

— Да, у меня не было денег, чтобы привезти их с собой.

— Ага, понятно... Ты приехал... чтобы предъявить претензии правительству. Не волнуйся, пожалуйста, я займусь твоим делом.

— Но у меня нет никаких претензий к правительству.

— Нет? Значит, ты хочешь стать почтмейстером? Вот это правильно. Предоставь все мне. Я устрою.

— Но я и почтмейстером не собираюсь быть; опять не угадали.

— О господи! Вашингтон, да что ты таишься, почему не хочешь сказать мне, в чем дело? Неужели ты меня стесняешься и не доверяешь старому другу? Или, думаешь, я не способен хранить тай...

— Никакой тайны тут нет, просто вы не даете мне ска...

— Вот что, милый друг, я знаю род людской и знаю, что если человек является в Вашингтон — все равно откуда, хоть из рая, не говоря уже о Становище Чероки, — значит, ему что-то *нужно*. Я знаю также, что, как правило, он этого не получает; тогда он остается и пытается добиться чего-то другого — и тоже не получает; такая же участь постигает его следующую попытку, и следующую, и еще следующую. А он предпринимает все новые и новые, пока не опустится на самое дно и не станет таким нищим, что ему стыдно вернуться даже в Становище Чероки. Наконец сердце у него отказывает, добрые люди собирают деньги по подписке и хоронят его. Вот как оно бывает... Нет, ты не перебивай меня, я знаю, о чем говорю. Возьмем к примеру меня: был я счастлив и жил припеваючи на Дальнем Западе, не

так ли? Ты-то знаешь, что это так. Я был первым человеком в Хоукае, все с почтением взирали на меня, да я был чуть ли не хозяином, полноправным хозяином города, Вашингтон. И вдруг, изволите ли видеть: поезжай посланником к Сент-Джеймскому двору; губернатор и все прочие так настаивали, что я *вынужден* был согласиться, — ничего нельзя было поделаться. И вот прибыл я сюда. *На один день позже*, Вашингтон. Подумать только, от каких мелочей зависит порою ход мировой истории! Да, сэр, место оказалось занятым. Вот и остался я ни с чем, ничего не поделаешь. Пришлось пойти на уступки и согласиться поехать в Париж. Президент был весьма огорчен и все такое прочее, но *это* место, понимаешь ли, предназначено не для представителя Запада, — и я снова остался на мели. Делать нечего, пришлось еще поубавить спеси — в жизни каждого рано или поздно наступает такой день, Вашингтон, и в общем-то не так уж это и плохо; пришлось мне еще понизить свои требования и согласиться поехать в Константинополь. Заметь, Вашингтон, — а я говорю чистую правду, — через месяц я уже *просил*, чтобы меня послали в Китай; еще через месяц я *умолял*, чтобы меня отправили в Японию; через год я опустился так низко, так бесконечно низко, что со слезами на глазах и замиранием сердца вымаливал самую маленькую должность, какая только есть у правительства Соединенных Штатов: место сортировщика кремней в подвалах военного ведомства. И, клянусь богом, не получил его!

— Место сортировщика кремней?

— Да. Должность эта была учреждена в прошлом веке во время войны за независимость. Кремни для ружей в ту пору посылали в военные форты из столицы. Это и по сей день делается: хотя кремневое оружие давно вышло из употребления, а форты пришла в полную негодность, декрет-то ведь никто не отменял — о нем попросту, понимаешь ли, забыли, — а потому в места, где некогда стоял форт Тайкондирога и прочие, которых сейчас и в помине нет, по-прежнему посылают шесть кварт кремней в год.

— Вот ведь как странно может получиться, — помолчав немного, задумчиво промолвил Вашингтон, — метить на должность посланника в Англии с двадцатитысячным содержанием в год и не получить даже места сортировщика кремней для ружей с содержанием...

— Три доллара в неделю. Такова жизнь, Вашингтон! Люди стремятся к чему-то, борются — конец один: метил попасть во дворец, а утонул в сточной канаве.

Снова воцарилось молчание; оба задумались. Затем Вашингтон с живейшим сочувствием сказал:

— Итак, вы приехали сюда вопреки своей воле, из чувства патриотического долга, идя навстречу желаниям эгоистичных людей, и что получили в награду? Ничего.

— Ничего? — Полковник даже встал, чтобы лучше выразить всю безграничность своего удивления. — Ни-чего, Вашингтон? А скажи на милость, быть Постоянным Членом — и притом *единственным* Постоянным Членом! — Дипломатического Корпуса, аккредитованного при величайшей стране в мире, — это, по-твоему, ничего?

Теперь настала очередь Вашингтона удивляться. Он положительно онемел, однако его широко раскрытые глаза и почтительное восхищение, читавшееся на лице, были выразительнее любых слов. Это подействовало как бальзам на оскорбленное самолюбие полковника, и он с довольным и умиротворенным видом снова опустился в кресло. Затем, нагнувшись к собеседнику, он внушительно произнес:

— А чего же еще, по-твоему, следовало ждать человеку, прославившемуся биографией, не имеющей себе равных в мировой истории, — человеку, пользующемуся, так сказать, постоянной дипломатической неприкосновенностью, ибо пусть на короткое время, но благодаря своим петициям он был связан со всеми дипломатическими постами, какие имеются в распоряжении нашего правительства, начиная с чрезвычайного посла и полномочного министра при Сент-Джеймском дворе и кончая консулом на скалистом островке, в Зондском проливе, так называемом Острове Птичьего Помета, там и жалованье платят пометом, — только островок этот исчез вследствие вулканического извержения за день до того, как добрались до моей фамилии в списке претендентов на этот пост!

Естественно, что я мог рассчитывать на нечто равно великое, соответствующее масштабам моей уникальной и славной биографии, — и я это получил. Волею всего нашего общества, по требованию народа, — а это такой могучий рычаг, который опрокидывает все законы и декреты, и приговор его не подлежит обжалованию, — я был назначен Постоянным Членом Дипломатического Корпуса при республиканском правительстве Соединенных Штатов Америки, а в Корпусе этом представлены все многочисленные государства и цивилизации нашего земного шара. Меня тогда до самого дома провожали с факелами.

— Чудесно, полковник, просто чудесно:

— Это самый высокий официальный пост, какой существует на земле.

— Еще бы, и самый значительный.

Вот именно. Ты только подумай: нахмурюсь — и начинается война; улыбнусь — и сражающиеся народы складывают оружие.

— Это ужасно. Я имею в виду ответственность, конечно.

— Сущие пустяки. Ответственность никогда не была для меня бременем: я привык к ней, давно привык.

— Но работа — работа! Ведь вам, наверно, приходится присутствовать на всех заседаниях?

— Кому, мне? Да разве русский император присутствует на собраниях губернаторов своих провинций? Он сидит дома и изъясняет свою августейшую волю.

Вашингтон с минуту помолчал, затем глубокий вздох вырвался из его груди.

— А я-то так гордился еще час тому назад! Но каким жалким кажется мне мое маленькое назначение сейчас! Я ведь приехал в Вашингтон, полковник, как делегат конгресса от Становища Чероки!

— Дай мне твою руку, мой мальчик! Вот это новость! — вскочив на ноги, с превеликим энтузиазмом воскликнул полковник. — Поздравляю от всего сердца. Мои предсказания сбылись. Я всегда говорил, что в тебе что-то есть. Всегда говорил, что ты рожден для высокой миссии и добьешься своего. Вот спроси у Полли, говорил я это или нет?

Вашингтон был положительно ошеломлен столь бурным проявлением чувств.

— Но, полковник, это же такая малость. Становище Чероки — всего лишь узенькая пустынная, почти безлюдная полоска каменистой земли, затерянная среди бескрайних просторов обширного континента; представлять ее в конгрессе — все равно что представлять бильярдный стол, и притом никому не нужный.

— Тэ-тэ-тэ, это высокая и многообещающая должность, а каким влиянием она позволит тебе здесь пользоваться!

— Ну что вы, полковник! У меня ведь нет даже права голоса.

— Это все ерунда. Зато ты можешь произносить речи.

— Нет, не могу. Населения у нас всего двести...

— Ничего, ничего...

— Но они не имели права выбирать меня: мы ведь даже и не территория — никто не узаконивал нас в качестве таковой, и правительство официально понятия не имеет о нашем существовании.

— Не расстраивайся, пожалуйста, я это улажу. Мигом проведу через правительство, ты и глазом не успеешь моргнуть, как все будет оформлено.

— Правда, полковник? Это очень любезно с вашей стороны. Нет, вы все такой же золотой человек, старый преданный друг! — И слезы благодарности наполнили глаза Вашингтона.

— Можешь считать, что дело сделано, мой мальчик, можешь считать, что сделано! Давай руку. Да если два таких молодца, как мы с тобой, объединят свои усилия, дело у нас живо закипит!

Глава III

К этому времени миссис Селлерс успокоилась и, вернувшись к двум друзьям, принялась расспрашивать Хокинса о его жене, о детях, о том, сколько их у него, и так далее и тому подобное. В результате допроса выяснилась вся история успехов и злосключений этой семьи, а также ее передвижений по Дальнему Западу за последние пятнадцать лет. Тут к полковнику кто-то пришел с черного хода, и его вызвали из комнаты. Воспользовавшись тем, что он вышел, Хокинс поинтересовался, как обходилась с полковником жизнь последние пятнадцать лет.

— Да все так же — иначе и быть не могло: Малберри бы этого не допустил.

— Вполне вам верю, миссис Селлерс.

— Ну, да вы сами видите: ведь он нисколько не изменился, ни капельки — все тот же Малберри Селлерс.

— Это вполне очевидно.

— Все тот же старый мечтатель, великодушный, добрый фантазер, вечно на что-то надеющийся и ни в чем не знающий удачи, — таким он всегда был; а любят его так, точно он добился в жизни самых больших успехов.

— И всегда любили, да это и понятно: ведь он такой отзывчивый, так старается всем услужить! Его почему-то легко просить о помощи или об одолжении, — понимаете, с ним не стесняешься, и нет этого чувства «лучше б я не унижался», какое испытываешь, обращаясь к другим.

— Совершенно верно, и порой просто диву даешься, глядя на него: ведь сколько он вытерпел от тех самых людей, которым подставлял спину, помогая взобраться по общественной лестнице, а они потом давали ему пинка, когда он был им больше не нужен. Он, бывало, помучается: видно, больно ему, да и гордость его задета, потому что он и не вспоминает и не говорит об этом. Я уж думаю: теперь-то он получил хороший урок и будет впредь осторожнее. Где там! Недели через две все забыто, и любой ловкач, проходимец, о котором никто и не слышал-то никогда, может явиться к нему, прикинуться несчастным и с удобством расположиться в его любящем сердце.

— И как только у вас терпения хватает!

— Ну что вы, я к этому привыкла: уж лучше пусть будет таким, чем другим. Называя его неудачником, я только повторяю то, что говорят о нем люди, — я же никогда его таким не считала. Не знаю даже, хотела ли бы я, чтоб он был другим — совсем другим. Я и браню его и пилю, если угодно, но я, наверно, все равно бы так делала, даже если б он был другим, — такой уж у меня характер. Но я куда меньше пилю его и веду себя куда спокойнее, когда у него неудачи, чем когда их нет.

— Значит, у него не всегда бывают неудачи! — воскликнул Хокинс, повеселев.

— У него-то? Конечно не всегда. Случается и ему, как он говорит, «напасть на золотую жилу». Зато для меня тогда наступает самая волнующая и тревожная пора. Деньги так и летят: кто ни придет, никому нет отказу. Дом снизу доверху заполняют придурковатые и калеки, бродячие кошки и всякие несчастные, которые никому, кроме него, не нужны; а когда снова приходит бедность, тут уж мне, хочешь не хочешь, надо избавляться от них, чтоб не умереть с голоду, — это, конечно, огорчает Малберри, ну и меня тоже. Взять хотя бы наших стариков Дэниела и Дженни: в свое время — это было еще до войны, когда мы в очередной раз обанкротились, — шериф продал их на Юг; но лишь только был заключен мир, они притащились обратно — выжатые, как лимон, изможденные работой на хлопковых плантациях, беспомощные, до конца дней своих ни на что не годные. А нам тогда туго приходилось, ох, как туго — каждая крошка была на счету! И что бы вы думали: Малберри так гостеприимно распахнул перед ними дверь, так их встретил, точно это ангелы, услышав наши молитвы, спустились к нам с небес. Я отвела его в сторонку и говорю: «Малберри, не можем мы оставить их у себя: нам и самим есть нечего, а их мы и вовсе прокормить не в состоянии». Он посмотрел на меня этак огорченно и сказал: «Что ж, прикажешь прогнать их? А ведь они пришли ко мне с такою верой и надеждой, будто... будто... Знаешь, Полли,

должно быть когда-то давно я чем-то *купил* у них это доверие и как бы выдал им расписку, — а ведь доверие нельзя получить просто так, *задаром*. Ну разве я могу теперь отказаться от уплаты своего долга? Ты же видишь, какие они бедные, старые, одинокие и...» Тут уж мне стало до того стыдно, что я закрыла ему рот рукой и — откуда только взялось у меня мужество! — сказала тихо: «Мы оставим их, господь о нас позаботится». Он был очень доволен и уже хотел было пуститься в свои обычные рассуждения о том, какие нас ждут блага, но вовремя сдержался и сказал только: «Во всяком случае, я о вас позабочусь». Это было много-много лет тому назад. И, как видите, старики и по сей день с нами.

— Но разве они не помогают вам по дому?

— Боже мой! Конечно нет. Они безусловно что-то делали бы, бедняги, если б могли, и, возможно, они считают, будто действительно что-то делают. Но это им только так кажется. Дэниел открывает входную дверь и иногда ходит по поручениям; случается, кто-нибудь из них, а то и оба вместе берутся вытирать пыль в гостиной, но это значит только, что они хотят послушать, о чем мы говорим, и сами принять участие в разговоре. Ну, и по тем же причинам они, конечно, всегда тут как тут, стоит нам сесть за стол. А в результате нам приходится держать девушку-негритянку специально для ухода за ними еще взрослую негритянку, которая выполняет домашнюю работу и помогает обихаживать их.

— Что ж, они, по-моему, должны быть очень счастливы.

— Ничего подобного. Они без конца ссорятся — главным образом по поводу религии, потому что Дэниел баптист, а Дженни воинствующая методистка, и Дженни верит в провидение, а Дэниел нет: он считает себя вроде бы «свободомыслящим»; тем не менее они вместе поют гимны, когда-то слышанные на плантациях, без передыху мелют языком о том о сем, искренне привязаны друг к другу, обожают Малберри, ибо он терпеливо сносит все их капризы и благоглупости, так что в конечном счете они, пожалуй, счастливы. Ну а я... я привыкла и уже примирилась с этим. Вообще я могу к чему угодно привыкнуть с помощью Малберри, и ничто мне не страшно, пока он со мной.

— Что ж, пожелаем ему много лет здравствовать и будем надеяться, что он скоро опять «найдет золотую жилу».

— И опять наберет полный дом всяких сирых, хромых и слепых и превратит наше жилище в больницу? А ведь Малберри именно так и поступит. Сколько раз уже это было на моей памяти. Нет, Вашингтон, хватит: я хочу, чтобы он теперь и до конца жизни «находил золотые жилы» поскромнее.

— Словом, выпадут ли ему большие удачи, или малые, или вообще не выпадет никаких удач, будем надеяться, что у него никогда не переведутся друзья, в чем я не сомневаюсь, ибо пока вокруг есть люди, которые знают...

— Чтоб у него да перевелись друзья! — Миссис Селлерс с нескрываемой гордостью вскинула голову. — Помилуйте, Вашингтон, да нет такого более или менее стоящего человека, который не любил бы его! Скажу вам по секрету, мне иной раз прямо невмоготу с ними справиться: известно, что Малберри не умеет отказывать, вот они и норовят назначить его на какую-нибудь должность. А ведь не хуже меня знают, что его и близко нельзя подпускать к службе. Малберри Селлерс-на службе! Бог мой! Вы-то можете себе представить, что это будет. Да чтоб увидеть такой цирк, люди прибегут с другого конца света. Уж лучше было бы мне тогда обвенчаться с Ниагарским водопадом — и делу конец. — Миссис Селлерс задумалась и, возвращаясь к своей первоначальной мысли, повторила: — Друзья? Да ни у кого в жизни не было такого множества друзей — и *каких!* Грант, Шерман, Шеридан, Джонстон, Лонгстрит, Ли — сколько раз все они сиживали в том кресле, где сидите сейчас вы...

Хокинс вскочил и с почтительным изумлением воззрился на кресло, ужасаясь, что мог осквернить подобную святыню...

— *Такие* люди?! — воскликнул он.

— Ну да, разумеется, и не раз.

Вашингтон продолжал смотреть на кресло как зачарованный, не в силах оторвать от

него глаз, — впервые в жизни полоска высохшей прерии, заменявшая ему воображение, запылала, и огненный смерч пронесся по ней из конца в конец, взметая до самого неба языки пламени и дыма. Хокинс испытывал то же чувство, какое появляется у плохо разбирающегося в географии чужеземца, дремлющего в уголке вагона, когда его скучающий, безразличный взгляд вдруг видит в окне название некоей станции: «Стратфорд-он-Эйвон»! А миссис Селлерс тем временем невозмутимо продолжала:

— О, они обожают слушать его рассказы, особенно когда им становится уж слишком тяжело нести свое бремя и хочется передохнуть. Малберри, понимаете ли, действует на них как глоток воздуха, даже как весенний ветер, — освежающе, и у них появляется такое ощущение, точно они побывали в деревне. Сколько раз он вызывал смех у генерала Гранта, а это штука не легкая, уж можете мне поверить; а Шеридан — у того загораются глаза, и кажется, что он слушает не Малберри Селлерса, но гром пушек. Все дело, понимаете ли, в том, что наш Малберри держится самых широких взглядов и притом настолько лишен предрассудков, что может ладить с кем угодно и всюду будет к месту. Вот почему его все так любят, и популярность у него прямо скандальная. Пойдите в Белый Дом, когда президент устраивает свой большой прием. Если там присутствует Малберри, — бог ты мой! — в жизни не скажете, кто из них хозяин — президент или он.

— Да, человек он, конечно, удивительный... всегда был таким. А он верующий?

— До мозга костей! Он так много читает и размышляет о религии, как ни о чем другом, если не считать России и Сибири; и все подвергает доскональнейшему обсуждению, — вот уж кого не назовешь фанатиком.

— А какую же веру он исповедует?

— Он... — Миссис Селлерс осеклась и, подумав минуту-другую, простодушно ответила: — По-моему, на прошлой неделе он был магометанином или чем-то в этом роде.

Затем Вашингтон отправился в город за своим чемоданом, ибо гостеприимные Селлерсы и слышать не желали его отговорок: их дом должен быть его домом, пока будет длиться сессия конгресса. Не успел он уйти, как вернулся полковник и снова принялся трудиться над своей игрушкой. К приходу Вашингтона она уже была готова.

— Вот я и кончил, — сказал полковник.

— Что это, полковник?

— Да так, пустячок. Забава для детей.

Вашингтон с любопытством осмотрел вещицу.

— Похоже на головоломку.

— Ты угадал. Я назвал ее «Поросята в поле». Попробуй загнать их в хлев, — ну-ка, попытайся!

После многих тщетных попыток Вашингтону удалось наконец это сделать, и он обрадовался, как малое дитя.

— Удивительно хитрая игрушка, полковник! Как это остроумно придумано! И до чего увлекательно — я, например, мог бы заниматься этим весь день. Что вы намерены с ней делать?

— Да ничего. Взять патент и забыть о ней.

— Как можно! Это же деньги! И какие!

По лицу полковника пробежала пренебрежительная усмешка.

— Деньги? — повторил он. — Да, на мелкие расходы, тысяч двести, не больше.

У Вашингтона загорелись глаза.

— Двести тысяч долларов! И вы называете это деньгами на мелкие расходы?

Полковник встал, на цыпочках прошел через комнату, прикрыл неплотно закрытую дверь, так же, на цыпочках, вернулся на свое место и шепотом спросил:

— Ты умеешь хранить тайну?

Вашингтон утвердительно кивнул: он был слишком потрясен, чтобы говорить.

— Ты когда-нибудь слышал о материализации? Материализации душ, отошедших в иной мир?

Вашингтон слышал об этом.

— И, по всей вероятности, не поверил, — и был совершенно прав. То, что делают невежественные шарлатаны, недостойно ни внимания, ни уважения. Когда, скажем, в темной комнате с прикрученными лампами собирается кучка сентиментальных глупцов, чувствительных, слезливых, слабонервных, и вот из вечера в вечер один и тот же жирный дегенерат и жулик выступает перед публикой и по желанию превращается в чью-то бабушку, внучку или зятя, в Эндорскую волшебницу, в Джона Мильтона, в сиамских близнецов, в Петра Великого или еще в кого-нибудь — это ерунда и глупость. А вот когда человек сведущий призывает на помощь все силы *науки* — это другое дело, совсем другое! Дух, ответивший на *такой* зов, уже не может исчезнуть, он остается на земле. Коммерческая сторона дела тебе теперь ясна?

— Видите ли, я... по... по правде говоря, я не вполне понимаю. Вы хотите сказать, что поскольку духи навсегда переселяются на землю, а не появляются лишь на краткий миг, это позволяет брать дороже за вход на спектакль...

— Какой спектакль? Ты с ума сошел! Слушай и вбери в легкие побольше воздуха, чтобы не задохнуться. Через три дня я закончу разработку моего метода, и тогда у всех глаза на лоб полезут при виде тех чудес, которые я покажу. Вашингтон, через три дня — ну самое большее через десять — ты увидишь, как я буду вызывать мертвецов любого века и они будут вставать из могил и ходить по земле. Да что ходить! Они будут жить на ней и никогда больше не умрут. И ходить они будут на мускулистых, упругих ногах, совсем как в былые дни.

— Ну, знаете ли, полковник, от этого и в самом деле можно задохнуться.

— *Теперь-то* ты понимаешь, какими тут деньгами пахнет?

— Я... дело в том, что я... не вполне убежден, что понимаю.

— Великий боже! Ну так слушай. Я ведь буду монополистом, и все эти духи будут принадлежать мне, не так ли? Скажем, в городе Нью-Йорке имеется две тысячи полисменов. Каждый из них получает четыре доллара в день. Я поставлю на их место моих покойников и возьму за это в два раза дешевле.

— Потрясающе! Мне бы это никогда не пришло в голову. Че-ты-ре тысячи долларов в день! Вот теперь я начинаю понимать! А от покойников-полисменов будет толк?

— До сих-то пор ведь был!

— Ну, если так посмотреть на дело...

— Смотри как хочешь. Все равно вынужден будешь признать, что моих молодцов не сравнишь с живыми: ведь они не едят и не пьют, — им это просто не нужно; они не будут вымогать взятки в игорных притонах и тайных кабаках, не будут водить амуры с судомойками; а банды хулиганов, что подстерегают их в пустынных закоулках и, пользуясь случаем, трусливо убивают из пистолета или ударом ножа в спину, теперь будут получать от этого лишь минутное удовлетворение, ибо в худшем случае смогут испортить разве что форму.

— Конечно, полковник, если вы можете поставлять полисменов, тогда...

— Безусловно! Я могу поставлять товар любого ассортимента. Возьмем к примеру армию: сейчас в ней двадцать пять тысяч человек; содержание ее обходится в двадцать два миллиона в год. Я подниму из могил римлян, я возвращу к жизни греков; за десять миллионов в год я поставлю правительству десять тысяч ветеранов, отобранных из победоносных легионов всех веков, — солдат, которые год за годом будут преследовать индейцев на материализованных лошадях и не будут стоить правительству ни цента, ибо их не надо ни кормить, ни лечить. Сейчас Европа тратит на содержание своих армий два миллиарда в год, а я поставлю солдат для этих армий за один миллиард. Я извлеку из могил опытных государственных деятелей всех веков и народов и поставлю нашей стране такой конгресс, который будет хоть что-то смыслить, а этого ни разу не случалось со времени провозглашения Декларации независимости и не случится, пока этих живых мертвецов не заменят настоящими. Я посажу на троны Европы лучшие умы, правителей самых высоких

моральных качеств, каких только можно найти в королевских усыпальницах всех веков, — где, впрочем, в этом смысле не очень-то развернешься, — и распоряжусь по-честному всеми доходами и суммами, причитающимися по гражданскому листу, взяв себе лишь половину...

— Полковник, если даже половина из этого сбудется, то ведь вас ждут миллионы... миллионы!

— Миллиарды... не миллионы, а миллиарды, вот что ты должен сказать! Больше того: это вопрос такого близкого будущего, такого неотвратимого, такого реального, что, если бы ко мне явился сейчас человек и сказал: «Полковник, я немного поиздержался, не могли бы вы одолжить мне миллиарда два долларов на...» Войдите!

Последнее было произнесено в ответ на стук в дверь. В комнату влетел мужчина энергического вида, с пухлой папкой в руке, и, выхватив из нее листок, вручил полковнику.

— Семнадцатое и последнее предупреждение, — объявил он. — На сей раз вы их заплатите, эти три доллара и сорок центов, полковник Малберри Селлерс.

Полковник похлопал себя по одному карману, по другому, пощупал здесь, пощупал там.

— Куда это я девал бумажник? — бормотал он. — Минуточку... м-м-м... здесь его нет, тут тоже... О, я, должно быть, оставил его на кухне; сейчас сбегаю и...

— Нет, не сбегайте и вообще никуда с этого места не сойдете. А денежки на сей раз выложите все до последнего цента.

Вашингтон, по наивности, вызвался сбежать и поискать бумажник. Когда он вышел, полковник сказал:

— Дело в том, что мне снова придется просить вас об отсрочке, Саггс: видите ли, денежный перевод, которого я жду...

— К черту денежные переводы! Эта штука навязла у меня в зубах и больше вам не поможет. Раскошелитесь!

Полковник в отчаянии обозрел комнату. Внезапно лицо его просветлело, он подбежал к стене и принялся носовым платком смахивать пыль с одной особенно ужасной олеографии. Затем он осторожно снял ее с гвоздя и, отвернувшись, протянул прищельцу.

— Возьмите, — сказал он, — но только чтобы я не видел, как вы будете уносить ее. Это у меня последний подлинный Рембрандт, который...

— Хорошенький, черт побери, Рембрандт! Это же олеография!

— Не говорите так, умоляю вас. Это единственный действительно гениальный подлинник, единственный божественный образец творений той могучей школы живописи, что...

— Нечего сказать, живопись! Да такой омерзительнейшей вещи мне еще никогда...

Но полковник уже протягивал ему очередное страшилище, заботливо стирая с него по пути пыль.

— Возьмите и эту... жемчужину моей коллекции... единственного подлинного Фра-Анджелико, который...

— Какая-то размалеванная печенка! Ладно уж, давайте. Ну и денек же выдался сегодня! Люди подумают, что я ограбил негритянскую циркулю.

Дверь уже с грохотом захлопнулась за ним, а полковник все еще обеспокоенно кричал вслед:

— Только, пожалуйста, накройте их чем-нибудь, а то они испортятся от сырости. У Фра-Анджелико... такие нежные тона.

Но Саггса уже и след простыл.

Тут появился Вашингтон и сообщил, что обыскал всю кухню, — искал он, искала миссис Селлерс, искали слуги, но все напрасно. Вот если бы удалось ему обнаружить одного человека, добавил он, не надо было бы и бумажник этот разыскивать. Полковник сразу заинтересовался:

— Какого человека?

— Его зовут у нас Однорукий Пит, у нас — это в Становище Чероки. Он ограбил банк в

Талекуа.

— А в Талекуа есть банки?

— Да... один банк, во всяком случае, есть. И подозревают, что ограбил его Пит. Так или иначе, тот, кто это совершил, унес оттуда больше двадцати тысяч долларов. За его поимку обещано пять тысяч. Так вот, я, по-моему, видел этого человека, когда ехал на Восток.

— Не может быть!

— Во всяком случае, когда я сел в поезд, я увидел человека, который точно отвечал описанию, судя по одежде и по тому, что у него нет руки.

— Так почему же ты его не задержал и не потребовал награды?

— Не мог. Для этого нужен ордер на арест. Но я решил не упускать его из виду и сдать властям при первом удобном случае.

— Ну и что же?

— Ну а он ночью сошел где-то с поезда.

— Вот обида! Экая жалость!

— Собственно, жалеть-то особенно нечего.

— Почему?

— Да потому, что он приехал в Балтимору на одном поезде со мной, хотя я слишком поздно узнал об этом. Я увидел, как он направлялся к выходу с дорожной сумкой в руке, в ту минуту, когда поезд уже отошел от платформы.

— Не важно. Все равно мы его сцапаем. Давай разработаем план.

— Пошлем описание его примет в балтиморскую полицию?

— Что ты! Никоим образом. Или ты хочешь, чтобы балтиморская полиция получила награду?

— Что же нам в таком случае делать?

Полковник призадумался.

— Сейчас скажу... Пошлем в балтиморскую газету «Солнце» объявление. Скажем, такое: «Объявление. Дайте знать о себе, Пит...» Постой! Какой, ты сказал, у него нет руки?

— Правой.

— Прекрасно. Тогда вот так: «Объявление. Дайте знать о себе, Пит, нацарапайте несколько слов хоть левой рукой. Адрес: Вашингтон. Главный почтамт. До востребования Икс Игрек Зет. ВЫ ЗНАЕТЕ — КТО». Ну вот, так мы его и поймаем.

— Но ведь он же не будет знать, кто ему написал!

— Разумеется; но захочет узнать.

— Ну конечно, и как я сам об этом раньше не подумал! А вы вот додумались!

— Я просто знаю силу человеческого любопытства. Это большая сила, очень большая.

— Я сейчас же пойду к себе, напишу текст, вложу в конверт доллар и велю, чтобы в газете напечатали наше объявление столько раз, на сколько хватит этой суммы.

Глава IV

Томительный день подходил к концу. После обеда два друга весь вечер долго и взволнованно обсуждали, что делать с пятью тысячами долларов, которые они получают в награду, когда найдут Однорукого Пита, схватят его, докажут, что он и есть тот человек, которого разыскивают, отдадут преступника в руки властей и отправят его в Талекуа, на индейскую территорию. Но было столько головокружительнейших возможностей истратить деньги, что они никак не могли ни на чем остановиться, а если и останавливались, то ненадолго. Наконец миссис Селлерс все это страшно надоело, и она сказала:

— Ну какой смысл поджаривать на вертеле зайца, если он еще не пойман?

На этом обсуждение животрепещущей проблемы было временно приостановлено, и все пошли спать. На следующее утро полковник, вняв уговорам Хокинса, сделал чертеж и

описание своей игрушки и отправился получать на нее патент, а Хокинс взял самую игрушку и решил попытаться счастья: попробовать извлечь из нее коммерческую выгоду. Ему не пришлось далеко ходить. В старом деревянном сарайчике, где раньше, вероятно, обитало семейство какого-нибудь бедняка негра, он обнаружил деловитого янки, который занимался починкой дешевых стульев и прочей подержанной мебели. Этот человек без особого интереса осмотрел игрушку, попытался загнать поросят, увидел, что это не так просто, как ему казалось, — увлекся, и чем дальше, тем больше; наконец добился желанного результата и спросил:

— А патент у вас есть?

— Пока еще нет, но документы поданы куда следует.

— Значит, все в порядке. А сколько вы за нее хотите?

— За сколько она у вас пойдет?

— Что ж, думаю — центов за двадцать пять.

— А сколько вы дадите, если мы предоставим вам исключительное право продажи?

— Наличными я не мог бы дать и двадцати долларов. Но я скажу вам, что тут можно сделать. Я могу производить эти игрушки и продавать их, а вам буду платить пять центов со штуки.

Вашингтон вздохнул. Еще одна мечта рассыпалась в прах: денег тут особых ожидать не приходилось. А потому он сказал:

— Идет, берите за эту цену. Только давайте составим соответствующий документ.

Получив нужную бумагу, он двинулся в обратный путь и тотчас выбросил из головы все мысли об игрушке; а выбросил он их потому, что хотел как следует продумать, в какое дело выгоднее всего поместить свою половину вознаграждения, в том случае если им с полковником не удастся договориться о создании предприятия, равно приемлемого для обоих.

Не успел он вернуться домой, как пришел и Селлерс, сокрушенный горем и светящийся буйной радостью, — оба эти чувства проявлялись им с равной силой, то одновременно, то порознь. Горько всхлипывая, он бросился на шею к Хокинсу.

— О, рыдай со мною, друг мой, рыдай! — воскликнул он. — Оплакивай мой несчастный род! Смерть сразила моего последнего родственника, и я теперь — граф Россмор, можешь меня поздравить!

Тут он обернулся к жене, которая вошла посредине его тирады, обнял ее и сказал:

— Постарайтесь перенести наше горе, миледи, ради меня! Это должно было случиться, небеса так распорядились.

Но миссис Селлерс отлично перенесла скорбную весть.

— Не такая уж это большая потеря, — сказала она. — Саймон Лезерс был безобидным дурачком, никчемным и жалким, а его братец и вовсе гроша ломаного не стоил.

Тем временем законный наследник графского титула продолжал:

— Я слишком потрясен постигшим меня горем и в то же время радостью и не могу сейчас думать о делах, а потому я попрошу нашего доброго друга, при сем присутствующего, сообщить эту весть по телеграфу или по почте леди Гвендолен и наставить ее, как...

— Что это еще за леди Гвендолен?

— Наша бедная дочь, которая, увы...

— Салли Селлерс? Малберри Селлерс, да в своем ли ты уме?

— Вот что: прошу не забывать, кто мы теперь! Помните о своем достоинстве и считайтесь, пожалуйста, с моим. И было бы самым правильным, леди Россмор, не упоминать больше моей фамилии.

— Господи помилуй! Да как же я теперь должна называть тебя?

— Наедине вы еще можете, пожалуй, называть меня ласкательно и уменьшительно, но при посторонних ваше сиятельство должно величать меня *в* глаза — «милордом» или «вашим сиятельством», а *за* глаза — «Россмором», или «графом», или «его сиятельством»,

и...

Да ты с ума сошел! У меня язык не повернется так называть тебя, Берри!

— Ничего не поделаешь, любовь моя: мы обязаны жить сообразно нашему новому положению и по мере сил и возможностей подчиняться его требованиям.

— Ну ладно, будь по-твоему. Я никогда до сих пор не шла против твоих желаний, Мал... милорд, и сейчас поздно мне меняться, хоть, на мой взгляд, это самая дурацкая затея из всех, какими ты когда-либо забивал себе голову.

— Узнаю мою преданную женушку! Ну, поцелуемся и будем друзьями.

— Только вот... Гвендолен! Уж и не знаю, смогу ли я когда-нибудь примириться с этим именем. Да никто и не поймет, что это наша Салли Селлерс! Слишком оно длинное и не подходит ей — точно херувима вырядили в долгополое пальто; и потом какое-то оно не наше, иностранное.

— Ничего, зато ей оно придется по вкусу, миледи.

— Вот с этим не спорю. Она обожает всякую романтическую чепуху, — только не пойму, откуда это у нее. Во всяком случае, не от меня, это уж точно. Да мы еще отправили ее в этот дурацкий колледж — там ей совсем голову заморочили.

— Нет, ты только послушай ее, Хокинс! Колледж Ровена-Айвенго — самый избранный и аристократический пансион для девиц у нас в стране. Попасть туда почти невозможно: надо быть либо очень богатой и светской девушкой, либо доказать, что не менее четырех поколений твоих предков принадлежали к так называемой американской знати. А в каком здании они живут! Настоящий замок — с башнями, башенками и миниатюрным рвом; и все у них там названо по романам сэра Вальтера Скотта; даже самый воздух, кажется, пропитан королевским величием и благородством. У всех богатых девушек есть фаэтоны, и кучера в ливреях, и верховые лошади с грумами-англичанами — в цилиндрах, узких куртках со множеством пуговиц и в высоких сапогах; в руках они держат рукоятку от хлыста и следуют за своими барышнями на расстоянии шестидесяти трех футов...

— И ничему толковому, Вашингтон Хокинс, их там не учат, равным счетом ничему, — одной только фанаберии и кривлянью, которое уж никак не к лицу американским девушкам. Но ты пошли, пошли за леди Гвендолен: ведь дворянские правила, насколько мне известно, требуют, чтоб она явилась домой, надела траур и взаперти оплакивала этих арканзасских олухов, которых она лишилась.

— Дорогая моя! Олухов?! Помните: *noblesse oblige!*¹

— Да уж ладно, ладно тебе! Говори со мной на том языке, какому тебя с детства учили, Росс... ведь других ты не знаешь, и уж очень у тебя коряво получается. И не смотри на меня вытаращив глаза — подумаешь, ну оговорилась я, какое же в этом преступление? Нельзя в одну секунду забыть то, к чему привык всю жизнь. Ну ладно уж: Россмор... теперь успокойся и займись Гвендолен. Так вы ей напишете, Вашингтон, или пошлете телеграмму?

— Он пошлет телеграмму, дорогая.

— Я так и думала, — пробормотала миледи, покидая комнату. — Хочет, чтобы все видели, как она адресована. Совсем заморочит голову ребенку. Телеграмма, конечно, до нее дойдет, потому что если там и есть еще какие-нибудь Селлерсы, они ведь не смогут принять ее на свой счет. Ну а наша, разумеется, станет ее всем показывать и уж натешится вдоволь... Что ж, может ей все это и простительно. Ведь она такая бедная, а вокруг все такие богатые, и она немало настрадалась от чванства этих девиц с ливрейными лакеями, так что ей, конечно, захочется поквитаться с ними.

Дядюшку Дэниела послали отправить телеграмму, ибо хоть в углу гостиной и висел предмет, похожий на телефон, Вашингтон, несмотря на все старания, таки не смог вызвать станцию. Полковник пробурчал что-то насчет того, что «эта штука *вечно* выходит из строя, когда она особенно срочно нужна», но не пояснил при этом главного: одной из причин

¹ Происхождение обязывает (*франц.*).

такого поведения телефона являлось то, что это была всего лишь игрушка и аппарат никуда не был подключен. Тем не менее полковник частенько пользовался им при гостях и делал вид, будто выслушивает какие-то важные сообщения. Итак, друзья заказали бумагу с траурной каймой и черный сургуч и затем отправились на покой.

На следующий день, пока Хокинс по просьбе хозяина драпировал черным крепом портрет Эндрю Джексона, новоявленный граф сообщил о постигшем семью несчастье узурпатору в Англию; текст этого послания нам уже известен. Кроме того, он дал письменное указание местным властям деревеньки Даффиз-Корнерс в штате Арканзас, чтобы покойные близнецы были набальзамированы каким-нибудь знатоком своего дела из Сент-Луиса и незамедлительно отправлены узурпатору с приложением счета. Затем он нарисовал герб и девиз Россморов на большом листе оберточной бумаги и вместе с Хокинсом отнес его хокинсовскому знакомцу — янки, занимающемуся починкой мебели, который уже через час изготовил из них два сногшибательных траурных герба; наши друзья принесли их домой и прибили гвоздями к фасаду. Сделано это было с целью привлечь всеобщее внимание, каковая цель и была достигнута, так как это был квартал, населенный преимущественно праздными, вечно слоняющимися без дела неграми, а потом здесь полно было оборванных детишек и сонных псов, которых не могло не привлечь подобное зрелище и которые день за днем с неослабевающим интересом взирали на него.

В вечерней газете среди прочих светских новостей новоявленный граф обнаружил — без всякого, впрочем, удивления — следующую заметку, которую он вырезал и припрятал понадежнее:

«Вследствие понесенной утраты наш уважаемый согражданин полковник Малберри Селлерс, Постоянный Член Дипломатического Корпуса без определенного поста, стал законным наследником титула знаменитых графов Россморов, обладателей третьего по значению графства Великобритании, и в ближайшее время намерен через палату лордов добиться признания своих законных прав на титул и имущество, находящиеся ныне в руках узурпатора. Впредь до окончания траура вечерние приемы, обычно устраиваемые по четвергам в Россморовских Башнях, отменяются».

Леди Россмор в связи с этим подумала:

«Приемы! Тот, кто не знает толком моего Малберри, может счесть его заурядным, но на мой взгляд — это самый необыкновенный человек на свете. Уж такого мастера на всякие чудеса и выдумки, наверно, нигде не сыщешь. Ну кому, например, могло прийти в голову назвать эту жалкую крысиную нору Россморовскими Башнями? А у него это вышло так естественно, точно иначе и быть не может. Великое все-таки счастье иметь такую фантазию — тогда человек всегда будет доволен жизнью, как бы она ни складывалась. Дядюшка Дэйв Хопкинс любил говорить: «Будь я Жаном Кальвином, я б всю жизнь промучился: все бы думал, куда я после смерти уйду; а вот будь я Малберри Селлерсом, меня бы этот вопрос нисколько не волновал».

А новоявленный граф подумал:

«Россморовские Башни — прелестное название, прелестное! Жаль, что оно не пришло мне в голову раньше, до того как я написал узурпатору. Но я еще отправлю ему эту пилюльку, когда получу от него ответ».

Глава V

Никакого ответа на телеграмму не последовало, и дочь не объявилась. Однако никто не проявлял по этому поводу ни удивления, ни тревоги, — вернее, никто, кроме Вашингтона. После трех дней ожидания он спросил у леди Россмор, что, по ее мнению, могло случиться.

— Да ничего особенного, — спокойно ответила она, — никогда нельзя предугадать, что

может взбрести ей в голову. Она ведь настоящая Селлерс, до кончиков ногтей, — во всяком случае, в некоторых своих повадках; а ни один Селлерс не может сказать заранее, что он намеревается делать, потому что и сам этого не знает. *С ней*, конечно, ничего не случилось, и *о ней* беспокоиться нечего. В свое время она придет или напишет, но как она поступит, никто заранее не может предугадать.

Оказалось, что она предпочла написать. Письмо вручили в ту самую минуту, когда происходил этот разговор, и мать приняла его без всякого трепета, или лихорадочной поспешности, или каких-либо иных проявлений волнения, обычных в тех случаях, когда люди получают долгожданный ответ на срочную телеграмму. Она спокойно и тщательно протерла очки, продолжая любезно беседовать с Вашингтоном, затем вскрыла письмо и прочитала вслух:

«Донжон Кенильворт, зал Красной Перчатки, колледж Ровена-Айвенго.

Четверг

Дорогая, бесценная моя мамочка, леди Россмор! Ты и представить себе не можешь, до чего я счастлива! Ты же знаешь, как они всегда задирали носы и издевались над нашим претендентством, а я, в свою очередь, сколько могла задирала нос и издевалась над ними. Они говорили, что иметь права на некий призрачный титул — это, мол, конечно, замечательно и прекрасно, но когда тебя отделяют от этого титула два или три претендента, это — фи-фи! Ну а я в ответ говорила, что, моя, когда человек не может доказать, что его предки от четвертого колена принадлежали к американской знати во вкусе Мак-Аллистеров, ведущей начало от голландских уличных торговцев соленой треской, — это еще куда ни шло, а вот когда он вынужден признаваться в таком происхождении — это уж бр-р-р! Так вот, ваша телеграмма была подобна циклону! Посыльный, донельзя взволнованный, ворвался прямо в наш большой аудиенц-зал Роб-Роя и громко возгласил: «Телеграмма для леди Гвендолен Селлерс!» Ты бы видела, как все эти жеманные болтушки, эти зазнайки аристократишки вдруг умолкли и окаменели. Я, конечно, сидела одна в своем уголке, как и пристало Золушке. Взяв телеграмму, я прочитала ее и попыталась упасть в обморок — да и упала бы, если б была хоть немножко подготовлена к такому известию, но ты же знаешь, что оно застало меня врасплох; впрочем, я не так уж скверно вышла из положения: приложила платок к глазам и, задыхаясь от рыданий, бросилась к себе в комнату, предусмотрительно обронив по пути телеграмму. При этом я на секунду сдвинула платок и краешком глаза успела заметить, как они всей оравой кинулись к телеграмме; тогда я, громко всхлипывая, побежала дальше, хотя самой хотелось петь от счастья.

Вскоре вереницей потянулись визитеры с соболезнаваниями; мне пришлось принять предложение мисс Августы Темплтон-Эшмор-Гамильтон и воспользоваться ее комнатой, ибо у меня, кроме кошки, могут поместиться самое большее три человека. С тех пор я и принимаю там соболезнавания, с трудом отбиваясь от великого множества новоявленных подруг. И знаешь, кто первым явился к мне со слезами и изъявлениями сочувствия? Та самая дурочка Скимпертон, которая всегда так нагло задирала передо мной нос и утверждала, что она знатнее всех в колледже, потому что какой-то там ее предок из Мак-Аллистеров. А оснований задираться у нее было столько же, сколько у последней птицы в зоологическом саду, если б та вдруг вздумала заважничать по той причине, что происходит от птеродактиля.

Но самым большим моим торжеством было... догадайся! Только ты нипочем не догадаешься. А случилось вот что. Эта дурочка и еще две других без конца препирались и спорили, кто из них первый в колледже — по положению, конечно. Они чуть не уморили себя голодом, ибо каждая утверждала, что именно ей принадлежит право первой выходить из-за стола, а потому они никогда не досиживали до конца обеда, и, наскоро проглотив что-нибудь, каждая торопилась опередить остальных и пораньше выйти из столовой. Но вот, проведя весь первый день в слезах и одиночестве, — я, понимаешь ли, мастерила себе траурное платье, — я появилась за общим столом. И... что бы ты думала? Эти три надутые гусыни на сей раз просидели до конца обеда и с наслаждением насыщали свои изголодавшиеся утробы — они лакали и лакали, жевали и жевали, — словом, ели до тех пор,

пока у них соус чуть из глаз не брызнул. А все почему: оказывается, они смиренно дожидались, когда леди Гвендолен поднимется из-за стола. Вот!

Ах, до чего же мне сейчас хорошо, весело! И знаешь, ни у кого из них не достало жестокости спросить, откуда у меня это новое имя. Одни молчат из снисходительности, другие — по другой причине. И воздерживаются они от расспросов не по доброте душевной, а вследствие полученного урока. И урок этот преподала имя!

Так вот, как только я сведу все старые счета и вдоволь надышусь этим приятным фимиамом, от которого кружится голова, я уложу свои вещи и отправлюсь домой. Скажи папочке, что я его люблю не меньше, чем мое новое имя. Сильнее выразить свои чувства я не могу. Как это он удачно придумал! Впрочем, у него нередко бывают удачные мысли.

Остаюсь твоя любящая дочь

Гвендолен».

Хокинс потянулся за письмом и пробежал его глазами.

— Хороший почерк, — сказал он, — чувствуется, что писала рука уверенная и энергичная: буквы так и бегут по бумаге. Девочка очень неглупа, это ясно.

— О, Селлерсы все неглупы. Правда, их раз-два и обчелся. Но даже эти несчастные Лезерсы и те, наверно, оказались бы умнее, будь они Селлерсами, — я хочу сказать: чистокровными Селлерсами. У них, конечно, была частичка селлерсовской крови, и даже немалая, — но из фальшивого доллара ведь не сделаешь настоящего.

На седьмой день после отправки телеграммы Вашингтон, погруженный в свои думы, спустился к завтраку, где его ждал такой приятный сюрприз, что он сразу восторженно, словно под действием электрического тока. Перед ним было прелестнейшее юное создание, которое он когда-либо встречал. Создание это именовалось Салли Селлерс, леди Гвендолен; она приехала ночью. Вашингтону показалось, что он никогда еще не видел такого красивого и кокетливого платья, как на ней: это было изящнейшее произведение портновского искусства в смысле фасона, покроя и отделки, застежек, пуговиц и гармонии тонов. Платье было самое обыкновенное, утреннее, и притом не из дорогих, но Вашингтон решил про себя, что, как сказали бы у них в Становище Чероки, оно «сногшибательно». Теперь Вашингтон понял, почему у Селлерсов, несмотря на бедность и скудость обстановки, все чарует взор и радует душу, словно дом полон цветущих роз: вот она — волшебница, преобразующая все вокруг и одним своим присутствием придающая всему видимость совершенства.

— Моя дочь, майор Хокинс, приехала домой оплакивать своих родственников, она прилетела на скорбный зов тех, кто даровал ей жизнь, чтобы помочь им нести тяжкое бремя утраты. Она очень любила покойного графа, просто боготворила его, сэр, положительно боготворила...

— Что ты, папа, да я его в жизни не видела.

— Совершенно верно, я думал не о ней, я имел в виду... м-м... ее мать...

— Это я-то боготворила эту копченую селедку? Этого слюнтя безмозглого?..

— Ну, значит, я имел в виду себя! Бедная благородная душа, мы были неразлучными дру...

— Нет, вы только послушайте, что он говорит! Малберри Сел... Мал... Россмор! Вот уж имечко, язык сломаешь! Да ведь я своими ушами слышала — и не один, а тысячу раз, — как ты говорил, что если этот глупый баран...

— Я имел в виду... имел в виду... Почему я знаю, кого я имел в виду, да это и не важно; главное, что кто-то его боготворил, — я это помню так же хорошо, как если бы речь шла о вчерашнем дне...

— Папа, я хотела бы поздороваться с майором Хокинсом, и будем считать, что мы друг другу уже представлены, а постепенно познакомимся и ближе. Я отлично помню вас, майор Хокинс, хоть и была совсем крошкой, когда мы виделись в последний раз; и я, право, очень, очень рада видеть вас снова в кругу нашей семьи. — И, чуть не ослепив его улыбкой, Салли от души пожала ему руку и выразила надежду, что он не забыл ее.

Хокинс был сверх меры тронут ее безыскусной сердечностью и, желая отплатить ей

тем же, чуть было не заверил девушку, что тоже хорошо помнит ее, и даже лучше, чем собственных детей, — но ничем не мог подтвердить этого, а потому произнес лишь весьма запутанную тираду, которая, впрочем, вполне отвечала цели, ибо содержала в себе несколько неуклюжее и непреднамеренное признание в том, что необыкновенная красота Салли бесконечно потрясла его, что он совсем растерялся и уже не может с уверенностью сказать, помнит он ее или нет. Речь эта сразу расположила к нему девушку, да иначе и быть не могло.

По правде говоря, красота этого прелестнейшего создания была действительно исключительной, и потому вполне простительно на минуту остановить на ней внимание читателя. Дело не в том, что у нее были глаза, нос, рот, подбородок, волосы и уши, а в том, что получалось в целом. Подлинная красота зависит скорее от правильного расположения и разумного распределения достоинств, чем от их обилия. То же относится и к краскам. Если сочетание ярких красок, с вулканической щедростью расцветивающих пейзаж, делает его лишь еще прекраснее, то для девичьего лица оно может сыграть поистине роковую роль. Справедливость этого положения лишней раз подтверждалась на примере Гвендолен Селлерс.

Поскольку с приездом Гвендолен семья оказалась в полном сборе, решили объявить официальный траур: оплакивание усопших должно было начаться в шесть часов вечера (то есть вместе с началом обеда) и окончиться одновременно с ним.

— Это знатный древний род, майор, чрезвычайно древний, и представители его заслуживают почти таких же траурных почестей, как члены королевской, я бы сказал — даже императорской фамилии. М-м-м... леди Гвендолен!.. Ушла! Не важно. Я хотел, чтобы она принесла мне Книгу пэров; но ничего, я сам схожу за ней и покажу вам два-три места, чтобы вы могли представить себе, что такое наш род. Я просматривал Берка и обнаружил, что из шестидесяти четырех незаконнорожденных детей Вильгельма Завоева... Милочка, не будешь ли ты так любезна принести мне эту книгу? Она на бюро в нашем будуаре. Да, я был совершенно прав: по знатности впереди нас только Сент-Олбенсы, Буклей и Графтоны, а все остальное английское дворянство следует позади. Благодарю, миледи. Итак, обращаемся к Вильгельму Завоевателю, и что же мы видим?.. Письмо для Икс Игрек Зет? Великолепно... Когда ты его получил?

— Вчера вечером. Но я заснул раньше, чем вы вернулись, — вы очень поздно пришли. А сегодня, когда я спустился к завтраку, мисс Гвендолен... словом, при виде нее я позабыл обо всем на свете...

— Славная девочка, очень славная. Стоит взглянуть на ее походку, осанку, лицо — сразу видно благородство происхождения... Но что же написано в этом письме? Говори скорее, я так волнуюсь.

— Я еще не читал... м-м-м... Россм... мистер Россм... м-м-м...

— Милорд... зовите меня просто милорд. Так принято у англичан. Значит, я вскрываю конверт. Ну-с, что же нас ждет?

«ДЛЯ «ВЫ ЗНАЕТЕ — КТО».

По-моему, я вас знаю. Обождите десять дней. Буду в Вашингтоне.

Оба разом приуныли. Некоторое время царило угрюмое молчание, затем тот, что помоложе, со вздохом сказал:

— Но мы же не можем целых десять дней сидеть без денег.

— Разумеется, нет! И о чем только думает этот малый? В финансовом отношении мы на полной мели.

— Если б можно было как-то ему объяснить, что в силу сложившихся обстоятельств время для нас имеет первостепенное значение...

— Да, да, вот именно... и если бы он мог приехать не откладывая, немедленно, это бы нас очень выручило, и мы бы... мы бы...

— Мы бы... мы...

— Словом, мы были бы ему весьма признательны...

— Совершенно верно... и были бы счастливы отплатить услугой за услугу.

— Конечно... Вот на этом-то мы его и поймаем. Короче говоря, если он человек, если у него еще сохранились человеческие чувства, такие, скажем, как отзывчивость и тому подобное, он будет здесь через двадцать четыре часа. Давай перо и бумагу, и не медля — за дело!

Общими усилиями они составили двадцать два разных объявления, но ни одно не было признано удовлетворительным. И главным затруднением была срочность вызова. Тут два друга немало поломали себе голову: если очень упираться на это обстоятельство, Пит может заподозрить что-то неладное; если же составить объявление так, чтобы оно не вызывало подозрений, текст получался серый и бессмысленный. В конце концов полковник не выдержал и отказался от дальнейших попыток.

— Мой литературный опыт подсказывает мне, — заметил он, — что самое трудное — это скрыть свои намерения, когда ты действительно *стараешься* их скрыть. Если же ты берешься за перо с чистой совестью, не намереваясь ничего скрывать, то скорей всего напишешь такую книгу, что самый великий мудрец ее не поймет. Полистай книги — сам в этом убедишься.

Затем и Хокинс отказался от дальнейших попыток, и друзья решили, что надо собраться с силами и так или иначе переждать эти десять дней. Тут перед ними вдруг блеснул луч надежды: поскольку у них есть теперь на что рассчитывать, они, пожалуй, могут признаться денег под будущее вознаграждение, — во всяком случае, такую сумму, которая позволит им протянуть эти десять дней; тем временем полковник усовершенствует свой рецепт материализации, и тогда — навеки прощай бедность!

На следующий день, — а было это десятого мая, — в мире произошли, между прочим, два таких события: останки благородных арканзасских близнецов отбыли из Америки в Англию, в адрес лорда Россмора, а сын лорда Россмора — Кэркадбрайт Ллановер Марджори-бэнкс Селлерс, виконт Беркли отплыл из Ливерпуля в Америку, чтобы передать права на графский титул из рук в руки законному пэру Малберри Селлерсу, что проживает в Россморских Башнях, в Колумбийском округе Соединенных Штатов Америки.

Корабли с этими двумя солидными грузами встретятся и разойдутся посредине Атлантического океана пять дней спустя и даже не обменяются приветственными сигналами.

Глава VI

В положенное время близнецы прибыли на английскую землю и были доставлены своему знатному родственнику. Не будем даже пытаться описать ярость, которая обуяла почтенного джентльмена, — из этой попытки все равно ничего не выйдет. Однако когда гнев графа поутих и он вновь обрел способность рассуждать, он посмотрел на дело несколько иными глазами и решил, что у близнецов есть некоторое моральное право претендовать на его внимание, хоть и нет никаких законных прав, — все-таки они одной с ним крови, и неудобно отнестись к ним просто как к праху. Итак, он похоронил близнецов с положенными почестями и церемонией в усыпальнице чолмонделеевской церкви, рядом с их знатными родственниками, и даже сам возглавил траурную процессию. Но этим дело и ограничилось — гербов он не вывесил.

А тем временем наши друзья в Вашингтоне переживали бесконечно тягостные и томительные дни: они тщетно ждали ответа от Пита и на чем свет стоит кляли его гибельную для них медлительность. Тогда как Салли Селлерс, которая была столь же практична и демократична, сколь леди Гвендолен Селлерс была романтична и аристократична, вела необычайно увлекательную и деятельную жизнь, используя все возможности, какие предоставляло ей ее двоякое положение. Весь день напролет в уединении своей рабочей комнаты Салли Селлерс трудилась, зарабатывая на хлеб для семейства Селлерсов; весь вечер

леди Гвендолен Селлерс пеклась о поддержании достоинства Россморовского рода. Весь день она была практичной американкой, гордившейся плодами своей изобретательности и делами своих рук, равно как и материальными результатами, которые ей это приносило; зато весь вечер она отдыхала, переселившись в страну мечты, обильно населенную титулованными и коронованными тенями. Днем она жила в уродливом, непритязательном, ветхом домишке, — ничего другого про него не скажешь; а по вечерам эта лачуга превращалась в Россморовские Башни. В колледже, незаметно для себя, она обучилась одному полезному делу. Ее товарки обнаружили, что она сама придумывает себе фасоны платьев. С тех пор она ни минуты не знала покоя — да и не жалела об этом, ибо человеку доставляет величайшее удовольствие проявлять свой дар — особенно если он необычайный, а Салли Селлерс бесспорно обладала таким даром по части создания дамских туалетов. Не прошло и трех дней после ее возвращения в родной дом, как она уже нашла себе работу, и еще прежде, чем пресловутый Пит должен был пожаловать в Вашингтон, а близнецы обрели последний приют в английской земле, она уже была завалена заказами, — и отпала необходимость дальнейшего принесения фамильных олеографий в жертву долгам.

— Она у меня молодчина, — заметил Россмор майору, — вся в отца: и голова отлично работает, и руки, и никакого труда она не стыдится. А до чего же способная — за что ни возьмется, все у нее спорится! И всегда ей везет — понятия не имеет, что значит неудача. Словам, практична до мозга костей, как истинная американка, — это она впитала в себя вместе с воздухом; и в то же время аристократична до мозга костей, как истинная европейка, — это она унаследовала от наших благородных предков. Словом, точь-в-точь как я: настоящий Малберри Селлерс в смысле финансов и изобретательности. Но вот кончились дела — и что мы видим? Одежда та же, да, — а что кроется под ней? Россмор, английский пэр!

Два друга ежедневно ходили на Центральный почтамт. И долготерпение их наконец было вознаграждено. К вечеру 20 мая они получили письмо, адресованное Иксу Игреку Зету. На конверте стоял вашингтонский штемпель, но на самом письме даты не было. Оно гласило:

«Бочка для мусора позади фонарного столба в тупике Черной лошади. Если Вы играете честно, сядьте на нее завтра, 21-го, в 10.22 утра, не раньше и не позже, и ждите меня».

Друзья долго и сосредоточенно размышляли над этим письмом. Наконец граф сказал:

— Тебе не кажется, что он боится, как бы это не был шериф с ордером на арест?

— Почему вы так думаете, милорд?

— Потому что это не место для встречи. Неуютное и не располагающее к дружеской беседе. В то же время, если вы захотите узнать, кто восседает на указанной бочке, но не желаете подходить близко и показываться, вы можете остановиться на углу улицы, посмотреть издали и удовлетворить свое любопытство. Понятно?

— Да, теперь мне ясно, что он задумал. Такой уж он, видно, малый, что просто не может быть прямым и честным. Он ведет себя так, точно мы... Вот ведь незадача! Ну что ему стоило быть человеком и сказать нам, в какой гостинице он...

— Вот теперь ты говоришь дело! Ты попал в самую точку, Вашингтон! Именно это он и сообщил нам.

— Сообщил?

— Ну конечно, хоть вовсе и не собирался. Место, где он назначил нам свидание, — это уединенный тупичок, куда выходит одной своей стеной «Нью-Гэдсби». Там он и остановился.

— Почему вы так думаете?

— Да потому, что знаю. Он снимает там номер, который находится как раз напротив того самого фонарного столба. И вот завтра он будет уютненько сидеть у себя в комнате, в десять двадцать две посмотрит сквозь шелку в ставнях, увидит нас на бочке с мусором и

скажет себе: «Э-э, а ведь я видел одного из них в поезде», затем мигом упакует свои пожитки и уплывет на другой конец света — только его и видели.

У Хокинса в глазах потемнело от огорчения.

— О господи, значит все кончено, полковник: ведь именно так он и поступит!

— Ничего подобного!

— Как так? Почему?

— Да потому что *тебя* на бочке с мусором не будет, а буду только я. Ты же, как только увидишь, что он подошел ко мне и вступил в разговор, явишься с полисменом и ордером на арест в партикулярном платье, — в партикулярном платье будет, конечно, полисмен.

— Ну и голова у вас, полковник Селлерс! Я бы ни за что на свете до этого не додумался.

— Как не додумался бы ни один из графов Россморов, начиная с отпрыска Вильгельма Завоевателя и кончая графом Малберри; но сейчас, насколько тебе известно, такое время дня, когда люди трудятся, и граф во мне спит. Пойдем, я покажу тебе комнату, где живет интересующая нас личность.

Около девяти часов вечера они подошли к «Нью-Гэдсби» и прогулялись по тупику до фонарного столба.

— Вот, не угодно ли полюбоваться, — с победоносным видом объявил полковник и широким жестом указал на стену гостиницы. — Вот оно... Ну что я тебе говорил?

— Да, но... полковник, ведь здесь шесть этажей! Я не совсем понимаю, которое окно вы...

— Любое окно, любое. Дадим ему право выбора, — теперь, когда я знаю, где он, это безразлично. Пойди постой на углу, а я пока обследую гостиницу.

Граф побродил по вестибюлю, кишмя кишевшему людьми, а затем занял наблюдательную позицию неподалеку от лифта. Добрый час толпы народа спускались и поднимались в нем, но все были с полным набором конечностей; наконец наш наблюдатель обнаружил фигуру, удовлетворявшую нужным приметам, — он, правда, увидел ее уже сзади, ибо человек промчался мимо с такою стремительностью, что не было никакой возможности заглянуть ему в лицо. Однако полковник успел заметить ковбойскую шляпу, клетчатую куртку весьма ярких тонов и пустой рукав, пришпиленный к плечу. Миг — и лифт умчал это видение ввысь, а наш наблюдатель в радостном возбуждении побежал к своему соратнику.

— Мы его держим, майор, держим! Я видел его, видел как следует, и теперь, где бы и когда бы мы ни встретились, я тотчас узнаю его, если, конечно, он станет ко мне задом. Все в порядке. Пошли за ордером.

Ордер они получили после неизбежной в подобных случаях проволоочки и в половине двенадцатого, счастливые и довольные, вернулись домой. Спать наши друзья легли, полные самых радужных надежд на многообещающее завтра.

В том же лифте, вместе с интересовавшей Малберри Селлерса личностью, поднимался и его юный родственник, но Малберри не знал этого и, естественно, не заметил юноши. А то был виконт Беркли.

Глава VII

Поднявшись к себе в номер, лорд Беркли незамедлительно занялся приготовлениями к выполнению первой и последней, а также самой неотложной обязанности всех путешествующих англичан: занесению в дневник своих «впечатлений». Приготовление эти заключались в том, что он принялся переворачивать вверх дном весь чемодан в поисках пера. Рядом, на столике, лежало множество стальных перьев и стояла бутылочка с чернилами, но ведь он был англичанином. А англичане, хоть и изготавливают стальные перья для девятнадцати двадцатых населения земного шара, сами никогда ими не пользуются. Они

пользуются исключительно доисторическим орудием — гусиным пером. В конце концов милорд нашел не просто гусиное перо, но еще и самое лучшее из всех, какие он видел на протяжении последних лет; некоторое время он усердно трудился и закончил свои труды так:

«Но в одном я допустил огромную ошибку. Надо было сначала избавиться от титула и изменить имя, а уж потом пускаться в путь».

Он посидел, полюбовался своим пером и написал еще следующее:

«Все попытки смешаться с простыми людьми и навсегда стать одним из них ни к чему не приведут, если я не избавлюсь от этого груза, не исчезну и не появлюсь уже под надежным прикрытием нового имени. Удивительно и больно смотреть на то, как чуть ли не все американцы стремятся познакомиться с лордом и осыпают его знаками внимания. Правда, им недостает свойственного англичанам раболепия, но при наличии практики они его быстро приобретут. Молва о знатности моего рода таинственным образом опережает меня. Скажем, приезжаю я в гостиницу и вношу в книгу для постояльцев свою фамилию без всяких добавлений, полагая, что сумею сойти за безвестного, обычного путешественника, а портье уже кричит: «Очередной! Проводи его сиятельство на четвертый, номер восемьдесят два!», и у лифта уже дожидается репортер — для интервью, как они здесь это называют. Надо этому положить конец — и немедленно. Завтра утром прежде всего отыщу нашего претендента, выполню свою миссию, затем перееду в другое место и скроюсь под вымышленным именем от докучливых людей».

Оставив дневник на столе, чтобы он был под рукой, на случай если ночью вдруг появятся свежие впечатления, лорд Беркли лег в постель и тотчас заснул. Прошел час или два, и, с трудом пробуждаясь от крепкого сна, он вдруг услышал какие-то странные, все нараставшие звуки, — они упорно стучались в ворота его сознания, требуя, чтобы он впустил их; когда же он окончательно проснулся, в ушах его стоял такой гул, треск и грохот, точно где-то прорвало плотину и на него несется бешеный поток. Стучали и хлопали ставни, вылетали оконные рамы и звенело, разбиваясь на мелкие кусочки, стекло; кто-то топоча бежал по коридору; крики, мольбы, вопли отчаяния неслись изнутри здания, а снаружи раздавались хриплые слова команды и рев раздуваемого ветром победоносного пламени!

Бум, бум, бум — застучали в дверь; кто-то крикнул:

— Вставайте! Горим!

И крик, сопровождаемый стуком, послышался рядом. Лорд Беркли мигом спрыгнул с постели и со всею возможной скоростью ринулся в темноте, наполненной удушливым дымом, к комоду, но наскочил на стул, упал и потерял всякое представление о том, куда идти. В отчаянии он завертелся на коленях, шаря вокруг себя руками, ударился головой о стол и страшно обрадовался: теперь он сообразил, куда идти, ибо стол был у самой двери. Беркли схватил свое самое ценное достояние — дневник с впечатлениями об Америке — и выскочил из комнаты.

Он помчался по пустынному коридору на свет красного фонаря, — он знал, что такие фонари горят обычно у выхода на пожарную лестницу. Дверь соседнего с лестницей номера была открыта. В комнате ярко горел газ; на стуле лежала груда одежды. Беркли подбежал к окну, но не смог открыть его; тогда он выбил стекло стулом и выскочил на площадку пожарной лестницы; внизу, при красноватом отсвете пламени, он увидел толпу, состоявшую в основном из мужчин, но были там и женщины и дети. Как быть? Предстать перед всеми в ночной рубашке, точно привидение? Нет, эта часть дома еще не в огне, занялся только дальний угол, — надо этим воспользоваться и одеться. Так Беркли и поступил. Одежда, обнаруженная на стуле, оказалась ему почти впору, разве что чересчур пестра и, пожалуй, немного великовата. Как и шляпа, — он впервые видел такую, ибо Буфалло Билл в ту пору еще не приезжал в Англию. Беркли всунул одну руку в рукав куртки, но со вторым никак не

мог справиться: он был загнут и пришпилен к плечу. Решив не тратить времени и не возиться с ним, виконт ринулся вниз, успешно добрался до земли и был тотчас выведен полисменами за канат, ограждавший охваченный огнем отель.

Благодаря ковбойской шляпе и куртке, надетой лишь на одно плечо, он сразу стал предметом внимания, что было не очень приятно, хотя толпа и вела себя по отношению к нему необычайно уважительно, если не сказать почтительно. Тем не менее он уже придумал горестное восклицание, с которого начнется очередная запись в его дневнике: «Все тщетно: сколько ни переодевайся, американцы мигом распознают лорда и начинают взирать на тебя с трепетом, даже почти со страхом».

Но вот один из мальчишек, стоявших полукругом и, разинув рот, с восхищением глядевших на молодого виконта, отважился задать ему вопрос. Милорд ответил. Мальчишки изумленно переглянулись, а в толпе кто-то воскликнул:

— *Англичанин* — ковбой! Вот чудеса-то!

Виконт отметил про себя это восклицание, решив сохранить его в памяти для будущей записи в дневник: «Ковбой! Что бы это могло значить? Возможно...» Но тут он почувствовал, что надо бежать, не то его одолеют расспросами, а потому постарался побыстрее выбраться из толпы, отшпилил рукав куртки, надел ее как следует и отправился на поиски какого-нибудь незаметного и скромного пристанища. Вскоре он такое нашел, лег в постель и почти незамедлительно уснул.

Утром он осмотрел свой костюм. Выглядел он весьма необычно, но по крайней мере все вещи были новые и чистые. В карманах оказалось целое состояние. Во-первых, пять кредиток по сто долларов каждая. И во-вторых, почти пятьдесят долларов более мелкими купюрами и серебром. Пачка табаку. Молитвенник, который никак не желал открываться и при более тщательном исследовании оказался фляжкой, наполненной виски. Записная книжка без фамилии владельца. В разных местах ее — записи, нацарапанные неграмотными каракулями: даты и часы свиданий, ставки на скачках, проигранные и выигранные пари и прочее, а также какие-то странные многословные имена: «Шестипалый Джейк», «Тот, Кто Бойтся Своей Тени» и тому подобное. Ни писем, ни документов.

Молодой человек задумался: что делать дальше? Аккредитив его сторел; придется позаимствовать мелочь и серебро, обнаруженные в карманах, часть истратить на объявления с целью разыскать владельца, а на остальные жить, пока не найдется работа. Приняв такое решение, виконт попросил принести ему утреннюю газету и принялся читать про пожар. Самыми крупными буквами был набран заголовок, оповещавший о его собственной гибели! Большая часть отчета посвящалась описанию подробностей, как он, с присущим его сословию героизмом, спасал из огня женщин и детей, пока все пути к спасению не были для него отрезаны, — тогда на глазах у рыдающей внизу толпы он скрестил на груди руки и мужественно стал ждать приближения ненасытного врага: «...так стоял благородный наследник великого рода Россморов среди бушующего моря огня и взмывающих ввысь столбов дыма, пока огненный смерч не подкрался к нему и он не исчез навеки с глаз людских».

Это было так прекрасно и по-рыцарски благородно, что глаза молодого виконта увлажнились слезой. И он сказал себе: «Теперь для меня все ясно. Милорд Беркли — мертв; что ж, пусть так и будет. И умер он достойной смертью, — батюшка легче переживет утрату. И мне теперь вовсе не нужно идти к претенденту. Словом, все сложилось как нельзя лучше. Мне остается только придумать себе новое имя и, избавившись от всех помех, начать жизнь сначала. Сейчас я впервые глотнул подлинной свободы, — как освежил, взбодрил, вдохновил меня этот глоток! Наконец-то я стал человеком! Человеком на равных правах с моими ближними, человеком, всецело полагающимся на себя, и только на себя, — и либо я выплыву — и мир заговорит обо мне, либо погрузусь на дно — и поделом мне будет: значит, иного я не заслужил. Сегодня самый счастливый, самый замечательный день, какой когда-либо занимался на горизонте моей жизни!»

Глава VIII

— Господи помилуй, Хокинс!

Утренняя газета выпала из бессильно повисших рук полковника.

— Что случилось?

— Умер! Умер блестящий, молодой, талантливый, благороднейший представитель славного рода! Вознесся на небеса в пламени и сиянии непревзойденной славы!

— Кто же это?

— Мой драгоценный, мой бесценный юный родственник — Кэркадбрайт Ллановер Марджорибэнкс Селлерс, виконт Беркли, единственный сын и наследник узурпатора Россмора.

— Неправда!

— Правда, истинная правда!

— Когда же?

— Вчера вечером.

— Где?

— У нас в Вашингтоне, куда, как пишут в газетах, он прибыл вчера вечером из Англии.

— Не может быть!

— Сгорела гостиница.

— Какая гостиница?

— «Нью-Гэдсби»!

— О господи! Значит, мы потеряли обоих?

— Кого *обоих*?

— Ну и Однорукого Пита тоже.

— Тьфу ты незадача! Я и забыл про него! Будем надеяться, что он остался жив.

— Надеяться! Ну, знаете! Да мы просто *не можем* лишиться его. Легче нам потерять миллион виконтов, чем эту нашу единственную опору и поддержку.

Друзья тщательнейшим образом обследовали газету и к своему великому огорчению обнаружили, что однорукого человека видели в одном из коридоров гостиницы: он был в нижнем белье и, видимо, совсем потерял голову от страха; не желая никого слушать, он рвался к лестнице, где его ждала неминуемая смерть, которую, по мнению газеты, он, видимо, и нашел.

— Бедняга, — вздохнул Хокинс, — а ведь у него под боком были друзья! Вот если бы мы не ушли оттуда! Может быть, нам удалось бы его спасти.

Граф посмотрел на друга и спокойно сказал:

— То, что он умер, не имеет ни малейшего значения. Раньше мы не могли сказать наверное, поймает его или нет. А теперь он в наших руках.

— В наших руках? Каким образом?

— Я его материализую.

— Послушайте, Росмор, не надо... не надо со мной шутить. Неужели вы это серьезно? И убеждены, что у вас что-нибудь выйдет?

— Так же твердо, как в том, что ты сидишь сейчас напротив меня. Я это сделаю.

— Дайте мне вашу руку и разрешите от души пожать ее. Я погибал, а вы вдохнули в меня жизнь. Принимайтесь же за материализацию, принимайтесь немедленно.

— На это потребуется некоторое время, Хокинс; только не надо торопиться, ни в коем случае, — учитывая обстоятельства. К тому же у меня есть обязательства, которые надо выполнить в первую очередь. Этот несчастный молодой виконт...

— Да, конечно, какое непростительное бессердечие с моей стороны — ведь у вас в семье такое горе! Безусловно вы должны сначала материализовать его, — я это вполне понимаю.

— Я... я... м-м... я, собственно, не совсем это имел в виду, но... и о чем только я

думаю! Конечно, я должен материализовать его. Ох, Хокинс, эгоизм лежит в основе человеческой природы: я-то ведь думал только о том, что теперь, когда наследник узурпатора не стоит больше на моей дороге... Но ты, конечно, извинишь меня за эту минутную слабость и забудешь о ней.

И прошу тебя, никогда не вспоминай о том, что Малберри Селлерс однажды опустился до таких подлых мыслей. Я материализую его — клянусь честью, материализую! И сделал бы это даже в том случае, если бы па его месте была тысяча наследников, которые выстроились бы стеной отсюда до украденных владений Россморов и навсегда преградили бы к ним путь законному графу!

— Вот сейчас вы говорите как настоящий Селлерс, а до этого говорил кто-то другой, старина.

— Послушай, Хокинс, мальчик мой, вот что мне пришло в голову, я все забываю сказать тебе об этом: нам надо быть очень осторожными.

— О чем это вы?

— Мы должны молчать как рыбы по поводу этой материализации. Помни: ни слова никому, ни единого намека. Не говоря уже о том, как отнесутся к этому моя жена и дочь, — а они обе такие тонкие, такие чувствительные натуры! — негры, узнав об этом, не останутся у нас в доме ни минуты.

— Вы совершенно правы — не останутся. И хорошо, что вы меня предупредили, а то я не очень воздержан на язык и могу проболтаться.

Селлерс протянул руку и надавил на кнопку вделанного в стену звонка; обратил взор к двери и подождал; снова надавил на кнопку и снова подождал; и как раз когда Хокинс разразился восторженной речью на тему о том, что полковник-де самый передовой и самый современный человек из всех, с кем ему довелось встречаться: подумать только, не успеют изобрести какое-нибудь новшество, как он уже вводит его в обиход и всегда шагает в ногу с глашатаями великого дела цивилизации, — в эту самую минуту полковник перестал терзать звонок (от которого, кстати, и проволоки-то никуда не было протянуто) и позвонил во внушительных размеров обеденный колокол, стоявший на столе, заметив мимоходом, что вот испробовал эту новомодную штуку (сухую батарею) и вполне доволен: теперь все ясно.

— Пристал ко мне этот Грэхем Белл, — пояснил он, — испытайте да испытайте, говорит. Оказывается, достаточно мне опробовать его батарею, чтобы внушить публике доверие к ней и продемонстрировать, на что она годна. Но ведь я же говорил ему, что в теории сухая батарея — это чудо, никаких сомнений быть не может, а на *практике* — пшик! Ну и вот: результат ты сам видел. Прав я был? Что ты скажешь, Вашингтон Хокинс? Ты же видел, что я дважды нажимал на кнопку. Так прав я был или нет — вот в чем вопрос. Знал я, о чем говорю, или не знал?

— Вам известно, как я отношусь к вам, полковник Селлерс, и это мое отношение неизменно. По-моему, вы всегда знаете все обо всем. Если бы этот человек знал вас, как знаю я, он с самого начала прислушался бы к вашему мнению и махнул бы рукой на эту свою сухую батарею.

— Вы звонили, мистер Селлерс?

— Нет, мистер Селлерс не звонил.

— Значит, это вы звонили, мистер Вашингтон? Я ведь слышал, сэр.

— Нет, и мистер Вашингтон не звонил.

— Святители угодники! Кто же тогда звонил?

— Лорд Россмор звонил!

— Ну что за дурья голова! — воскликнул старик негр, всплеснув руками. — Опять я забыл это имя! Пойди сюда, Дженни... да поворачивайся поживее, голубка!

Прибыла Дженни.

— Ты послушай и сделай, что прикажет лорд. А я спущусь в погреб и поучу там это имя, пока не запомню.

— Это я-то? Да что я у тебя, образина, на побегушках, что ли? Звонили-то тебе!

— Это совсем не важно. Старый хозяин говорил мне, что, когда звонят...

— Убирайтесь оба и улаживайте ваши распри на кухне!

Голоса спорящих скоро затихли в отдалении.

— Вечная беда с этими старыми слугами, которые когда-то были твоими рабами и всю жизнь — друзьями, — заметил граф.

— Не только друзьями, но и членами семьи.

— Совершенно верно — членами семьи, да еще какими! А иной раз и хозяевами. Эти двое, к примеру, славные, любящие, честные, преданные люди, но ведь, черт подери, они делают что им вздумается, надо, не надо — влезает в разговор, — словом, самое правильное было бы прикончить их, вот что.

Полковник сказал это просто так, без всякой задней мысли, однако слова эти натолкнули его на некую идею, а с идеи, как известно, все и начинается.

— Я ведь хотел, Хокинс, пригласить сюда наше семейство и сообщить им печальную новость.

— Для этого нет нужды звать прислугу. Я сам схожу за ними.

Он ушел, а граф принялся обдумывать свою новую идею.

«Ну конечно же, — сказал он себе, — когда я буду уверен в том, что процесс материализации доведен мною до совершенства, я заставлю Хокинса убить их: тогда мне куда легче будет справляться с ними. Материализованного негра без особого труда можно загипнотизировать так, чтобы он молчал. Это состояние можно сделать постоянным, а можно и менять — по желанию: захочу — он будет *очень* молчалив, захочу — более разговорчив, более подвижен, более чувствителен. Словом, как захочу — так и будет. Первоклассная идея. Надо только придумать, как удобнее менять эти состояния, — с помощью винта, что ли?»

Тут в комнату вошли обе дамы в сопровождении Хокинса, а также обоих негров, которые явились без всякого зова и принялись усиленно подметать комнату и вытирать пыль: почувствовав, что предстоит что-то интересное, они никоим образом не желали этого упустить.

Селлерс с достоинством и соблюдением положенного ритуала сообщил печальную новость: сначала он осторожно предупредил дам, что их ждет тяжелый удар, особенно тяжелый потому, что сердца их еще кровоточат от такой же раны, еще скорбят по такой же утрате; затем взял газету и дрожащими губами, со слезами в голосе, прочел описание героической смерти их молодого родственника.

Последовал взрыв искреннего горя и сочувствия со стороны всех слушателей без исключения. Старшая из дам разрыдалась при мысли о том, как могла бы гордиться таким сыном мать великодушного молодого героя, будь она жива, и как безутешна была бы она в своей скорби; двое старых слуг разрыдались вслед за ней: они то всхлипывали, то, со свойственной их народу велеречивостью, принимались простодушно превозносить покойного и причитать по поводу его безвременной кончины. Гвендолен была растрогана, и романтическая струнка в ее душе зазвучала особенно сильно. Девушка сказала, что редко можно встретить такого истинно благородного, такого почти совершенного молодого человека, а поскольку он еще и знатен, то это и вовсе совершенство. Да ради такого человека она могла бы вынести что угодно, претерпеть любые страдания, даже пожертвовать жизнью. Как жаль, что ей не довелось его увидеть! Пусть бы они встретились ненадолго, даже на миг, — соприкосновение с такой благородной натурой оставило бы свой след в ее душе, навсегда исцелило бы ее от всех низменных мыслей и низменных побуждений.

— А тело-то его, Росмор, нашли? — спросила жена.

— Да... то есть нашли много тел. В том числе, очевидно, и его, поскольку ни один из трупов узнать нельзя.

— Что же ты намерен делать?

— Отправлюсь туда, опознаю его и отошлю несчастному отцу.

— Но, папа, разве ты когда-нибудь его видел?

— Нет, Гвендолен, а что?
— Как же ты его опознаешь?
— Я... Ну, ты же слышала, что трупы неузнаваемы. Я пошлю его отцу какой-нибудь из них — ведь другого-то выхода нет.

Гвендолен знала, что раз отец что-то решил, а тем более раз ему представляется возможность официально выступить с такой грустной миссией в качестве подлинного главы рода, — тут уж, сколько ни спорь, все равно ничего не изменишь. Итак, она не сказала больше ни слова, — до тех пор, пока отец не попросил ее принести корзинку.

— Корзинку, папа? Зачем?
— А вдруг от него остался только пепел?

Глава IX

Итак, граф с Вашингтоном отправились исполнять свою печальную миссию. По дороге между ними завязалась беседа.

— Ну конечно, вечная история!
— О чем это вы, полковник?
— Да в этой гостинице их опять было семь человек. Я имею в виду актрис. И, конечно, все погорели.

— Сгорели?
— Да нет, спаслись; сами-то они всегда спасаются, а вот драгоценности прихватить с собой ни у одной ума не хватает.

— Как странно!
— Странно?! Не странно, а необъяснимо. Жизнь, видно, ничему их не учит, а сами они только и могут, что зазубрить что-нибудь по книжке. Есть такие, которых прямо преследует рок. Например, эта Как-Ее-Там-Зовут, ну, та самая, что еще играет всякие эффектные роли с громом и молнией. У нее неслыханная популярность, она пользуется почти таким же успехом, как собачьи драки, — а все из-за того, что без конца горит во всяких гостиницах.

— Но это же не может создать ей репутацию великой актрисы!
— Конечно нет — зато ее фамилия то и дело попадается людям на глаза. И люди, увидав ее потом на афише, естественно, идут смотреть на актрису со знакомой фамилией, а почему она им знакома, они и сами не знают — забыли уже. Сначала это была никому не известная женщина, занимавшая самое скромное положение у подножья артистической лестницы, жалованья она получала тринадцать долларов в неделю и сама изготовляла себе турнюры.

— Турнюры?
— Ну да, это такое приспособление, которое женщины надевают на бедра, чтобы казаться пышнее и привлекательнее. Ну так вот, она погорела в одной гостинице: у нее погибло там на тридцать тысяч брильянтов...

У нее? А откуда у нее были брильянты?
— Кто ее знает. Наверно, надарили всякие щуплые молодые хлыщи и слюнявые старики из первых рядов. Во всех газетах только об этом и писали. Она потребовала, чтоб ей повысили жалованье, — ж добилась своего. Ну, потом она еще раз горела, и тогда у нее погибли уже все брильянты. Это ей дало такой толчок, что она сразу стала звездой.

— Ну, если слава ее держится только на пожарах в гостиницах, то я бы не сказал, что у нее прочная репутация.

— Вот тут ты ошибаешься. Про кого угодно можно так сказать, только не про нее. Потому что она счастливица, должно быть родилась в сорочке. Стоит какой-нибудь гостинице сгореть, как оказывается, что она жила там. Уж она своего не упустит! И если самой ее там не было, то брильянты были наверняка. Скажи после этого, что ей не везет.

— В жизни не слышал ничего подобного. Сколько же брильянтов она потеряла? Целые

квартиры, должно быть.

— Квартиры? Не квартиры, а бушели. Дело до того дошло, что для всех гостиниц она стала вроде бы пугалом. Ее просто не пускают никуда — боятся пожара. И потом, когда она там, страховка перестает действовать. Последнее время слава ее что-то пошла на убыль, но этот пожар живо поднимет ее акции. Она потеряла вчера брильянтов на шестьдесят тысяч долларов.

— По-моему, она идиотка. Если б у меня было на шестьдесят тысяч долларов брильянтов, я бы не стал держать их в гостинице.

— Я бы тоже, но ведь она актриса, а актрису ничему путному не научишь. Эта, например, горела уже тридцать пять раз. И если сегодня ночью в какой-нибудь из гостиниц Сан-Франциско начнется пожар, попомни мои слова: она и там понесет урон. Абсолютная идиотка! Говорят, у нее во всех гостиницах страны лежат брильянты.

Наконец наши друзья прибыли на место пожара; несчастный старый граф взглянул на открывшееся им скорбное зрелище и, потрясенный, отвернулся от трупов.

— Это правда, Хокинс, — сказал он, — отличить их друг от друга просто невозможно: ни одного из этих пятерых не могли бы признать даже ближайшие друзья. Ты уж выбери которого-нибудь сам, а я не могу.

— Которого же, по-вашему, лучше?..

— Да возьми любого. Мне все равно. Выбери который посимпатичнее.

Однако полицейские уверили графа, — а они узнали его, ибо все в Вашингтоне его знали, — что, учитывая обстоятельства, при которых были найдены эти трупы, ни один из них не может быть останками его благородного юного родственника. Полицейские указали то место, где, если верить газетам, он рухнул вниз и погиб в пламени; затем другое место — на большом расстоянии от первого, — где молодой человек мог задохнуться в дыму, если он не сумел выбраться из своей комнаты; и затем третье место — совсем уж в стороне, — где он мог найти свою смерть, если паче чаяния пытался выбраться из дома черным ходом. Старый полковник смахнул слезу и сказал Хокинсу:

— Оказывается, мои опасения были пророческими. Да, остался лишь пепел. Не будешь ли ты так любезен сходить к бакалейщику и купить еще две корзинки?

Они благоговейно взяли по корзинке пепла с каждого из этих трех мест, ставших для них теперь священными, и понесли домой; надо было решить, как лучше отправить их в Англию, а также соблюсти положенный обряд прощания с покойным — дань уважения, которую полковник считал совершенно необходимой, принимая во внимание знатность умершего.

Два друга поставили корзинки на стол в бывшей библиотеке, гостиной и мастерской, а ныне аудиенц-зале и отправились на чердак — посмотреть, не найдется ли там английского флага, совершенно необходимого, чтобы накрыть останки на время траурной церемонии. Тут вернулась домой леди Россмор и увидела корзинки, а одновременно с ними в поле ее зрения появилась и старуха Дженни.

— Ну, скажу я вам, дожили! — воскликнула, не выдержав, леди Россмор. — Что это на тебя нашло? Надо же поставить корзинки с золой на стол, да еще в гостиной!

— С золой? — И Дженни подошла поближе взглянуть на корзинки. А взглянув, в великом изумлении всплеснула руками. — О господи, в жизни такого не видывала!

— Разве это не твоих рук дело?

— Моих? Да ей же богу, в первый раз вижу их, миссис Полли! Это все Дэниел. Этот старый дурак совсем рехнулся!

Но оказалось, что и Дэниел, который немедленно был вызван на место происшествия, тоже ничего не знал.

— Тут и объяснения-то этому не придумаешь. Когда что обычное случается, еще можно сказать на кошку...

— О-о! — И леди Россмор содрогнулась до самого основания. — Я поняла. Отойдите от корзинок... Это он!

— Он, миледи?

— Да, молодой мистер Селлерс из Англии, который сгорел в гостинице.

Не успела она это вымолвить, как осталась наедине с пеплом. Тогда она бросилась на поиски Малберри Селлерса, решив воспрепятствовать его намерениям, каковы бы они ни были, «ибо, — сказала она себе, — когда он расчувствуется, то ничего уже не соображает; и дай ему волю, он такое натворит, что уму непостижимо». Она разыскала мужа. А он к этому времени разыскал флаг и как раз спускался с ним вниз. Услышав, что он намерен устроить «прощание с покойником, пригласив для этого правительство и публику», она поспешила расстроить его план.

— Твои намерения, как всегда, прекрасны, — сказала она, — ты хочешь почтить усопшего, и в этом, разумеется, нет ничего предосудительного, ибо он был твоим родственником; но ты избрал неправильный путь, — тебе самому это станет ясно, если ты хоть немного подумаешь. Представь себе, что люди стоят вокруг корзинки с пеплом, устремив на нее скорбный взор, какая уж тут торжественность — даже совсем наоборот, — спроси кого хочешь. Это я говорила про одну корзину, а с тремя будет в три раза хуже. Далее: раз торжественности не создашь с одним плакальщиком — не создашь ее и с целой процессией, а народу ведь наберется тысяч пять. По-моему, смешно это будет; уверена, что смешно. Нет, Малберри, нельзя устраивать прощание с покойным, когда у тебя лишь корзинки с золой. Откажись от этой мысли и придумай какой-нибудь другой способ почтить его память.

И полковник отказался от своей затеи, притом без всякого сопротивления, — ибо когда он как следует подумал, то признал, что его жена рассудила правильно. Он решил, что вполне достаточно, если они с Хокинсом вдвоем будут бодрствовать возле останков. Это тоже показалось его жене излишним, но она не стала возражать, ибо понимала, что муж от души хочет по-дружески почтить прах несчастного юноши, которого судьба забросила в далекую чужую страну, где никто, кроме них, не мог его приютить. Полковник накрыл корзинки флагом, обмотал дверную ручку черным крепом и с удовлетворением сказал:

— Ну вот, теперь он лежит со всем почетом, какой при сложившихся обстоятельствах мы можем ему оказать. Не хватает только одного — и тут мы отступим от принятого решения: надо всегда поступать так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Мы должны это для него сделать.

— Что, дорогой?

— Вывесить траурные гербы.

Жена считала, что фасад их дома и так уже достаточно разубран; мысль, что там появится еще одно оригинальное украшение, крайне огорчила ее: вот уж нехстати Малберри об этом вспомнил. И она нерешительно заметила:

— Но мне кажется, что вывешивать гербы разрешается только в честь *самых* ближайших родственников, которые...

— Вы правы, совершенно правы, миледи, абсолютно правы! Но кто же ближе родственников, силой захвативших твои права? Тут уж мы никак не можем уклониться: мы рабы аристократических традиций и должны подчиняться им.

Гербы были сделаны со щедрым размахом, каждый величиною с одеяло, и отличались не менее щедрым обилием красок, самых разных и самых ярких тонов, но они тешили дикарский вкус графа, а когда он увидел, что они закрыли собой весь фасад, то этот поклонник симметрии и законченности и вовсе возликовал.

Леди Россмор и ее дочь присоединились к бдению и просидели с джентльменами чуть ли не до полуночи, приняв деятельное участие в обсуждении того, как быть с останками дальше. Россмор считал, что их следует немедленно отослать на родину вместе с избранной для этого комиссией и соответствующими резолюциями. Но его жена не была уверена в том, что это правильный путь.

— Ты пошлешь все корзинки? — спросила она.

— Ну конечно все.

— Сразу?

— Ты хочешь сказать — отцу? Нет, ни в коем случае. Подумай, какой это будет для него удар! Нет, я буду посылать их по очереди: пусть узнает о своем несчастье постепенно.

— И ты считаешь это наилучшим способом, папа?

— Да, дочь моя. Пойми: ты молода и способна многое вынести, а он стар. Послать ему все сразу опасно: он может не вынести. Если же посылать корзинки постепенно, с разумным перерывом после каждой, то к прибытию последней он уже свыкнется со своим горем. И потом — послать их на трех кораблях куда безопаснее. Мало ли что может быть — и штормы и кораблекрушение.

— Не нравится мне эта идея, папа. Если б я была его отцом, мне было бы невыносимо тяжело получать своего сына вот так... так...

— По частям:, — подсказал Хокинс, гордясь тем, что смог прийти ей на выручку.

— Ну да, это ведь ужасно — получать своего сына в таком разобранном виде. Я бы, например, просто не выдержала ожидания очередной корзинки. Вы только подумайте, как это ужасно, когда человек знает, что ему предстоят похороны, а их все приходится откладывать, ждать, томиться...

— Да нет же, дитя мое, — успокоил ее граф, — ничего подобного не случится: такому пожилому джентльмену не вынести столь долгого ожидания. Он просто устроит трое похорон.

Леди Россмор удивленно подняла на мужа глаза.

— И ты думаешь, что *так* ему будет легче? — спросила она. — По-моему, ты глубоко ошибаешься. Прах надо похоронить весь сразу, в этом я убеждена.

— Я тоже так считаю, — подтвердил Хокинс.

— И я тоже, — сказала дочь.

— Все вы не правы, — возразил граф. — И если вдумаетесь, то сами поймете почему. Ведь прах-то виконта находится только в одной из этих корзинок.

— Прекрасно, — сказала леди Россмор. — В таком случае все очень просто: надо *эту* корзинку и похоронить.

— Конечно, — подтвердила леди Гвендолен.

— Это совсем не так просто, — сказал граф, — потому что мы не знаем, в которой он корзинке. Мы знаем, что он в *одной* из них, но и *только*. Теперь, надеюсь, вы понимаете, что я был прав: должно быть трое похорон, другого выхода нет.

— И три могилы, три памятника и три эпитафии? — спросила дочь.

— М-м... да... если делать по-правильному. Во всяком случае, так бы поступил я.

— Но это невозможно, папа. Тогда во всех трех эпитафиях придется писать одно и то же имя, одни и те же даты и говорить, что прах его лежит под каждым из трех памятников и под всеми тремя. А это уже ни на что не похоже.

Граф заерзал на стуле.

— Да, — сказал он. — Вот это возражение. И притом веское. Я просто не вижу выхода.

Некоторое время все молчали.

— А что если, — предложил Хокинс, — смешать содержимое трех корзинок...

Граф схватил его за руку и с благодарностью принял ее трести.

— Это решает всю проблему! — воскликнул он. — Один корабль, одни похороны, одна могила, один памятник — великолепно придумано! Это делает тебе честь, майор Хокинс, меня избавляет от мучительнейшего и тяжкого затруднения, а несчастного, сраженного горем старика отца — от великих страданий. Решено: отправляем прах в одной корзинке.

— Когда? — спросила жена.

— Завтра же, без промедления.

— Я бы подождала, Малберри.

— Подождала? Чего?

— Неужели ты хочешь разбить сердце этого одинокого старого человека?

— Конечно нет.

— Тогда дождись, пока он сам придет за останками. В таком случае ты не нанесешь ему самый страшный и мучительный удар, какой только может постигнуть отца: ведь тогда он будет уже точно уверен, что сын его мертв. А так — сам он никогда не придет за его останками.

— Почему?

— Потому что прислать и узнать правду, значит лишить себя единственного утешения, которое ему осталось, — неуверенности, смутной надежды, что мальчик его, может быть, избежал гибели и когда-нибудь еще вернется к отцу.

— Но, Полли, он же узнает из газет, что его сын сгорел.

— А он не позволит себе *поверить* газетам, он будет оспаривать все, что доказывает смерть его сына, будет цепляться за эту мысль и жить ею, а не чем-либо иным, до конца дней своих. Если же он получит останки, если этот несчастный старик, все еще питающий в душе смутную надежду, увидит их...

— Боже мой, никогда, никогда он их не увидит! Полли, ты спасла меня от преступления, и я всю жизнь буду благословлять тебя. *Теперь* я знаю, что надо делать. Мы со всем благоговением спрячем куда-нибудь эти останки, и он никогда не узнает о них.

Глава X

Юный лорд Беркли, вдохнув свежий воздух свободы, почувствовал неукротимый прилив сил и желание начать новую жизнь, и все же... все же... если борьба покажется ему слишком тяжелой, если он слишком разочаруется и, не будучи человеком морально закаленным, пошатнется, у него может в минуту слабости возникнуть желание вернуться к прежней жизни. Это, конечно, едва ли произойдет, по всякое может быть. А потому вполне извинительно, если он решит сжечь позади себя все мосты. Разумеется, извинительно. Нет, конечно нельзя удовольствоваться помещением в газете объявлений о розыске владельца денег, — он должен так распорядиться этими деньгами, чтобы ни при каких обстоятельствах не иметь возможности ими воспользоваться. Итак, он отправился в город, оставил в газете текст объявления, затем зашел в банк и попросил открыть счет на пятьсот долларов.

— Фамилия вкладчика?

Беркли замялся и слегка покраснел: он забыл придумать себе фамилию. А потому назвал первую попавшуюся:

— Ховард Трейси.

Когда он ушел, банковские служащие воскликнули в изумлении:

— Ковбой — и вдруг покраснел!

Итак, первый шаг был сделан. Но деньги по-прежнему были к его услугам и в полном его распоряжении, — надо сделать еще один шаг и навсегда лишить себя возможности ими воспользоваться. Беркли направился в другой банк и написал распоряжение о переводе пятисот долларов из первого банка во второй. Деньги были переведены и вторично положены на имя Ховарда Трейси. Его попросили оставить несколько образцов подписи, что он и сделал. Затем он вышел, преисполненный гордости, мужественно взирая на будущее.

«Теперь мне не на что рассчитывать, — сказал он себе, — я уже не смогу взять эти деньги без документа, удостоверяющего личность, а такого у меня нет. Итак, я без средств. Либо надо работать, либо придется голодать. Я готов к этому и ничего не боюсь!»

И он послал отцу каблогранму следующего содержания:

«Выбрался невредимым горячей гостиницы. Переменил имя. Прощайте».

Вечером, слоняясь по одному из окраинных районов города, новоиспеченный Ховард Трейси набрел на маленькую кирпичную церквушку, на которой висело объявление со следующим печатным текстом:

ДИСПУТ В РАБОЧЕМ КЛУБЕ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Увидев, что туда идет довольно много народу, преимущественно рабочие, Трейси вошел вместе со всеми и сел на свободное место. Церквушка была скромная, без всяких украшений: простые скамьи без подушек, и перед ними даже не кафедра, а просто возвышение. На этом возвышении сидел председатель, а рядом с ним мужчина с рукописью, весь облик которого говорил о том, что ему предстоит играть здесь главную роль. Церковь вскоре заполнила прилично одетая, скромная паства — все люди степенные, чинные. Наконец председатель сказал:

— Сегодняшний оратор — старый член нашего клуба, которого все вы знаете. Это мистер Паркер, помощник редактора «Демократического ежедневника». Тема его сообщения — американская печать; а тезисами ему служат две цитаты из новой книги мистера Мэтью Арнольда. Докладчик просит меня прочесть вам их. Вот первая:

«Гете говорит где-то, что «трепет благоговения» — иными словами, «почтительность» — лучшее свойство человеческой природы».

В другом месте мистер Арнольд пишет:

«Если бы кому-то вздумалось уничтожить и вытравить в целом народе чувство почтительного уважения, трудно, пожалуй, придумать для этого более верное орудие, чем американские газеты».

Мистер Паркер встал, поклонился и был награжден горячими аплодисментами. Он начал читать доклад приятным звучным голосом, четко произнося слова и внимательно следя за паузами и ударениями. Основные положения его речи были встречены слушателями с явным одобрением.

Докладчик придерживался той точки зрения, что самой важной функцией газеты в любой стране является воспитание в народе патриотических чувств — чувства гордости за свою нацию; надо поддерживать в народе «любовь к родине и ее институтам и всячески ограждать их от влияния чуждых и враждебных национальному духу систем». Он обрисовал, как выполняют эту задачу исполненные почтительного уважения турецкий и русский журналисты: один — прививая уважение к институту «палочных ударов по пяткам», другой — к Сибири. Затем докладчик сказал:

— Главная функция английской газеты, как и всех других газет мира, заключается в том, чтобы приковывать восторженный взор публики к одним явлениям и старательно отвращать его от других. Так, например, она должна приковывать восторженный взор публики к славе Англии — к созерцанию ее славных деяний, уходящих в туманные дали времен, озаренных смягчающим краски светом тысячелетней давности; и старательно отвращать взоры публики от того обстоятельства, что эти славные деяния совершались ради обогащения и возвеличения привилегированной кучки баловней судьбы, что обездоленные массы заплатили за это своею кровью, потом и обнищанием, ибо хоть и создали немало благ, однако не могут ими пользоваться. Печать, внушая любовь и благоговейную почтительность по отношению к трону, должна приковывать к нему взоры публики, как к святыне, и старательно отвращать взоры публики от того обстоятельства, что ни один трон не был воздвигнут в результате свободного волеизъявления большинства народа; а раз так, то нет такого трона, который имел бы право на существование, и нет иного символа для него, кроме флага с черепом и скрещенными костями, — герба, заимствованного у представителей родственной профессии, которые отличаются от королей только обликом, то есть по сути дела не более, чем розничная торговля отличается от оптовой. Печать должна внушать

публике благоговейную почтительность по отношению к этому любопытному изобретению хитрых политиков — государственной церкви, а также к этому институту, противоречащему всякому здравому смыслу, — наследственной знати; и старательно отвращать взоры публики от того обстоятельства, что одна предаёт анафеме тех, кто не желает нести ее ярма, и грабит всех без различия под благородной вывеской «налогообложения», а другая прикарманивает себе все почести, оставляя на долю остальных граждан лишь труд.

По мнению докладчика, мистер Арнольд, при его наметанном глазе и наблюдательном уме, должен был бы понять, что не следует сожалеть об отсутствии почтительности и уважения у американской печати, ибо тогда она была бы ни к чему американцам, так как ничуть не отличалась бы от прессы всех других стран мира, а сейчас, что ни говорите, откровенная и веселая непочтительность составляет самое ценное ее качество и делает ее бесконечно дорогой сердцу каждого американца. «Ибо миссия печати, — о чем не подумал мистер Арнольд, — заключается в том, чтобы стоять на страже национальных свобод, а не защищать всяких плутов и мошенников». Докладчик полагал, что если бы институты Старого Света в течение полувека побыли под огнем насмешек и издевательств вот такой печати, как американская, «монархия и сопутствующие ей преступления навсегда бы исчезли с лица земли». Монархисты могут в этом усомниться, в таком случае «почему бы не уговорить царя провести опыт в России»? В заключение докладчик сказал:

— Словом, обвинения, выдвигаемые против нашей печати, сводятся к тому, что ей недостает чувства преклонения, присущего печати Старого Света. Будем от души ей за это благодарны. Хоть она и не отличается чрезмерной почтительностью, она все же, как правило, уважает то, что уважает наш народ, а больше нам ничего не нужно; то, что уважают другие народы, по совести и чести говоря, нас мало волнует. Наша печать не преклоняется перед королями, не преклоняется перед так называемой знатью, не преклоняется перед государственной церковью, не преклоняется перед законами, обирающими младшего сына в пользу старшего, не преклоняется перед обманом, мошенничеством или подлостью, сколь бы ни были они стародавни, заплесневелы или священны, если с их помощью один человек возвышается над другим только лишь по праву рождения; наша печать не преклоняется перед законом или обычаем, сколь бы ни был он стародавним, прогнившим или святым, если он преграждает лучшим людям в стране доступ к лучшим должностям, лишает их возможности доказать свое неотъемлемое право на эти должности и занять их. С точки зрения поэта Гете — этого слащавого певца захолустной трехкратной королевской власти и знати, — наша печать безусловный банкрот во всем, что касается «трепета благоговения», иными словами: почтительности по отношению к меди, которую выдают за золото, и к прочей дешевой подделке. Будем искренне надеяться, что печать наша навеки останется такой, какова она есть, ибо, на мой взгляд, бунтарская непочтительность порождает человеческую свободу и служит ей защитой, тогда как противоположные качества порождают и вскармливают все виды человеческого рабства, телесного или морального, и служат для его рьяной защиты.

«Какое счастье, что я приехал в эту страну! — сказал, или, вернее, чуть ли не крикнул про себя, Трейси. — Я был прав! Я был тысячу раз прав, что выбрал для себя страну, где в сердцах и умах людей живут такие здоровые принципы и понятия. Подумать только, в какие тенета рабства может завести чело-века преклонение, если оно направлено не на то, на что нужно! Как хорошо сказал об этом докладчик и как верно! В преклонении таится огромная сила. Заставьте человека преклоняться перед вашими идеалами — и он ваш раб. Ну конечно же! Народам Европы во все времена старательно внушали не раздумывать над мишурной природой монархии и знати, избегать на этот счет каких-либо суждений, внушали преклонение перед ними — и теперь естественно, что потребность преклоняться стала у них второй натурой. Попробуй внушить их отупевшему мозгу противоположную идею — как эти люди будут потрясены! Веками любое проявление так называемой «неуважительности» с их

стороны считалось грехом и преступлением. Но стоит человеку осознать, что только он сам способен решать, что *достойно* уважения и преклонения, а что нет, и весь этот обман, все надувательство становятся очевидными. И почему я не подумал об этом раньше? А ведь это верно, абсолютно верно! Какое право имеет Гете, какое право имеет Арнольд, какое право имеет любой словарь устанавливать для меня, что значит «непочтительность»? Их идеалы не имеют ко мне ни малейшего отношения. Если я почитаю свои идеалы, значит я выполняю свой долг; и я не совершаю никакого святотатства, если смеюсь над их идеалами. Я могу издеваться над идеалами других сколько мне заблагорассудится. Это — мое право и моя привилегия. И ни один человек не имеет права отрицать это».

Трейси ожидал, что после доклада начнется дискуссия, но этого не произошло. Его недоумение разрешили слова председателя:

— К сведению тех, кто присутствует здесь впервые, должен сообщить, что, в соответствии с нашим обыкновением, сегодняшний доклад будет обсуждаться на следующем собрании клуба. Мы делаем это для того, чтобы дать возможность нашим членам подготовиться и изложить свои соображения на бумаге, так как мы ведь в большинстве своем люди рабочие и не привыкли говорить. Поэтому нам надо сначала написать свое выступление.

Затем было зачитано множество соображений по предыдущему докладу и высказано несколько суждений на данную тему. Доклад этот делал некий заезжий профессор, перевозивший университетское образование и доказывавший, какую огромную пользу получает от него вся нация. Один из выступавших — человек довольно пожилой — заявил, что он не получил университетского образования, что для него университетом была типография, откуда он перешел на работу в бюро патентов и вот уже сколько лет выполняет там обязанности клерка. Далее он сказал:

— Докладчик противопоставлял Америку сегодняшнего дня Америке прошлого, — с тех пор страна наша, конечно, далеко шагнула вперед. Но мне кажется, он несколько переоценил ту роль, какую сыграло в этом университетское образование. Нетрудно доказать, что университеты, бесспорно, немало сделали для развития нашей духовной культуры — здесь их вклад весьма внушительен; но, я думаю, вы согласитесь с тем, что наш материальный прогресс гораздо внушительнее. Я просмотрел список изобретателей творцов нашего удивительного материального развития. — и обнаружил, что, как правило, эти люди не кончали университетов. Конечно, есть исключения, вроде, например, профессора Генри из Принстонского университета, изобретателя телеграфной азбуки мистера Морзе, но таких — единицы. Без преувеличения можно сказать, что потрясающее развитие материальной культуры в нашем веке — единственном веке, с тех пор как изобретено летосчисление, в котором стоило родиться, — является плодом деятельности людей, не имеющих университетского образования. Нам кажется, будто мы видим, что создали эти изобретатели, — на самом же деле, мы видим лишь то, что доступно зрению, так сказать фасад их работы; а за ним скрывается нечто куда более значительное, но недоступное беглому взгляду. Ведь эти люди переродили наш народ, как бы создали его заново, — образно выражаясь, настолько умножили его, что нет цифр, с помощью которых можно было бы это подсчитать. Сейчас я поясню свою мысль. Чем измеряется население страны? Только ли количеством кулей с мясом и костями, которые учтивости ради именуются мужчинами и женщинами? Можно ли считать равноценными миллион унций меди и миллион унций золота? А потому возьмем более правильное мерило — то, какой вклад вносит человек в свою эпоху и в достояние своего народа; иными словами: сколько он может создать ценностей. Затем подсчитаем, насколько больше современный человек создает ценностей, чем его дед, и помножим это на количество людей, населяющих сегодня нашу страну. Так вот, если мы подойдем к проблеме населения с таким мерилом, то окажется, что наш народ два или три поколения тому назад состоял из одних калек, паралитиков и живых трупов по сравнению с людьми сегодняшнего дня. В 1840 году население нашей страны равнялось 17 миллионам. Для большей наглядности предположим, что 4 миллиона из этих 17 составляли

старики, малые дети и прочий нетрудоспособный элемент, а остальные 13 миллионов распределялись по следующим профессиям:

2 миллиона — рабочие хлопкоочистительных фабрик.

6 миллионов (женщин) — вязальщицы чулок.

2 миллиона (женщин) — прядильщицы.

500 тысяч — слесари.

400 тысяч — жнецы, вязальщики снопов и т. п.

1 миллион — молотильщики.

40 тысяч — ткачи.

1 тысяча — сапожники.

Сопоставления, которые я буду проводить, могут показаться невероятными, хотя они абсолютно точны. Я беру данные из папки «Разные документы», номер пятьдесят, второй сессии конгресса сорок пятого созыва, они вполне официальные и достоверные. Итак, сегодня работу этих 2 миллионов человек, трудившихся на хлопкоочистительных фабриках, выполняют 2 тысячи человек; работу 6 миллионов вязальщиц чулок выполняют 3 тысячи подростков; работу 2 миллионов прядильщиц выполняют тысяча девочек-подростков; работу 500 тысяч слесарей выполняют 500 девушек; работу 400 тысяч жнецов, вязальщиков снопов и т. д. выполняют 4 тысячи молодых парней; работу 1 миллиона молотильщиков выполняют 7500 мужчин; работу 40 тысяч ткачей выполняют 1200 человек; и, наконец, работу тысячи сапожников выполняют 6 человек. Если сложить эти цифры, получается, что для выполнения работы, которую делают сейчас 17 тысяч человек, пятьдесят лет тому назад требовалось 13 миллионов человек. Теперь посмотрим, сколько потребовалось бы этих невежд — наших отцов и дедов, — чтобы их невежественными методами произвести такое количество продукции, какое мы производим сейчас за день? Для этого потребовалось бы 40 миллиардов человек, то есть в сто раз больше неисчислимого населения Китая и в двадцать раз больше нынешнего населения земного шара. Посмотрите вокруг. Что вы видите? Страну, населенную 60 миллионами человек. Но вы не видите тех возможностей, что таятся в их руках и в их мозгу, а если это учесть, то подлинное население нашей республики равняется 40 миллиардам человек! Вот, оказывается, к каким поразительным результатам привел труд всех этих скромных, необразованных, никогда не обучавшихся в университетах изобретателей, честь им и хвала за это!

«Как это грандиозно! — думал Трейси, шагая домой. — Какая высокая цивилизация и какие поразительные успехи! И почти всем этим страна обязана простым людям, не аристократам, окончившим Оксфорд, а людям, стоящим плечом к плечу в скромных рядах безвестных обитателей земли и своим трудом зарабатывающим себе на хлеб. Как я рад, что я приехал сюда! Наконец-то я нашел страну, где можно честно вступить в жизнь, шагая в ногу с другими людьми, и выбиться вперед благодаря собственным усилиям, занять подобающее место в мире и гордиться этим, а не быть всем обязанным какому-то предку, жившему триста лет тому назад».

Глава XI

Первые несколько дней Трейси стойко верил в то, что находится в стране, где «есть работа и хлеб для всех». Удобства ради он даже придумал мотив и распевал эти слова, но по мере того как шло время — сия неопровержимая истина стала казаться ему несколько сомнительной; затем песенка ему надоела, он стал напевать ее все реже и наконец забыл совсем. Сначала он пытался получить приличное место в одном из департаментов, где могло пригодиться и оказать ему услугу его оксфордское образование. Но это оказалось безнадежным предприятием. Там требовались не деловые качества, а поддержка

определенных политических кругов, которая весила куда больше всех деловых качеств. А в Трейси сразу виден был англичанин, что никак не говорило в его пользу в политическом центре страны, где обе партии вслух выражали свои симпатии Ирландии, а про себя честили ее на чем свет стоит. Судя по одежде, Трейси был ковбоем; это внушало уважение — до той поры, пока он не поворачивался к собеседнику спиной, — но не способствовало получению места чиновника. А Трейси довольно опрометчиво принял решение не снимать этой одежды, пока ее владелец или друзья владельца не увидят его и не спросят про деньги, и теперь совесть не позволяла ему отступить от данного себе слова.

В конце недели дела его начали принимать довольно пугающий оборот. Он предлагал свои услуги самым разным учреждениям, постепенно снижая требования, и дошел до того, что уже готов был согласиться на любую работу, которую может выполнять человек, не имеющий специальной подготовки, — кроме рытья канав и прочего тяжелого труда, — и все равно не получил ни места, ни даже обещания такового.

И вот, машинально переверачивая страницы своего дневника, он увидел первую запись, которую сделал после пожара:

«Сам я никогда не сомневался в своей выдержке, а теперь и никто не мог бы в ней усомниться, — достаточно для этого посмотреть, где я живу, и узнать, что я не испытываю к своей комнате ни малейшего отвращения, а вполне доволен ею, как был бы доволен пес, очутись он в подобной конуре. Стоит это двадцать пять долларов в неделю. Я сказал себе, что начну восхождение по лестнице с самой нижней ступеньки. И сдержал свое слово».

Трейси вздрогнул, прочитав эти строки.

— О чем только я думал! — воскликнул он. — Разве *это* нижняя ступенька! Целую неделю пробегал впустую и не подумал о том, в какую грандиозную сумму обходится мне каждый день пребывания здесь! Надо немедленно покончить с этим безумием.

Он тотчас расплатился с хозяйкой и отправился искать себе менее роскошные апартаменты. Искал он долго и старательно и наконец нашел. Его заставили уплатить вперед четыре с половиной доллара, — таким образом, постель и еда на неделю были обеспечены. Добродушная, изнуренная работой хозяйка провела его по узкой, не застланной ковром лестнице на третий этаж и показала комнату. В ней стояло две двуспальных кровати и одна односпальная. Трейси предложили занять одну из двуспальных кроватей, пока не подвернется еще какой-нибудь постоялец, заверив, однако, что двойной платы за это с него брать не будут.

Значит, в один прекрасный день ему придется спать в одной постели с совсем чужим человеком! При этой мысли Трейси почувствовал приступ тошноты. Хозяйка, миссис Марш, держалась очень дружелюбно и выразила надежду, что ему понравится у нее.

— Здесь всем нравится, — сказала она. — У меня живут очень славные ребятки. Правда, немного шумливые, но ничего — пусть веселятся. Эта комната, видите ли, соединяется с другой, задней. И они сидят то все в одной, то все в другой, а в жаркие ночи спят на крыше, — если, конечно, дождь не идет. Только станет жарко, они и перебираются туда. А нынче лето так рано началось, что они уже ночи две как там спят. Можете и вы туда забраться, если хотите, и присмотреть себе местечко. Мел найдете в трубе — там, где кирпич выпал. Так вот, возьмете мел и... Да что я объясняю: вам ведь, наверное, не впервой это делать.

— Нет, мне еще ни разу не приходилось...

— Ну что я говорю, конечно не приходилось: ведь места в прерии сколько угодно, вовсе незачем расчерчивать ее Мелом. Словом, вы проведете мелом черту с таким расчетом, чтобы можно было расстелить одеяло, — выбирайте любое место, где нет пометок; а пометите — место уже будет ваше. Вы и ваш товарищ по кровати будете по очереди выносить туда одеяло с подушками и приносить их обратно; или можно еще так делать: один несет наверх, а другой сносит вниз, — словом, сами договоритесь, как вам будет удобней.

Вам понравятся мои ребята, они такие простые и веселые, за исключением наборщика. Это тот, что занимает односпальную кровать, — вот уж чудак: даже случись пожар и сгори все на свете, он и то, наверно, ни с кем вместе не ляжет. Я это не просто так говорю, я по опыту знаю. Ребята уже проверили. Вынесли однажды его кровать; приходит он домой часа в три утра, он тогда работал в утренней газете, а сейчас работает в вечерней, — а спать ему негде, кроме как с литейщиком; так, поверите, он всю ночь просидел — вот ей-богу. Ребята говорят, что он тронутый; но это неправда, просто он англичанин, а они уж очень привередливы. Вы не обижайтесь на меня, что я так говорю. Вы ведь... вы ведь тоже англичанин?

— Да.

— Я так и подумала. Это сразу видно по тому, как вы произносите букву «э»: вы говорите: «хлэб», а не «хлеб», но это у вас пройдет. В общем-то наш наборщик не такой уж плохой малый; он даже дружит немного с учеником фотографа, с конопатчиком и с кузнецом, что работает в военных доках, но с остальными — не очень. Дело в том, — только это секрет и ребята ничего об этом не знают, — что он вроде бы аристократ: отец у него доктор; ну а вы-то, конечно, знаете, что это за персона у вас в Англии, потому что у нас доктор — никакая не персона, даже *такой* важный. А там, конечно, все иначе. Так вот этот малый рассорился с отцом, вспылал, да и уехал к нам, — ну а тут сразу увидел, что надо работать, не то подохнешь с голоду. Он, понимаете ли, кончил там университет и считал, что уж кто-то, а он не пропадет... Вы что-то сказали?

— Нет... я только вздохнул.

— Ну так вот: тут-то он и ошибся. Он чуть не умер и голоду. Да наверно бы и умер, если б какой-то газетный наборщик не сжалился над ним и не взял к себе в ученики. Так он обучился ремеслу и встал на ноги, а то худо бы ему пришлось. Одно время он даже решил спрятать свою гордость в карман и кликнуть на помощь папашу и...; Что это вы опять вздыхаете? Нездоровится? Может, моя болтовня...

— Ну что вы, нет. Продолжайте, пожалуйста, мне очень интересно вас слушать.

— Да, так вот он живет здесь уже десять лет — ему двадцать восемь сейчас — и все недоволен, все никак не может смириться с тем, что он простой рабочий и живет среди рабочих. Он ведь сам мне сказал, что он *джентльмен*, и, значит, других он джентльменами не считает; я, конечно, не дура и такого никому не скажу — молчу как рыба.

— А собственно, почему... что в этом плохого?

— Плохого? Да они его мигом вздуют. Сами-то вы как бы поступили? Вздули бы, конечно. Никому не позволяйте говорить, что вы не джентльмен, у *нас* такие вещи не прощают. Бог мой, да что я говорю! Разве кто-нибудь посмеет сказать про ковбоя, что он не джентльмен!

Тут в комнату весело и непринужденно впорхнула тоненькая, живая и очень хорошенькая девушка лет восемнадцати, в дешевеньком, но изящном платьице. Мать бросила быстрый взгляд на нового постояльца, поспешно поднявшегося при появлении девушки, интересуясь, какое впечатление произвела на него ее дочь, и явно ожидая увидеть на его лице восторг и удивление.

— Это моя дочь, Хетти. Мы зовем ее Киска. А это наш новый постоялец, Киска. — Все это мать произнесла, не вставая с места.

Молодой англичанин неуверенно поклонился, как поступил бы всякий представитель его эпохи и национальности, попав в щекотливое и весьма затруднительное положение, а именно в такое положение он сейчас и попал, ибо был застигнут врасплох и, будучи воспитан в определенных традициях, растерялся, не зная, как следует себя вести, когда тебя знакомят с горничной или наследницей пансиона для рабочих. Послушайся он голоса другой стороны своей натуры — той, что признавала равенство всех людей, — он вышел бы из положения с большей честью, но все произошло так неожиданно, что эта сторона его натуры не успела проявиться. Девушка, не обращая внимания на его поклон, подошла к нему, дружески пожала руку совершенно незнакомому человеку и сказала:

— Здравствуйте.

Затем она направилась к единственному в комнате умывальнику, склонила голову на один бок, потом на другой, любуясь своим отражением в осколке дешевого зеркала, висевшего на стене, посплюнула пальцы, подправила завиток волос, выложенный на лбу, и принялась за уборку.

— Ну, я пошла, а то скоро ужинать. Располагайтесь, мистер Трейси. Когда ужин будет готов, вы услышите колокол..

Хозяйка преспокойно ушла, даже не потрудившись предложить дочери или Трейси покинуть комнату. Молодой человек несколько удивился тому, что мать, казавшаяся такой почтенной, порядочной женщиной, может быть столь беспечна, и уже потянулся было за шляпой, решив избавить девушку от своего присутствия, когда она вдруг спросила:

— Куда это вы?

— Да, собственно, никуда, но поскольку я мешаю...

— Кто это вам сказал, что вы мешаете? Садитесь, я попрошу вас перейти на другое место, когда вы будете мне мешать.

И она начала стелить постели. Трейси сел и принялся наблюдать за ее ловкими, умелыми движениями.

— Что это вам вдруг взбрело в голову? Неужели вы думаете, мне нужна вся комната, чтоб застлать одну-две постели?

— Да нет, не в этом дело. Просто мы остались с вами вдвоем в пустой комнате, матушка ваша ушла...

— И теперь некому меня защитить? — с веселым смехом перебила его девушка. — Ей-богу, я в этом не нуждаюсь! И нисколько ничего не боюсь. Я бы, может, и испугалась, если б была одна, потому что — не скрою — боюсь привидений. Правда, не скажу, чтобы я в них верила, — чего нет, того нет. А просто боюсь.

— Как же вы можете бояться, если вы в них не верите?

— Почему я знаю — как, слишком многого вы от меня хотите. Просто знаю, что боюсь, и все тут. Вот и Мэгги Ли тоже боится.

— А это кто такая?

— Одна наша постоянщица, молодая леди, что работает на фабрике.

— Работает на фабрике?

— Да. На обувной.

— Значит, работает на обувной фабрике, и вы называете ее «молодая леди»?

— Ну конечно. Ведь ей всего двадцать два года. А как же ее называть?

— Я думал не о возрасте, а о титуле. Видите ли, я уехал из Англии потому, что мне претили искусственные условности, ибо искусственные условности нравятся только искусственным людям; а оказывается, у вас они тоже есть. Мне это очень неприятно. Я-то надеялся, что все люди делятся у вас на «мужчин» и «женщин», что все равны, что здесь нет ни чинов, ни рангов.

Девушка замерла, держа в зубах подушку, на которую она как раз собиралась надеть наволочку, и с несколько озадаченным видом посмотрела исподлобья на постояльца. Затем она выпустила подушку из зубов и сказала:

— А у нас все и равны. Где вы видите чины или ранги?

— Если вы называете работницу «молодая леди», то как же вы называете жену президента?

— Старая леди.

— Значит, возраст у вас — единственное различие?

Никаких других различий нет, насколько мне известно.

— В таком случае *все* женщины у вас-леди?

— Ну конечно. Все порядочные женщины.

— Вот это уже лучше. Конечно, никакого вреда в титуле нет, если его применяют ко всем. Но он становится оскорбительным и играет вредную роль, если применять его только к

избранным. Впрочем, мисс... э...

— Хетти.

— Мисс Хетти, будьте откровенны и признайтесь, что так величают не все и не всех. Богатая американка, например, не назовет свою кухарку «леди». Не так ли?

— Конечно. Ну и что?

Он был удивлен и несколько разочарован тем, что его поразительная логика не произвела сколько-нибудь заметного впечатления.

— Как так — что? — сказал он. — Это значит, что у вас нет настоящего равенства и что американцы ничуть не лучше англичан. Словом, между ними нет никакой разницы.

— Вот чудак! Да ведь титул сам по себе ничего не стоит, все зависит от того, какой смысл вы в него вкладываете, — вы же это сами сказали. Представьте себе, что вместо «леди» мы будем говорить «порядочная женщина». Понимаете?

— Кажется, да. Слово «порядочная» вы заменяете словом «леди» и подразумеваете под этим порядочную женщину.

— Вот именно. А в Англии, значит, шикарная публика не называет рабочих «джентльменами» и «леди»?

— О нет.

— И рабочие тоже не называют себя «джентльменами» и «леди»?

— Нет, конечно.

— Значит, какое бы слово вместо этого ни поставить, их все равно не будут так называть. Шикарная публика будет называть «порядочными» только себя, а остальные будут повторять за ними, как попугаи, и тоже не станут называть себя «порядочными». У нас здесь все иначе. Кто угодно может назвать себя «леди» или «джентльменом» и считать, что это так, — плевать ему на то, что об этом другие думают, если, конечно, они не выражают своих мыслей вслух. Вы рассудили, что между нами нет разницы. Но вы покоряетесь, а мы — нет. По-вашему, это не разница?

— Да, это разница, о которой, признаюсь, я не подумал. И все же, *называть* себя «леди», это еще не значит... мм...

— Будь я на вашем месте, я не стал бы продолжать.

Ховард Трейси повернул голову, желая узнать, от кого исходит это замечание. Перед ним стоял невысокий мужчина лет сорока, со светлыми волосами и приятным, живым и неглупым, чисто выбритым лицом, густо усеянным веснушками; на нем был костюм, купленный в магазине готового платья, опрятный, но несколько поношенный. Он вышел из комнаты, находившейся за передней, где он оставил свою шляпу; в руках у него был потрескавшийся фаянсовый таз с обитыми краями. Девушка тотчас подошла к нему и взяла таз.

— Я принесу вам воды. А вы, мистер Бэрроу, потолкуйте с ним и задайте ему перцу. Это наш новый постоялец, мистер Трейси, и мы с ним договорились до того, что я совсем запугалась.

— Буду вам премного благодарен, Хетти. Я пришел признаться воды у ребят. — Усевшись поудобнее на старом сундуке, он заметил: — Я слушал ваш разговор, и он заинтересовал меня; я сказал: «будь я на вашем месте, я не стал бы продолжать». Сами-то вы понимаете, куда вы забрели? Вы хотели сказать, что *назвать* себя «леди» — еще не значит быть ею, но тут вы натываетесь на другую трудность, о которой вы и не подумали: кто же имеет право определять, к какой категории относится человек? У вас там из миллиона человек каких-нибудь двадцать тысяч именуют себя «джентльменами» и «леди», а девятьсот восемьдесят тысяч соглашаются с этим и покорно проглатывают обиду. А если бы они с этим не согласились, то не было бы и избранных, — тогда решение двадцати тысяч было бы мертвой буквой и не имело бы никакой силы. У нас здесь двадцать тысяч так называемых «избранных» являются на избирательный участок и голосуют за то, чтобы их называли «леди» и «джентльменами». Но на этом дело не кончается. Девятьсот восемьдесят тысяч тоже приходят на избирательные участки и голосуют, чтобы их тоже называли «леди» и

«джентльменами». Таким образом, вся нация попадает в число избранных. А раз весь миллион человек проголосовал за то, чтобы называться «леди» и «джентльменами», то ни о каких избранных уже и речи нет. В этом-то и состоит подлинное равенство, а не фикция. У вас же там — абсолютное неравенство (узаконенное бесконечно слабыми и одобренное бесконечно сильными), столь же реальное и абсолютное, как наше равенство.

Не успел его собеседник начать свою речь, как Трейси, будучи истым англичанином, поспешно забился в свою раковину, несмотря на то что уже несколько недель проходил суровую школу общения с простыми людьми на их простом языке; но он постарался побыстрее выбраться из нее, и к тому моменту, когда речь была окончена, створки его раковины уже открылись, и он, подавив возмущение, заставил себя отнестись без предвзятости к бесцеремонной манере простолюдинов, не смущаясь, без всякого приглашения вмешиваться в чужой разговор. На сей раз это оказалось не так трудно, ибо у его собеседника были на редкость обаятельные улыбка, голос и манеры. Он мог бы даже по-нравиться Трейси, если бы не то обстоятельство — обстоятельство, в котором наш англичанин не очень-то отдавал себе отчет, — что всеобщее равенство еще не стало для него реальностью, он признавал его только в теории: признавал умом, но не чувствами, — словом, относился к этому так же, как Хетти к привидениям, только наоборот. Теоретически Трейси признавал, что Бэрроу ему ровня, но видеть, как это проявляется на практике, было ему неприятно.

— Я искренне надеюсь, — заметил он, — что вы сказали правду относительно американцев, хотя у меня не раз возникали на этот счет сомнения. Мне казалось что равенство не может быть настоящим там, где еще существуют кастовые различия. Но, видимо, слова, которые у нас указывают на эти различия, у вас потеряли свой оскорбительный смысл, стали ничего не значащими, безвредными, свелись к нулю, коль скоро они применимы к кому угодно. Теперь я понял, что кастовость существует и может существовать лишь в том случае, если ее признают массы, не принадлежащие к избранным. Прежде я считал, что каста сама себя создает и увековечивает, но, видимо, она только создает себя, а увековечивают ее те, кого она презирает и кто может в любое время уничтожить ее, присвоив себе ее титулы и различия.

— Я вполне с вами согласен. Нет такой силы на земле, которая помешала бы тридцати миллионам англичан провозгласить себя завтра герцогами и герцогинями и впредь называть себя так. А тогда — не пройдет и полугода, как все настоящие герцоги и герцогини вынуждены будут подать в отставку. Очень бы я хотел, чтобы англичане проделали такую штуку. Даже королевская фамилия и та не могла бы уцелеть. Что значит горстка напыщенных зазнаек в сравнении с тридцатью миллионами восставших против них насмешников. Да ведь это все равно что Геркуланум в сравнении с грохочущим Везувием: потребуется еще восемнадцать веков, чтобы отыскать этот Геркуланум после такой катастрофы. К примеру: что значит «полковник» у нас на Юге? Ровным счетом ничего, потому что они все там полковники. Нет, Трейси (Трейси при этом так и передернуло), никто в Англии не станет называть вас джентльменом, да и вы сами не станете называть себя так. Сложившиеся традиции ставят иногда человека в самое унижительное для него положение, — а под традициями я понимаю широкое и всеобщее признание кастовых различий в том смысле, какой придает этому сама каста. Человек бессознательно признает существование касты: это, понимаете ли, у него в крови, он воспринял это не думая и не рассуждая. Можете вы, скажем, представить себе, чтобы гора Маттерхорн была польщена вниманием какого-нибудь вашего хорошенького английского холмика?

— Конечно нет.

— Ну а теперь попробуйте внушить здравомыслящему человеку, что Дарвин был бы польщен вниманием какой-нибудь принцессы. Это до того нелепо, что... что и представить себе нельзя. И все же этот Мемнон был польщен вниманием крошечной статуэтки, — он ведь сам в этом признался. Отсюда я делаю вывод, что система, которая вынуждает божество отказаться от своего божественного начала и осквернить его... такая система никуда не

годится, она неправильна и, по-моему, должна быть уничтожена.

Упоминание имени Дарвина вызвало настоящую дискуссию; Бэрроу до того увлекся, что снял пиджак, чтобы легче и удобнее было размахивать руками, и говорил до тех пор, пока в комнату с криком и гамом не ввалились шумные ее обитатели и не принялись возиться, драться, мыться и всячески развлекаться. Бэрроу еще немного задержался, чтобы предложить Трейси без стеснения пользоваться его комнатой и книжной полкой, а также задать ему два-три вопроса личного характера.

— Чем вы занимаетесь? — спросил он.

— Видите ли... меня здесь называют ковбоем, но это просто так, я вовсе не ковбой. У меня нет никакой профессии.

— Как же вы зарабатываете себе на хлеб?

— Да как придется... Я хочу сказать, что готов делать что придется, лишь бы нашлась работа, но до сих пор мне ничего не удалось найти.

— Может быть, я сумею вам помочь. Во всяком случае, я попытаюсь.

— Я буду очень рад. Сам я сколько ни искал, ничего не вышло.

— Да, если у человека нет определенной профессии, тяжело ему приходится на этом свете. По-моему, вам надо было меньше заниматься книжками, а больше чем-то таким, что может прокормить человека. Право, не знаю, о чем только думал ваш отец. Надо было непременно обучить вас какому-то ремеслу, обучить во что бы то ни стало. Но не расстраивайтесь: я думаю, мы что-нибудь прищем. И не смейте скучать по дому — это ни к чему хорошему не приведет. Мы еще поговорим с вами и поосмотримся. Вот увидите, все будет хорошо. Подождите меня, пойдем вместе ужинать.

К этому времени Трейси уже проникся самыми дружескими чувствами к Бэрроу и, пожалуй, даже назвал бы его своим другом, если бы это не означало необходимости немедленно перейти к претворению теории в жизнь. Так или иначе, он был рад знакомству с Бэрроу, и на душе у него стало гораздо легче. Кроме того, ему захотелось узнать, чем занимается Бэрроу и какая профессия дает ему такой широкий доступ к книгам и оставляет столько времени, чтобы их читать.

Глава XII

Вскоре в глубине дома зазвонил колокол, сзывая к ужину постояльцев, и звук его, постепенно поднимаясь все выше, нарастал с каждым этажом. Чем дальше он забирался, тем становился все громче, и стал совсем оглушительным, когда в дополнение к нему послышался вдруг треск и грохот от топота множества ног, устремившихся со скоростью лавины вниз, по не-застланной ковром лестнице, Пэры не ходят таким образом к столу, и воспитание Трейси не позволяло ему насладиться всеобщим весельем и должным образом оценить эту почти зоологическую манеру выражать свою радость и восторг. Он вынужден был признать себе, что потребуется время, прежде чем он сумеет привыкнуть к такому бурному проявлению животных инстинктов. Когда-нибудь ему это, наверно, даже понравится, но хотелось бы привыкать постепенно, чтобы переходы не были столь неожиданными и резкими. Итак, Бэрроу и Трейси вслед за лавиной постояльцев тоже направились вниз, и чем ниже они спускались, тем сильнее ощущался запах лежалой капусты и прочие подобные ароматы — ароматы, какие бывают лишь в дешевых частных пансионатах; ароматы, которые, раз ощутив, вы уже никогда не забудете и, даже если почувствуете их много поколений спустя, тотчас узнаете, — впрочем, без особого удовольствия. Трейси все эти запахи казались удушающими, ужасными, почти непереносимыми, но он постарался справиться с собой и ничего не сказал. Спустившись на первый этаж, они вошли в большую столовую, где за длинным столом сидело человек тридцать пять — сорок. Они тоже сели. Пиршество уже началось, и беседа велась весьма оживленная, — сотрапезники перебрасывались шуточками с одного конца стола на другой.

На столе лежала скатерть — очень грубая, вся в пятнах от кофе и жира. Ножи и вилки были железные, с костяными ручками; ложки, видимо, тоже были не то железные, не то жестяные, не то какие-то еще. Чайные и кофейные чашки были самые простые и тяжелые, из самой что ни на есть прочной глины. Вообще вся посуда на столе была самая простая и дешевая. Возле каждой тарелки лежал один-единственный ломоть хлеба, и постояльцы явно старались употреблять его возможно экономнее, словно не надеялись получить добавка. По столу были расставлены масленки, до которых — при наличии длинных рук — можно было дотянуться; но специальных тарелочек для масла у приборов не имелось. Очевидно, масло было вполне приличное, ибо оно спокойно лежало и вполне пристойно вело себя, но дух от него исходил более сильный, чем положено; впрочем, никто по этому поводу не высказывался и не проявлял особого беспокойства. Главным блюдом на пиршестве было обжигающе горячее ирландское рагу, приготовленное из картофеля и обрезков мяса, оставшихся от предыдущих трапез. Всем были розданы обильные порции этого лакомства. Посредине стола стояли две большие тарелки с ломтиками ветчины, а также прочая, менее существенная еда — маринады, новоорлеанская патока и тому подобное. Кроме того, было сколько душе угодно чая и кофе совершенно безбожного качества, с желтым сахаром и консервированным молоком, но к запасам молока и сахара постояльцев не допускали, — эти продукты выдавались в главной ставке: по ложечке сахарного песка и по ложечке консервированного молока на чашку, не больше. За столом прислуживали две могучие негритянки, с необыкновенным шумом, грохотом и энергией носившиеся из столовой на кухню и обратно. В этом им до некоторой степени помогала хозяйская дочка, она же — Киска. Она обносила постояльцев кофе и чаем, но, строго говоря, скорее развлекалась, чем занималась делом. Она шутила с молодыми людьми, поддразнивала их — мило и весьма остроумно, как ей казалось, да, видно, и не только ей, судя по аплодисментам и смеху, которыми присутствующие награждали ее усилия. Большинство явно питало к ней симпатию, а остальные были по уши в нее влюблены. Даря внимание, она дарила счастье, — и лицо избранника расцветало улыбкой; но в то же время дарила горе, ибо лица остальных молодых людей заволакивала мрачная тень. Друзей своих она называла Билли, Том, Джон, без всяких «мистеров» и они звали ее Киска или Хетти.

В одном конце стола восседал мистер Марш, в другом — его супруга. Марш, которому уже стукнуло шестьдесят лет, был бесспорно американец, хотя, родился он на месяц раньше, он был бы испанцем. Собственно, испанцем он и остался: лицо у него было очень смуглое, волосы очень черные, а глаза не только необыкновенно темные, но и пронзительные, — судя по всему, они при случае могли метать огонь и молнии.

Был он сутуловатый, с длинным подбородком и вообще производил не очень приятное впечатление: он явно не принадлежал к числу общительных людей. Во всяком случае, внешне он казался прямой противоположностью своей жены, женщины доброй, отзывчивой, благожелательной и простодушной. Недаром все молодые люди и девушки звали ее «тетушка Рэчел». Обводя любопытным взглядом стол, Трейси обратил внимание на одного постояльца, которого почему-то обнесли рагу. Он был очень бледен, точно недавно встал после тяжелой болезни и должен снова вернуться в постель, притом как можно скорее. Лицо у него было необычайно грустное. Волны смеха и разговора подкатывались к нему и снова откатывались, словно он был скалой в море, а слова и смех — волнами, разбивавшимися у ее подножья. Он сидел низко опустив голову, с пристыженным видом. Некоторые девушки время от времени потихоньку бросали на него исполненные сострадания взгляды, а мужчины — те, что помоложе, — явно сочувствовали ему: это отражалось на их лицах, но не проявлялось ни в чем ином. Однако подавляющее большинство присутствующих выказывало полное безразличие к юноше и его горестям. Марш сидел потупившись, но видно было, как под густыми нависшими бровями ехидно поблескивают его глаза. Он с нескрываемым удовольствием наблюдал за молодым человеком и обделил его едой не по недосмотру, что прекрасно понимали все за столом. Положение это явно очень мучило миссис Марш. У нее было такое лицо, точно она надеется на чудо. Но поскольку чудо не

приходило на выручку, она наконец отважилась раскрыть рот и напомнить своему супругу, что Нэту Брейди не дали ирландского рагу.

Марш поднял голову и с насмешливой любезностью промолвил:

— Так он не получил рагу? Какая жалость! И как это я мог забыть о нем? Он должен меня извинить. Право, вы должны, мистер, м-м... Бекстер... Баркер... вы должны извинить меня. Я... м-м... мое внимание было чем-то отвлечено, не знаю даже чем. Самое печальное то, что последнее время это случается со мной всякий раз, как мы садимся за стол. Но вы не должны обращать внимания на такие мелочи, мистер Банкер, это все по рассеянности. Со мной такое вполне может случиться, если человек... м-м... ну, словом, если человек, скажем, три недели не платил мне за стол. Вы меня поняли? Вы поняли мою мысль? Вот ваше ирландское рагу, и... м-м... мне доставляет величайшее удовольствие положить его вам; надеюсь, вам будет так же приятно принять мое благодеяние, как мне оказать его.

Краска прихлынула к бледным щекам Брейди и медленно поползла к ушам и выше — ко лбу, но он ничего не сказал и принялся за рагу, смущенный внезапно наступившим молчанием, чувствуя, что все взгляды прикованы к нему.

— Старик только и ждал этой возможности, — шепнул Бэрроу на ухо Трейси. — Он ни за что не упустил бы ее.

— Это жестоко, — сказал Трейси. А про себя подумал, намереваясь впоследствии занести эти мысли в дневник:

«Ну вот, дом этот представляет собой своего рода республику, где все свободны и равны, если люди вообще могут быть свободны и равны где-либо на земле; значит, я попал именно в такое место, которое стремился найти, здесь я — такой же человек, как и все остальные, большего равенства быть не может. И однако, стоило мне переступить порог этого дома, как я столкнулся с неравенством. За этим самым столом сидят люди, на которых, по той или иной причине, глядят с почтением, и рядом — этот несчастный, на которого смотрят свысока, к которому относятся с пренебрежением, даже оскорбляют и унижают его, хотя он не совершил никакого преступления и повинен лишь в самом обычном грехе — бедности. Равенство должно было бы облагораживать людей. Во всяком случае, я так считаю».

После ужина Бэрроу предложил пойти прогуляться, и они вышли на улицу. Но Бэрроу задумал эту прогулку с вполне определенной целью: ему хотелось, чтобы Трейси избавился от своей ковбойской шляпы. Он не представлял себе, что сможет найти какую-либо работу, пусть даже самую черную, человеку, выряженному таким образом. Имея это в виду, он и завел с Трейси следующий разговор:

— Насколько я понимаю, вы ведь не ковбой.

— Нет.

— В таком случае, извините мое любопытство, но мне хотелось бы знать, как это вам пришло в голову украсить себя такой шляпой? Где вы ее взяли?

Трейси несколько растерялся, не зная, что на это ответить, но, подумав немного, сказал:

— Видите ли, коротко говоря, погода вынудила меня обменяться костюмом с одним незнакомцем, и теперь мне очень хотелось бы разыскать его и вернуть ему вещи.

— В таком случае, почему же вы его не разыщете? Где он?

— Не знаю. Я решил, что лучший способ найти его — это носить его костюм, который достаточно ярок и способен сразу привлечь его внимание, если он встретит меня на улице.

— Прекрасно, — сказал Бэрроу, — все, кроме шляпы, может сойти, и хотя не слишком бросается в глаза, но и заурядным такой наряд тоже не назовешь. А вот шляпу надо сменить. Когда вы встретите вашего незнакомца, он признает вас по костюму. Шляпа же может оказаться для вас весьма обременительной в таком цивилизованном центре, как наш город. Думаю, даже ангел не мог бы получить работу в Вашингтоне, имей он такое сияние вокруг головы.

Трейси согласился сменить шляпу на более скромную; они сели в конку и, поскольку она была переполнена, остались на задней площадке. Едва конка заскользила по рельсам, как двое мужчин, переходивших улицу, разом воскликнули, указывая на спины Трейси и Бэрроу: «Вот он!» Это были Селлерс и Хокинс. Обоих до такой степени потрясла эта счастливая встреча, что пока они пришли в себя и попытались остановить конку, она была уже далеко. Тогда они решили дождаться следующей. Некоторое время они терпеливо ждали, но тут Вашингтон смекнул, что вряд ли удастся догнать одну конку на другой, и если уж продолжать охоту, то для этого нужен извозчик.

— Зачем? — возразил полковник. — Ведь если подумать, то нам вовсе ни к чему преследовать его. Раз я его материализовал, то могу и повелевать им как угодно. Я велю ему явиться к нам, и мы еще не успеем добраться до дома, как он уже будет ждать нас.

И они помчались домой в величайшем и радостном возбуждении.

Тем временем два новых друга, произведя замену шляпы, не спеша возвращались к себе в пансион. Бэрроу положительно сгорал от желания узнать побольше о своем спутнике. И он спросил:

— Вы когда-нибудь бывали в Скалистых горах?

«Как любопытно работает ум у романтиков, — подумал Бэрроу. — Этот молодой человек начитался у себя в Англии про ковбоев и всякие приключения в прериях, приехал сюда, купил себе ковбойскую одежду и думает, что может сойти за ковбоя, а сам ведь понятия не имеет, что такое ковбой. И теперь, когда его игру разгадали, ему стало стыдно и он уже готов идти на попятный. Вот он и придумал эту историю с обменом костюмами. Но она до такой степени шита белыми нитками, что дальше некуда. Что ж, он молод, нигде никогда не был, ничего на свете не знает и, конечно, сентиментален. Может быть, ему это показалось вполне естественным, но все-таки какая странная, дикая мысль — вырядиться ковбоем!»

Некоторое время новые друзья шли молча, занятые своими мыслями; вдруг Трейси тяжело вздохнул и сказал:

— Мистер Бэрроу, меня очень тревожит положение этого молодого человека.

— Вы имеете в виду Нэта Брейди?

— Ну да, Брейди, или Бекстера, или как его там зовут. Наш хозяин всякий раз называл его по-другому.

— Еще бы! Он ведь недаром был так щедр на фамилии — Брейди ему должен. Такая уж у мистера Марша манера острить, а он считает себя большим мастером по этой части.

— А что случилось с Брейди? Что он собой представляет, кто он?

— Брейди — жестянщик. Он ходил по домам и выполнял всякую мелкую работу; дела его шли хорошо, пока он не заболел и не потерял заработка. Он был очень популярен до этого, все в доме любили его. А старик — тот особенно к нему привязался; но вы же знаете: когда человек теряет работу и уже не может себя прокормить, люди начинают иначе на него смотреть и по-иному к нему относиться.

— Правда? Неужели это правда?

Бэрроу удивленно посмотрел на Трейси.

— Конечно правда. Не может быть, чтобы вы этого не знали! Неужели вы не знали, что раненого оленя обычно добивают его же друзья и товарищи?

Холодея от зловещего предчувствия, Трейси подумал: «Значит, в оленьей республике, как и в человеческой, где все равны и свободны, неудача считается преступлением и счастливицы приканчивают неудачников». Вслух же он сказал:

— Значит, чтобы быть популярным в этом пансионе и иметь друзей, а не встречать одно лишь презрение, надо преуспевать?

— Совершенно верно, — подтвердил Бэрроу. — Такова человеческая натура. Сейчас, когда Брейди не везет, все отвернулись от него и уже не испытывают к нему такой симпатии, как прежде; и не потому, что сам Брейди изменился к худшему, — он все такой же, и те же у него чувства, и тот же характер, — просто они... словом, Брейди — как бельмо на их

совести. Они понимают, что должны бы помочь ему, но слишком скаредны для этого, — вот им и стыдно. Казалось бы, ненавидеть за это они должны себя, а они ненавидят Брейди, потому что он заставляет их стыдиться. Такова уж человеческая натура; оно везде так, и наш пансион лишь уменьшенная копия большого мира, а жизнь всюду идет одинаково, и люди все одинаковые. Когда нам везет — нас все любят, без всяких усилий с нашей стороны; но вот наступают тяжелые дни — и друзья, как правило, отворачиваются от нас.

Благородные теории и великие цели, которыми была забита голова Трейси, на поверку оказались весьма подмоченными и стали расплзаться у него на глазах. У Трейси мелькнула мысль, уж не совершил ли он ошибки, отказавшись от своей легкой участи и взвалив себе на плечи тяготы, предусмотренные людям иного положения. Но он не позволил себе долго останавливаться на этой мысли, а поспешил выбросить ее из головы, твердо решив идти тем путем, который себе наметил.

Вот выдержки из его дневника:

«Уже несколько дней я нахожусь в этом странном людском улье. Право, не знаю, что и думать об этих людях. У них есть достоинства и добродетели, но есть и другие качества, с которыми трудно мириться. Мне, например, эти качества совсем не нравятся. Стоило мне появиться в обычной шляпе, как их отношение ко мне заметно изменилось. Почтительность, которую они прежде мне выказывали, вдруг куда-то исчезла, со мною стали держаться по-приятельски, более того — почти фамильярно; а я не привык к фамильярности и не могу заставить себя с места в карьер примириться с ней, — это я понял. Фамильярность же этих людей порой доходит до бесстыдства. Должно быть, так оно и нужно, и я, конечно, привыкну, но это будет болезненный процесс. Свершилось мое самое заветное желание: теперь я такой же человек, как и все, на равной ноге с каждым Томом, Диком и Гарри, и однако я не совсем так себе это представлял. Я... я скучаю по дому. Скажем прямо: одолела тоска по родине. И еще одно — хоть и не хочется, а придется признаться: больше всего и острее всего я ощущаю отсутствие почтительности, уважения, с какими ко мне всю жизнь относились в Англии, — этого мне страшно недостает. Я прекрасно обхожусь без роскоши и богатства, а также без того общества, к которому привык, но я остро ощущаю отсутствие уважения и, видимо, никогда не смогу примириться с этим. Нельзя сказать, чтобы почтительность и уважение здесь вообще не существовали, но они предназначены не для меня-Ими пользуются два человека. Один — дородный мужчина средних лет, удалившийся на покой водопроводчик. Каждый считает себя польщенным, если этот человек обратил на него внимание. Это важный, напыщенный, самодовольный невежда, который обожает разглагольствовать за столом, и когда он открывает рот, то даже собаки не смеют лаять. Другой — полицейский, дежурящий у Капитолия; он является представителем власти. Почтение, с каким относятся здесь к этим двум людям, не слишком отличается от того, какое оказывают графу в Англии, хотя оно и проявляется несколько иначе. Словом, все то же самое, кроме хороших манер.

Даже есть раболепие.

Похоже, что в республике, где все свободны и равны, богатство и положение равноценны *титulu*».

Глава XIII

Дни шли, и настроение у Трейси становилось все более и более безотрадным. Попытки Бэрроу найти ему работу ни к чему не привели. Всюду первым делом спрашивали: «В каком союзе состоите?»

Трейси вынужден был отвечать, что он не состоит ни в каком.

— Прекрасно, но в таком случае я не могу вас нанять. Мои рабочие уйдут от меня, если

я найму штрейкбрехера, или «крысу», или как это у них там называется.

Наконец Трейси осенила счастливая мысль.

— Все очень просто! — воскликнул он. — Надо скорее вступить в профсоюз, и дело с концом.

— Совершенно верно, — согласился Бэрроу, — так вы и сделайте... если сможете.

— Если *смогу*? А это трудно?

— Да, пожалуй, — сказал Бэрроу, — иногда это трудно, даже очень трудно. Но можно попытаться. Это, конечно, самый правильный путь.

И Трейси попытался вступить в профсоюз, но эти попытки ни к чему не привели. Ему неизменно и незамедлительно отказывали и советовали отправиться восвояси, откуда он прибыл, а не отбивать хлеб у честных людей. Трейси вынужден был признать, что положение создается отчаянное, — стоило ему над этим призадуматься, как его пробирал озноб. «Значит, и здесь есть аристократы, — сказал он себе, — но аристократы по положению и по толстому кошельку; кроме того, есть, видимо, аристократия, к которой принадлежат все исконные жители данной страны, в противоположность пришельцам, к которым принадлежу я. И ряды их с каждым днем растут. Словом, здесь существуют все виды каст, — но я вхожу лишь в одну из них: касту тех, кто не принадлежит ни к одной касте». Однако он не в состоянии был даже улыбнуться своему каламбуру, хотя в глубине души, пожалуй, гордился им. Он был так подавлен своими невзгодами и так несчастен, что уже не мог с философским спокойствием относиться к грубым шуткам, которые постояльцы верхних комнат разыгрывали друг над другом по вечерам. Сначала ему было приятно наблюдать их непринужденное веселье после тяжелого трудового дня, но сейчас это действовало ему на нервы, оскорбляло его достоинство. Ему надоело на это смотреть. Если его соседи были в хорошем настроении, они принимались кричать, возиться, петь песни, носиться по комнате, точно жеребята, а под конец, как правило, устраивали сражение подушками — швыряли их во всех направлениях и изо всей силы лупили друг друга по голове; при этом порой доставалось и Трейси, которого неизменно приглашали принять участие в общей возне. Его прозвали «Джонни Буль» и без всяких церемоний, фамильярно тащили в компанию. Сначала он великодушно все терпел, но последнее время стал показывать, что это ему противно, и вскоре заметил, что молодые люди стали по-иному относиться к нему. Они, говоря их языком, «взъелись». Трейси никогда не пользовался у них особой популярностью. Собственно, «популярность» — это вообще не то слово; просто раньше он казался им симпатичным, а теперь стал несимпатичен. А то, что ему не везло, что он не мог получить работу, не принадлежал ни к какому профессиональному союзу и не мог вступить ни в один, — лишь способствовало этой перемене. Он стал мишенью всяких нападков того неопределенного сорта, когда, строго говоря, нельзя придраться; он понимал, что от прямых оскорблений окружающих удерживало лишь одно — его бицепсы. Молодые люди видели, как утром, обтершись губкой, смоченной в холодной воде, он занимался гимнастикой, и по его телосложению и ловкости, с какою он выполнял упражнения, поняли, что он обладает физической силой и умеет боксировать. Тем не менее Трейси, зная, что уважение к себе он может снискать лишь при помощи кулаков, чувствовал себя довольно беззащитным. Как-то вечером, войдя в спальню, он застал там человек десять своих сожителей за оживленной беседой, перемежавшейся взрывами грубого хохота. При его появлении разговор мгновенно прекратился; наступившее мертвое молчание было уже само по себе оскорбительным.

— Добрый вечер, джентльмены, — сказал он и сел.

Никто не ответил. Трейси покраснел до корней волос, но удержался и ничего не сказал. Посидев некоторое время в этой неприятной тишине, он поднялся и вышел.

Не успел Трейси закрыть за собой дверь, как вслед ему раздался громкий хохот. Он понял, что все это делается нарочно, чтобы задеть его. Он поднялся на плоскую крышу, в надежде охладить немного свои разгоряченные чувства и успокоиться. Там он обнаружил молодого жестящика, одиноко сидевшего в мрачном раздумье, и заговорил с ним. Теперь

они находились почти в равном положении: оба были товарищами но несчастью, обоим не любили и обоим не везло, а потому им нетрудно было найти общую тему для беседы и в какой-то мере подбодрить и утешить друг друга. Но за Трейси следили, и через несколько минут его мучители один за другим вылезли на крышу и, казалось бы без всякой цели, принялись расхаживать взад и вперед. Вскоре, однако, они стали отпускать шуточки — явно по адресу Трейси, а иные — по адресу жестянщика. Главарем этой банды был коротко остриженный драчун и боксер-любитель по имени Аллен, привыкший командовать на верхнем этаже и уже не раз задиравший Трейси. Вот кто-то мяукнул, кто-то заухал, как сова, раздались свистки, и наконец началась словесная атака:

— Пара — это сколько человек?

— Обычно — двое, но бывают такие хлюпики, что как ни крути, а пары из них не получается.

Общий смех.

— Что это ты сейчас говорил насчет англичан?

— Да ничего, англичане — народ что надо, только... я...

Что же ты все-таки сказал?

— Я сказал только, что они хорошо умеют глотать.

— Лучше, чем другие?

— Еще бы, куда лучше.

— А что же они лучше всего глотают?

— Оскорбления.

Общий смех.

— Значит, трудно заставить их драться, да?

— Ну нет, вовсе нетрудно.

— В самом деле?

— Конечно нетрудно. Просто невозможно.

Снова смех.

— Этот, например, настоящий тьюфак — что верно, то верно.

— А он и не может быть иным при его-то положении.

— Почему?

— Да разве ты не знаешь тайны его рождения?

— Нет! А у него есть тайна?

— Ну конечно.

— Какая же?

— Его отец был восковой фигурой.

Аллен вразвалочку направился к тому месту, где сидели два молодых человека, остановился возле них и спросил у жестянщика:

— Ну, как у нас дела нынче по части друзей?

— Ничего, спасибо.

— Много набрал?

— Столько, сколько нужно.

Друг иногда ведь ценен тем, что может заступиться. А что, по-твоему, произойдет, если я сорву с тебя кепку и отхлещу тебя ею по физиономии?

— Оставьте меня, пожалуйста, в покое, мистер Аллен, я ничего вам не сделал.

— Ты отвечай мне! Что, по-твоему, произойдет?

— Не знаю.

Тут очень медленно и отдельно Трейси произнес:

— Оставьте его в покое! Я могу вам сказать, что произойдет.

— В самом деле можете? Вот как! Ребята, Джонни Буль может сказать нам, что произойдет, если я сорву с этого малого кепку и отхлещу ею его по морде. Внимание, смотрите!

Он сорвал с молодого человека кепку и ударил его по лицу; и не успел он спросить, что

произойдет, как это уже произошло, и его широкая спина согревала железо крыши. Все бросились к нему; раздались крики: «Ринг, очертите ринг! Драться — так по всем правилам! Джонни молодчина! Пусть все будет по-честному».

На крыше быстро очертили мелом круг. Трейси ощущал такое нетерпение схватиться с противником, точно перед ним был какой-нибудь принц, а не простой рабочий. В глубине души он несколько удивлялся этому, ибо, хотя уже давно исповедовал теорию равенства, никак не предполагал, что ему захочется помериться силой с каким-то грубияном простолудином. В мгновение ока все окна, а также и крыши соседних домов заполнились народом. Зрители отступили на несколько шагов, и драка началась. Но Аллену было далеко до молодого англичанина. Он не мог равняться с ним ни по силе мускулов, ни по умению боксировать. То и дело он распластывался на крыше, — вернее, не успевал подняться, как снова валился под бурные аплодисменты окружающих. Наконец Аллен уже не мог подняться без посторонней помощи. Трейси отказался добивать его, и драка окончилась. Друзья унесли Аллена в весьма плачевном состоянии: лицо у него было все в синяках и в крови. Трейси тотчас окружили, стали поздравлять и говорить, что он оказал всему дому услугу и что отныне мистеру Аллену придется попридержаться язык, а не сыпать направо и налево оскорблениями, понося постояльцев.

Теперь Трейси стал героем и человеком очень популярным. Пожалуй, никто и никогда еще не завоевывал такой популярности на верхнем этаже. Но если Трейси нелегко было терпеть неприязнь молодых людей, то еще труднее было ему сносить их необузданные похвалы и преклонение. Это казалось ему унижительным, однако он старался не вдаваться в анализ причин. Для собственного успокоения он внушил себе, что это чувство униженности объясняется очень просто: ведь он дрался на виду у всех, на крыше, ради потехи целого квартала, а то и двух. Но он и сам не очень был удовлетворен таким объяснением. Однажды он дошел до того, что сравнил себя с блудным сыном и даже написал в дневнике, что тому было куда легче жить. Блудному сыну приходилось только кормить свиней, но не водить с ними компанию. Впрочем, Трейси поспешил вычеркнуть эти строки, сказав себе: «Все люди равны. Не могу же я отречься от собственных принципов. Эти люди ничуть не хуже меня».

Трейси стал популярен и в нижних этажах. Все были благодарны ему за то, что он поставил Аллена на место и отбил у него охоту безобразничать, — теперь тот мог лишь грозить расправой, но переходить от слов к делу боялся. Девушки, которых было в пансионе с полдюжины, всячески старались выказывать Трейси внимание, особенно всеобщая любимица — Хетти, дочка хозяйки.

— По-моему, вы такой милый, — нежным голосом сказала как-то она.

А когда он сказал:

— Я рад, что вы так думаете, мисс Хетти, — она еще более нежно прожурчала:

— Не зовите меня мисс Хетти, зовите просто Киска.

Вот это был шаг вперед! Теперь Трейси достиг вершины. В этом пансионе больших высот не было. Он уже действительно был всеми признан.

На людях Трейси держался спокойно, но в душе у него царили тоска и отчаяние.

Скоро у него кончатся деньги. И что будет тогда? Он жалел теперь, что не заимствовал побольше из средств незнакомца. Он лишился сна. Все одна и та же мучительная, страшная мысль снова и снова всплывала в его мозгу, сверлила, точно бурав: что делать? что станет с ним? И вместе с нею в последнее время стала появляться другая, похожая на сожаление: зачем ему понадобилось брать на себя великую и благородную миссию мученика, почему не сиделось дома, почему он не мог довольствоваться своим графским титулом и не искать ничего иного, — словом, приносить столько пользы, сколько может принести граф? Но он душил в себе эту мысль, как только мог; он делал все, чтобы прогнать ее, и все-таки не мог помешать ей являться к нему время от времени, а являлась она всякий раз неожиданно и мучила его как ушиб, как укус, как ожог. Он узнавал эту мысль по особой остроте причиняемой ею боли. Другие мысли тоже были достаточно мучительны, но эта резала по живому. Из ночи в ночь он лежал без сна, ворочаясь под аккомпанемент омерзительного

храпа честных тружеников; затем часа в два или в три вставал и отправлялся на крышу, где иногда ему удавалось уснуть, а иногда нет. У него стал пропадать аппетит, а вместе с ним и всякое желание жить. Наконец в один прекрасный день, дойдя почти до полного отчаяния, он сказал себе — и покраснел при этом от смущения: «Если бы мой отец знал, под каким именем я живу в Америке, он бы... Мой долг по отношению к отцу *обязывает* меня сообщить ему мое имя. Я не имею права заставлять его страдать дни и ночи, — я и так уже причинил нашей семье достаточно неприятностей. Право, он должен знать, как меня зовут в Америке». Пораздумав еще немного, Трейси составил в уме каблограмму следующего содержания: «Живу в Америке под именем Ховарда Трейси».

Текст самый невинный. Отец может истолковать такую каблограмму как угодно, но, конечно, истолкует ее правильно — как желание покорного и любящего сына подать о себе весточку и порадовать старика отца. Продолжая размышлять на эту тему, Трейси натолкнулся на такую мысль: «Да, но если он пришлет мне телеграмму с требованием вернуться домой? Я... я... не смогу этого сделать... я не *должен* этого делать. Я взял на себя определенную миссию, и было бы трусостью все бросить. Нет, нет, я не могу вернуться домой, во... во..., во всяком случае, у меня не должно быть такого желания». А потом подумал: «Впрочем... может быть... учитывая обстоятельства, мой *долг* — вернуться? Отец ведь очень стар, и я должен быть при нем, поддержать его при спуске с длинной горы, что ведет к закату его жизни. Ну, я еще об этом подумаю. Да, нехорошо это будет, если я здесь останусь. Я... если я... А что если написать ему несколько слов? Тогда можно будет еще немного повременить, не ехать сразу, а его это успокоит. Ведь если... словом, если уехать немедленно, по первому его требованию, это значит — все зачеркнуть». Трейси еще немного подумал и сказал себе: «Однако если он этого потребует, не знаю, но... о господи... *домой!* Как чудесно это звучит! И разве можно винить человека за то, что ему хочется видеть свой дом — хотя бы время от времени?»

Он пошел в телеграфную контору, находившуюся неподалеку, и впервые столкнулся с тем, что Бэрроу называл «обычной вашингтонской любезностью», — когда «с тобой обращаются, как с бродягой, пока не обнаружат, что ты конгрессмен, и тогда оближут с головы до пят». В телеграфной конторе сидел парнишка лет семнадцати и завязывал шнурок на ботинке. Он поставил ногу на стул и повернулся спиной к окошечку. При появлении Трейси он посмотрел через плечо, смерил клиента взглядом, снова отвернулся и занялся ботинком. Трейси написал текст каблограммы и стал ждать; он ждал, и ждал, и ждал, пока кончится церемония завязывания шнурка, но ей, должно быть, конца не предвиделось, а потому Трейси попросил:

— Не могли бы вы принять у меня телеграмму?

Парнишка только посмотрел через плечо, всем своим видом говоря: «Неужели вы не можете подождать минутку?»

Наконец он все-таки завязал шнурок, подошел, взял каблограмму, пробежал текст глазами, затем удивленно уставился на Трейси. В его взгляде Трейси увидел, — а может быть, ему только так показалось, потому что он уже давно отвык от этого, — бесконечную почтительность, граничащую чуть ли не с благоговением.

Парнишка, весь расплывшись от удовольствия, со смаком громко прочел фамилию адресата:

— Графу Россмору!.. Рехнуться можно! Вы его знаете?

— Да.

— В самом деле? А он вас знает?

— Ну конечно.

— Ну и ну! И он вам ответит?

— Думаю, что да.

— Правда? А куда вам доставить ответ?

— Да никуда. Я сам зайду за ним. Когда зайти?

— Ну, не знаю, я его пришлю вам. Только скажите куда. Дайте адрес: я пришлю вам

ответ, как только он придет.

Но Трейси отнюдь не собирался давать свой адрес. Он возбудил в парнишке такое восхищение и почтительное уважение, что ему не хотелось портить дело, а это несомненно случилось бы, если бы он дал адрес своего пансиона. Поэтому он еще раз повторил, что зайдет за телеграммой сам, и ушел.

Неторопливо шагая по улице, он предавался размышлениям. И вот каким: «А все-таки приятно, когда тебя уважают. Я добился уважения со стороны мистера Аллена и еще кое-кого, а со стороны некоторых — даже почтения, однако это почтение я заслужил тем, что отлупил Аллена. Но если такого рода почтение — иначе это, пожалуй, нельзя назвать — и уважение приятны, то насколько приятнее почтение, которое воздают тебе за бутафорию, за что-то совсем уж нереальное. Ну какая заслуга в том, что я послал телеграмму графу? Однако этот парнишка повел себя так, точно это бог знает что».

Итак, он отправил домой каблогранму. Мысль об этом преисполняла Трейси ликования. Шаг его стал более легким, пружинистым. Сердце пело от радости. Отбросив все сомнения, он признался себе, что будет бесконечно, бесконечно счастлив отказаться от своего эксперимента и вернуться домой. Нетерпение, с каким он ждал ответа от отца, стало возрастать, и притом с поразительной быстротой. Битый час он пробродил по городу, стараясь развлечься, но ничто больше не интересовало его. Наконец он снова явился в контору и спросил, не пришел ли ему ответ.

— Нет, ответа пока нет, — сказал парнишка. Затем посмотрел на часы и добавил: — Едва ли вы получите его сегодня.

— А почему?

— Видите ли, уже довольно поздно. К тому же трудно сказать, где может находиться человек, если он живет на другом краю света, и не всегда его можно сразу найти; и потом, видите, сейчас около шести часов, это значит, что там уже ночь.

— Да, конечно, — сказал Трейси. — Я не подумал об этом.

— Ну да, там сейчас довольно поздно: этак половина одиннадцатого или одиннадцать. Конечно, вы едва ли получите ответ сегодня.

Глава XIV

Делать было нечего, и Трейси отправился домой ужинать. Ароматы, наполнявшие столовую, казались ему сегодня еще более омерзительными и невыносимыми, чем когда-либо, и он с радостью подумал, что скоро перестанет их ощущать. Когда ужин кончился, он не мог бы даже сказать, ел он что-нибудь или нет, и уж конечно он не слышал ни слова из того, что говорилось за столом. Сердце его ликовало, мыслями он был далеко: он вспоминал роскошные апартаменты в замке своего отца — и притом без всякого отвращения. Даже лакей в плюше, этот ходячий символ мишурного неравенства, не казался ему сейчас таким уж неприятным. После ужина Бэрроу предложил:

— Пойдемте со мной. Обещаю вам интересный вечер.

— Отлично. А куда вы идете?

— К себе в клуб.

— В какой же это?

— В Дискуссионный рабочий клуб.

Трейси слегка передернуло. Он ничего не сказал о том, что уже побывал там. Почему-то ему неприятно было вспоминать об этом. Чувства, которые он испытывал в ту пору и благодаря которым он получил столько удовольствия от посещения клуба и преисполнился такого энтузиазма, претерпели с тех пор значительные изменения и сейчас были ему настолько чужды, что перспектива вторичного посещения клуба не вызывала у него ни малейшего восторга. По правде сказать, ему было стыдно даже идти туда: общение с этими людьми, весь образ их мыслей лишь отчетливее выявят ту огромную перемену,

которая произошла в нем самом. А потому он предпочел бы не ходить туда. Он опасался услышать высказывания, которые теперь прозвучат ему укором, и с радостью уклонился бы от этого посещения. Однако он не желал признаваться в своих чувствах, не желал открывать их или показывать, что ему не хочется идти, а потому он заставил себя отправиться в клуб вместе с Бэрроу, решив при первой возможности сбежать.

После того как докладчик прочел свой доклад, председатель объявил о начале дебатов на тему предыдущего собрания: «Американская печать». Это известие немало огорчило нашего отступника. Оно вызвало слишком много воспоминаний. Он предпочел бы, чтобы обсуждался какой-нибудь другой предмет. Но дебаты начались; он сидел и слушал.

Один из выступавших в прениях, кузнец по имени Томпкинс, принялся поносить всех монархов и аристократов мира за то, что эти бездушные эгоисты не желают отказываться от почестей, которых они никак не заслужили. Он сказал, что всем монархам и сыновьям монархов, всем лордам и всем сыновьям лордов должно быть стыдно смотреть людям в лицо. Стыдно за то, что они незаслуженно владеют титулами, собственностью и привилегиями в ущерб другим людям; стыдно за то, что они готовы на любых условиях сохранять свои права, бесчестно добытые в результате многовекового ограбления и ущемления народа. Далее он сказал:

— Если бы здесь был лорд или сын лорда, я хотел бы поспорить с ним и попытаться доказать ему, насколько неправильны и эгоистичны его взгляды. Я попытался бы убедить его отказаться от них, стать в ряды обычных людей, жить на равных правах со всеми, зарабатывать себе на хлеб и пренебречь той почтительностью, с какою относятся к нему благодаря этой мишуре — его титулу, ибо сам он такого отношения ничем не заслужил.

Трейси казалось, что он слышит самого себя, — ведь такие же мысли высказывал он на родине в беседах со своими друзьями радикалами. У него было такое впечатление, что кто-то записал на валик фонографа его речи и привез этот валик сюда, за Атлантический океан, чтобы обвинить его в измене и отступничестве. Каждое слово кузнеца было как удар ножом по совести Трейси, и к концу выступления совесть его превратилась в сплошную рану. С каким глубоким состраданием говорил оратор о поработанных и угнетаемых миллионах людей, населяющих Европу, вынужденных сносить презрение какой-то жалкой кучки, этого класса владык, установившего свои троны на залитых солнцем вершинах, куда остальным заказаны пути! А ведь Трейси сам частенько высказывал те же мысли. Сострадание, звучавшее в голосе этого человека, и слова, которые он подбирал для выражения своих чувств, были сродни тому состраданию, что в свое время жило в его сердце, и тем словам, что слетали с его собственных уст, когда он думал об угнетенных.

Обратный путь два новых друга совершили в мрачном молчании. Для Трейси это молчание было сущим благом. Он ни за что не согласился бы нарушить его, ибо его, как огнем, опалял стыд. Он все повторял про себя: «До чего же трудно что-то на это возразить... просто невозможно! Ведь действительно низко, бессовестно, эгоистично пользоваться незаслуженными привилегиями, и все же... все же... А черт, только подлец...»

— Какую дурацкую речь произнес этот Томпкинс! — воскликнул вдруг Бэрроу.

И восклицание это было как целительный бальзам для смятенной души Трейси. Ничего более приятного ваш несчастный колеблющийся юный отступник никогда в жизни не слышал, ибо слова эти смывали с него пятна позора, а когда собственная совесть отказывается тебя оправдать, лучшей услуги не придумаешь.

— Зайдемте ко мне, Трейси, выкурим по трубочке.

Трейси ожидал этого приглашения и заранее приготовил отказ, но теперь он рад был его принять. Неужели можно было противопоставить какие-то разумные возражения уничтожающей речи, которую произнес кузнец? Трейси не терпелось услышать доводы Бэрроу. Он знал, как заставить его разговаривать: надо сделать вид, будто оспариваешь его взгляды, — метод, действующий, кстати, на многих людей.

— А что, собственно, вам не понравилось в речи Томпкинса, Бэрроу?

— Да то, что он не учитывает человеческую природу и требует от людей того, чего сам

никогда бы не сделал.

— Вы хотите сказать...

— Вам непонятно? А дело простое. Томпкинс — кузнец, у него здесь семья, он работает ради жалованья, и работает много: если станешь дурака валять, сыт не будешь. Представим себе, что в Англии умирает некий человек и наш кузнец становится графом с доходом в полмиллиона долларов в год. Как бы он в таком случае поступил?

— Ну я... я полагаю, что он отказался бы от...

— Да что вы, он ухватился бы за эту возможность обеими руками!

— Вы в самом деле думаете, что он так бы поступил?

— Думаю? Я не думаю, а знаю.

— Почему?

— Почему? Да потому, что он не дурак.

— Значит, вы полагаете, что если бы он был дураком, он бы...

— Нет, я этого не думаю. Дурак или не дурак, все равно бы он живехонько сгрел наследство. Да и кто Угодно поступил бы так на его месте. Любой живой человек. Мертвец и тот, наверно, вылез бы ради этого из могилы. Я, например, поступил бы именно так.

Эти слова были бальзамом, исцелением; они несли Трейси покой, наслаждение, отдых.

— А я думал, что вы против знати.

— Да, я против передачи привилегий по наследству. Но не в этом дело. Я против миллионеров, но лучше не предлагать мне поменяться с ними местом.

— Вы согласились бы?

— Я не пошел бы на похороны злейшего моего врага, лишь бы поскорее взвалить на себя тяготы и заботы миллионера.

— Я не вполне уверен, что понимаю вас, — подумав немного, сказал Трейси. — Вы говорите, что вы против передачи привилегий по наследству, и тем не менее, если бы представился случай, вы бы...

— Ухватился за него? Да в ту же минуту! И во всем этом клубе не найдется рабочего, который бы так не поступил. Нет такого адвоката, доктора, издателя, писателя, жестянщика, бездельника, председателя железнодорожного акционерного общества, святого... да во всех Соединенных Штатах не сыщется такого человека, который упустил бы подобный случай!

— Кроме меня, — тихо произнес Трейси.

— *Кроме вас!* — Бэрроу чуть не задохнулся от возмущения. Казалось, кроме этих двух слов, он не в силах ничего выговорить: они, как плотина, преградили путь его красноречию. Он вскочил с места, подошел к Трейси, гневно и с сожалением посмотрел на него и повторил: — *Кроме вас!* — Затем обошел вокруг, поглядел на Трейси с одной стороны, потом с другой, время от времени облегчая душу возмущенным возгласом: — *Кроме вас!* — Наконец тяжело опустился на стул с видом человека, отказывающегося от своего первоначального замысла, и сказал: — Он, видите ли, из последних сил надрывается в поисках какой-нибудь самой жалкой работенки, за которую и собака не взялась бы, и еще имеет наглость заявлять, что, подвернись ему возможность прикарманить графский титул, он бы отказался от этого! Вот что, Трейси, лучше не выводите меня из себя. Я уже не могу похвастать таким здоровьем, как прежде.

— У меня вовсе не было таких намерений, Бэрроу, я только хотел сказать, что если мне когда-либо представится возможность стать графом...

— Ну вот, опять! Я бы на вашем месте не ломал себе над этим голову. И потом, на этот вопрос я могу ответить за вас. Вы что, из другого теста, чем я?

— М-м... нет.

— Вы что, лучше меня?

— О... э... Нет, конечно.

— Значит, вы *такой же*, как я? Да говорите же!

— Дело в том, что я... Видите ли, этот вопрос для меня несколько неожидан...

— Неожидан? Что же тут неожиданного? Разве это такой уж трудный вопрос? Какие

тут могут быть сомнения? Надо только сравнить нас, исходя из единственно верного критерия — критерия личных достоинств, — и тогда придется, конечно, признать, что столяр, зарабатывающий свои двадцать долларов в неделю, прошедший хорошую жизненную школу, соприкасавшийся с самыми разными людьми, знавший заботы и лишения, удачи и неудачи, взлеты и падения, падения и взлеты, весит, пожалуй, больше такого юнца, как вы, который и делать-то ничего толком не умеет, не способен обеспечить себе постоянный заработок, понятия не имеет, что такое жизнь и ее тяготы, все свои познания приобрел искусственным путем — через книги, что, конечно, украшает человека, но не идет ни в какое сравнение с настоящими знаниями, приобретенными опытом. А теперь скажите: если я не откажусь от графства, то какое, черт возьми, право имеете на это вы?

Трейси постарался скрыть свою радость, хотя в душе был бесконечно признателен столяру за его речь. Тут ему вдруг пришла в голову новая мысль, и он поспешил ее высказать.

— Послушайте, — сказал он, — я, право, не могу понять, к чему сводятся ваши взгляды, ваши принципы, если только это принципы. Вы непоследовательны. Вы против аристократии — и тем не менее приняли бы графский титул, если б представилась возможность. Следует ли это понимать так, что вы не осуждаете графа за то, что он граф и остается графом?

— Конечно нет.

И вы бы не осудили Томпкинса, или себя, или меня, или кого угодно, если бы кто-либо из нас принял графский титул?

— Безусловно нет.

— В таком случае, кого же вы бы осудили?

— Народ в целом, население любого города, любой страны, всех тех, кто мирится с этим позором, оскорблением, бесчестьем — существованием наследственной аристократии, иначе говоря: касты, куда большинству закрыт доступ и куда вы не можете вступить на равных основаниях с остальными.

— Послушайте, не путаете ли вы мелкие отличия с коренными различиями?

— Нисколько. У меня на этот счет совершенно ясные представления. Если бы я мог положить конец существованию аристократии как системы, отказавшись от чести принадлежать к ней, я был бы мерзавцем, вступив в ее ряды. Больше того: если бы достаточное количество народа поддержало меня и помогло положить конец этой системе, я был бы мерзавцем, откажись я присоединиться к ним.

— Мне кажется, я понял вас... да, я уловил вашу мысль. Вы не вините тех немногих счастливиц, которые, естественно, отказываются уйти из уютных гнездышек, уготованных им от рождения, но вы презираете всемогущую темную массу народа, которая позволяет этим гнездышкам существовать.

— Вот именно, вот именно! Вы, оказывается, можете усвоить и простые вещи, если как следует постараетесь.

— Благодарю вас.

— Не стоит благодарности. И я хочу дать вам один разумный совет: если, вернувшись к себе, вы увидите, что ваш народ поднялся и готов сбросить с себя вековой гнет, помогите ему; но если ничего подобного не происходит, а вам представится случай получить графский титул — не будьте дураком, берите.

— Клянусь, именно так я и поступлю! — восторженно откликнулся Трейси.

Бэрроу расхохотался.

— В жизни не видал такого парня! Я начинаю думать, что у вас неплохо развито воображение. Для вас самая дикая фантазия в мгновение ока превращается в реальность. У вас был такой вид, точно вы нисколько бы не удивились, если б вдруг оказались графом. — Трейси покраснел. А Бэрроу продолжал: — Графом! Конечно, надо хватать титул, если он вам подвернется, а пока будем продолжать наши скромные поиски, и если нападём на место колбасника за шесть — восемь долларов в неделю, я бы советовал вам забыть о графском

тителе, как о прошлогоднем снеге, и заняться изготовлением сосисок.

Глава XV

Трейси лег спать со спокойной душой, снова чувствуя себя счастливым. Рассуждал он при этом так: он взялся за смелое предприятие — это он может поставить себе в заслугу; боролся с жизнью как только мог в неблагоприятных для него обстоятельствах, — это тоже он может поставить себе в заслугу; потерпел поражение — что же в этом позорного? А поскольку он потерпел поражение, он имеет право отступить, не роняя своего достоинства, и, нисколько не терзаясь, вернуться на то место, которое он занимал в обществе и которое было уготовано ему от рождения. И почему бы ему не вернуться? Даже такой рьяный республиканец, как столяр, и тот не стал бы раздумывать. Да, совесть его может быть вполне спокойна.

Проснулся он свежий, счастливый, исполненный нетерпения поскорее получить от отца каблограмму. Он родился аристократом, побыв некоторое время в демократах и теперь вновь стал аристократом. Удивляло его то, что перемена произошла не только в его сознании, но и в чувствах: у него, например, исчезло ощущение искусственности, которое он испытывал уже давно. Он мог бы также заметить, если бы понаблюдал за собой, что его осанка за одну ночь стала более надменной, а подбородок слегка задрался кверху. Спустившись в нижний этаж, он только было хотел войти в столовую, как заметил в плохо освещенном углу передней старика Марша, который пальцем поманил его к себе. Кровь медленно прилила к щекам Трейси, и он спросил с надменностью герцога, оскорбленного в своем достоинстве:

— Вы это меня?

— Да.

— Для какой цели?

— Я хочу поговорить с вами... наедине.

— Для меня и здесь достаточно уединенно.

Марш удивился: ответ этот не очень ему понравился.

— Ну, если вы предпочитаете говорить на людях, — заметил он, приближаясь к своему постояльцу, — извольте. Только запомните, что не я этого пожелал.

Привлеченные громким разговором, остальные постояльцы тотчас окружили их.

— Говорите же, — сказал Трейси. — Что вам угодно?

— М-м, не кажется ли вам... м-м... что вы забыли кое о чем?

— Я? Нет, мне этого не кажется.

— В самом деле? Ну а если вы минутку подумаете?

— Я отказываюсь думать. И вообще это меня не интересует. Если же это интересует вас, то объясните, в чем дело.

— Прекрасно, — сказал Марш, слегка повышая голос: чувствовалось, что он рассердился. — Вы вчера забыли заплатить за пансион... Вам ведь так *хотелось*, чтобы я сказал это при всех.

Ну конечно, наследник годового дохода в миллион фунтов унесся мечтами в заоблачные выси и забыл заплатить какие-то жалкие три или четыре доллара. И в наказание ему грубо объявили об этом в присутствии всех этих людей — людей, на чьих лицах уже начало отражаться удовольствие при виде затруднительного положения, в какое он попал.

— Только и всего? Забирайте ваши гроши и успокойтесь.

Возмущенным жестом Трейси решительно сунул руку в карман. Но... обратно ее не вынул. Краска постепенно исчезла с его лица. Окружающие взирали на него с возрастающим интересом, а кое-кто — с несомненным удовлетворением. Последовала неловкая пауза, затем он с трудом выдавил из себя:

— Я... меня обокрали!

Глаза у старика Марша вспыхнули, как у истинного испанца.

— Обокрали, значит! — воскликнул он. — Вот что вы запели! Старо! Слишком часто поют эту песенку в нашем доме, все поют — кто не может получить работу, хотя хочет работать, и кто не желает работать, хотя имеет ее. Эй, сходите-ка кто-нибудь за мистером Алленом: посмотрим, что он запоет. Его очередь следующая, он тоже забыл вчера заплатить. Я жду его.

Тут с лестницы стремительно скатилась одна из негритянок, — лицо ее, перекошенное от ужаса и возбуждения, так побледнело, что она из темно-шоколадной стала светло-кофейной.

— Мистер Марш, мистер Аллен удрал!

— Что?!

— Да, сэр, и начисто обобрал всю комнату; и оба полотенца прихватил и мыло!

— Врешь, мерзавка!

— Все точно так, как я вам говорю. И еще нету носков мистера Самнера и второй рубашки мистера Нейлора.

Тут мистер Марш, уже дошедший до точки кипения, повернулся к Трейси.

— Отвечайте немедленно: когда вы намерены со мной расплатиться?

— Сегодня, раз вам так не терпится.

— *Сегодня*, вот как! А сегодня воскресенье, и вы, насколько мне известно, без работы!

Мне это нравится! Ну-ка, откуда же вы возьмете деньги?

Трейси снова вспыхнул. Ему захотелось показать окружающим, с кем они имеют дело.

— Я жду каблограмму из дому.

Старик Марш от изумления разинул рот. В первую минуту у него дух перехватило — таким грандиозным, таким удивительным было то, что он услышал. Когда же он вновь обрел способность дышать, то с ядовитым сарказмом произнес:

— Каблограмму, значит! Нет, вы только подумайте, леди и джентльмены, он ждет каблограмму! Он ждет каблограмму — этот мошенник, это ничтожество, этот жулик! От своего папаши, конечно? Ну, несомненно. Доллар или два за слово — о, это сущая ерунда, для них совершенный пустяк, ведь у него такой папаша. Он... м-м... по-моему, он...

— Мой отец — английский граф!

Окружающие попятнулись от изумления — попятнулись, пораженные таким нахальством безработного парня. Затем раздался взрыв громового хохота, от которого задрожали стекла. Трейси был слишком зол, чтобы понимать, какую он сделал глупость.

— Ну-ка, пропустите, — сказал он. — Я...

— Обождите минуточку, ваше сиятельство, — заметил Марш, склоняясь в низком поклоне. — Куда это ваше сиятельство изволит идти?

— За каблограммой. Пропустите меня.

— Извините, ваше сиятельство, но вы останетесь там, где вы сейчас стоите.

— Что это значит?

— Это значит, что я не со вчерашнего дня держу пансион. Это значит, что я не из тех, кого может провести сын какой-нибудь прачки, который вздумает явиться в Америку, потому что дома для него дела не нашлось. Это значит, что я не дам провести себя за нос и не позволю вам...

Трейси шагнул к старику, но тут между ними бросилась миссис Марш.

— Пожалуйста, мистер Трейси, не надо! — воскликнула она. И, повернувшись к мужу, сказала: — Попридержи-ка язык! Что он сделал, чтобы так с ним обращаться? Неужели ты не видишь, что он потерял разум от горя и отчаяния? Он не отвечает сейчас за свои поступки.

— Спасибо за вашу доброту, сударыня, но я вовсе не потерял рассудка, и если мне позволят такую малость, как дойти до телеграфной конторы...

— Нет, не позволят! — выкрикнул Марш.

— ... или послать туда кого-нибудь...

— Послать! Нет, это уж слишком. Если найдется такой болван, который готов отправиться с этим дурацким поручением...

— Вот идет мистер Бэрроу, он сходит ради меня. Бэрроу!..

Со всех сторон тотчас раздалось:

— Знаешь, Бэрроу, он ждет каблограмму!

— Каблограмму от своего папаши, понятно?

— Ну да, каблограмму от восковой фигуры!

— Знаешь, Бэрроу, этот парень — граф; сними-ка шляпу перед ним да одерни куртку.

— Ну да! Он приехал к нам, правда, без короны, которую надевает по воскресеньям, — забыл в спешке и теперь телеграфировал папаше, чтобы тот выслал ее.

— Сбегай-ка за каблограммой, Бэрроу, а то его сиятельство немножко охромел.

— Да перестаньте вы! — прикрикнул на них Бэрроу. — Дайте человеку слово сказать. — Он повернулся и спросил сурово: — Что с вами, Трейси? Какую чепуху вы несете! Я думал, вы умнее.

— Никакой чепухи я не несу. И если бы вы сходили для меня на телеграф...

— Да перестаньте вы. Я ваш истинный друг и не оставлю вас в беде, я готов защищать вас и при вас и без вас, но когда речь идет о чем-то разумном, а сейчас вы совсем потеряли голову, и эта дурацкая выдумка насчет каблограммы...

— Я схожу и принесу ее вам!

— От всей души благодарю вас, Брейди. Сейчас я напишу, чтобы вам ее выдали. Вот. Бегите теперь и принесите ее. Тогда увидим, кто прав!

Брейди помчался со всех ног. И собравшиеся тотчас утихомирились, что бывает всегда, когда в душу заползает сомнение, опаска: «А вдруг он и в *самом деле* ждет каблограмму... может, у него и в *самом деле* есть где-то отец... может, мы поторопились и пересолили?» Гомон стих, а потом прекратились и шушуканья, перешептыванья, разговоры вполголоса. Толпа начала расходиться. По двое, по трое постояльцы уходили в столовую завтракать. Бэрроу попытался уговорить и Трейси пойти к столу, но тот сказал:

— Не сейчас, Бэрроу, немножко погодя.

Миссис Марш и Хетти ласково и мягко пытались убедить его позавтракать. Но он сказал:

— Я лучше подожду, пока вернется Брейди.

Даже старик Марш призадумался, не слишком ли он «перегнул палку», как он это назвал в душе, и, взяв себя в руки, направился к Трейси с явным намерением пригласить его к завтраку, но Трейси отклонил его приглашение жестом достаточно красноречивым и решительным. Затем в течение четверти часа в доме царила мертвая тишина, какой здесь никогда не бывало в такое время дня. Тишина эта была исполнена такой торжественности, что, если у кого-либо из рук выскальзывала чашка и звякала о блюде, все вздрагивали, — настолько неуместным и непристойным казался этот резкий звук, словно в столовую с минуты на минуту должны были внести гроб, сопровождаемый плакальщиками. А когда на лестнице наконец послышались шаги Брейди, с грохотом спускавшегося вниз, это показалось и вовсе святотатством. Все тихонько поднялись и повернулись к двери, возле которой стоял Трейси, затем в едином порыве сделали два-три шага к нему и остановились. Тут в комнату влетел запыхавшийся Брейди и вручил Трейси — в самом деле вручил! — конверт. Трейси устремил победоносный торжествующий взгляд на собравшихся и смотрел до тех пор, пока они один за другим не опустили глаза, смущенные и побежденные. Тогда он вскрыл конверт и прочел телеграмму. Желтая бумажка выпала из его рук и полетела на пол, а он побелел, как полотно. В телеграмме было всего лишь одно слово: «Благодарю».

Местный шутник, высокий тощий Билли Неш, конопатчик с военных доков, стоял позади всех. И вот среди воцарившегося патетического молчания, начинавшего уже действовать на иные сердца, преисполняя их сострадания к юноше, раздался вдруг его всхлипыванья, затем он приложил платок к глазам, уткнулся в плечо самого застенчивого парня из всей компании — кузнеца, работавшего в том же доке, и, причитая: «Ах, папочка,

как ты мог!», принялся реветь, точно грудной младенец, — если только бывают младенцы, которые режут столь оглушительно, точно взбесившиеся ослы.

Подражание детскому крику было таким совершенным, самый крик был таким пронзительным, а вид шутника до такой степени нелепым, что всю торжественность точно ураганом смело, и раздался взрыв общего громового хохота. Потом толпа принялась мстить — мстить за те минуты неловкости и опасений, которые им пришлось пережить. Они издевались над своей бедной жертвой, дразнили Трейси, травили его, как собака травит загнанную в угол кошку. Жертва огрызалась, вызывая их всех на бой, что лишь распалило молодежь, придавая забаве большую остроту; но когда Трейси изменил тактику и принялся вызывать своих обидчиков поодиночке, обращаясь к каждому по имени, развлечение перестало быть забавным и интерес к нему вместе с шумом постепенно спал.

Наконец Марш решил, что настал его черед, но тут вмешался Бэрроу:

— Ну, хватит, оставьте его в покое. У вас ведь никаких счетов нет с ним, кроме денежных. А это я беру на себя.

Расстроенная и обеспокоенная хозяйка одарила Бэрроу взглядом, исполненным пламенной благодарности за такое отношение к несчастному чужеземцу, а всеобщая любимица в дешевеньком, но премиллом воскресном платьице радужных тонов послала ему воздушный поцелуй и, грациозно кивнув головкой, проворковала с очаровательнейшей улыбкой:

— Вы здесь единственный мужчина, и я объявляю вас своим избранником, прелесть вы такая!

— Как тебе не стыдно, Киска?! Разве можно так говорить? В жизни не видывала такого ребенка!

Потребовалось немало убеждений и уговоров — другими словами, улещиваний, — чтобы заставить Трейси позавтракать. Сначала он сказал, что никогда в жизни не будет больше есть в этом доме; он уверен, что у него хватит на это характера, и лучше он умрет с голоду, как подобает мужчине, чем будет есть хлеб, приправленный оскорблениями.

Когда он кончил с завтраком, Бэрроу повел его к себе в комнату, дал ему трубку и весело сказал:

— Ну, старина, снимайте с крыши боевой флаг: вы больше не во вражеском стане. Вы немножко расстроены, и это вполне естественно, но раз нельзя помочь беде, надо выбросить из головы все мысли о ней: ухватите их за уши, за ноги, за что угодно, и выволоките из головы, — это самое правильное, что человек может сделать. Раздумывать над своими горестями — штука по меньшей мере опасная, даже смертельная. Надо чем-нибудь отвлечься — это необходимо.

— Ох, как я несчастен!

— Не смейте так говорить! От одного вашего тона сердце разрывается. Последуйте моему совету: немедленно примитесь за что-нибудь и постарайтесь во что бы то ни стало отвлечься.

— Это легко сказать, Бэрроу, но разве можно чем-нибудь заняться, развлечься, отвлечься, когда па тебя вдруг свалилась такая беда, о которой ты и помыслить не мог? Нет, нет, мне даже думать о развлечениях противно. Давайте говорить о смерти и похоронах.

— Ну, для этого еще не настало время. Это значило бы сложить руки и ждать, когда корабль пойдет ко дну. А мы сдаваться пока не собираемся. Я сам придумал, как вас развлечь, и пока вы завтракали, я послал куда нужно Брейди.

— Послали? За чем?

— Вот это уже хороший признак — любопытство. О, для вас еще не все потеряно.

Глава XVI

Брейди прибыл с каким-то ящиком и тотчас ушел, заметив мимоходом:

— Они еще один заканчивают и принесут, как только будет готово.

Бэрроу вынул из ящика портрет, писанный маслом, без рамы, в квадратный фут величиной, молча поставил так, чтобы на него падал свет, затем потянулся за другим и исподтишка взглянул на Трейси. На застывшем, словно окаменевшем лице Трейси не отразилось ни малейшего интереса. Бэрроу поставил второй портрет рядом с первым и, доставая третий, снова взглянул на приятеля. Каменное лицо чуть потеплело — самую малость. Номер третий вызвал на нем тень улыбки, номер четвертый окончательно смысл безразличие, номер пятый возбудил смех, который больше не прерывался и звучал все так же весело вплоть до появления номера четырнадцатого и последнего.

— Ну, все в полном порядке, — сказал Бэрроу. — Видите, вы еще способны веселиться.

Портреты были ужасающи по колориту и совершенно чудовищны по манере выполнения и выразительности, но своеобразие их заключалось в том, что они вызывали протест и: неудержимый смех лишь когда их было много, — одна картина такой чудодейственной силой не обладала. Представьте себе кричаще одетого рабочего, который стоит в нарочито бравой позе на берегу моря, опершись на пушку, а невдалеке виден корабль, покачивающийся на якоре, — это нелепо, и только; а теперь представьте себе ту же пушку и тот же корабль на четырнадцати картинах, выставленных в ряд, только у пушки всякий раз стоит другой рабочий, — и это уже смешно.

— Объясните... объясните мне, что это значит? — сказал Трейси.

— Видите ли, это творение не одного интеллекта, не одного таланта, — это чудо создано двумя людьми. Они работают вместе: один пишет человека, другой — все остальное. Тот, который пишет человека, — немец-сапожник, никогда не обучавшийся живописи, но обожающий ее; его коллега — простодушный старый янки-морьяк, который только и умеет, что изобразить корабль, пушку и кусочек застывшего моря. Они списывают свои творения с дешевых олеографий, а берут за них по шести долларов за штуку и в день могут изготовить два таких портрета, когда, как они выражаются, их «осенит», то есть когда на них найдет вдохновение.

— И находятся люди, которые платят деньги за такое безобразие?

— Конечно, и притом весьма охотно. Эти вандалы могли бы удвоить свои заработки, если бы взялись изображать дамочек и если бы капитан Солтмарш мог намалевать лошадь, или рояль, или гитару вместо пушки. Дело в том, что потребителям уже наскучила его пушка. Даже мужчинам. Эти четырнадцать заказчиков тоже, например, не все довольны. Один из них — старый «независимый» пожарный, и он, конечно, хочет, чтобы вместо пушки была изображена пожарная машина; другой работает помощником капитана на буксире и хочет, чтобы вместо корабля был изображен буксир, — и так далее и тому подобное. Но наш капитан не может изобразить буксир, который зритель признал бы за буксир, а пожарная машина раз во сто превосходит его художнические возможности.

— Какие любопытные мошенники! В жизни не слыхал ни о чем подобном. Очень интересно.

— Вот именно, и не менее интересны сами художники. Люди они абсолютно честные и простодушные. Старик морьяк к тому же еще и религиозен: он старательно изучает Библию и не менее старательно перевирает ее. Но я, право, не знаю человека лучше или добрее Солтмарша, хоть он при случае не прочь отпустить крепкое словцо.

— Да это просто совершенство! Я хочу познакомиться с ним, Бэрроу.

— Эта возможность вам скоро представится. По-моему, они уже идут сюда. Если хотите, мы заведем с ними разговор об искусстве.

Художники прибыли и с превеликой сердечностью обменялись рукопожатиями с Трейси и Бэрроу. Не-мед оказался мужчиной лет сорока, склонным к полноте, с блестящей лысиной, добрым лицом и почтительными манерами. Капитану Солтмаршу перевалило за шестьдесят; это был высокий осанистый богатырь, с черными, как уголь, волосами и бакенбардами и загорелым лицом; от всего его облика так и веяло привычкой командовать,

уверенностью и решимостью. Его мозолистые руки были сплошь разрисованы татуировкой, а когда он раскрывал рот, обнажались белые, безукоризненные зубы. Его густой бас гудел, как церковный орган, и был так могуч, что язычок газового пламени начинал колебаться, если капитан разговаривал в пятидесяти ярдах от него.

— Отличные картины, — сказал Бэрроу. — Мы как раз любимся ими.

— Нам очень приятно, что они вам нравятся, — сказал немец Гандель, явно обрадованный таким вниманием. — И вам, герр Трейси, они тоже много понравились?

— Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного.

— Scion!² — в восторге воскликнул немец. — Вы слышите, капитан? Вот здесь перед нами джентльмен — да, и он высоко наше искусство оценивает.

Капитан был польщен.

— По правде говоря, сэр, мы радуемся каждой похвале, — сказал он. — Хоть теперь нам приходится слышать их гораздо чаще, чем раньше, когда мы только начинали создавать себе имя.

— Создавать себе имя в любом деле не так просто, капитан.

— Верно. Недостаточно уметь зарифить сезни, надо еще, чтоб и твой помощник знал, что ты это умеешь. Так у человека создается имя. Что нам нужно? Доброе слово, сказанное вовремя. «И да падет зло на голову замышляющего его», — говорит Исая.

— Совершенно справедливое и вполне уместное изречение, — сказал Трейси. — А где вы изучали живопись, капитан?

— Да нигде, это у меня от природы.

— Он как родился, так и стал эту пушку рисовать. Сам он ничего не делает, за него все талант делает. Он может спать, но дай ему в руку карандаш — и он нарисует пушку. Вот если бы он мог пианино изобразить, если бы он мог гитару изобразить, если бы он мог корыто изобразить — какое это было бы счастье, Heiliger Johannis!³ Ведь мы бы разбогатели!

— Очень обидно, что такая ерунда мешает и не дает развернуться вашему творчеству.

Тут и капитан пришел в волнение:

— Вы правильно сказали, мистер Трейси! Мешает? Вот именно, мешает. Посмотрите-ка сюда. Вон тот парень, номер одиннадцатый, он — извозчик, преуспевающий извозчик, сказал бы я. Он хочет, чтобы мы изобразили его пролетку. Хочет, чтоб она стояла на том месте, где сейчас пушка. Я обошел эту трудность: сказал ему, что пушка — вроде бы наша торговая марка; она, мол, доказывает, что картина написана нами, и я боюсь, что, если мы ее уберем, возникнут сомнения: действительно ли это портрет кисти Солтмарш-Ганделя. Да и вы сами бы...

— Что вы, капитан! Вы принижаете себя, право принижаете! Всякий, кто хоть раз видел подлинного Солтмарш-Ганделя, уж наверняка не спутает его ни с чем. Уберите, удалите, снимите с портрета все детали, кроме цвета и экспрессии, и тем не менее любой человек признает вашу работу и остановится, чтобы по-восторгаться ею...

— О, как мне приятно ваши слова слышать!..

— ...и снова скажет себе, как говорил уже сотни раз, что искусство Солтмарш-Ганделя — искусство совсем особое: ни на земле, ни в небесах не найти ничего подобного...

— Ach, nur horen Sie einmal!⁴ За всю мою жизнь никогда таких замечательных слов не слышал.

— Так вот, значит, отговорил я его изображать пролетку, мистер Трейси, и он

² Великолепно! (нем.)

³ Иоанн Креститель (нем.).

⁴ Нет, вы только послушайте! (нем.)

согласился со мной, но потребовал тогда, чтоб я изобразил похоронные дроги, потому как он состоит старшим помощником при похоронных дрогах, хоть они и не принадлежат ему, — просто он несет службу за жалованье. Но ведь я и похоронные дроги тоже не могу изобразить, — тут уж ничего не поделаешь, сколько ни волнуйся. То же получается и с дамочками. Приходят они и говорят, что хотят иметь «жонровый» портрет...

— А жанр, видимо, создают детали?

— Ну да, пушка, или кошка, или какая-нибудь там вещичка, которую изображаешь для пушного эффекта. Мы бы зарабатывали сумасшедшие деньги на дамских портретах, если б могли на переднем плане изобразить что-нибудь подходящее, потому как дамы ни во что не ставят артиллерию. Тут уж я кругом виноват, — со вздохом признался капитан. — А вот Анди — тот на высоте: он-то настоящий художник!

— Нет, вы только послушайте этого старика! Всегда обо мне так говорит, — промурлыкал довольный немец.

— Да вы сами посмотрите на его работу! Четырнадцать портретов, все как на подбор. И двух одинаковых не найдете.

— Вот сейчас я вижу, что вы совершенно правы: раньше я этого как-то не замечал. Удивительно! Второго такого художника, наверно, и не сыщешь?

— Еще бы. Вы попали в самую точку: он ведь к каждому человеку подходит по-разному. А это — зряшная трата времени, как говорится в сорок девятом псалме. Но что поделаешь! Зато это значит поступать по-честному, да и в накладе мы не остаемся.

— Да, он, конечно, большой мастер своего дела, ничего не скажешь, но только — не считите, что я его критикую, отнюдь нет! — вам не кажется, что он делает излишний нажим на технику?

При этом вопросе на лице капитана отразилось величайшее недоумение. Уставясь в пространство, он растерянно забормотал: «Техника... техника... политехника... пиротехника; ну конечно — фейерверк; слишком много красок». Затем уже громко, с самым невозмутимым видом сказал:

— Да, вы правы, он слишком ярко их раскрашивает, но нашим заказчикам это нравится; по правде говоря, все дело на этом стоит. Возьмите, к примеру, девятый номер. Это — Эванс, мясник. Если б вы видели его у нас в мастерской — человек как человек, самого обыкновенного цвета; а посмотрите теперь — точно у него скарлатина. А это-то как раз и понравилось мяснику. Сейчас я делаю набросок: хочу поместить на пушке гирлянду из сосисок, но еще не знаю, что получится. Если удастся, мясник будет наш.

— Ваш сообщник... то есть, я хочу сказать, ваш коллега — большой мастер колорита...

— О, *danke schon*...⁵

— По правде говоря, совершенно удивительный колорист, — второго такого, смею вас уверить, не сыщешь ни у нас, ни за границей: у него такой смелый, такой решительный мазок, точно он работает не кистью, а тараном; и манера у него такая необычная, романтическая, ни на что не похожая, *ad libitum*⁶, такая волнующая, что... что... он... Он, очевидно, импрессионист?

— Нет, — простодушно возразил капитан, — он пресвитерианин.

— Этим все и объясняется, все: в его искусстве есть что-то божественное, какое-то грустное, неудовлетворенное томление, словно дымка, выброшенная на безбрежный горизонт; ультрамариновые дали нашептывают что-то душе, вдали звучат катаклизмы несозданных пространств... О, если б он... если б он... Он никогда не пробовал темперу?

— Что вы, как можно! — энергично возразил капитан. — А вот собака его — та пробовала и...

⁵ Премного благодарен (*нем.*).

⁶ На все вкусы (*лат.*).

- Да нет же, это не моя собака была.
- Как так! Вы же сами говорили, что это ваша собака.
- Ну что вы, капитан, я...
- Ведь это была белая собака, правда? У нее еще хвост обрублен и нет одного уха, и...
- Правильно, правильно! Та самая собака. Ей-богу, эта собака могла есть краску,

точно...

— Ну какое это имеет отношение? Вот глотка — никогда не видывал такого человека! Заговоришь с ним о собаке, так он целый год потом будет рассуждать о ней. Хотите верьте, хотите нет, я сам видел, как он однажды два с половиной часа говорил.

- Не может быть, капитан, — заметил Бэрроу. — Это, наверно, сплетни.
- Ну какие же сплетни, сэр, когда он со мной спорил.
- Не понимаю, как вы только выдержали!
- А что попишешь — приходится, раз имеешь дело с Анди. Правда, это единственный его недостаток.

- И вы не боитесь от него заразиться?
- Ну что вы! — уверенно возразил капитан. — Со мной такого никогда не случится.

Художники вскоре откланялись и ушли. Тогда Бэрроу взял Трейси за плечи и сказал:

— Посмотрите-ка мне в глаза, мой мальчик. Спокойно, спокойно. Ну вот, так я и думал, надеялся, во всяком случае: благодарение богу, вы вполне здоровы. Голова у вас в полном порядке. Только никогда этого больше не делайте, даже шутки ради. Это неразумно. Они бы все равно вам не поверили, даже если бы вы в *самом деле* были графским сыном. Просто *не могли* бы поверить, неужели вы этого не понимаете? И что это вам вдруг вздумалось выкинуть такую штуку? Ну да ладно, не будем больше говорить об этом. Вы теперь сами понимаете, что это была ошибка.

— Да, конечно ошибка.

— Ну, хорошо. Забудем об этом. Никакой особой беды не стряслось — все мы делаем ошибки. Возьмите себя в руки, не унывайте, не вешайте носа. Я с вами, и мы как-нибудь выплывем, не волнуйтесь.

Когда Трейси ушел, Бэрроу еще долго ходил из угла в угол, — на душе у него было беспокойно. И вот о чем он думал: «Тревожусь я за него. Никогда бы он не выкинул такой штуки, если б немножко не свихнулся. Но я-то знаю, что значит сидеть без работы, без всякой надежды ее получить. Сначала человек теряет мужество, его гордость втаптывается в грязь, а остальное довершают заботы, — и в голове начинает мутиться. Надо поговорить с этими людьми. Да, если в них осталось хоть что-то человеческое, — а в глубине души они, конечно, человечны, — они не могут не пожалеть его, особенно когда поймут, что он свихнулся от неудач. Но я должен найти ему какую-то работу; работа — это единственное лекарство при его болезни. Вот ведь бедняга! Так далеко от родины, и ни единого друга».

Глава XVII

Как только Трейси остался один, он снова пал духом, со всею очевидностью поняв всю безвыходность своего положения. Сидеть без денег, полагаясь на великодушие столяра, было уже достаточно скверно; однако воспоминание о том, какого он свалил дурака, объявив себя графским сыном перед этой глумящейся, нимало не верящей ему толпой, и о той унижительной сцене, которая за этим последовала, — было уже сущей пыткой. Трейси твердо решил никогда больше не изображать из себя графского сына в присутствии людей, которые склонны сомневаться в его словах.

Ответ отца был неожиданным и непонятным ударом. Впрочем, думал он, может быть отец полагает, что в Америке совсем нетрудно получить работу, и решил дать сыну возможность попробовать свои силы: а вдруг тяжелая, безжалостная, уничтожающая всякие иллюзии работа исцелит его от радикальных идей. Это казалось Трейси наиболее вероятным,

но совсем не утешало. Ему больше нравилось думать, что за этой каблогаммой последует другая, более нежная, где отец будет просить его вернуться домой. Может быть, капитулировать и написать, чтобы отец прислал ему денег на обратный проезд? О нет, этого он *никогда* не сделает. Во всяком случае, сейчас он так не поступит.

Каблогамма от отца придет, несомненно придет. И вот целую неделю он каждый день ходил из одной телеграфной конторы в другую, справляясь, нет ли каблогаммы для Ховарда Трейси. Нет, никакой каблогаммы нет. Так ему отвечали сначала. Затем ему стали говорить эту фразу еще прежде, чем он успевал задать вопрос. А некоторое время спустя лишь нетерпеливо мотали головой, как только он появлялся. После этого ему стало стыдно вообще туда заходить.

Теперь он достиг предела отчаяния, ибо чем больше усердствовал Бэрроу, стараясь найти ему работу, тем более это казалось безнадежным. И наконец он сказал столяру:

— Послушайте! Я хочу сознаться в одном прегрешении. Я до того дошел, что не только сам признаю, что я жалкое, исполненное ложной гордости существо, но и вам признаюсь в этом. Подумать только: я смотрел, как вы из сил выбиваетесь, ища мне работу, а у самого в это время была под рукой такая возможность! Тут виновата моя гордость — вернее, то, что осталось от нее, и вы уж меня извините. Теперь я избавился от нее и пришел сказать вам, что если эти кошмарные художники хотят иметь еще одного сообщника, они могут на меня рассчитывать, ибо теперь я неуязвим для стыда.

— Не может быть! Вы действительно умеете рисовать?

— Не столь скверно, как они. Так писать я не берусь, ибо я не гений, — я просто обычный любитель, неуклюжий мазилка, жалкая пародия на художника, но даже во сне или во хмелю я могу обскакать этих пиратов.

— Ура! Мне хочется кричать и прыгать! Право же, не могу сказать, как я счастлив и рад. Да ведь работа — это жизнь! Не важно какая — это не имеет значения. Для человека, изголодавшегося по ней, — это счастье. Я-то знаю! Пойдемте сейчас же и разыщем стариков. Ну как, полегчало на душе? У меня — очень.

«Пиратов» не оказалось дома. Зато их «творения» были налицо — они в изобилии красовались по всей крошечной, похожей на крысиную нору мастерской. Пушка — справа, пушка — слева, пушка — впереди, — словом, настоящая Балаклава.

— Вот здесь изображен недовольный извозчик, Трейси. Принимайтесь за дело: превратите зеленое море в зеленую траву, а корабль в похоронные дроги. Пусть старички убедятся воочию в ваших способностях.

Художники прибыли в ту самую минуту, когда был положен последний мазок. Они так и застыли от восхищения.

— Клянусь печенкой! Да ведь это настоящие дроги! Извозчик нипочем не выдержит, когда их увидит! Правда, Анди?

— Великолепно, великолепно! Герр Трейси, отчего вы нам тогда не сказали, что вы такой божественный мастер есть? Бог мой, если б вы жили в Париже, вы получили бы Римскую премию, всенепременно получили бы!

Договорились очень быстро. Трейси был принят в содружество на правах равноценного и полноправного компаньона и тотчас смело и энергично принялся за работу по переделке шедевров там, где детали не устраивали заказчика. В этот и последующие дни под его рукой исчезли все следы артиллерии и на смену ей явились эмблемы мира и коммерции — кошки, извозчицьи пролетки, сосиски, буксиры, пожарные машины, рояли, гитары, скалы, сады, горшки с цветами и пейзажи, — словом, то, что требовалось заказчику; и чем более нелепым и глупым было то, что он изображал, тем больше радости доставляло ему творчество. «Пираты» были в восторге, заказчики рукоплескали, представительницы прекрасного пола повалили в мастерскую, — словом, фирма процветала вовсю. Трейси вынужден был признаться себе, что в самой работе — даже такой дурацкой и никчемной, как та, которой он занимался, — было что-то необычайно приятное, доставлявшее ему такое удовлетворение, какого он не испытывал еще никогда, и возвышавшее его в собственных глазах.

Неполноправный член конгресса от Становища Чероки пребывал в состоянии величайшего уныния. Уже довольно долго он вел жизнь, способную убить кого угодно, ибо она состояла из непрерывных перемен: на смену дню, полному самых сверкающих надежд, наступал день самого черного разочарования. Источником сверкающих надежд был маг и волшебник Селлерс, который неизменно обещал, что вот уж теперь-то все несомненно удастся и он заставит этого материализованного ковбоя еще до наступления вечера явиться к ним в Росморские Башни. Черное разочарование наступало в связи с тем, что эти предсказания упорно и неукоснительно не сбывались.

В тот день, о котором мы ведем рассказ, Селлерс, к своему величайшему огорчению, обнаружил, что обычное лекарство не действует и что настроение Хокинса никак не желает подниматься. Что-то надо предпринять, решил он. У него просто сердце разрывалось при виде скорбного, хмурого, глубоко несчастного, исполненного страдания лица своего бедного друга. Да, как-то надо его приободрить. Полковник немного подумал и увидел выход.

— М-м... — промолвил он как бы между прочим, — послушай, Хокинс, мы оба испытываем чувство глубокого разочарования в связи... в связи с тем, как ведет себя наш материализованный субъект. Ты с этим согласен?

— Согласен? Да, пожалуй, если вы предпочитаете это слово.

— Прекрасно. Значит, в этом отношении мы договорились. Теперь разберемся в *природе* этого чувства. Ни твое сердце, ни твоя душа тут не затронуты, — то есть я хочу сказать, что ты скорбишь вовсе не по материализованному как таковому. Ты с этим согласен?

— Да, я с этим тоже согласен от всего сердца.

— Прекрасно. Значит, мы уже сделали шаг вперед. Итак: мы договорились, что наше разочарование рождено отнюдь не поведением материализованного; мы договорились также, что оно возникло вовсе не от переживаний, связанных с *личностью* материализованного. Таким образом, — сказал граф, и глаза его победоносно сверкнули, — неумолимая логика событий приводит нас к следующему выводу: наше разочарование объясняется тем, что мы *теряем из-за этого деньги*. Ну, сознайся, разве не так?

— Еще бы не так! Конечно!

— Прекрасно. Если обнаружен источник болезни, значит обнаружено и лекарство для ее излечения. Так обстоит дело и в данном случае. Нам нужны деньги. И *только* деньги.

Давно проверенным приемом обольщения веяло от этого веселого доверительного тона, от этих многозначительных слов, которые в учебниках принято называть «словами, несущими смысловую нагрузку». И столь же давно знакомым было выражение надежды и веры, появившееся на лице Хокинса.

— *Только* деньги? — переспросил он. — Неужели вы хотите сказать, что знаете, как...

— И ты думаешь, Вашингтон, что я располагаю лишь теми возможностями, о которых известно публике и моим ближайшим друзьям?

— Видите ли, я... м-м...

— Неужели ты мог считать, что у человека, склонного от природы к скрытности, наученного долгим опытом держать свои дела при себе и не слишком распускать язык, не останется ума оставить кое-что про черный день, когда в его распоряжении столько всяких возможностей, как, скажем, у меня?

— О, я уже начинаю оживать, полковник!

— Ты когда-нибудь был в моей лаборатории?

— Нет, не приходилось.

— Вот именно. Видишь, ты даже не знал, что у меня имеется лаборатория. Пойдем. У меня там есть одна игрушка, которую я хочу тебе показать. Я хранил ее в полнейшей тайне, — не найдется и пятидесяти человек, которые бы знали о ней. Но такова уж моя система, я всегда ее держался. Главное: дожидаться, когда все будет готово, а тогда — пшт! — выпускай на волю!

— Признаюсь, полковник, я еще не встречал человека, которому бы так безгранично верил, как вам. Все, что вы говорите, даже просто так, мимоходом, — для меня закон: мне уже не нужно ни свидетельств, ни доказательств, ничего.

Старый граф был чрезвычайно польщен и растроган.

— Я рад, что именно ты веришь в меня, Вашингтон, — не все так ко мне справедливы.

— Я всегда верил в вас и буду верить, пока жив.

— Спасибо, мой мальчик. Ты в этом не раскаешься. Ты просто *не сможешь* раскаяться.

Они вошли в «лабораторию», и граф продолжал:

— Теперь окинь взором эту комнату. Что ты в ней видишь? На первый взгляд — всякое старье; на первый взгляд — ремонтная мастерская при бюро патентов; а на самом деле — копи Голконды! Посмотри вот на эту штуку. Что это, по-твоему?

— Даже представить себе не могу.

— Конечно не можешь. Это фонограф моей конструкции для мореплавателей. На нем записывается ругань для последующего использования в открытом море. Ты знаешь, что матрос и шагу не сделает, если его не обругать как следует, — недаром на корабле ценят того помощника капитана, который лучше ругается. Его талант спасает судно в минуту бедствия. Но ведь судно — большая штука, а человек не может быть сразу в нескольких местах, поэтому известны случаи, когда судно гибло, потому что на нем был всего лишь один помощник капитана, а не сто. На море ведь бывают страшные штормы. Пойдем дальше: на судне не могут содержать сто помощников капитана, но могут иметь сто ругательных фонографов; их устанавливают по всему судну, и тогда его можно считать вполне экипированным. Представь себе: разражается сильнейший шторм, и сто моих машин начинают разом ругаться — потрясающая картина, просто потрясающая! Человек собственных мыслей не слышит! Корабль выходит из бури целехонький — ну как если бы он и не отправлялся в плаванье!

— Великолепная идея. Как же это делается?

— Надо зарядить фонограф бранью — зарядить, и все тут.

— Каким же образом?

— Да очень просто. Стать подле него и ругаться, пока не надоест.

— И он зарядится?

— Ну да. Каждое слово, уловленное аппаратом, запечатлевается в нем, запечатлевается навеки. И никогда уже не сотрется. Стоит повернуть ручку, и оно вылетит. В минуты особенно великих бедствий можно повернуть ручку в обратную сторону, и фонограф будет ругаться наоборот. Вот это-то и вдохновляет моряка!

— О, теперь я понял. Кто же заряжает фонограф? Помощник капитана?

— Да, если ему так хочется. А не то я могу поставлять уже заряженные машины. Я могу нанять специалиста, и за семьдесят пять долларов в месяц он будет заряжать мне по сто пятьдесят фонографов за сто пятьдесят часов, притом без всякого напряжения. Такой специалист может зарядить его более крепкими словцами, чем простой, невежественный моряк. Тогда, ты понимаешь, все корабли мира будут покупать мои фонографы уже в заряженном виде: я ведь могу заряжать их на любом языке, на каком пожелает заказчик. Хокинс, это будет величайшей революцией девятнадцатого века в области морали. Через какие-нибудь пять лет *все* ругательства будут произносить только машины; на корабле ты больше не услышишь бранного слова из человеческих уст. Церковь потратила миллионы долларов на то, чтобы искоренить ругательства в торговом флоте. Теперь ты понимаешь, что мое имя будет вечно жить в сердцах порядочных людей, как имя человека, который один, без всякой помощи с чьей-либо стороны, совершил это благородное и возвышенное дело!

— О, это великолепно, замечательно, прекрасно! И как только вы до этого додумались? У вас удивительный ум. Как, вы говорите, заряжается аппарат?

— Это совсем нетрудно — проще простого. Если хочешь, чтоб слова звучали громко и отчетливо, надо стать рядом и кричать что есть мочи. Но если даже просто оставить его

открытым и подготовленным для записи, он и так все «подслушает» — то есть сам зарядится теми звуками, которые раздаются на расстоянии шести футов от него. Я сейчас тебе покажу, как он работает. Вчера ко мне приходил один специалист и зарядил его. Эге, да он был открыт — это очень скверно. Однако туда едва ли могла попасть какая-нибудь посторонняя ерунда. Достаточно нажать в полу кнопку — и готово.

Фонограф запел жалобным голосом:

Далеко есть харчевня, блаженный приют,
Где яичницу с салом трижды в день всем дают...

— А черт, это же совсем не то! Кто-то распевал тут поблизости.

А жалобная песенка тем временем продолжала звучать под аккомпанемент сначала еле слышного, затем все более громкого мяуканья котов, видимо готовившихся к схватке:

Когда к обеду их зовут,
Как постояльцы все орут, —
Хозяин слышит этот вой...

(Невероятный кошачий вой и шум драки заглушают слова.)

...трижды в день.

(На миг возобновляется отчаянная кошачья драка. Жалобный голос кричит яростным фальцетом: «Пшли вон вы, черти!» — и слышен грохот летящих предметов.)

— Не важно, пусть покрутится. Где-то у меня там записана матросская ругань, если мы только сумеем до нее добраться. Но не в этом дело, — главное, ты видел, как работает машина.

— О, она работает великолепно! — с энтузиазмом воскликнул Хокинс. — Да в этой штуке заключены миллионы!

— И не забудь, Вашингтон, что семейство Хокинс получит от этих миллионов свою долю.

— О, благодарю вас, благодарю. Вы, как всегда, великодушны. Да, это величайшее изобретение нашего времени!

— Ах, Хокинс, мы живем в удивительную пору! Природа — ведь она великая кудесница: в ней всегда было полным-полно всяких благостных сил, но наше поколение первым прибрало их к рукам и заставило на себя работать. Ты понимаешь, Хокинс, из *всего* можно извлечь пользу, *ничто* не должно пропадать. Возьмем к примеру газ, образующийся в канализационных трубах. До сих пор его никто не использовал, никто не пытался собрать, — ты не назовешь мне человека, который бы это делал. Ведь правда? Ты же прекрасно знаешь, что это так.

— Да, так... Но я никогда... м-м... Я не совсем понимаю, зачем кому-либо...

— Собирать его? Сейчас скажу. Видишь этот небольшой аппарат? Он называется разложитель, — это я так его назвал. И вот если ты укажешь мне дом, где за день в канализационных трубах накапливается определенное количество газа, я берусь установить там мой разложитель, и, клянусь честью, дом этот меньше чем за полчаса произведет во сто раз больше газа.

— Господи боже мой! Зачем вам это нужно?

— Зачем? А вот послушай — и узнаешь. В мире, милый мой, нет более дешевого освещения, чем этот газ. Ну в самом деле, он же не стоит ни гроша. Надо только проложить достаточно скверные трубы — впрочем, это и так делается во всех домах, — установить мой разложитель, и все в порядке. Словом, обычные газовые трубы — вот и все расходы. Подумай-ка, а! Да через пять лет, майор, не найдется ни одного дома, который не освещался бы собственным газом. Все физики, с которыми я говорил, рекомендуют такое его использование, — как и все водопроводчики.

— Но разве это не опасно?

— Да, конечно, в какой-то мере опасно, но ведь и светильный газ, и свечи, и электричество — все в какой-то мере опасно.

— И этот ваш газ хорошо горит?

— О, великолепно!

— Вы это обстоятельно проверили?

— Ну, не очень обстоятельно. Полли почему-то предубеждена против него и не разрешает мне пробовать здесь, но я решил это сделать во дворце президента. Тогда, конечно, дело пойдет, можно не сомневаться. Сейчас мне этот аппарат не нужен, Вашингтон; можешь взять его и испытать в каком-нибудь пансионе.

Глава XVIII

Вашингтона слегка передернуло от такой перспективы; но воображение его уже разыгралось, и он впал в глубокую задумчивость. Через некоторое время Селлерс спросил его, что это он перемалывает на жерновах своей мозговой мельницы.

— А вот что. Нет ли у вас в голове каких-нибудь тайных планов, для осуществления которых требуется поддержка Английского банка?

— Послушай, Хокинс! — с живейшим изумлением воскликнул полковник. — Ты что, умеешь читать мысли?

— Я? Никогда даже и не помышлял об этом.

— В таком случае, как же ты до этого додумался? Ты просто обладаешь даром читать чужие мысли, вот что я тебе скажу, хотя, возможно, сам об этом не подозреваешь. Дело в том, что у меня действительно есть один проект, который требует поддержки Английского банка. Но как ты мог об этом догадаться? Что навело тебя на эту мысль? Ужасно интересно!

— Да ничто. Эта мысль пришла мне в голову совершенно случайно. Сколько вам или мне нужно для того, чтобы жить, не зная забот? Скажем, сто тысяч долларов. А между тем вы предполагаете получить за ваши два или три изобретения несколько миллиардов долларов и хотите их получить. Если б вы хотели получить десять миллионов, я бы еще мог это понять, — такую сумму человек может истратить. Но миллиарды! Это уже явно выходит за пределы человеческих возможностей. Значит, за вашим желанием скрывается какой-то грандиозный план.

Интерес и удивление графа возрастали с каждым словом Хокинса, и когда тот закончил свою речь, он в величайшем восхищении воскликнул:

— Твоя логика просто удивительна, Вашингтон, бесспорно удивительна! Это указывает, как мне кажется, на совершенно необыкновенную способность проникать в чужие мысли. Ты попал в самую цель, в самую точку, в сердце моей мечты. Теперь я расскажу тебе все, и ты меня поймешь. Мне нет нужды просить тебя держать это в секрете: ты и сам увидишь, что мой проект тем вернее удастся, чем дольше мы будем хранить его в тайне, — до положенного срока, конечно. Ты заметил, сколько у меня валяется брошюр и книг о России?

— Я думаю, кто угодно мог бы это заметить, если только он не мертвец.

— Ну так вот. Я уже довольно давно интересуюсь этой страной. В ней живет великий, замечательный народ, который заслуживает того, чтобы стать свободным. — Он помолчал и

затем решительно добавил: — И я сделаю его свободным, когда получу деньги за свои изобретения.

— О господи!

— Что это ты вдруг подскочил?

— Послушайте, когда вы бросаете под ноги человеку бомбу, от которой он не то что подпрыгнет, а того гляди пробьет головой потолок и вылетит на крышу, неужели вы не можете придать своим словам вескость, силу, особую выразительность, чтобы как-то подготовить его к этому? Нельзя же такие грандиозные замыслы сообщать столь безразличным тоном. Ну как тут не подскочить! А теперь продолжайте: я уже пришел в себя. Расскажите мне о вашем плане. Я весь внимание и сочувствие.

— Так вот, я тщательно ознакомился с предметом и пришел к выводу, что методы русских патриотов — хоть и не такие плохие, если учесть, в каких тяжелых условиях находятся эти ребята, — не являются, однако, самыми лучшими, во всяком случае — самыми быстрыми! Они хотят подвести Россию к революции изнутри, но это, понимаешь ли, очень медленный процесс, он в любое время может прерваться и к тому же полон опасностей для тех, кто над этим трудится. Ты знаешь, как Петр Великий создал армию? Он не стал создавать ее под носом у своей родни и стрельцов — нет, он стал создавать ее вдали, потихоньку и начал, как тебе известно, с одного полка. А потом не успели стрельцы глазом моргнуть, как полк превратился в армию, положение изменилось, и пришлось им уступить свое место. Вот с чего начался самый могущественный и самый страшный деспотизм, какой когда-либо знал мир. Но ведь таким же путем можно этот деспотизм и уничтожить. И я это докажу. Я намерен держаться в стороне и привести в исполнение свой план так, как это сделал Петр.

— Очень интересно, Россмор! Что же вы собираетесь делать?

— Я собираюсь купить Сибирь и устроить там республику.

— Ну вот еще одна бомба, и снова без всякого предупреждения! Вы собираетесь купить Сибирь?

— Да, как только получу деньги. Сколько бы она ни стоила, все равно куплю. Цена не имеет для меня никакого значения. Теперь поразмысли вот о чем — уверен, что ты никогда над этим не задумывался: назови мне такое место в мире, где на каждую тысячу обычных жителей приходилось бы в двадцать пять раз больше людей мужественных, смелых, исполненных подлинного героизма, бескорыстия, преданности высоким и благородным идеалам, любви к свободе, образованных и умных?

— Сибирь!

— Совершенно верно.

— Правильно, конечно правильно, но я никогда над этим не задумывался.

— Да и никто не задумывался. А ведь это так. В тамошних рудниках и тюрьмах собраны самые благородные, самые лучшие, самые наименее способные представители рода человеческого, каких когда-либо создавал бог. Предположим, в твоём распоряжении были бы такие люди, стал бы ты продавать их деспоту? Нет, потому что деспоту они ни к чему, и ты бы прогорел на этом. Деспотическому строю нужно лишь людское стадо. А теперь представь себе, что ты захотел бы создать республику.

— Да, понимаю. Для республики такой материал был бы самым подходящим.

— Ну конечно! Итак, существует такое место, как Сибирь, где имеется самый непревзойденнейший и наилучший материал для создания республики, и притом запасы его непрерывно пополняются. Понятно? Пополняются ежедневно, еженедельно, ежемесячно благодаря превосходно разработанной системе, какой, пожалуй, еще не знал мир. С помощью этой системы миллионы и миллионы русских старательно и непрерывно прочесываются, прочесываются, прочесываются мириадами опытных экспертов — шпионов, назначаемых самим императором; и стоит этим шпионам заметить мужчину, женщину или ребенка, обладающего умом, сильным характером или получившего хорошее образование, как его тотчас отправляют в Сибирь. Это замечательная, поразительная система. И она

настолько эффективна и всеобъемлюща, что позволяет поддерживать общий уровень интеллекта и образования в России на том уровне, на каком находится царь.

— Послушайте, вы, наверное, преувеличиваете.

— По крайней мере так говорят. Но я тоже думаю, что это ложь. Нехорошо, по-моему, так порочить целый народ. Теперь тебе понятно, какой там в Сибири материал для создания республики. — Полковник умолк; грудь его бурно вздымалась, глаза пылали от возбуждения. Затем он вскочил, словно ему не хватало простора, и заговорил с возрастающей энергией и пылом: — Как только я создам эту республику, в ней вспыхнет, запылает, озарит все вокруг столь яркий свет свободы, разума, справедливости, человечности, что изумленные взоры всех народов обратятся к ней, — это будет такое же чудо, как если бы на небе взошло второе солнце. Бесчисленные множества русских рабов восстанут и пойдут, пойдут на восток; великий свет, льющийся оттуда, будет озарять их лица, а позади, далеко позади мы увидим, — что мы увидим? — мы увидим пустой трон в обезлюдевшей стране! Этого можно добиться, и, ей-богу, я этого добьюсь!

Он помолчал, и на мгновение мечты унесли его в сияющее будущее; затем слегка вздрогнул, вернулся в настоящее и самым серьезным тоном произнес:

— Прошу извинить меня, майор Хокинс, Я никогда прежде не божился, и, надеюсь, ты на сей раз простишь меня.

Хокинс с радостью простил.

— Видишь ли, Вашингтон, это оговорка, а вообще по натуре я к этому вовсе не склонен. Только легковозбудимые, горячие люди подвержены таким вещам. Но, принимая во внимание обстоятельства, учитывая, что я демократ по рождению и взглядам и аристократ по крови и склонностям...

Граф неожиданно оборвал свою речь и, словно окаменев, молча уставился в незанавешенное окно. Затем он вытянул палец и с трудом выдохнул одно-единственное, исполненное ликования слово:

— Смотри!

— В чем дело, полковник?

— Оно!

— Не может быть!

— Еще как может! Не шевелись! Я сейчас воздействую на него — пушу в ход всю свою силу. Раз я привел его сюда, то уж заставлю и в дом войти. Вот увидишь.

И он принялся проделывать в воздухе всякие пассы руками.

— Вот! Смотри. Я заставил его улыбнуться! Видишь?

И это была правда. Трейси, вышедший днем прогуляться, неожиданно увидел свои фамильные гербы, вывешенные на фронтоне жалкого домишки. Подобное зрелище не могло не вызвать у него улыбку, но если бы только у него, — оно вызывало улыбку у всех окрестных кошек.

— Смотри, Хокинс, смотри! Я его притягиваю!

— И в самом деле притягиваете, Россмор. Если я когда-либо сомневался в материализации, теперь от моих сомнений ничего не осталось, они исчезли раз и навсегда. О, какой сегодня радостный день!

Тем временем Трейси неторопливо направился через улицу, чтобы прочесть, что написано на дощечке у дверей. Не дойдя еще и до середины, он сказал себе: «Да ведь это резиденция нашего американского претендента!»

— Оно идет, идет сюда! Я сейчас сбегу вниз и втащу его. А ты следуй за мной.

Селлерс, бледный и донельзя взволнованный, открыл входную дверь и увидел прямо перед собой Трейси. Старик не сразу обрел дар речи; когда же он его обрел, то, заикаясь, пробормотал какое-то весьма малопонятное приветствие и предложил:

— Входите, входите, пожалуйста, мистер... м-м...

— Трейси, Ховард Трейси.

— Трейси... благодарю вас... Входите, пожалуйста, мы вас ждем.

Немало озадаченный этим приглашением, Трейси вошел.

— Ждете? — спросил он. — Очевидно, тут какое-то недоразумение.

— Полагаю, что нет, — сказал Селлерс, который, заметив подошедшего Хокинса, бросил на него украдкой взгляд, как бы предлагая ему обратить внимание на то, какое впечатление он сейчас произведет. Затем он медленно и внушительно произнес: — Я — «ВЫ ЗНАЕТЕ — КТО».

К удивлению обоих заговорщиков, эта фраза не произвела никакого впечатления, ибо пришелец, нимало не смущаясь, с самым невинным видом сказал:

— Извините, не знаю. Я понятия не имею, кто вы. Я только могу предполагать, и тут я, несомненно, не ошибаюсь, — что вы тот самый джентльмен, чье имя и звание значатся на табличке у двери.

— Правильно, совершенно правильно. Садитесь, прошу вас, садитесь. — Граф был смущен, совершенно сбит с толку, в голове у него был сплошной сумбур. Тут он взглянул на Хокинса, который стоял несколько поодаль и тупо смотрел на молодого человека, который, по его мнению, был не кем иным, как ожившим покойником. И у графа родилась новая мысль.

— Тысяча извинений, дорогой сэр, — быстро проговорил он, обращаясь к Трейси, — я совсем забыл о долге вежливости по отношению к гостю, да еще приедем. Разрешите представить вам моего друга, генерала Хокинса... генерал Хокинс — наш новый сенатор... сенатор от Становища Чероки, величайшей территории, которая совсем недавно присоединилась к блестящему созвездию наших суверенных штатов. — А сам подумал; «От этого названия ему сразу кисло станет!» Но поскольку ничего подобного не произошло, весьма огорченный и немало удивленный полковник продолжал церемонию представления: — Сенатор Хокинс — мистер Ховард Трейси из... м-м...

— Из Англии.

— Из Англии?! Но это же нев...

— Ну да, из Англии, я уроженец Англии.

— И вы давно оттуда?

— Нет, совсем недавно.

«Этот призрак врет, как заправский лгун, — подумал полковник. — Такого и огнем не проймешь. Попробую еще немножко его прощупать — пусть покажет, на что он способен». И с величайшей иронией заметил, уже вслух:

— Должно быть, приехали в нашу великую страну отдохнуть и повеселиться? Очевидно, путешествие по величайшим просторам нашего Дальнего Запада...

— Я не был на Западе и, уверяю вас, отнюдь не развлекался. Для того чтобы жить, художник должен работать, а не в бирюльки играть.

«Художник! — воскликнул про себя Хокинс, думая об ограблении банка со взломом. — Пожалуй, это правильное определение».

— Так вы художник? — переспросил полковник. И добавил про себя: «Сейчас я его поймаю».

— Весьма скромный.

— В каком жанре работаете? — продолжал хитрый ветеран.

— Станковая живопись.

«Ну, теперь он у меня в руках», — сказал себе Селлерс. А вслух воскликнул:

— Какая удача! Не согласитесь ли вы подреставрировать кое-какие из моих картин?

— С радостью. Разрешите мне взглянуть на них.

Ни малейшего смущения, или замешательства, или попытки увильнуть даже в эту критическую минуту!

Полковник был озадачен. Он подвел Трейси к олеографии, немало пострадавшей в руках предыдущего владельца, который использовал ее вместо абажура, и сказал, широким жестом указывая на картину:

— Это творение дель Сарто...

— Разве это дель Сарто?

Полковник укоризненно поглядел на Трейси, дал ему время осознать свою бестактность и продолжал с таким видом, будто никто и не прерывал его:

— Это полотно дель Сарто — пожалуй, единственный оригинал великого мастера, имеющийся в нашей стране. Как вы сами можете судить, работа столь тонкая, что было бы рискованно... не могли бы вы... м-м... не согласились ли бы вы показать мне, что вы умеете, прежде чем мы...

— С радостью, с радостью. Я сниму копию с одного из этих потрясающих полотен.

Были принесены акварельные краски — реликвии, сохранившиеся со времен пребывания мисс Салли в колледже. Трейси, правда, сказал, что он лучше пишет маслом, но раз ничего другого нет, попытает счастья и акварелью. И его оставили одного. Он принялся за работу, но слишком уж много было здесь достопримечательностей, и они были столь неотразимы, что Трейси встал и принялся бродить по комнате, удивленный и в то же время замороженный окружавшими его шедеврами.

Глава XIX

Тем временем граф и Хокинс, возбужденные и встревоженные, вели между собой следующий разговор.

— Меня чрезвычайно тревожит одно таинственное обстоятельство, — сказал граф. — Откуда у него взялась вторая рука?

— Да, меня это тоже тревожит. И потом, меня волнует еще одно обстоятельство: призрак-то ведь англичанин. Как вы это можете объяснить, полковник?

— Честно говоря, сам не знаю, Хокинс. Право, сам не знаю. Все как-то очень запутанно и страшно.

— А может быть, мы вызвали из могилы кого-нибудь другого, как вы думаете?

— Другого? А одежда?

— Одежда, несомненно, та самая, тут ничего не скажешь. Как же нам теперь быть? Насколько я понимаю, получить за него вознаграждение нам не удастся. Награда обещана за однорукого американца, а у нас — двурукий англичанин.

— Что ж, а может быть, никто и не станет против этого возражать. Ведь мы же дадим не меньше рук, а больше. Следовательно...

Но полковник сам понял, что его довод малоубедителен, и не договорил. Некоторое время друзья молча раздумывали над возникшими осложнениями. Наконец лицо графа засветилось вдохновением, и он внушительно произнес:

— Хокинс, материализация — это еще более великая и благородная наука, чем мы могли предполагать. Мы и понятия не имели, какой серьезный и поразительный опыт мы задумали. Сейчас мне все совершенно ясно, ясно как день. В каждом человеке есть элементы наследственности — атомы и частицы предков самого дальнего колена. Перед нами материализация, не доведенная до конца. Мы довели ее, по-видимому, только до начала века.

— Что вы хотите этим сказать, полковник?! — воскликнул Хокинс, преисполняясь чувства смутного страха от торжественного тона и слов старика.

— А вот что. Мы материализовали предка нашего взломщика.

— Не надо! Не говорите мне таких вещей! Это ужасно!

— Но это правда, Хокинс, я знаю, что правда. Посмотрим в лицо фактам. Во-первых, призрак — несомненно англичанин. Во-вторых, он говорит грамматически правильно. В третьих, он художник. В четвертых, он держится и ведет себя как джентльмен. Ну, где вы видите вашего ковбоя? Отвечайте.

— Россмор, это ужасно! Это так ужасно, что я и подумать боюсь!

— Мы вернули из могилы только одежду нашего вора... одну только одежду.

— Полковник, неужели вы в самом деле считаете...

Полковник с силой ударил кулаком по столу и сказал:

— Я считаю вот что: материализация получилась неполная; вор от нас ускользнул, перед нами лишь его проклятый предок!

Он вскочил и в великом возбуждении принялся шагать из угла в угол.

— Какое горькое, бесконечно горькое разочарование! — жалобно произнес Хокинс.

— Знаю. Знаю, сенатор. Я сам скорблю об этом не меньше любого другого. Но ничего не поделаешь: придется смириться — по моральным соображениям. Мне нужны деньги; однако видит бог, я не настолько нищ и низок, чтобы способствовать наказанию предка за преступление, совершенное потомком.

— Но, полковник. — взмолился Хокинс, — остановитесь и подумайте, не поступайте так опрометчиво: вы же знаете, что это наша единственная возможность раздобыть деньги; даже в библии и то говорится, что потомки до четвертого колена караются за грехи и преступления их предков, совершенные за четыре поколения до них и к ним никакого отношения не имеющие. Почему бы нам не перевернуть это правило: пусть действует и в ту, и в другую сторону.

Полковник был поражен стройной логикой этого суждения. Он снова прошелся по комнате, мучительно обдумывая ситуацию, и наконец сказал:

— В твоих доводах есть резон; да, в них есть резон. И хоть прискорбно взваливать на несчастного предка вину за кражу со взломом, к которой он и отношения-то не имеет, — все же, раз таково веление долга, я полагаю, мы должны выдать его властям.

— Я бы так и поступил, — сказал Хокинс, вздохнув с облегчением и сразу повеселев. — Я бы выдал его, даже если б в нем одном заключена была тысяча предков.

— Клянусь богом, в данном случае это так и есть, — чуть не со стоном вырвалось у Селлера, — он именно такой: в нем собраны частицы всех его предков. В нем есть атомы священнослужителей, солдат, крестоносцев, поэтов, а также изящных и милых женщин, — люди всех рангов и положений, ходившие по нашей земле в стародавние времена и исчезнувшие много-много веков тому назад, пробуждены сейчас нами; они покинули свой священный покой, чтобы ответить за ограбление какого-то захудалого банка где-то на границах Становища Чероки, и это, конечно, вопиющее безобразие!

— О, не говорите так, полковник! Я теряю мужество, и мне становится стыдно за ту роль, которую я собирался взять на себя...

— Подожди... Нашел!

— О, спасительная надежда! Да говорите же... я погибаю.

— Все очень просто, ребенок и тот бы догадался. Я свою работу проделал чисто, и мы получили нашего молодца без малейшего изъяна. Но раз я мог вызвать к жизни предка, жившего в начале века, что же мешает мне пойти дальше? Надо продолжать усилия и довести материализацию до нашего времени.

— Вот уж никогда бы не догадался! — воскликнул Хокинс, сияя от счастья. — Это именно то, что нам нужно. Ну и голова же у вас! И тогда, значит, он избавится от лишней руки?

— Безусловно.

— И утратит свой английский акцент?

— Акцент полностью исчезнет. Он будет говорить на языке Становища Чероки и сквернословить вовсю.

— Может быть, полковник, он тогда сам сознается?

— Создается? Ты имеешь в виду эту мелочь — ограбление банка?

— Мелочь? Но почему же «мелочь»?

— А потому, Хокинс, — внушительно произнес полковник, — что он будет всецело в моей власти. Я заставлю его признаться во всех преступлениях, которые он когда-либо совершал. А их, должно быть, тысячи. Ты меня понимаешь?

— Ну... не вполне.

— Мы же получим за все это награды!

— Вот это предвидение! В жизни не встречал такой головы! Чтобы так, в один миг,

человек мог уловить все детали и возможности, вытекающие из главного!

— Это все ерунда: мне такие мысли сами собой приходят. Когда он отсидит в одной тюрьме, он отправится в другую, потом в третью, а мы будем только получать положенные награды. Это верный доход, и нам хватит его до конца нашей жизни, Хокинс. К тому же лучшего хранилища капитала не придумаешь: ведь с ним ничего не может случиться.

— Похоже... Право, похоже, что все так, как вы говорите.

— Похоже? Не похоже, а так оно и есть. Никто не может отрицать, что у меня довольно большой и разносторонний опыт по части финансов. Так вот, я без колебаний могу сказать, что считаю эту свою собственность самой ценной из всех, какие когда-либо у меня были.

— Вы и впрямь так считаете?

— Разумеется.

— Ох, полковник, как грызет и терзает душу бедность! Если бы мы могли немедленно реализовать нашу собственность! Я не хочу сказать — продать ее всю, но хотя бы частично... чтобы, понимаете, было достаточно...

— Ты даже дрожишь от волнения. Это все от недостатка опыта. Мальчик мой, если бы ты имел дело с крупными операциями так долго, как я, ты бы к этому относился иначе. Посмотри на меня! Разве зрачки мои расширены? Разве я дрожу от нетерпения? Пощупай пульс: тук-тук-тук — совсем такой же, как если бы я безмятежно спал. А что происходит в моем бесстрастном, уравновешенном мозгу? Через него движется вереница цифр, способных вызвать головокружение у новичка одним своим видом. Так вот, только соблюдая хладнокровие и способность глядеть на вещи со всех сторон, можно узреть настоящие возможности, которые таятся в этих цифрах, и уберечь себя от неизбежной ошибки, в которую обычно впадают новички, — той самой, какую ты сейчас допустил, желая поскорее все реализовать. Послушай. Ты хочешь продать часть его преступлений немедленно, за наличные. Я же... Догадайся, чего я хочу.

— Понятия не имею. Чего же?

— Выпустить под него акции конечно.

— Вот до этого я бы никогда не додумался.

— Потому что ты не финансист. Скажем, он совершил тысячу преступлений. Разумеется, это по самым скромным подсчетам. Потому что, судя по его виду, даже сейчас, хотя мы его еще не доделали, он совершил их не меньше миллиона. Но для большего вероятия предположим, что их тысяча. Итак, пять тысяч обещанной награды, помноженные на тысячу, дадут нам верный капитал, который будет равняться какой сумме? Пяти миллионам долларов!

— Подождите, дайте мне перевести дух.

— И с этой собственностью ничего не может случиться. Она непрерывно будет приносить нам доход — непрерывно, ибо существо с такими склонностями будет и впредь совершать преступления, зарабатывая нам награды.

— Вы меня ошеломили, у меня голова идет кругом!

— И пусть идет, это ей не повредит. Теперь мы обо всем договорились, и дело с концом. Я создам компанию и, когда настанет время, выпущу акции. Предоставь это мне. Ты, конечно, не сомневаешься в моей способности выжать из создавшейся ситуации все что можно.

— Разумеется, нет. Нисколько не сомневаюсь.

— Вот и прекрасно. Значит, договорились. Всеу свой черед. Мы, старые биржевики, во всем любим порядок и систему — не действуем с кондачка. Итак, что же у нас идет следующим номером? Продолжение материализации — доведение ее до настоящего времени. Этим я немедленно и займусь. Мне кажется...

— Послушайте, Россмор. Вы ведь его не заперли. Сто против одного, что оно сбежало.

— На этот счет можешь не беспокоиться и не страдать.

— А что, если оно сбежало?

— Ну и пусть бежит, если ему так хочется! Какое это может иметь значение?

— Ну, я считаю, что это было бы для нас серьезным бедствием.

— Но, дорогой мой мальчик, раз оно в моей власти, ему теперь от меня не уйти. Оно может расхаживать где угодно. Стоит мне захотеть, и я в ту же минуту заставлю его явиться сюда.

— Ну, я очень рад это слышать, уверяю вас.

— Да я дам ему столько заказов на картины, сколько ему захочется, и мы с тобой, как и все мое семейство, постараемся, чтобы он чувствовал себя здесь возможно уютнее и был доволен. Не надо ограничивать его передвижения. Но я все же надеюсь так воздействовать на него, что он будет тихим, словно овечка, потому что когда процесс материализации приостановлен, субъект становится мягким, хлипким, податливым и... м-м... Кстати, откуда, интересно, он к нам прибыл?

— Как откуда? Что вы хотите этим сказать?

Граф многозначительно и таинственно указал на небо. Хокинс вздрогнул, затем погрузился в глубокое раздумье и наконец, покачав со скорбным видом головой, указал вниз.

— Что тебя заставляет так думать, Вашингтон?

— Сам не знаю, но вы ведь тоже видите, что он не очень тоскует по тому месту, откуда он прибыл.

— Правильное предположение. Глубоко продуманное. Значит, мы оказали этому чучелу немалую услугу. Но я думаю, не мешает исподволь, потихоньку его прощупать, чтобы выяснить, правы мы или нет.

— Сколько времени потребуется на то, чтобы закончить материализацию и довести процесс до наших дней, полковник?

— Я и сам хотел бы это знать, но не знаю. Я совершенно сбит с толку этим новым обстоятельством: ведь я никак не предполагал, что придется материализовать его постепенно, переходя от предков к потомкам. Но так или иначе, я заставлю его сквозь это пройти.

— Россмор!

— Да, дорогая. Мы в лаборатории. Заходи, здесь Хокинс. А ты, Хокинс, запомни: для всего моего семейства — он обыкновенный живой человек. Ни в коем случае не забывай об этом. Ш-ш, жена!

— Не вставайте, не вставайте, я не буду к вам заходить. Я хотела только спросить, кто это у нас там рисует?

— Кто? О-о, это один молодой художник, молодой англичанин по фамилии Трейси. Он подает большие надежды — любимый ученик Ганса-Христиана Андерсена или кого-то еще из старых мастеров. Нет, по-моему я правильно сказал: именно Андерсена. Он немножко подправит наши итальянские шедевры. Ты разговаривала с ним?

— Да, мы обменялись двумя-тремя словами. Я ведь не думала, что там кто-нибудь есть, и наткнулась на него совсем неожиданно. Ну, я, конечно, постаралась быть с ним любезной: предложила перекусить (Селлерс многозначительно подмигнул Хокинсу, прикрывшись рукою от жены), но он отказался, сославшись на то, что не голоден. (Селлерс еще раз заговорщически подмигнул.) Тогда я принесла ему яблок (усиленное подмигиванье), и он съел две штуки...

— Что?! — И, вздрогнув от изумления, полковник подпрыгнул чуть не до потолка.

Леди Россмор стояла в дверях как громом пораженная, онемев от удивления. Она посмотрела на растерявшегося выходца из Становища Чероки, затем на своего супруга, затем снова на Хокинса.

— Что с тобой, Малберри? — наконец спросила она.

Полковник ответил не сразу. Он стоял спиной к ней и, нагнувшись над стулом, ощупывал сиденье.

— Ага, вот он! — через минуту воскликнул полковник. — Здесь гвоздь.

Супруга некоторое время недоверчиво смотрела на него, затем весьма разгневанно изрекла:

— И все это из-за какого-то гвоздя! Еще слава богу, что это был гвоздь с широкой шляпкой, а то бы ты подскочил до самого Млечного Пути. Надо же было так напугать меня. — И, повернувшись на каблуках, она вышла.

Как только она отошла достаточно далеко и не могла уже их слышать, полковник, понизив голос, предложил:

— Пойдем посмотрим сами. Тут какое-то недоразумение.

Они на цыпочках спустились вниз и заглянули в комнату.

— Оно ест! — с отчаянием прошептал Селлерс. — Какое омерзительное зрелище! Хокинс, это ужасно! Уведите меня отсюда, я не могу этого вынести.

И они нетвердым шагом вернулись в лабораторию.

Глава XX

Трейси медленно продвигался в своей работе, ибо мысли его были заняты другим. Многое удивляло его. Наконец его вдруг осенило, и он решил, что нашел ключ к разгадке, — так, во всяком случае, казалось ему. «Теперь все ясно, — сказал он себе, — этот человек тронутый; не могу сказать, насколько сильно, но отклонение градуса на два несомненно есть. Во всяком случае, этим можно объяснить многие несуразицы: эти ужасные олеографии, которые он считает полотнами старых мастеров; эти омерзительные портреты, которые его пошатнувшемуся рассудку представляются портретами Россморов; гербы, помпезное наименование этой старой развалины — Россморовские Башни, и непонятное заявление, будто он ждал меня. Ну как он мог меня ждать, имея в виду, что я лорд Беркли? Он же должен знать из газет, что этот человек сгорел в гостинице «Нью-Гэдсби».

А ну его к черту, он сам толком не знает, кого он ждал: ведь он же сам сказал, что не ждал ни англичанина и ни художника, и тем не менее все-таки утверждает, что ждал именно меня. Во всяком случае, я его вполне устраиваю. Просто он немного не в себе, — даже, боюсь, очень много. Однако он забавный старикан; впрочем, все люди, находящиеся в его состоянии, наверно таковы. Надеюсь, моя работа ему понравится; я бы с удовольствием приходил сюда ежедневно, чтобы понаблюдать за ним. А когда я буду писать отцу... ах нет, не надо об этом думать, это слишком мучительно и плохо отражается на настроении. Кто-то идет; надо садиться за работу. Опять старик. Он чем-то взволнован. Возможно, моя одежда внушает ему подозрение, — костюм бесспорно необычный для художника. Если бы совесть позволила мне сменить его! Но об этом не может быть и речи. Интересно, зачем он делает эти пассы руками? И адресованы они, как видно, мне. Может быть, он пытается меня загипнотизировать? Мне это совсем не по душе. Даже как-то жутко становится».

Полковник тем временем сказал себе: «Ага, подействовало; вижу, что подействовало. Пожалуй, на сегодня хватит. Он еще недостаточно затвердел, и я могу нечаянно разложить его. Задам-ка я ему два-три хитрых вопроса: посмотрим, нельзя ли выяснить, на какой ступени материализации он находится и откуда к нам явился».

И, подойдя к молодому человеку, он любезно сказал:

— Не обращайтесь, пожалуйста, на меня внимания, мистер Трейси. Я только хочу взглянуть на вашу работу. О, превосходно, действительно превосходно! У вас очень изящная манера письма. Моя дочь будет в восторге. Вы разрешите посидеть рядом с вами?

— Разумеется, я буду очень рад.

— Я вам не помешаю? Я хочу сказать: не спугну ваше вдохновение?

Трейси рассмеялся, заметив, что его вдохновение не такого рода, чтобы его можно было легко спугнуть.

Полковник задал еще несколько осторожных и тщательно продуманных вопросов — вопросов, которые показались весьма странными и не совсем нормальными Трейси; но его ответы, видимо, вполне удовлетворили полковника, ибо он не без гордости и ликования сказал себе:

«Пока это отличная работа. Он надежно и крепко сбит, такого надолго хватит: ведь он

совсем как настоящий человек. Удивительно, просто удивительно! Думаю, что я мог бы даже довести его до окостенения».

Немного спустя полковник осторожно спросил:

— Где же вам больше нравится — здесь или... или там?

— Там? Где это там?

— Да... м-м... там, откуда вы прибыли?

Трейси подумал о пансионе и решительно ответил:

— Здесь, конечно!

Потрясенный полковник отметил про себя: «Он сказал это без всяких колебаний. Теперь ясно, где он был, бедняга! Что ж, я доволен. Я рад, что вызволил его оттуда».

Он сидел и все думал и думал, наблюдая за движениями кисти художника. Наконец он сказал себе: «Да, этим, видно, и объясняется то, что у меня ничего не вышло с беднягой Беркли. Он отбыл в другом направлении. Ну да ничего. Ему там лучше».

В эту минуту домой явилась Салли Селлерс, выглядевшая в этот день еще более обворожительной, чем всегда. Художника представили ей, и оба с одного взгляда безумно влюбились друг в друга, хотя ни тот, ни другая в ту минуту, пожалуй, еще не подозревали этого. Англичанин вдруг почему-то подумал: «А ведь он, пожалуй, не такой уж сумасшедший». Салли же, опустившись на стул, проявила несомненный интерес к работе Трейси, что ему чрезвычайно польстило, и даже сделала несколько благосклонных замечаний, из чего он заключил, что натура у девушки великодушная. Селлерсу же не терпелось сообщить о своих открытиях приятелю, и он поспешил выйти из комнаты, заметив, что два «молодых поклонника музы красок», наверное, могут обойтись и без него, а ему надо идти по делам. После чего художник сказал себе: «По-моему, он немножко чудаковат, но и только», — и упрекнул себя за то, что несправедливо осудил человека, не дав ему возможности показать, каков он на самом деле.

Нечего и говорить, что гость вскоре почувствовал себя вполне непринужденно и принялся весело болтать с дочерью хозяина дома. Всякая средняя американская девушка обладает такими ценными качествами, как естественность, откровенность и беззлобная прямолинейность; она почти не знает обременительных условностей и ложной искусственности, а потому держится и ведет себя непринужденно, — не успеваешь с нею познакомиться, как возникает ощущение, что ты знал ее всю жизнь.

Так и в данном случае: описанное нами новое знакомство — или, вернее, дружба — развивалось очень быстро; стремительность его и прочность подтверждались хотя бы тем весьма примечательным фактом, что через какие-нибудь полчаса обе стороны совершенно забыли о костюме Трейси.

Они вспомнили о нем несколько позже: Гвендолен подумала, что она почти примирилась с одеянием Трейси, а Трейси подумал, что не может с ним дольше мириться.

Вспомнили же они о нем в связи с тем, что Гвендолен пригласила художника остаться у них к обеду. Он отказался, потому что теперь ему хотелось жить, — ведь появилась цель, ради которой, безусловно, жить стоило, — а выжить в таком костюме за столом, где сидит приличная публика, конечно невозможно. Трейси не сомневался в этом. Тем не менее он покинул дом Селлерсов, сияя от счастья, так как заметил, что Гвендолен была явно огорчена его отказом.

Куда же он направился? Он пошел прямо в магазин готового платья и приобрел себе костюм, самый аккуратный и хорошо подогнанный, какой только мог устроить англичанина. Он сказал себе в успокоение, — вернее, не столько себе, сколько своей совести: «Я знаю, что это плохо, но не сделать этого — тоже плохо; семь бед — один ответ».

Это рассуждение вполне удовлетворило его, и на сердце у него стало легче. Возможно, оно удовлетворит и читателя, если он догадается, что сие означает.

За обедом Гвендолен доставила немало волнения родителям: она была какая-то уж очень рассеянная и молчаливая. Будь они понаблюдательнее, они бы наверняка заметили, что она сразу оживлялась и проявляла интерес к разговору, как только речь заходила о

художнике и его работе, но они этого не заметили, а потому разговор перескакивал на другие предметы, и тогда присутствующим оставалось лишь удивляться и в волнении спрашивать себя: уж не заболела ли Гвендолен и не случилось ли у нее какой-нибудь неприятности? Может, испортила заказ?

Мать посоветовала прибегнуть к помощи лекарства и назвала длинный список разнообразных патентованных и подкрепляющих средств, содержащих железо и прочие разновидности металлов, а отец предложил даже послать за вином, хотя сам был рьяным поборником «сухих» законов и главой соответствующего общества в своем округе; однако все эти проявления заботы были отклонены — с благодарностью, но решительно.

Когда настало время ложиться спать и семейство стало расходиться по своим комнатам, Гвендолен потихоньку стащила одну из кистей, сказав себе: «Это та самая, которой он больше всего пользовался».

На следующее утро Трейси вышел из дому в новом костюме, с гвоздикой в петлице — ежедневным знаком внимания со стороны Киски. Помыслы его были полны Гвендолен Селлерс, а такое состояние духа не может не повлиять на вдохновение художника. Все утро кисть его проворно летала по полотнам почти без его ведома («без его ведома» в данном случае означает, что он не ведал, как творил, хотя некоторые авторитеты и оспаривают возможность такого толкования), и из-под нее выходило одно чудо за другим (под чудесами подразумеваются декоративные детали портретов) с такою быстротою и четкостью, что ветераны фирмы были совершенно потрясены и то и дело награждали его похвалами.

Зато Гвендолен теряла даром утро, и вместе с ним — доллары. Она решила, что Трейси должен прийти в первой половине дня — вывод, который она сделала без всякой посторонней помощи. А потому она то и дело отрывалась от работы и спускалась вниз, чтобы еще раз по-новому переложить кисти и всякие другие предметы, а заодно посмотреть, не пришел ли он. Но даже когда она сидела в своей рабочей комнате, толку от этого все равно было мало, а вернее — вообще не было, что она, к великому своему огорчению, вынуждена была признать. Последнее время она все свободные минуты мудрила над особенно необычным и оригинальным платьем, которое хотела себе смастерить, а сегодня утром решила приступить к шитью, но мысли ее витали далеко, и она безнадежно все испортила.

Увидев, что она натворила, Гвендолен сразу поняла, в чем причина и что это может означать, отложила работу и решила смириться. С той минуты она уже не покидала больше аудиенц-зала, а сидела там и ждала.

Вот уже и второй завтрак миновал, а она все ждала. И прождала так еще целый час. Тут сердце ее подпрыгнуло от радости, так как она увидела его. Благодаря небо за ниспосланное счастье, она кинулась наверх и, еле сдерживая нетерпение, принялась ждать, когда Трейси хватится своей главной кисти, которую она куда-то засунула, но хорошенько запомнила куда.

И вот в свое время все члены семейства по очереди были призваны на поиски и, конечно, ничего не нашли; тогда послали за ней; однако и она нашла ее не сразу, а лишь когда остальные разбрелись по всему дому: кто на кухню, кто в погреб, кто в сарай, — словом, всюду, где люди склонны искать вещи, повадки которых им мало известны.

Итак, Гвендолен подала художнику кисть, заметив, что ей следовало бы проверить, все ли готово к его приходу, но она не успела этого сделать: ведь еще так рано, и она никак не ожидала... Тут она умолкла, поражаясь собственным словам, а Трейси почувствовал, что пойман с поличным, и, устыдившись, подумал: «Так я и знал, что нетерпение пригонит меня сюда раньше положенного часа и я выдам себя. Именно это и случилось: она видит меня насквозь и потешается надо мной — в душе, конечно».

Гвендолен была приятно удивлена одним обстоятельством, тогда как другое вызвало в ней противоположное чувство: она была приятно удивлена новым костюмом Трейси и той переменной к лучшему, какая произошла в связи с этим в его внешности, но была куда менее приятно удивлена гвоздикой, торчавшей у него в петлице. Вчерашняя гвоздика почти не

привлекла к себе ее внимания; сегодняшняя была точно такой же, но почему-то она сразу бросилась в глаза Гвендолен и всецело завладела ее думами. Ей бы очень хотелось с самым безразличным видом, будто мимоходом, выяснить происхождение цветка, но она не могла придумать, как к этому приступить. Наконец она решилась. И проговорила:

— Мужчина в любом возрасте может сбросить себе несколько лет, воткнув яркий цветок в петлицу. Я это частенько замечала. Потому-то представители вашего пола и носят бутоньерки?

— Думаю, что не потому, но такая причина достаточно основательна. Признаться, я никогда прежде об этом не слышал.

— Вам, видимо, нравятся гвоздики? Из-за цвета или из-за формы?

— Не в том дело, — простодушно ответил он. — Мне их дарят. А мне более или менее все равно.

«Ему их дарят, — сказала себе Гвендолен и сразу почувствовала неприязнь к гвоздике. — Интересно, в таком случае, кто... и что она собой представляет...» Цветок начал занимать в ее мыслях довольно много места. Он всюду стоял на пути, мешал видеть и застилал перспективу и вообще становился необычайно нахальным и назойливым для такого маленького цветка. «Интересно, он очень ею увлечен?» — подумала Гвендолен, ощутив при этом самую настоящую боль.

Глава XXI

Теперь у художника имелось все, что нужно для работы, и у Гвендолен не было больше предлога оставаться в одной с ним комнате. Итак, она объявила, что уходит, сказав, что, если ему что-нибудь понадобится, пусть вызовет прислугу. И ушла, чувствуя себя глубоко несчастной и оставив глубоко несчастным Трейси, ибо с ее уходом солнечный свет померк для него.

Время потянулось для обоих нескончаемо долго. Он не мог писать из-за того, что без конца думал о ней; она не могла ни изобретать фасоны, ни шить, так как все время думала о нем. Никогда прежде живопись не казалась ему таким никчемным занятием; никогда прежде шитье не казалось ей таким неинтересным. Она ушла, не повторив приглашения к обеду, что нескананно огорчило его. Ну а она — она тоже страдала, так как поняла, что не может пригласить его. Вчера сделать это было совсем нетрудно, а сегодня — невозможно. За последние сутки она, сама того не заметив, лишилась тысячи невинных привилегий. Она чувствовала себя сегодня до смешного скованной и стесненной в своих действиях. Сегодня она уже ничего не могла сделать или сказать без оглядки на то, как он это воспримет: ее парализовал страх, что он может «заподозрить». Пригласить его к обеду? Да при одной мысли об этом ее бросало в дрожь. Итак, весь день оказался для нее источником нескончаемых волнений, которые исчезали лишь на короткий срок и тотчас возвращались.

Трижды за это время она спускалась вниз по делам, — то есть она говорила себе, что спускается вниз по делам. Это позволило ей в общем шесть раз взглянуть на Трейси, хоть она и делала вид, будто смотрит совсем в другую сторону; она старалась ничем не выдать того трепета, который, как электрический ток, пробежал по ней, но чувства ее были в таком смятении, что непринужденность ее выглядела неестественной, слишком наигранной, а спокойствие — чересчур истерическим, чтобы это могло кого-нибудь обмануть.

Впрочем, художник пребывал в состоянии не меньшего волнения, чем она. Он тоже шесть раз видел предмет своего обожания; волны восторга налетали на него, ударяли, захлестывали дивным опьянением и топили всякое понимание того, что он творит. В результате на стоявшем перед ним полотне оказалось шесть мест, которые надо было начисто переделывать.

Наконец Гвендолен обрела некоторое спокойствие духа и послала записку жившим по соседству Томпсонам с извещением, что придет к ним обедать. По крайней мере там ей ничто не будет напоминать, что за столом кого-то недостает, тогда как ей хотелось бы чтоб

«доставало», — это слово она решила на досуге посмотреть в словаре.

А тем временем старый граф зашел поболтать с художником и пригласил его отобедать. Радость и благодарность Трейси нашли свое выражение в неожиданном и могучем взлете его таланта: ему казалось, что теперь, когда впереди несколько драгоценных часов, которые он сможет провести подле Гвендолен, наслаждаясь звуком ее голоса и наблюдая за сменой выражений на ее лице, — жизнь уже не может подарить ему ничего более ценного.

Граф же подумал: «Этот призрак, видимо, может есть яблоки. Посмотрим, ограничивается ли он только ими. Я лично думаю, что ограничивается. Яблоки, очевидно, — предел, положенный духам. Так ведь было и с нашими прародителями. Нет, я ошибаюсь, — вернее, прав лишь частично: для них яблоки тоже были пределом, но только с другой стороны». Тут он заметил новый костюм Трейси и вздрогнул от гордости и удовольствия. «А я все-таки хоть в какой-то мере довел его до наших дней», — подумал он.

Затем Селлерс сказал, что вполне доволен работой Трейси и тут же предложил ему реставрировать все остальные картины старых мастеров, а кроме того, выразил пожелание, чтобы художник написал его портрет, а также портрет его жены и, возможно, дочери. Радость художника не знала предела. Итак, они мило продолжали беседовать — Трейси писал, а Селлерс осторожно распаковывал картину, которую принес с собой. Это была олеография, совсем новенькая, только что вышедшая из мастерской: портрет улыбающегося самодовольного человека того типа, какие встречаются по всем Соединенным Штатам на рекламах, призывающих покупать трехдолларовые ботинки, или костюмы, или что-нибудь в этом роде. Старый граф положил олеографию к себе на колени и умолк, задумчиво и любовно глядя на нее. Тут Трейси заметил, что из глаз его на портрет капают слезы. Это тронуло отзывчивую душу юноши и в тоже время породило у него мучительное чувство неловкости, какое испытывает посторонний человек, став свидетелем сокровенных эмоций, наблюдателем переживаний, которые не предназначены для чужих глаз. Но сострадание пересилило все прочие соображения и побудило Трейси попытаться успокоить старика несколькими теплыми словами и проявлением дружеского участия.

— Я вам от души сочувствую... — сказал он. — Это, видимо, ваш друг, которого...

— Ах, больше, чем друг, гораздо больше... Это родственник, самый дорогой, какой у меня только был, хоть мне и никогда не привелось его видеть. Да, юный лорд Беркли, который героически погиб во время страшного по... В чем дело, что с вами?

— О, ничего, ничего. Просто как-то странно вдруг очутиться, так сказать, лицом к лицу с человеком, о котором столько слышал. А этот портрет похож на него?

— Вне всякого сомнения. Я никогда не видел самого юноши, но вы легко можете убедиться в правоте моих слов, сравнив его портрет с портретом его отца, — сказал Селлерс, приподнимая олеографию и одобрительно поглядывая то на нее, то на ту, которая якобы изображала узурпатора графского титула.

— М-м, я не вполне уверен, что нахожу здесь сходство. У этого человека, узурпировавшего графский титул, лицо волевое и длинное, как у лошади, в то время как у его наследника, которого мы видим здесь, лицо круглое, точно луна, расплывшееся в улыбке и безвольное.

— А мы в молодости все так выглядим — весь наш род, — заметил, нимало не смущаясь, Селлерс. — Вступаем в жизнь круглолицыми идиотами и постепенно превращаемся в субъектов с лошадиной физиономией, поражающих своей волей и интеллектом. Потому-то я и вижу здесь сходство и смею утверждать, что это портрет подлинный и превосходный. Да, все в нашем семействе поначалу полные кретины.

— И этот молодой человек бесспорно следует вашей родовой традиции.

— Да, да, это был несомненный кретин. Посмотрите на его лицо, на очертания головы, на выражение глаз. Кретин, кретин, до мозга костей кретин.

— Благодарю вас, — невольно вырвалось у Трейси.

— За что?

— Ну, за объяснение. Продолжайте, пожалуйста, прошу вас.

— Так вот, как я вам уже говорил, то, что он кретин, начертано у него на физиономии. Можно, пожалуй, даже сделать некоторые уточнения.

— Какие же?

— Ну, что он к тому же еще и хлюпик.

— Кто, кто?

— Хлюпик. Это такой человек, который сначала занимает в отношении чего-нибудь твердую позицию — он считает ее несокрушимой и вечной, как Гибралтарская скала, а через некоторое время начинает колебаться — и Гибралтара как не бывало: глядишь — обычный хилый хлюпик на ходулях. Вот вам лорд Беркли как на ладони! Достаточно взглянуть на эту овцу, чтоб убедиться в правоте моих слов. Но почему вы вдруг покраснели, как небо в час заката? Дорогой сэръ, может быть я нечаянно чем-то вас оскорбил?

— О нет, что вы. Нисколько. Но я всегда краснею, когда кто-нибудь в моем присутствии поносит своих родственников. — Про себя же Трейси подумал: «Как удивительно эти блуждания бесхитростной фантазии совпали с истиной. Ведь он ненароком обрисовал меня — и с большой точностью. Я именно такой и есть. Когда я покидал Англию, мне казалось, что я знаю себя; я тогда считал, что не уступлю Фридриху Великому в решимости и стойкости, а на самом деле я всего лишь жалкий хлюпик, настоящий хлюпик — и все. Единственное утешение, что у меня есть хоть высокие идеалы и умение принимать великие решения, — помиримся и на этом». А вслух он спросил: — Как, по-вашему, могла бы эта овца, как вы его называете, вдохновиться великой идеей, пойти на самопожертвование?

Мог бы он, скажем, отказаться от графского титула, богатства и положения и добровольно влиться в ряды простых людей, а потом либо вырваться из них благодаря собственным достоинствам, либо навсегда остаться бедным и безвестным?

— Мог ли бы он? Да вы посмотрите на него, посмотрите на его улыбающуюся самодовольную физиономию — и вам все станет ясно. Именно на это он и способен. И даже способен приступить к выполнению своего замысла.

— А потом?

— А потом начнет колебаться.

— И отступит?

— Отступит, как всегда.

— И так и будет со всеми моими... то есть я хочу сказать: так будет со всеми его важными решениями?

— Ну конечно, конечно. Ведь он же Россмор.

— Тогда хорошо, что этот человек умер. Теперь предположим, что я был бы Россмором и...

— Это невозможно.

— Почему?

— Потому что такое нельзя даже предположить. Чтобы быть Россмором в вашем возрасте, надо быть кретином, а вы не кретин. И потом вы должны были бы вечно колебаться, в то время как любому человеку, умеющему разбираться в людях, достаточно взглянуть на вас, чтобы понять, что уж если вы ступили вперед, то не шагнете назад, даже землетрясение не способно сдвинуть вас с места. — Про себя же Селлерс подумал: «Больше я ему ничего не скажу, хоть не сказал и половины того, что думаю. Чем больше я его наблюдаю, тем удивительнее он мне кажется. Такого волевого лица я еще ни у кого не видел. Оно говорит о почти сверхчеловеческой твердости характера, непреклонности, целеустремленности, железной стойкости. Совершенно необыкновенный молодой человек». Вслух же он продолжал: — Я уже давно хочу просить вашего совета по одному маленькому делу, мистер Трейси. Видите ли, у меня находятся останки этого молодого лорда... Боже мой, что вы так вздрогнули?

— Ничего, ничего, продолжайте, пожалуйста. Значит, у вас находятся его останки?

— Да.

— Вы уверены, что это его останки, а не кого-либо другого?

— О, совершенно уверен. Вернее, у меня есть образцы. А всего праха нет.

— Образцы?

— Ну да, в корзинках. Когда-нибудь вы поедете к себе на родину, и, если бы вы не возражали, я попросил бы вас взять их с собой...

— Кого? Меня?

— Ну да, конечно. Я не собираюсь давать их вам сейчас, но через некоторое время, попозже... Кстати, вы не хотите взглянуть на них?

— Нет, ни в коем случае. Я вовсе не хочу смотреть на них.

— Ну, хорошо, хорошо, я только подумал... Э-э, куда это ты собралась, милочка?

— В гости, я приглашена на обед, папа.

Трейси был совершенно сражен. А полковник сказал разочарованно:

— Мне очень жаль. Я, право, не знал, что она уходит, мистер Трейси. — На лице Гвендолен появилось замешательство: она поняла, что она наделала. — Трое стариков — не очень веселая компания для молодого человека.

Лицо Гвендолен озарила слабая надежда, и она сказала с неохотой, которую едва ли можно было счесть искренней:

— Если желаете, я могу послать записку Томпсонам, что я...

— Ах, ты идешь к Томпсонам! Это упрощает дело, и ничего не надо менять. Мы уж как-нибудь без тебя обойдемся и не станем расстраивать твои планы, дитя мое. Тебе так хотелось пойти туда...

— Но, папа, я могу пойти туда как-нибудь в другой...

— Нет, нет, я не допущу этого. Ты хорошая, трудолюбивая дочка, и твой отец не станет доставлять тебе огорчения, раз ты...

— Но, папа, я...

— Иди, иди, и ни о чем не думай. Мы обойдемся и без тебя, милочка.

Гвендолен готова была разрыдаться от досады. Но делать нечего: приходилось идти в гости; и она уже направилась было к выходу, как вдруг ее отцу пришла мысль, за которую он с восторгом ухватился, так как она позволяла легко обойти трудности и устроить все ко всеобщему удовольствию.

— Я придумал, душенька! И тебе праздник не будет испорчен, и нам здесь будет весело. Ты пришлешь нам Белл Томпсон. Прелестное создание, Трейси, совершенно очаровательная девушка! Я хочу, чтобы вы познакомились с ней, — вы просто голову потеряете в одну минуту. Да, Гвендолен, пришли ее немедленно скажи ей... Как так, она уже ушла? — Он повернулся, ища глазами дочь, но Гвендолен в это время уже выходила за ворота. — Странно, что это с ней? — пробормотал он. — Не знаю, что произносят ее уста, но, судя по тому, как она передергивает плечами, могу поклясться, что она ворчит.

— М-да, — с блаженной улыбкой продолжал полковник, обращившись к Трейси, — мне, конечно, будет скучно без нее: родители ведь всегда скучают без детей, как только теряют их из виду, это вполне естественно и так уж заведено. Но вам скучно не будет: мисс Белл составит вам компанию, и притом вполне приятную. Ну и мы, старики, тоже постараемся, — словом, премило проведем время. К тому же у вас будет возможность получше познакомиться с адмиралом Хокинсом. Вот редкостный человек, Трейси, — один из редчайших и любопытнейших людей, какие существовали на земле! Да вы сами увидите, какой это интересный предмет для изучения. Я, например, изучаю его с тех пор, как он еще был ребенком, и вижу, какое непрерывное развитие претерпевает его характер. Я, право, считаю, что своими познаниями человеческой природы я прежде всего обязан тому живому интересу, который я всегда питал к этому мальчику, столь поражающему непредвиденностью своих действий и побуждений.

Из всей этой тирады Трейси не услышал ни слова. Настроение у него упало, он был в отчаянии.

— Да, это совершенно удивительный человек. Главная черта его характера — скрытность. А при изучении человека надо прежде всего выяснить, что составляет краеугольный камень его характера, — и если вам это удалось, значит все в порядке. Тогда уже ничто, никакие, казалось бы необъяснимые, противоречия не могут сбить вас с толку. Что вы обнаруживаете при первом взгляде на сенатора? Простодушие, явное, ничем не прикрытое простодушие, — тогда как на самом деле это один из величайших умов мира. Человек глубоко честный, абсолютно честный и почтенный, и в то же время искуснейший притворщик, какого когда-либо знал мир.

— Вот дьявольщина! — вырвалось у Трейси, который и не думал слушать полковника, терзаясь мыслью о том, как чудесно могло бы все быть, если бы одно приглашение на обед не совпало с другим.

— Нет, я бы этого не сказал, — возразил Селлерс, неторопливо прохаживаясь по комнате, заложив руки под фалды сюртука и наслаждаясь звуком собственного голоса. — Это можно было бы вполне назвать дьявольщиной, если б речь шла о ком угодно, только не о сенаторе. Термин вы нашли правильный, совершенно правильный, признаю, но применили вы его не по адресу. А значит — не попали в точку. Да, человек он замечательный. Не думаю, чтобы нашелся другой государственный деятель с таким чувством юмора и таким умением скрывать это от всех. Я еще могу сделать исключение для Джорджа Вашингтона и Кромвеля, ну и, пожалуй, для Робеспьера, но и только. Человек, не умеющий разбираться в людях, может всю жизнь провести в обществе судьи Хокинса и считать, что у него не больше юмора, чем у могильной плиты.

Глубокий, длинный, чуть не с ярд, вздох вырвался у растроенного художника, мысли которого витали далеко.

— Ах, несчастный, несчастный! — пробормотал он.

— Ну нет, я бы этого не сказал. Наоборот, я восхищаюсь его способностью скрывать юмор даже больше — если только это возможно, — чем самим юмором, хотя дар у него по этой части поразительный. И потом, генерал Хокинс еще и мыслитель: у него острый, логичный, глубокий, аналитический ум, — пожалуй, это самый способный человек нашего времени. Применение себе он, естественно, находит в том, что наиболее соответствует его масштабам, как, например, ледниковый период и взаимодействие разных сил, а также происхождение христианина от гусеницы. Дайте ему только тему по плечу, а затем отойдите в сторонку и слушайте. О, зрелище это потрясет вас не меньше, чем вулканическое извержение. Нет, вы непременно должны узнать его, проникнуть в самую его сущность. Пожалуй, это наиболее удивительный ум со времен Аристотеля.

Обед запаздывал — ждали мисс Томпсон. Но поскольку Гвендолен не передала ей приглашения, ожидание это было совершенно напрасным, и под конец семейство направилось к столу без нее. Бедный старый Селлерс испробовал все средства, какие могла придумать его гостеприимная душа, чтобы их гость не скучал, а гость ради старого джентльмена честно старался быть веселым и разговорчивым, — словом, все упорно старались доставить друг другу как можно больше удовольствия, но эти старания с самого начала были обречены на провал. На сердце у Трейси лежала свинцовая тяжесть; во всей комнате для него, казалось, существовал лишь один предмет, и этим предметом был пустующий стул. Трейси не мог выбросить из головы Гвендолен и свое невезенье: из-за его рассеянности в беседе то и дело возникали мертвые паузы; естественно, болезнь эта распространилась на всех присутствующих, а потому компания не мчалась на всех парусах по озаренным солнцем водам, чего, казалось, следовало ожидать, — наоборот: все скучали, позевывали и думали лишь о том, как бы поскорее закончить плавание. В чем же было дело? Один только Трейси мог бы ответить на этот вопрос, остальные могли лишь теряться в догадках.

Не менее печально обстояло дело и в доме Томпсонов, — собственно говоря, там происходило то же самое. Гвендолен было бесконечно стыдно за то, что она позволила дурному настроению овладеть собой и до такой степени поддалась этой непонятной и

глубокой тоске. Но сколько она ни стыдила себя, ей не становилось легче, а наоборот: она лишь еще больше страдала. Она объявила, что неважно себя чувствует, и, глядя на нее, в этом нельзя было усомниться, а потому все искренне ей сочувствовали; но это опять-таки нисколько не улучшало дела. В таких случаях ничто не помогает. Лучше всего не вмешиваться и дать нарыву назреть. Как только обед окончился, девушка извинилась и поспешила домой, чувствуя бесконечное облегчение оттого, что ей удалось избавиться от этого семейства и от своих невыносимых страданий.

Неужели он уже ушел? Мысль эта возникла в ее мозгу, а отозвалась в ногах. Гвендолен тихонько проскользнула в дом, сняла накидку и шляпку и сразу направилась в столовую. У дверей она остановилась и прислушалась. Голос отца — безжизненный и унылый; затем матери — тоже безжизненный и унылый; заметная пауза, затем ничего не значащее замечание со стороны Вашингтона Хокинса. Снова молчание; затем чей-то голос — не Трейси, а снова отца.

«Он ушел», — в отчаянии подумала она, равнодушно открыла дверь и вошла.

— Боже, дитя мое, — воскликнула мать, — как ты бледна! Ты не... что-нибудь случилось?..

— Бледна? удивился Селлерс. — От ее бледности и следа не осталось, значит ничего серьезного. Смотри, какая она красная, точно сердцевинка арбуза. Садись, милочка, садись! Одному богу известно, как мы рады тебя видеть. Ты хорошо провела время? Мы здесь ужасно веселились, просто невероятно. А почему же не пришла мисс Белл? Мистер Трейси что-то неважно себя чувствует, она бы развлекла его и заставила забыть недомогание.

Вот теперь Гвендолен была удовлетворена, и в глазах ее засияло такое счастье, что кое-кому все сразу стало ясно, и в другой паре глаз зажегся ответный огонь. Понадобилась лишь крошечная доля секунды, чтобы сделать эти два великих признания, получить ответ и все понять. Все тревоги, сомнения, неуверенность исчезли из юных сердец, и в них воцарился великий покой.

Селлерс был совершенно убежден, что, получив такое подкрепление, он хоть в последнюю минуту, но все же вырвет победу из пасти поражения. Но он ошибался. Беседа по-прежнему не клеилась. Полковник гордился Гвендолен и любил похвалиться ею при посторонних, даже в присутствии мисс Белл Томпсон, и вот представилась такая возможность, но как же Гвендолен ею воспользовалась? Старик был положительно озадачен. Ему неприятно было думать, что этот англичанин, с присущей всем странствующим британцам склонностью делать обобщения и строить целые горы из крошечной песчинки, может прийти к выводу, будто американские девушки столь же немые, как он сам, — иными словами, будет судить обо всей нации на основании одного-единственного экземпляра. И надо же, чтобы Гвендолен именно сегодня была не в ударе, ибо, как видно, ничто за столом не могло ее вдохновить, взбодрить, заставить проснуться. Селлерс твердо решил, что ради спасения доброго имени своей страны непременно еще раз сведет эту пару вместе — и как можно скорее.

В другой раз такого, конечно, не случится, рассудил он. И с глубокой обидой в сердце подумал: «Ведь он непременно напишет в своем дневнике (все англичане ведут дневники), напишет, что она на редкость неинтересна! Боже мой, боже мой, и ведь это правда! Я что-то никогда не видел ее такой... И все же, до чего она была сегодня хорошенькая, чертовка! А посмотришь со стороны, вроде бы только и умеет, что катать хлебные шарики да обдирать лепестки у цветов или ерзать на стуле. Вот и в аудиенц-зал мы перешли, а дело все не идет на лад. С меня хватит — спускаю флаг, остальные могут продолжать сражение, если им угодно».

Он попрощался со всеми и ушел к себе, сославшись на срочные дела. Влюбленные находились в разных углах комнаты и, казалось, нимало не интересовались ДРУГ другом. После ухода отца расстояние между ними несколько сократилось. Вскоре ушла и мать. Расстояние еще больше сократилось. Трейси стоял перед олеографией, изображавшей некоего политического деятеля из Огайо, несколько подправленного и облаченного в

кольчугу для придания большего сходства с Россмором-крестоносцем, а Гвендолен сидела на диване, почти у самого его локтя, и делала вид, будто всецело поглощена изучением альбома с фотографиями, в котором не было ни одной фотографии.

«Сенатор» все не уходил. Ему было жаль молодых людей: они, бедненькие, проскучали весь вечер. И, будучи человеком доброй души, он старался развеселить их хотя бы сейчас и как-то рассеять неприятное впечатление, которое не могло не остаться у них от обеда. Он пытался поддерживать беседу и даже пытался шутить. Но они отвечали вяло, без всякого энтузиазма. Тогда он тоже решил сдаться и уйти: такой уж, видно, сегодня день, будто специально предназначенный для провалов и неудач.

Но когда Гвендолен поспешно встала и, благословляя его в душе, с сияющей улыбкой спросила: «Неужели вы уже уходите?», Хокинс подумал, что покинуть ее в такую минуту было бы величайшей жестокостью, и снова сел.

Он хотел было что-то сказать и... и не сказал. Все мы бывали в таком положении: он и сам не знал, почему он вдруг понял, что его решение остаться было ошибкой, — просто он это понял, твердо понял. Итак, он пожелал молодым людям доброй ночи и вышел, раздумывая о том, что же такое он мог сделать и отчего сразу так изменилась атмосфера. Дверь еще не успела за ним закрыться, как влюбленные уже стояли рядом и смотрели на дверь — смотрели с глубокой благодарностью, выжидая, когда же она закроется, считая секунды. И как только она закрылась, они бросились друг другу в объятия и замерли — сердце к сердцу, уста к устам...

— О боже! *Оно* целует ее!

Никто не услышал этого восклицания, ибо Хокинс, которому оно принадлежало, не выговорил его, а только подумал. Дело в том, что, уже закрыв дверь, он снова приоткрыл ее, решив все-таки спросить, что же такого он сказал или сделал, и извиниться за свой промах. Но он не вошел, а, потрясенный, ошарашенный, бесконечно несчастный, повернулся и, спотыкаясь, побрел прочь.

Глава XXII

Пять минут спустя он уже сидел у себя в комнате возле стола, уронив голову на скрещенные руки, в позе предельного горя и отчаяния. Слезы градом катились из его глаз, и время от времени рыдание нарушало тишину.

— Я знал ее совсем крошкой, — наконец пробормотал он, — она еще так часто влезала ко мне на колени. Я люблю ее, как родное дитя, и вот теперь... О, бедное, бедное создание! Я не в силах этого вынести! Она отдала свое сердце этому паршивому материализованному призраку! И почему только мы об этом не подумали? А с другой стороны, как мы могли об этом подумать? Кому бы это могло прийти в голову? Никому. Нельзя же, например, представить себе, чтобы человек мог влюбиться в восковую куклу, а ведь это даже и не кукла.

И он продолжал горевать, время от времени изливая свои чувства вслух:

— Это случилось, случилось, и ничем теперь не поможешь, ничем не предотвратишь. Если бы у меня хватило духу, я убил бы его. Но и это не выход. Она любит его, она считает его настоящим, реальным человеком. И если она его лишится, она будет горевать о нем, как о живом. А кто сообщит об этом родителям?! Только не я, — я скорее умру. Селлерс — лучший человек, какого я когда-либо знал, я не смогу... О господи, это разобьет ему сердце. Да и Полли тоже. Вот что получается, когда связываешься со всякой чертовщиной! Если бы не Селлерс, это чучело до сих пор жарилось бы на сковороде в аду. И как это люди не чувствуют, что от него несет серой? Я, например, иной раз просто не могу находиться с ним в одной комнате: от него так разит, что можно задохнуться.

Помолчав немного, он разразился новой тирадой:

— Словом, теперь ясно одно. Материализацию на этом надо прекратить. Если уж Гвендолен суждено выйти замуж за привидение, пусть выходит за приличное,

средневековое, вроде этого, а не за какого-нибудь ковбоя и вора, в которого превратится эта протоплазма, если Селлерс станет продолжать свои опыты. Правда, если работы прекратятся, компания потеряет на этом пять тысяч долларов, но счастье Салли Селлерс стоит куда дороже.

Тут он услышал шаги Селлерса и взял себя в руки.

— Ну, должен признаться, я немало озадачен, — сказал Селлерс, садясь. — Он ел — в этом нет сомнения. Правда, не ел, а ковырялся в тарелке, как делают люди, у которых нет аппетита, но все-таки что-то глотал, а это уже чудо. Теперь возникает вопрос: куда девается то, что он заглатывает? Именно так: куда это девается? Мне кажется, что мы еще далеко не знаем всего, что таит в себе мое потрясающее открытие. Но время покажет — время и наука. Нужно только наблюдать за ним и не торопиться.

Но как ни старался Селлерс, ему не удалось вызвать у Хокинса интереса к волновавшей его проблеме, — тот продолжал сидеть мрачный и подавленный. Наконец полковник затронул тему, которая заставила Хокинса насторожиться.

— Мне он начинает нравиться, Хокинс. Это человек поразительной силы воли, просто гигант. Под его внешней бесстрастностью таится самый смелый ум, какой когда-либо знало человечество, — это настоящий Клайв! Да, я восхищаюсь им, восхищаюсь его характером, а ты знаешь, что за восхищением следует любовь. Мне кажется, что я его очень люблю. И знаешь, у меня неостанет духу превратить такую личность в вора, будь то за деньги или за что-нибудь еще! Вот я и пришел просить тебя, не согласишься ли ты отказаться от награды и оставить этого бедного малого?

— В том состоянии, как сейчас?

— Ну да, не материализовать его дальше и не доводить до наших дней.

— Вот вам моя рука! Я согласен от всего сердца.

— Я никогда этого не забуду, Хокинс, — сказал старый джентльмен, с трудом удерживая голос от дрожи. — Ты приносишь мне великую жертву, и жертву для тебя нелегкую, но я никогда не забуду твоего великодушия, и, если буду жив, ты не пожалеешь об этом, можешь не сомневаться.

Тем временем в сознании Салли Селлерс произошел мгновенный и решительный поворот: она вдруг поняла, что стала иным существом, — существом более возвышенным и достойным, чем была еще совсем недавно; существом целеустремленным, а не бесплодной мечтательницей; существом, перед которым раскрылся смысл ее существования на свете, тогда как прежде она лишь с тревогой и любопытством над этим раздумывала. Перемена, происшедшая в ней, была столь велика и всеобъемлюща, что у нее возникло такое ощущение, точно она лишь теперь стала человеком, тогда как до сих пор была лишь тенью; стала чем-то, тогда как еще совсем недавно была ничем; приобрела цель в жизни, тогда как еще недавно лишь мечтала о ней; уподобилась воздвигнутому храму, где перед алтарем горит огонь и к сводам возносятся голоса молящихся, тогда как прежде это был лишь туманный архитектурный замысел, непонятный для глаз пришельца и ничего не говорящий.

— Леди Гвендолен!

Сейчас этот титул утратил для нее всякое обаяние, он оскорблял ее слух.

— Этот... эта бутафория принадлежит прошлому; я не желаю больше, чтобы меня называли так, — сказала она.

— Могу я называть вас просто Гвендолен? Вы позволите мне отбросить формальности и называть вас этим милым именем без всяких добавлений?

Она была занята изъятием из его петлицы гвоздики и водворением на ее место розового бутона.

— Ну вот... Так гораздо красивее. Ненавижу гвоздику... некоторые сорта. Да, конечно, называйте меня по имени без всяких добавлений... то есть... ну, не совсем без всяких добавлений, но...

Однако высказать свою мысль до конца она не смогла. Наступила пауза, — Трейси тщетно пытался понять, к чему она клонит; наконец у него мелькнула идея, которая и

позволила ему выйти из затруднения.

— Дорогая Гвендолен!.. Я могу вас так называть? — радостно спросил он.

— Да, частично. Но... Не целуйте вы меня, когда я говорю, а то я забываю, что хотела сказать. Вы можете называть меня только первым словом, но не вторым. Гвендолен — это не мое имя.

— Не ваше имя? — В этом вопросе прозвучало безграничное удивление.

Тут девушку охватило предчувствие недоброго, в душу к ней закрались подозрение и страх. Она отвела от себя руки Трейси и, испытующе глядя ему в глаза, сказала:

— Отвечайте мне искренне, по чести. Вы хотите жениться на мне не из-за титула?

Удар был столь сильным и неожиданным, что Трейси мог бы проскочить сквозь стену и вылететь на улицу. Самый вопрос, как и вызвавшее его подозрение были столь нелепы, что Трейси был сражен и ошарашен и даже не смог рассмеяться. Затем, не теряя драгоценного времени, он принялся уверять девушку, что пленился ею самой и полюбил ее, а не ее титул и положение; что любит он ее всем сердцем и не мог бы любить больше, если б даже она была герцогиней, или меньше, если б она была бездомной сиротой, без роду, без племени. Салли внимательно, настороженно, с надеждой смотрела ему в лицо, ища на нем подтверждения его слов. Когда же он кончил свою речь, в душе ее воцарилась радость — буйная радость, которая, впрочем, никак не отразилась на ее лице: оно было все так же спокойно, невозмутимо и даже предусмотрительно строго. Салли готовила Трейси сюрприз, решив подвергнуть серьезному испытанию его бескорыстие. Вот что она сказала, неторопливо поднося к запальному шнуру огонь и выжидая, пока он — слово за словом — пробежит по нему, чтобы закончиться неминуемым взрывом, последствия которого ей было любопытно увидеть:

— Выслушайте меня и не сомневайтесь в том, что я вам скажу, ибо я скажу вам истинную правду. Ховард Трейси, мой отец такой же граф, как и ваш!

К ее великой радости и тайному удивлению это не оказало на него никакого действия. Но на сей раз он не опешил от удара и воспользовался моментом.

— И слава богу! — восторженно воскликнул он, заключая ее в объятия.

Салли не хватало слов, чтобы выразить свое счастье.

— Благодаря вам я теперь самая гордая девушка на земле, — сказала она, уткнувшись головкой ему в плечо. — Я считала вполне естественным, что вас мог ослепить мой титул, хотя, быть может, вы и сами этого не сознавали, но ведь вы англичанин. Мне казалось, что вы обманываетесь, считая, будто любите меня бескорыстно, и обнаружите, что это вовсе не так, когда обман рассеется. А потому я горжусь, увидев, что мое признание ничего не изменило и что вы любите меня ради меня самой, только ради меня самой... О, я так горда, что этого не выразишь словами!

— Только ради вас самой, моя любимая! Я ни разу не бросил ни одного завистливого взгляда на графский титул вашего отца. Это чистая правда, дорогая Гвендолен.

— Ну вот, опять!.. Вы не должны меня так называть. Я ненавижу это фальшивое имя. Я же сказала вам, что меня зовут не так. Меня зовут Салли Селлерс, или Сара, если вам так больше нравится. Отныне я отказываюсь от всех мечтаний, иллюзий, фантазий и не желаю больше их знать. Я буду сама собой — такой, какая я есть, честной, естественной, свободной от предрассудков. Я сброшу с себя всю эту мишуру, глупость, претензии и буду достойной вас. Между нами нет ни на гран неравенства: я бедна, как и вы; у меня, как и у вас, нет ни титула, ни положения в обществе; вы — художник, своим искусством добывающий себе на пропитание, я тоже живу своим заработком, только более скромным. Хлеб наш — честно заработанный: мы живем своим трудом. Рука об руку пойдем мы отныне по жизни до могилы, всячески помогая друг другу, живя друг для друга, слив наши помыслы и цели, надежды и чаяния воедино, неразрывно связанные друг с другом до конца. И хотя в глазах общества мы люди маленькие, мы постараемся всемерно возвыситься благодаря честному труду, который позволит нам заработать себе на одежду и пропитание, и благодаря безупречному поведению. К счастью, мы живем в стране, где это ценится, где все люди

одинаковы и, слава богу, различаются лишь по своим личным достоинствам.

Трейси попытался было вставить слово, но она жестом остановила его и продолжала свою речь:

— Я не кончила. Мне ведь еще надо сбросить с себя последние остатки искусственности, избавиться от ненужных претензий и начать с вами честную жизнь, став для вас достойной подругой. Мой отец искренне считает, что он граф. Пусть считает! Это доставляет ему удовольствие и никому не причиняет вреда. Об этом мечтали его предки задолго до него. Это было предметом помешательства многих поколений Селлерсов, я сама чуть не последовала их примеру, но, к счастью, во мне эта мания засела неглубоко. А сейчас я распрошусь с ней раз и навсегда. Сорок восемь часов тому назад я в глубине души гордилась тем, что являюсь дочерью вроде бы графа, и считала, что спутником моей жизни может быть лишь человек такого же ранга, но сегодня — о, как я благодарна вам за вашу любовь, которая исцелила мой больной ум и вернула мне здравый смысл! — я могу поклясться, что ни один графский сын на земле...

— Да... нет, но... но...

— Что с вами, у вас такой вид, точно вы испугались чего-то! В чем дело?

— В чем? Да ни в чем... ни в чем. Я хотел только сказать... — Но волнение Трейси было столь велико, что он ничего не мог придумать. Тут ему пришла в голову счастливая мысль, вполне соответствующая случаю, и он вдохновенно воскликнул: — О, как вы прекрасны! У меня дух захватывает, глядя на вас!

Это была правильная мысль, своевременная, высказанная с достаточным пылом, и она не могла не быть вознаграждена.

— Обождите... О чем это я говорила? Да, о том, что графский титул моего отца — чистая выдумка. Посмотрите на эти ужасы на стене; вы, конечно, полагаете, что это портреты его предков, графов Россморов. Ну, так ничего подобного. Это олеографии, изображающие известных американцев — наших современников, но с помощью подписей, сделанных отцом, им придана видимость тысячелетней давности. Вон там — Эндрью Джексон, который по мере сил и возможностей старается походить на покойного американского графа, а новое сокровище нашей коллекции должно изображать молодого англичанина, наследника графского титула, — я имею в виду вон того идиота, обтянутого крепом, — на самом же деле это сапожник, а никакой не лорд Беркли.

— Вы в этом уверены?

— Конечно уверена. Тот не мог так выглядеть.

— Почему?

— Потому что его поведение в последние минуты жизни, когда вокруг бушевал огонь, показывает, что это был настоящий человек... показывает, что это была возвышенная, благородная натура.

Трейси был глубоко тронут этими комплиментами, ему даже показалось, что прелестные губки девушки стали еще прелестней, произнося эти слова. И он сказал нежно:

— Как жаль, что он не может узнать, какую чудесную память оставило его поведение в душе восхитительнейшей и очаровательнейшей незнакомки в той стране, где...

— О, я почти влюбилась в него! Я думаю о нем каждый день. Он просто не выходит у меня из ума.

Трейси показалось это несколько излишним. Он почувствовал укол ревности.

— Вы, конечно, правильно делаете, что думаете о нем, — сказал он. — Во всяком случае, время от времени не мешает о нем думать... то есть, я хочу сказать, иногда... Иными словами... отдаленно восхищаться им. Но мне кажется, что...

— Ховард Трейси, неужели вы меня ревнуете к мертвецу?

Ему стало стыдно — и в то же время несколько не стыдно. Он ревновал — и в то же время не ревновал.

Ведь в известном смысле этим мертвецом был он сам, и в таком случае все комплименты и похвалы, которыми осыпали покойника, шли в виде чистой прибыли к нему

в карман. Но, с другой стороны, он же не был мертвецом, и, значит, все комплименты и похвалы, которыми осыпали покойника, не относились к нему и давали вполне достаточный повод для ревности. В результате между влюбленными произошла легкая размолвка. Но они быстро помирились и прониклись друг к другу еще большей любовью. Чтобы окончательно скрепить примирение, Салли объявила, что она изгоняет лорда Беркли из своих мыслей, и добавила:

— А для того чтобы он никогда впредь не стоял между нами, я приучу себя ненавидеть это имя и всех, кто его носит или когда-либо будет носить.

Это нанесло новый удар по сердцу Трейси, и он уже хотел было просить Салли несколько смягчить свой приговор — ну хотя бы в общих чертах, для того чтобы добро не обратилось во зло, — но по здравом размышлении решил, что, пожалуй, лучше все оставить так, как есть, и не рисковать возможностью новой размолвки. Итак, он решил уйти от этой темы и поискать что-то менее щекотливое.

— Насколько я понимаю, вы теперь, должно быть, порицаете аристократию и знать, раз вы отказались от своего титула и графских привилегий своего отца?

— Настоящую? Господи, нет конечно. Но я навсегда разделалась с нашим мишурным титулом.

Этот ответ прозвучал очень кстати и пролил бальзам на больное место: он спас бедного неустойчивого молодого человека от необходимости снова менять свои политические взгляды. Он уже начал было колебаться, но эти слова пригвоздили его к месту и не дали ему вернуться в лоно демократии и снова отказаться от принадлежности к аристократии. Итак, он пошел домой, радуясь тому, что задал этот вопрос и получил на него столь благоприятный ответ. Значит, его любимая согласится принять вместе с ним такую малость, как титул настоящего графа, — она возражает лишь против фальшивых ценностей. Да, он сможет сохранить и девушку и графский титул, — это большая удача.

Салли отправилась спать, тоже чувствуя себя необычайно счастливой, и пребывала в этом счастливом, до одури счастливом состоянии около двух часов, — но тут, в ту самую минуту, когда она готова была погрузиться в благостное и дивное забытие, черный дьявол, который живет, скрывается, время от времени появляется и снова прячется в душах человеческих, который наблюдает за человеком и только и ждет, как бы устроить своему властелину какую-нибудь гадость, шепнул ей: «Этот вопрос выглядел вроде бы невинным, но что тайлось под ним? Из каких тайных соображений он был задан? И почему был задан именно он?»

Черный дьявол нанес Салли удар в самое сердце и теперь мог отправиться на покой, что он и сделал, предоставив боли терзать его жертву. Что и произошло.

Зачем Ховарду Трейси было задавать этот вопрос? Если он хотел жениться на ней не из-за ее титула, чего же ради он задал этот вопрос? Разве он не обрадовался, когда она сказала, что ее возражения против аристократии носят несколько ограниченный характер? Нет, его, конечно, интересует графский титул, эта позолоченная мишура, а она, бедняжка, вовсе не нужна ему.

Так рассуждала сама с собой Салли, вся в слезах, терзаясь тоской. Затем она попыталась посмотреть на дело иначе, но у нее ничего не вышло, и она не сумела себя убедить. Весь остаток ночи она перебирала один за другим все доводы — «за» и «против» и наконец заснула только на заре, — вернее, не заснула, а погрузилась в лихорадочное забытие, когда человека словно поджаривают на адском пламени и он просыпается с испекшимся мозгом, без сил, точно весь вываренный.

Глава XXIII

Прежде чем лечь в постель, Трейси написал отцу. Письмо это, по его мнению, должно было встретить лучший прием, чем каблограмма, ибо оно содержало, казалось, приятные вести. Трейси писал, что вкусил равенства и знает теперь, каким трудом дается заработок;

выдержал тяжелую борьбу, которой у него нет оснований стыдиться, и доказал, что способен сам себя прокормить, — но в результате он пришел к выводу, что не может один переделать мир, и готов более или менее с честью выйти из боя, который в общем-то выиграл: вернуться домой и занять прежнее положение, — оно его вполне устраивает, и впредь он будет лишь благодарить за него судьбу; а роль миссионеров пусть берут на себя другие молодые люди, нуждающиеся в облагораживающем и отрезвляющем влиянии опыта, ибо только опыт способен исцелить больное воображение и вернуть его на здоровый путь.

Затем Трейси крайне осторожно, всякими окольными путями подошел к вопросу о женитьбе на дочери американского претендента. Он с большой похвалой отозвался о девушке, но не стал расписывать или особо подчеркивать ее достоинства. Зато он подчеркнул возможность, которую давал этот счастливый случай: примирить Йорков с Ланкастерами, привив враждующие розы на одном стебле и навсегда положив конец столь давней и вопиющей несправедливости.

Из письма Трейси явствовало, что он все тщательно обдумал и выбрал путь, позволявший просто и справедливо урегулировать все недоразумения, — куда проще и справедливее, чем если бы он отказался от графского титула, а ведь именно с таким решением он приехал из Англии. Прямо в письме об этом не говорилось, но подразумевалось. Во всяком случае, чем больше Трейси читал и перечитывал свое письмо, тем больше ему казалось, что там все сказано.

Когда старый граф получил это письмо, первая часть его преисполнила старика мрачного и злорадного удовлетворения; остальное же побудило его раза два или три фыркнуть, что указывало уже на совсем другие чувства. Он не стал тратить чернил на каблограмму и письмо, а, поскольку случай требовал немедленных действий, поспешил сесть на пароход, отправлявшийся в Америку, чтобы изучить дело на месте. Все это долгое время он держался стоически и не выказывал ни малейших признаков тоски по сыну, которая глодала его сердце, ибо рассчитывал на то, что рано или поздно сын излечится от своих бредней. Граф считал, что процесс этот должен пройти через все необходимые стадии, а утешительные телеграммы из дому и прочая чепуха могут лишь затормозить его. И вот наконец настал час победы. Правда, победа была подпорчена этим дурацким планом женитьбы. Тут уж придется вмешаться и решительно взять дело в свои руки.

Первые десять дней, последовавшие за отправкой письма, душа Трейси ни минуты не знала покоя: настроение его то поднималось — и он взлетал в облака, то понижалось — и он погружался в бездонную пропасть так глубоко, как позволял закон тяготения. Он был то несказанно счастлив, то безмерно несчастен — в зависимости от настроения мисс Салли. Он никогда не мог сказать заранее, в какую минуту произойдет перемена в ее настроении, а когда эта перемена происходила, он не мог бы сказать, отчего она произошла. Порой Салли была так влюблена в него, что любовь ее становилась тропически знойной, иссушающей, у нее не хватало слов, чтобы выразить свои чувства; затем неожиданно, без всякого предупреждения или какой-либо видимой причины, погода менялась, и наш мученик обнаруживал, что находится среди айсбергов, одинокий и всеми покинутый, точно его вдруг переселили на Северный полюс. Порою Трейси казалось, что уж лучше умереть, чем подвергаться такой смене температур.

А ларчик открывался очень просто. Салли хотелось увериться, что любовь Трейси лишена всякой заинтересованности, а потому она непрерывно подвергала его всякого рода мелким испытаниям, надеясь и рассчитывая получить таким способом доказательства, которые подтвердят и укрепят ее предположения. Бедняга Трейси понятия не имел об этих опытах, а потому моментально попадался во все ловушки, которые расставляла ему девушка. Что же это были за ловушки? Случайно оброненные фразы о социальных различиях, аристократических титулах и привилегиях и тому подобных вещах. И очень часто Трейси попадался, высказывался на эти темы не подумав, не заботясь о том, что говорит, — лишь бы поддержать разговор и подольше побыть с любимой. Он и не подозревал, что девушка зорко наблюдает за выражением его лица и вслушивается в каждое его слово, — так подсудимый

наблюдает за лицом судьи и вслушивается в его слова, зная, что от этого человека зависит, вернется ли он домой, к своим друзьям, и обретет ли вновь свободу, или же будет навсегда лишен солнечного света и человеческого общества. Трейси и не подозревал, что его необдуманные речи тщательно взвешиваются, а потому нередко выносил смертный приговор, тогда как с тем же успехом мог бы оправдать подсудимого. Не проходило дня, чтобы он не разбил сердца Салли; не проходило ночи, чтобы он не отправил ее на дыбу вместо сна. Но ничего этого он не знал.

Другой на его месте сопоставил бы кое-какие обстоятельства и обнаружил, что погода меняется, лишь когда разговор заходит об определенном предмете, и в таких случаях она меняется непременно. Расследуя дальше, он бы обнаружил, что вводит эту тему в разговор всегда один из собеседников и никогда — другой. Тут наш исследователь решил бы, что это делается с определенной целью. И если бы он не смог выяснить более простым и легким путем — с какой именно, то спросил бы об этом.

Но Трейси был недостаточно проницателен и недостаточно подозрителен, чтобы ему могла прийти в голову подобная мысль. Он заметил только одну особенность, а именно: что погода всегда бывает солнечной в начале его посещения. Сколько бы потом небо ни хмурилось, вначале оно неизменно бывало ясным. Он не мог объяснить себе этого странного обстоятельства, — он просто знал, что это так. Причина же заключалась в том, что достаточно было Салли шесть часов не видеть Трейси, как ее начинала обуревать такая тоска, что все ее сомнения и подозрения сгорали в этом пламени, и она выходила к нему столь же сияющая и радостная, сколь бывала печальна и несчастна, когда он уходил.

При таких обстоятельствах писать портрет — дело весьма рискованное. В частности портрет Селлера, над которым работал сейчас Трейси, день за днем испытывал на себе влияние этой неустойчивой погоды, и каждый день оставлял на нем свой несмыаемый след — отражение той сумбурной жизни, какую жил художник. Судя по одним деталям — это был портрет счастливейшего человека, какой когда-либо жил на земле, а судя по другим — с полотна смотрело самое несчастное на свете существо, — существо, терзаемое всеми бедами, какие существуют на свете, начиная с расстройства желудка и кончая бешенством. Но Селлерсу портрет нравился. Он сказал, что это точная его копия: каждая пора дышит эмоцией, и все эмоции — разные. Он сказал, что похож на сосуд, полный противоречивых чувств.

Возможно, с точки зрения искусства, портрет был убийственный; зрелище же он являл собою весьма величественное, ибо изображал американского графа в натуральную длину и ширину. Граф был в пурпуровой мантии пэра с тремя горностаями, указывающими на его графское достоинство, и с графской короной на седой голове, надетой чуть-чуть набекрень, что придавало ему лукавый и задорный вид. Когда небосклон Салли был безоблачен, Трейси то и дело фыркал, стоило ему взглянуть на портрет; когда же небосклон заволакивали тучи, портрет повергал Трейси в беспросветное уныние и замораживал кровь в жилах.

Как-то раз поздно вечером, когда наши влюбленные безмятежно наслаждались обществом друг друга, чертенок, сидевший в душе Салли, неожиданно принялся за дело, и беседа потекла в направлении коварного рифа. Среди самого мирного на свете разговора Трейси вдруг ощутил дрожь, но дрожь эта была не в нем, а вне его и у самой его груди. Вслед за дрожью последовали рыдания: это плакала Салли.

— Любимая, что я сделал, что я такого сказал? Вот опять! Что же я сделал, что так ранило вас?

Она высвободилась из его объятий и с величайшим укором посмотрела на него.

— Что вы сделали? Я скажу вам, что вы сделали. В простоте душевной вы открыли мне — о, уже в двадцатый раз, хоть я и не могла, не хотела этому верить! — что вы любите не меня, а эту мишуру, поддельный графский титул моего отца, и вы разбили мне сердце!

— Душенька моя, что вы говорите?! У меня и в мыслях этого не было!

— Ах, Ховард, Ховард, язык ваш — враг ваш: он все выбалтывает, когда вы забываете следить за собой.

— Когда забываю следить за собой? Вы говорите жестокие вещи. Да разве я когда-нибудь следил за собой? Ни разу за все наше знакомство. Язык мой знает только правду. Чего же мне остерегаться?

— Ховард, я следила за вашими словами и взвешивала их, а вы произносили их не думая, и они сказали мне больше, чем вам бы хотелось.

— Должен ли я заключить из ваших слов, что, пользуясь моим доверием, вы устраивали мне ловушки и, зная, что находитесь в полной безопасности, подстерегали ничего не подозревающего человека: а вдруг проговорится? Вы не могли так поступать! Скажите, что вы так не поступали! Да самый злейший враг не мог бы так себя вести!

Такого поворота дела девушка не ожидала. Неужели это было предательством с ее стороны? Неужели она использовала во зло оказанное ей доверие? При одной этой мысли щеки ее вспыхнули от стыда и раскаяния.

— Простите меня, — воскликнула она. — Я сама не знала, что делаю. Я так мучилась! Простите меня, вы должны меня простить: я так страдала, и я так жалею сейчас об этом. Вы ведь прощаете меня, правда? Не отворачивайтесь от меня, молю вас! Виновата во всем только моя любовь, а ведь вы знаете, что я люблю вас, всем сердцем люблю. Ах, я этого не вынесу!.. Боже мой, боже мой, как я несчастна, а ведь я вовсе не думала ничего дурного и не понимала, куда может завлечь меня это безумие и как я черню, унижаю самое дорогое мне существо... и... и... О, обнимите меня скорей! Вы мое единственное прибежище, мой приют и моя надежда!

Они снова помирились — мгновенно, искренне, безоглядно, и в душах их воцарилось полное счастье.

Тут-то им и следовало расстаться. Ио нет: коль скоро источник туч был обнаружен и теперь стало ясно, что вся дурная погода объясняется опасениями девушки, что Трейси пленен ее титулом, а не ею самою, он решил раз и навсегда покончить с этим пугающим ее призраком, дав Салли убедительнейшее доказательство того, что у него не могло быть подобных побуждений. А потому он сказал:

— Разрешите мне поведать вам на ушко один секрет — секрет, который я все время таил от вас. Ваш титул никак не мог меня прельстить. Я сын и наследник английского графа!

Девушка, не мигая, смотрела на него минуту, две, три, может быть даже десять, затем губы ее приоткрылись...

— Вы?! — произнесла она, и отодвинулась, продолжая в немом удивлении взирать на него.

— Ну да, я, конечно я. Что с вами, однако? Теперь-то что я сделал?

— Что вы сделали? Вы сказали нечто чрезвычайно странное. Вы сами должны это понимать.

— Может быть, — застенчиво усмехнулся он, — это и звучит странно. Но не все ли равно, если это правда?

— Если это правда! Вот вы уже и отказываетесь от своих слов.

— Да нет, ни одной минуты. Зачем вы так говорите? Я этого не заслужил. Я сказал вам правду. Почему вы в этом сомневаетесь?

— Просто потому, что вы не говорили об этом раньше, — мгновенно последовал ответ.

— О боже! — чуть не со стоном вырвалось у него: ясно было, что он понял, почему она так говорит, и признал справедливость ее укора.

— Мне казалось, вы ничего не скрываете от меня такого, что я должна была бы знать о вас, и вы не имели права скрывать от меня такую вещь, после того... после того... ну, словом, после того, как решили ухаживать за мной.

— Это правда, правда, признаю! Но были обстоятельства, которые мешали... обстоятельства, которые...

Она жестом отмела все обстоятельства.

— Ну поймите же, — взмолился он, — мне казалось, что вам хочется следовать путем честной труженицы, которая не видит в своей бедности ничего позорного, и я был в ужасе...

вернее, боялся... того... того... Ну, вы сами знаете, что вы по этому поводу говорили.

— Да, я знаю, что я говорила. И помню, что во время нашего разговора вы спросили, как я отношусь к аристократам, и ответ мой должен был рассеять все ваши страхи.

Трейси помолчал немного. Затем совсем упавшим голосом произнес:

— Что я могу еще сказать в свое оправдание? Это была ошибка. Право же, просто ошибка. Ничего дурного у меня в мыслях не было, абсолютно ничего. Я не представлял себе, как это может потом обернуться. Такой уж я есть. Ничего не могу заранее предвидеть.

На минуту девушка была обезоружена, ко почти тотчас снова вспыхнула.

— Графский сын! Да разве графские сыновья работают и гнут спину, чтобы прокормиться?

— Увы, не работают! А мне хотелось, чтобы работали.

— Да разве графские сыновья станут отказываться от титула и переезжать в такую страну, как наша? Зачем им являться в приличном и трезвом виде к бедной девушке и просить ее руки, когда они могли бы пьянствовать, безобразничать и, погрязнув в бесчестных долгах, выбрать себе в жены дочку любого из американских миллионеров? И это вы-то графский сын! Тогда представьте мне доказательства.

— К счастью, я этого сделать не могу, — если вам нужны такие доказательства. Тем не менее я действительно сын графа и наследник титула. Это все, что я могу сказать. Хотел бы я, чтобы вы мне поверили, но вы, конечно, не поверите. А я не знаю, как убедить вас.

Она уже готова была снова смягчиться, но его последняя фраза привела ее в величайшее раздражение.

— Нет, вы меня просто из себя выводите! — воскликнула она, топнув ножкой. — Как же вы хотите, чтобы я вам поверила, когда вы ничем не можете доказать, что говорите правду? Вы не опускаете руку в карман за подтверждением, потому что у вас там ничего нет. Вы просто заявляете, что вы сын графа — и дело с концом. Кто же этому поверит? Неужели вы сами не понимаете, что это невозможно?

Он попытался подыскать какие-то доводы в свою защиту, немного помедлил и затем с трудом, запинаясь, сказал:

— Я расскажу вам всю правду, хоть она и покажется вам нелепой, — да наверно не только вам, а кому угодно, — и тем не менее это истинная правда. У меня был идеал — можете назвать это мечтой, придурью, если угодно, но мне хотелось отказаться от всех привилегий и несправедливых преимуществ, которыми пользуется знать и которые она силой или обманом вырывает у народа; мне хотелось избавиться от клейма соучастника в этом преступлении против права и разума, побрататься с бедными и униженными, самому зарабатывать себе на хлеб, и если уж подняться над окружающими, то благодаря собственным заслугам.

Салли пристально следила за выражением его лица, пока он говорил; а говорил он так просто и искренне, что она чуть было не растрогалась и не поверила ему, но вовремя схватила за плечи свой слабеющий дух и встряхнула как следует: было бы неразумно дать сейчас волю состраданию и расчувствоваться, когда прежде надо еще выяснить несколько вопросов. Трейси тоже наблюдал за ней, и то, что он прочел на ее лице, несколько оживило угасшую было в нем надежду.

— Ах, если бы существовал такой графский сын! Вот это был бы человек! Человек, которого можно любить! Боготворить даже!

— Но ведь я...

— Но такого никогда не было! Он еще не родился и никогда не родится. Подобное самоотречение — даже если бы оно объяснялось безумием и не принесло бы иной пользы, кроме хорошего примера, — могло бы указывать на величие души. И не только могло бы, а па самом бы деле указывало — ведь мы живем в век равнодушия и низменных идеалов! Одну минуту... не перебивайте... дайте мне кончить. У меня есть еще один вопрос. Ваш отец — граф какой?

— Россмор, а я — виконт Беркли.

Опять он подлил масла в огонь. Салли была так возмущена, что долго не могла слова вымолвить.

— Да как вы смеете! Вы же знаете, что он мертв, и вы знаете, что я это знаю. О-о, ограбить живого, лишиться его имени и чести ради эгоистической и временной выгоды — это уже преступление, но ограбить мертвого... Да это больше, чем преступление. Такую мерзость и преступлением не назовешь.

— Выслушайте меня... Одно только слово... Не отворачивайтесь... Не уходите... Не покидайте меня... Побудьте еще миг. Клянусь честью...

— Ах вот как — честью!

— Клянусь честью, я тот, за кого себя выдаю! И я докажу это, и вы мне поверите, я знаю, что поверите. Я принесу вам каблограмму...

— Когда?

— Завтра... Ну, послезавтра...

— Подписанную «Россмор»?

— Да, подписанную «Россмор».

— И что же вы этим докажете?

— Что докажу? А что этим можно доказать?

— Если вы заставляете меня сказать вам это, я скажу: то, что у вас, по всей вероятности, есть где-то сообщник.

Это был тяжелый удар, и Трейси даже пошатнулся.

— Вы правы, — уныло согласился он. — Я не подумал об этом. О боже, я просто не знаю, что делать; я все делаю не так. Вы уже уходите? И даже не пожелав мне «доброй ночи», не сказав «до свидания»? Ах, мы никогда еще так не расставались.

— О, я хочу бежать отсюда без оглядки и... Нет, нет, уходите скорее. — Она помолчала и добавила: — Впрочем, можете принести мне вашу каблограмму, когда она придет.

— Правда? Да благословит вас небо!

Он ушел, и весьма своевременно. Губы Салли уже начали дрожать, а теперь она и вовсе разразилась рыданиями и сквозь всхлипывания причитала:

— Ну вот, он ушел. Я потеряла его. Я теперь никогда больше его не увижу. И он даже не поцеловал меня на прощание, даже не попытался вырвать у меня поцелуй силой, а ведь он знал, что это наш последний, самый последний поцелуй... и я так надеялась, что он это сделает, мне и в голову не приходило, что он так поступит со мной после всего, что было между нами. Господи, что же мне теперь делать? Он такой милый, бедный, несчастный, добрый, простодушный лгунишка и обманщик, но... ох, до чего же я люблю его! — Помолчав немного, она продолжала: — И как он мне дорог! Мне будет так недоставать его! Так недоставать! И почему только он не может догадаться показать мне какую-нибудь поддельную каблограмму! Но нет, он этого никогда не сделает, ему это и в голову не придет: ведь он такой честный и простодушный! Разве может он до такого додуматься? И с чего это он взял, что из него может выйти обманщик, — у него нет для этого никаких качеств, кроме, пожалуй, некоторой склонности к вранью. О боже мой, боже мой! Пойду лучше лягу и попытаюсь обо всем забыть. Ах, почему я не сказала, чтобы он пришел ко мне, даже если не получит никакой каблограммы! Теперь во всем виновата я сама: никогда больше я его не увижу. На что я, наверно, сейчас похожа — глаза заплаканные!

Глава XXIV

На следующий день, как и следовало ожидать, никакой каблограммы не пришло. Это было страшной катастрофой, ибо Трейси не мог предстать пред ясные очи своей любимой без этого документа, хотя документ этот и был заранее объявлен не заслуживающим доверия. Но если отсутствие каблограммы в первый день можно было назвать страшной катастрофой, то где найти слово, достаточно емкое, чтобы описать десятый день тщетного ожидания? Естественно, Трейси с каждым днем терзался куда больше, чем двадцать четыре

часа тому назад, а Салли — больше чем двадцать четыре часа тому назад уверялась в том, что у него не только нет отца, но даже нет и сообщника, и, следовательно, он прожженный обманщик, — иного слова не подберешь.

Не менее тяжкими были эти дни и для Бэрроу, и для художественной фирмы. Все трое с ног сбились, успокаивая Трейси. Особенно трудная задача выпала на долю Бэрроу, поскольку он был избран в наперсники и должен был уверять Трейси в том, что у него действительно есть отец, что этот отец действительно граф и что он непременно пришлет каблограмму.

Бэрроу с первых же шагов отказался от мысли убедить Трейси, что у него нет отца, ибо это вредно влияло на больного и приводило его в настоящее иступление. Тогда Бэрроу прибег к противоположному методу и попытался убедить Трейси, что у него есть отец. Применение этого метода дало столь благоприятные результаты, что Бэрроу решил с должной осторожностью пойти дальше и попытаться внушить Трейси, что отец его граф. Идея оказалась блестящей. Тут Бэрроу осмелел и попытался внушить своему подопечному, что у него два отца, если это его, конечно, устраивает, — но того это не устраивало, так что Бэрроу пришлось уступить, и, отказавшись от одного отца, он стал уверять Трейси, что каблограмма непременно придет. Правда, сам Бэрроу был убежден, что она не придет, и оказался прав, однако в своих доводах он ежедневно делал ставку на каблограмму и только этим поддерживал жизнь в Трейси, — по крайней мере так ему казалось.

Не менее тяжкими были эти дни и для бедной Салли; она провела их главным образом у себя в комнате, обливаясь слезами. В результате мебель до такой степени отсырела, что Салли простудилась, а сырость, простуда и печаль привели к тому, что она лишилась аппетита, и теперь на нее, бедняжку, было просто жалко смотреть. Как явствует из вышесказанного, положение ее было и так весьма печально, однако все силы природы и обстоятельства словно сговорились, чтобы оно стало еще более печальным, — и весьма преуспели в этом. Так, например, на следующее утро после ее размолвки с Трейси Хокинс и Селлерс прочли в газетах сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс, в котором говорилось, что за последние несколько недель вошла в моду новая игрушка-головоломка, именуемая «Поросята на поле», и что от Атлантического океана до Тихого все население всех Соединенных Штатов прекратило работу и занимается только этой игрушкой; что в связи с этим вся деловая жизнь в стране замерла, ибо судьи, адвокаты, взломщики, священники, воры, торговцы, рабочие, убийцы, женщины, дети, грудные младенцы, — словом, все с утра до ночи заняты одним-единственным высоко интеллектуальным и сложным делом, а именно: ломают голову, как загнать поросят в хлев; что веселье и радость покинули народ, — на смену им пришли озабоченность, задумчивость, тревога, лица у всех вытянулись, на них появились отчаяние и морщины — следы прожитых лет и пережитых трудностей, а вместе с ними и более печальные признаки, указывающие на умственную неполноценность и начинающееся помешательство; что в восьми городах день и ночь работают фабрики, и все же до сих пор не удалось удовлетворить спрос на головоломку. Хокинс положительно одурел от радости, но Селлерс соблюдал спокойствие. Такая мелочь не могла вывести его из равновесия.

— Вот так оно всегда и бывает, — сказал он. — Человек изобретает какую-нибудь штуку, которая может произвести революцию в ремеслах, принести горы денег и явиться благословением для всех живущих на земле, но кто станет этим заниматься или заинтересуется ею? А посему изобретатель остается таким же бедняком, каким и был. Но вот ты изобрел какой-то пустяк ради собственного развлечения, который ты бы, конечно, выбросил, если б тебе не посоветовали поступить иначе, — и вдруг весь свет начинает гоняться за твоей безделкой, и ты оказываешься богачом. Найди твоего янки, Хокинс, и взъщи с него деньги, — ты же знаешь, что половина их твоя. А мне надо подготовиться к лекции.

Это была лекция на тему о трезвости. Селлерс возглавлял Общество трезвости и время от времени читал лекции о вреде алкоголя, но результаты не удовлетворяли его, и он решил

попробовать подойти к вопросу иначе. Подумав как следует, он пришел к выводу, что лекции его чересчур непрофессиональны, — этим и объясняется то, что им недостает огня или чего-то еще. Словом, заметно, что лектор говорит о пагубном действии спиртных напитков, а сам понятия об этом не имеет, зная все лишь понаслышке, поскольку никогда в жизни не брал в рот ни глотка. Теперь полковник решил, что говорить надо на основании собственного горького опыта. Хокинсу надлежало стоять рядом, отмерять дозы из бутылки, наблюдать за действием алкоголя, записывать результаты, — короче говоря, всячески помогать в подготовке к лекции. Времени оставалось очень мало, ибо дамы ожидались к полудню, — другими словами, ожидалось Общество трезвости, именовавшееся «Дщери Силоамские». Селлерс должен был выйти к ним и возглавить процессию.

Время летело, а Хокинс все не возвращался. Селлерс не мог ждать больше и приступил к осушению бутылки, решив, что будет сам отмечать результаты. Наконец Хокинс вернулся, бросил понимающий взгляд на лектора, тотчас спустился вниз и возглавил процессию. Дамы были крайне огорчены, узнав, что главный поборник трезвости внезапно и жестоко заболел, но тотчас утешились, услышав, что, по всей вероятности, он через несколько дней будет уже на ногах.

Между тем старый джентльмен лежал целые сутки недвижим, не выказывая никаких признаков жизни. Затем он очнулся, спросил насчет процессии и узнал, что случилось. Это его очень огорчило: ведь он был «совсем готов». Он провел в постели несколько дней; жена и дочь по очереди дежурили у его изголовья и ухаживали за ним. Он часто гладил Салли по голове и пытался ее утешить.

— Не плачь, дитя мое, — говорил он, — не плачь: ты же знаешь, что твой старый отец дошел до такого состояния по ошибке, у него и в мыслях не было ничего дурного; ты же знаешь, что намеренно он никогда бы не навлек на тебя позора; ты знаешь, что он хотел сделать как лучше и допустил ошибку только по неопытности, так как не знал правильной дозировки, а Вашингтона не было рядом, чтобы помочь. Не плачь, дорогая, мое старое сердце разрывается, когда я вижу тебя и думаю о том, что навлек такой позор на твою голову, а ведь ты так дорога мне, моя хорошая девочка. Этого больше не повторится, право не повторится. А теперь успокойся, моя душенька, будь умницей.

Но и в те минуты, когда Салли не дежурила у постели больного, она все равно проливали слезы, и тогда ее принималась успокаивать мать:

— Не плачь, дорогая. Он же не хотел никому причинить зла. Это просто случайность: когда человек занимается такими опытами, он не может заранее все предусмотреть. Ты же видишь, что я не плачу. А все потому, что я хорошо знаю его. Я не могла бы взглянуть людям в лицо, если бы он привел себя в такое состояние нарочно, но ведь намерения у него были самые чистые и возвышенные, значит и поведение его было чистым, хоть он и превысил немного дозу. Никакого позора для нас в этом, душенька, нет. Он поступил так из самых благородных побуждений, и нам нечего стыдиться. Ну вот, не плачь больше, моя душенька.

Таким образом, старый джентльмен в течение нескольких дней оказывал Салли неоценимую услугу, давая повод к объяснению ее слезоточивости. Она была благодарна ему за это и тем не менее частенько говорила себе: «Стыдно все-таки плакать: ведь он видит в этом укор себе, а разве у меня есть основания за что-либо корить его? Но не могу же я признаться, почему я плачу. Делать нечего, придется и дальше пользоваться этим предлогом. Другого выхода нет, а предлог мне просто необходим».

Как только Селлерс поправился и узнал, что янки положил в банк на его имя и на имя Хокинса целую кучу денег, он сказал:

— Теперь посмотрим, кто претендент, а кто настоящий граф. Я поеду в Англию и уж постараюсь расшевелить эту палату лордов.

В последующие несколько дней он сам и его супруга были всецело заняты приготовлениями к путешествию, и Салли имела полную возможность сидеть у себя в комнате и плакать сколько душе угодно. Затем пожилая чета отбыла в Нью-Йорк, а оттуда в

Англию.

Салли же за это время успела не только наплакаться, но и прийти к выводу, что при сложившихся обстоятельствах жизнь не стоит того, чтобы жить. Если она вынуждена отказаться от своего самозванца, ей остается лишь умереть, и она подчинится этой необходимости. Но не следует ли прежде рассказать обо всем какому-нибудь незаинтересованному лицу и посмотреть, нельзя ли найти спасительный выход из положения. Салли снова и снова возвращалась к этой мысли. Как только она встретила Хокинса после отъезда родителей, разговор у них зашел о Трейси, и Салли почувствовала неодолимое желание изложить государственному мужу обстоятельства дела и просить у него совета. Итак, она излила ему душу, а он, терзаясь и сочувствуя, выслушал ее.

— Только, пожалуйста, не говорите мне, что он самозванец, — взмолилась в заключение она. — Очевидно, так оно и есть, но не кажется ли вам, что он все-таки не похож на самозванца? Вы человек рассудительный, и потом — со стороны виднее, так что, может быть, вам он представляется иным, чем мне. Правда, он не выглядит обманщиком? Не могли бы вы... не можете ли вы сказать мне, что он не обманщик... ради... ради меня?

Бедняга Вашингтон был немало смущен такой просьбой, ибо считал, что обязан держаться как можно ближе к правде. Некоторое время он раздумывал, пытаясь найти какой-то компромисс, но не смог и вынужден был сказать, что не видит возможности оправдать Трейси.

— Нет, — добавил Хокинс, — он безусловно самозванец.

— То есть вы хотите сказать, что вы... более или менее убеждены в этом, но не совсем... О, конечно не совсем, мистер Хокинс.

— Мне очень жаль, но я вынужден сказать вам... Мне очень неприятно это говорить, но я, право же, не думаю, а наверняка знаю, что он самозванец.

— Ну что вы, мистер Хокинс, разве так можно! Ведь никто не может знать наверняка. Нет же доказательств, что он не тот, за кого себя выдает.

«Рассказать ей откровенно всю злополучную историю? — подумал Хокинс. — Да, во всяком случае — главное. Это необходимо». И Хокинс, стиснув зубы, решительно приступил к делу, намереваясь, однако, хоть отчасти пощадить девушку и скрыть от нее то, что Трейси преступник.

— Сейчас вы все узнаете. Мне это не очень приятно рассказывать, а вам слушать, но ничего не поделаешь, приходится. Я прекрасно знаю все, что касается этого малого, и знаю, что он вовсе не графский сын.

Глаза девушки сверкнули.

— Мне это глубоко безразлично... Продолжайте... — сказала она.

Хокинс, никак этого не ожидавший, сразу осекся: он даже подумал, что ослышался.

— Я не уверен, правильно ли я вас понял, — сказал он. — Вы хотите сказать, что, если во всех других отношениях он человек приличный, вам все равно, граф он или нет?

— Совершенно все равно.

— И вы вполне бы удовлетворились и не имели бы ничего против, если бы он не был графского рода? Иными словами, графский титул не прибавил бы ему цены в ваших глазах?

— Нисколько. Боже мой, мистер Хокинс, я давно излечилась от этих мечтаний о графском титуле, принадлежности к аристократии и тому подобной чепухе и благодаря ему, Трейси, стала обычной, простой девушкой — и очень этому рада. Вообще ничто на свете не может придать ему большей цены в моих глазах. В нем для меня — весь мир, вот в таком, каков он есть. Он сочетает в себе все достоинства, какие существуют на земле; а раз так, чего же еще?

«Однако это у нее далеко зашло, — подумал Хокинс. И затем рассудил так: — Придется изобрести еще новый план: в этих изменчивых обстоятельствах ни один не выдерживает дольше пяти минут. Даже не изображая этого малого преступником, я сумею подобрать ему такое имечко и так его распишу, что она мигом разочаруется. А если из этого тоже ничего не выйдет, тогда самое правильное смириться и помочь бедняжке в устройстве

ее судьбы, а не мешать».

И уже вслух он произнес:

— Так вот, Гвендолен...

— Я хочу, чтобы меня звали Салли.

— Прекрасно. Мне это имя больше нравится. Так вот, я расскажу вам сейчас насчет этого Шалфея.

— Шалфея? Это его фамилия?

— Ну да, его фамилия — Шалфей. А та, другая — псевдоним.

— Какая гадость!

— Знаю, что гадость, но мы ведь не властны выбирать себе фамилии.

— И его в самом деле так зовут, а вовсе не Ховард Трейси?

— Да, к сожалению, — сокрушенно ответил Хокинс.

Девушка задумчиво повторила на несколько ладов:

— Шалфей, Шалфей... Нет, не могу. Никогда я к этому не привыкну. Лучше уж буду называть его по имени. А как его имя?

— Имя... м-м... Его инициалы С. М.

— Инициалы? Мне совершенно безразлично, какие у него инициалы. Не могу же я называть его инициалами. А что означают эти инициалы?

— Видите ли, отец его был врачом, и он... он... Словом, он обожал свою профессию, и он... Видите ли, он был довольно эксцентричный человек, и...

— Но что же все-таки означают эти инициалы? Почему вы не хотите сказать мне прямо.

— Они... Видите ли, они означают Спинномозговой Менингит. Поскольку его отец был вра...

— В жизни не слыхала более безобразного имени! Разве можно называть так человека, которого... которого любишь! Да я бы врага не назвала таким именем. Это звучит как брань. — Подумав немного, она не без сокрушения добавила: — Боже мой, ведь это станет моим именем! И на это имя будут адресовать мне письма!

— Да, на конверте будет написано: «Миссис Спинномозговой Менингит Шалфей».

— Не повторяйте, не смейте! Я не могу этого слышать! Что, его отец был сумасшедший?

— Нет, такого за ним не числилось.

— Какое счастье! Ведь говорят, что сумасшествие передается по наследству. В таком случае, чем же, по-вашему, можно объяснить такие странности?

— Ну, право, не знаю. В их семье было немало кретинов, так что, может быть...

— Никаких «может быть»! Он-то уж безусловно был кретином.

— М-м, м-да, вполне возможно. Такое предположение было.

— Предположение! — раздраженно воскликнула Салли. — А если бы все звезды вдруг исчезли с неба, вы бы тоже только предполагали, что будет темно? Но хватит об этом кретине: меня кретины не интересуют; расскажите лучше о его сыне.

— Прекрасно. Итак, он — старший сын в семье, но не самый любимый. Его брат — Цилобальзам...

— Обождите минутку, я что-то ничего не понимаю. Такое не сразу осмыслишь. Цило... Как вы сказали?

— Цилобальзам.

— В жизни не слыхала такого имени. Это похоже на название болезни. Кажется, ведь есть такая болезнь?

— Не думаю; по-моему, это не болезнь. Скорее что-то из библии, или...

— Нет, это не из библии.

— В таком случае, это из области анатомии. Мне так и казалось, что это либо из библии, либо из анатомии. Да, теперь я вспомнил, что из анатомии. Так называется ганглий — нервный узел. Есть ведь в медицине такой термин — цилобальзамовый процесс.

— Хорошо, хорошо, продолжайте. И если там еще есть сыновья, лучше уж не упоминайте, как их зовут. Мне от этих имен как-то не по себе становится.

— Отлично. Итак, как я уже говорил, наш друг не был любимцем в семье, а потому рос без всякого присмотра, не ходил в школу, общался с самыми низменными и скверными натурами. Не удивительно, что из него получился такой грубый, вульгарный, невежественный повеса и...

— Это он-то? Ну, он совсем не такой! Надо быть более снисходительным к бедному молодому чужестранцу, который... который... Да он прямая противоположность всему тому, о чем вы говорите! Он внимательный, любезный, обязательный, скромный, мягкий, утонченный, воспитанный... Да как вам не стыдно говорить про него такое!

— Я не виню вас, Салли. Право же, я не могу осуждать вас за то, что ваши чувства делают вас слепой и вы не видите тех незначительных недостатков, которые так заметны всем тем, кто...

— Незначительные недостатки? И это вы называете незначительными недостатками? А что же, по-вашему, в таком случае убийство и поджог?

— На этот вопрос довольно трудно ответить сразу, и, конечно, о таких вещах судят в зависимости от обстоятельств. У нас в Становище Чероки, например, им не всегда придают такое значение, как у вас. Но и мы тоже частенько смотрим на это неодобрительно...

— Смотрите неодобрительно на убийство и поджог?

— О да, довольно часто.

— Неодобрительно?! Где это вы нашли таких святош? Пойдите, а откуда вы знаете его семью? Где вы слышали этих достоверных басен?

— Это вовсе не басни, Салли. В том-то все и дело. Я лично знаком с его семьей.

Это уже была неожиданность.

— Вы? Вы действительно знали его родных?

— Знал Цило, как мы звали его, и был знаком с его отцом, доктором Шалфеем. С вашим Шалфеем я не был знаком, но встречал его раза два-три, а уж слышал о нем — постоянно. Он был у всех на языке из-за своей...

— Должно быть, из-за того, что не поджигал домов и никого не убивал. А то он был бы слишком зауражен. Так где же вы познакомились с его родными?

— В Становище Чероки.

— Какой абсурд! Да в вашем Становище Чероки и народу-то нет. Откуда же там может быть у человека хорошая или дурная слава? Ведь для этого нужны люди. А у вас там и населения-то — два десятка конокрадов, и все.

— В их числе был и он, — невозмутимо изрек Хокинс.

Глаза Салли метали молнии, грудь ее тяжело и бурно вздымалась, но она сдержала свой гнев и не дала воли языку. Государственный муж сидел с бесстрастным видом и ждал дальнейшего развития событий. Он был доволен делом рук своих. Неплохой образчик дипломатического искусства — таких вершин он еще ни разу не достигал, подумал он. Пусть теперь девушка решает сама, как быть. Он полагал, что она откажется от своего призрака, просто не сомневался в этом; но так или иначе, пусть решает сама, а он примет любое ее решение и больше не будет чинить ей препятствий.

Тем временем Салли как следует все обдумала и пришла к определенному выводу. Приговор, к великому разочарованию майора, был не в его пользу. Салли сказала:

— У него нет друзей, кроме меня, и я не оставлю его. Я не выйду за него замуж, если он такой скверный, но если он докажет, что это не так, то выйду. Во всяком случае, дам ему возможность оправдаться. Мне он кажется хорошим и милым. Я не знаю за ним ничего дурного, если не считать, конечно, того, что он назвал себя графским сыном. Возможно, — если как следует подумать, — это просто тщеславие, и ничего страшного тут нет. Я не верю, что он такой, каким вы его описали. Пожалуйста, разыщите его и попросите прийти ко мне. Я буду умолять его быть откровенным со мной и, не боясь, рассказать всю правду.

— Прекрасно. Если вы так решили, я это сделаю. Но, Салли, вы же знаете, что он беден

и...

— О, мне это глубоко безразлично. Не в этом дело. Вы пришлете его ко мне?

— Да. Когда?

— О господи! Уже темнеет, так что придется отложить нашу встречу. Вы постараетесь найти его утром, хорошо? Обещайте мне это.

— Я доставлю его к вам лишь только забрезжит свет.

— Ну вот, теперь вы снова стали самим собой, — и даже лучше, чем когда-либо.

— Большой похвалы мне не нужно. До свидания, дорогая.

Салли подумала минуту, решительно сказала: «Я люблю его, несмотря на его имя», и с легким сердцем занялась своими делами.

Глава XXV

Хокинс тотчас направился на телеграф и облегчил свою совесть. Вот как он при этом рассуждал: «Ясно, что она не намерена отказываться от этого гальванизированного трупа. Ее от него и за уши не оттащишь. Я сделал все, что мог, — теперь дело за Селлерсом». И он отправил в Нью-Йорк следующую телеграмму:

«Возвращайтесь. Закажите специальный поезд. Она выходит замуж за материализованного».

Тем временем в Россморовские Башни пришло письмо, в котором сообщалось, что граф Росмор прибыл из Англии и почтет за удовольствие явиться с визитом.

«Как жаль, что он не остановился в Нью-Йорке, — подумала Салли, — но не важно: он может отправиться туда завтра и повидать отца. Ведь он приехал, наверно, для того, чтобы прикончить папу или откупиться от него. Еще совсем недавно его появление было бы для меня волнующим событием, а сейчас оно интересует меня лишь в одном отношении. Я могу сказать Спино... Спайно... Спино... нет, ни один вариант мне не нравится. Словом, я могу сказать ему завтра: «Не смейте больше меня обманывать, а то мне придется сказать вам, с кем я вчера беседовала, и вы почувствуете себя не очень уютно».

Трейси не мог, конечно, знать, что утром его пригласят к Салли, а то бы он подождал. Поскольку же он этого не знал и чувствовал себя глубоко несчастным, то и ждать дольше не мог. Рухнула последняя его надежда — надежда получить письмо. По всем расчетам, сегодня был крайний срок, когда оно могло еще прийти, — и не пришло. Неужели отец и правда отказался от него? Видимо, да. Это было не похоже на отца, но иного объяснения не придумаешь. По правде сказать, отец его — человек крутого нрава, но не по отношению к сыну. И все же это неумолимое молчание выглядело очень зловеще. Так или иначе, Трейси решил отправиться в Россморовские Башни и... и дальше что? Он сам не знал; голова его устала от мыслей, он не мог решить, что станет делать дальше или говорить, — как получится, так и получится. Главное — увидеть Салли; больше ему ничего не нужно. А что будет потом — уже все равно.

Он едва ли сознавал, как и когда добрался до Россморовских Башен. Он понимал только одно, и только это было для него важно: что он наедине с Салли. Она была добра, она была мила, в глазах ее блестели слезы, а в лице и манерах сквозила тревога, которую ей не удавалось полностью скрыть, но в то же время держалась она неприступно. Они принялись беседовать. Вскоре она сказала, внимательно наблюдая краешком глаза за его унылой физиономией:

— Мне так одиноко сейчас, папа с мамой уехали... Я пытаюсь читать, но ни одна книга почему-то не интересует меня. Обращаюсь к газетам, но в них печатают такую чепуху. Берешь, скажем, газету и начинаешь читать вроде бы что-то интересное, а вам преподносят бесконечный рассказ о каком-нибудь, скажем, докторе Шалфее...

Трейси бровью не повел, на его лице не дрогнул ни один мускул. Салли была изумлена:

вот это умение владеть собой! Сбитая с толку, она так долго молчала, что Трейси поднял на нее потухший взор и спросил:

— И что же?

— О, я подумала, что вы меня не слушаете. Так вот, читаешь и читаешь про этого доктора Шалфея, пока не надоест, а потом начинается описание его младшего сына, любимого сына — Цилобальзама Шалфея...

Это тоже не произвело ни малейшего впечатления на Трейси, он лишь ниже опустил голову. Какое сверхчеловеческое самообладание! Салли вперила в него взор и снова принялась за свое, решив на сей раз взорвать скорлупу спокойствия, за которой он укрылся: есть же такие слова, которые можно использовать как динамит, если неожиданно их преподнести.

— Затем рассказ переходит на старшего сына — этот уже не любимец. Описывается его несчастное детство, как он рос без присмотра, не ходил в школу, дружил с самыми подонками и в результате стал грубым, вульгарным, невежественным повесой...

А он хоть бы голову поднял! Салли встала со своего кресла, тихо и торжественно сделала шаг, другой, остановилась перед Трейси, — он медленно поднял голову, кроткий взор его встретился с ее горящим взглядом, — и dokonчила, упирая на каждое слово:

— Имя этого человека Спинномозговой Менингит Шалфей!

Лицо и вся поза Трейси выражали лишь безмерную усталость.

— Да из чего вы сделаны?! — воскликнула девушка, глубоко возмущенная этим железным безразличием и хладнокровием.

— Я? А что?

— Неужели у вас совсем нет совести? Неужели все это никак вас не трогает?

— Н-нет, — удивленно ответил он, — вроде бы нет. А почему, собственно, это должно меня трогать?

— О господи! Да как вы можете сохранять этот дурацкий невинный, добродушный, нелепый, отсутствующий вид, когда вам говорят такие вещи! Посмотрите мне в глаза — прямо в глаза. Так. Теперь отвечайте без уверток. Разве доктор Шалфей вам не отец? А Цилобальзам не брат? (Тут Хокинс, собиравшийся как раз войти в комнату, услышал эти слова и решил, что, пожалуй, правильнее всего будет отправиться погулять по улицам, что незамедлительно и исполнил.) И вас самого разве зовут не Спинномозговой Менингит, и отец ваш разве не доктор и не кретин, как все ваши предки, и разве он не дал всем своим детям имена по названиям разных ядов, болезней и всяких дурацких анатомических особенностей? Отвечайте мне что-нибудь — и быстро. Что вы сидите и смотрите на меня с отсутствующим видом, точно конверт без адреса! А я у вас на глазах с ума схожу, терзаясь ожиданием!

— Ох, я бы так хотел... так хотел... так хотел что-нибудь сделать — что угодно, лишь бы вы снова обрели покой и стали счастливы, но я не знаю как, не вижу такого способа. Я в жизни не слышал об этих ужасных людях.

— Что? Повторите еще раз!

— Я никогда, никогда в жизни не слышал о них до сих пор.

— И у вас лицо такое честное, когда вы это говорите! Значит, это правда: вы не могли бы так на меня смотреть, да и не смотрели бы, если б это была неправда. Верно?

— Вы совершенно правы: не мог бы и не смотрел бы. Покончим же с этим мучением! Верните мне свою любовь и свое доверие...

— Постойте. Еще один вопрос. Признайтесь, что вы солгали тогда из чистого тщеславия и сожалеете об этом; что никакая графская корона не ждет вас...

— Сказать по совести, я действительно — именно сегодня — излечился от этого и не жду больше графских корон.

— О, теперь вы мой! Вы вернулись ко мне во всей славе незаметного бедняка и честного безвестного труженика, и никто уже не отнимет вас у меня, кроме могилы! И если...

— Господин граф Россмор, из Англии!

— Отец! — Молодой человек выпустил из объятий девушку и повесил голову.

В дверях стоял старый граф и глядел на влюбленных: правый глаз его, устремленный на одного из них, выражал полное удовлетворение, левый же, устремленный на другого, выражал нечто неопределенное. Смотреть двумя глазами в разных направлениях и с разным выражением довольно трудно, почему к этому и прибегают лишь в редких случаях. Вскоре лицо графа заметно смягчилось, и он сказал сыну:

— А вам не кажется, что вы могли бы и меня обнять?

Молодой человек проделал это с должной поспешностью.

— Значит, вы все-таки графский сын?! — с упреком воскликнула Салли.

— Да, я...

— В таком случае вы мне не нужны!

— Но ведь вы же знаете...

— Нет, не нужны. Вы опять мне солгали.

— Она права. Ступайте отсюда и оставьте нас вдвоем. Я хочу поговорить с ней.

Беркли вынужден был уйти. Но ушел он недалеко, решив на всякий случай находиться под рукой. Время близилось к полуночи, а совещание между старым графом и молодой девушкой все еще продолжалось. Когда же оно стало подходить к концу, старик сказал:

— Я проделал весь этот длинный путь, чтобы познакомиться с вами, дорогая, и не допустить вашего брака, если увижу перед собой двух дураков. Но поскольку дурак здесь только один, то можете забирать его, если угодно.

— Конечно заберу! Можно мне поцеловать вас?

— Можно. Благодарю вас. Отныне вам предоставляется эта привилегия, если вы будете умницей.

Тем временем Хокинс успел уже вернуться и потихоньку проскользнул в лабораторию. Он очень растерялся, обнаружив там свое последнее изобретение — Шалфея. Тот сообщил ему, что прибыл английский граф Россмор.

— А я — его сын, виконт Беркли, и больше уже не Ховард Трейси.

Хокинс даже рот раскрыл от изумления.

— Великий боже! Значит, вы мертвец! — воскликнул он.

— Мертвец?

— Ну да. Ведь у нас лежит ваш прах.

— Ох, опять этот прах! Как он мне надоел. Я подарю его отцу.

Медленно, с трудом дошла наконец истина до сознания государственного мужа: перед ним стоял обычный человек из плоти и крови, а вовсе не лишенный субстанции призрак, каким его долгое время считали они с Селлерсом.

— Я так рад, так рад за нашу бедняжку Салли! — с чувством воскликнул он. — А мы-то принимали вас за материализованного вора, ограбившего банк в Талекуа. Это будет тяжким ударом для Селлера!

Тут он объяснил все Беркли.

— Ну что ж, — сказал тот, — придется нашему претенденту как-нибудь выдержать удар, сколь бы ни был он тяжел. Будем надеяться, что он не умрет от разочарования.

— Кто — полковник? Да он тотчас воскреснет, как только придумает какое-нибудь новое чудо. А я уверен, что у него уже сейчас что-нибудь есть на примете. Но послушайте, что же, по-вашему, произошло с тем человеком, которого вы все это время представляли?

— Право, не знаю. Я спас его одежду из пламени — это все, что я мог сделать. А он, боюсь, расстался с жизнью.

— В таком случае, вы должны были найти в его одежде тысяч двадцать или тридцать долларов деньгами или аккредитивами.

— Нет, там было только пятьсот долларов и еще какая-то мелочь. Мелочь я заимообразно взял себе, а пятьсот долларов положил в банк.

— Что же мы будем с ними делать?

— Вернем владельцу.

— Легко сказать, но не так легко выполнить. Оставим этот вопрос в покое до Селлерса. Вот заговорил о нем и вспомнил, что мне ведь надо встретить его и объяснить, кем вы не являетесь и кем являетесь, а то он начнет метать громы и молнии, чтобы помешать дочери выйти замуж за призрак. Но... А что, если ваш отец приехал сюда, чтобы расстроить свадьбу?

— Может быть. Но ведь он сейчас внизу беседует с Салли. А раз так, значит нечего опасаться.

Итак, Хокинс отбыл, чтобы встретить Селлерсов и сообщить им новость.

Всю последующую неделю в Россморовских Башнях шло веселье и раньше полуночи никто не ложился спать. Два графа были натурами диаметрально противоположными, а потому, естественно, тотчас сдружились. Селлерс заявил по секрету, что Россмор самый необыкновенный человек, которого он когда-либо встречал; не человек, а истинная доброта в сгущенном виде, умеющий, однако, скрывать это обстоятельство от всех, кроме самых опытных знатоков человеческой души; не человек, а олицетворение мягкости, терпения и милосердия, сочетающихся, однако, со столь глубокой хитростью и с таким удивительным умением вести двойную игру, что многие умные люди могут прожить с ним века и даже не заподозрить наличие этих черт.

Наконец в Россморовских Башнях состоялась скромная свадьба, а не пышная — в английском посольстве, с полицией, пожарными командами и факельным шествием, устроенным Обществом трезвости, — как предлагал сначала один из графов. На свадьбе присутствовали художественная фирма и Бэрроу; приглашены были также жестянщик и Киска, но жестянщик заболел, а Киска за ним ухаживала, ибо они были помолвлены.

Селлерсы собирались ненадолго поехать в Англию вместе со своими новыми родственниками, но когда все собрались на вашингтонском вокзале и настало время садиться в поезд, полковника не оказалось на месте. Хокинс, который должен был сопровождать отъезжающих до Нью-Йорка, сказал, что объяснит все по дороге. Объяснение содержалось в письме, которое полковник вручил Хокинсу. Он обещал присоединиться к миссис Селлерс позже, в Англии. И далее сообщал:

«А истина, дорогой мой Хокинс, заключается в том, что вот только что, какой-нибудь час назад, у меня родилась необыкновенная идея, и я не могу отвлечься даже для того, чтобы попрощаться с моими близкими. Человек должен выполнять прежде всего свою главную обязанность, а потом уже все остальное; ей он должен отдавать себя со всею стремительностью и энергией, как бы это ни отражалось на его привязанностях или удобствах. А первейшая обязанность человека — блюсти свою честь: она должна быть незапятнанной. Моя же честь оказалась под угрозой. Уверившись в том, что будущее мое обеспечено и весьма солидно, я направил русскому царю письмо — быть может, преждевременно — с предложением купить Сибирь за весьма крупную сумму. С тех пор произошел один случай, который заставил меня насторожиться: метод, с помощью которого я предполагал добыть эти деньги (материализация, расширенная до бесконечности), не дает мне полной гарантии на успех — во всяком случае сейчас. Его Императорское величество может в любую минуту согласиться на мое предложение. Если это случится теперь, я окажусь в весьма затруднительном положении, проще говоря: финансово-несостоятельным. Я не смогу купить Сибирь. Это станет известно, и мой кредит будет подорван.

Последнее время я пережил немало мрачных часов, но сейчас солнце вновь засияло надо мной. Я увидел выход. Я смогу выполнить мои обязательства, и, думаю, мне не придется просить о продлении обусловленного срока. Моя новая великая идея — самая замечательная, какая когда-либо приходила мне в голову, — спасет меня, я убежден. Я немедленно отбываю в Сан-Франциско, чтобы проверить ее с помощью большого телескопа Лика. Как и все мои наиболее крупные изобретения и открытия, она основана на непререкаемых законах науки, проверенных практикой. Строить свои открытия на каких-то других основах было бы неразумно, ибо им нельзя доверять.

Словом, мне пришла в голову потрясающая идея, которая позволит менять климат на земле в зависимости от желания населения той или иной страны.

Иными словами, я буду делать климат по заказу — за наличные деньги или ценные бумаги, принимая в качестве частичной уплаты старый климат, на разумных, конечно, началах, — то есть в тех случаях, когда старый климат можно подновить с небольшими затратами и отдать во временное пользование бедным и отсталым странам, которые не имеют возможности заплатить за хороший климат и не гонятся за роскошествами, лишь бы пустить пыль в глаза. Мои изыскания убедили меня, что регулировать климат и по желанию выводить новые образцы вполне возможно. Больше того, я уверен, что это практиковалось и раньше, в доисторические времена, ныне забытыми и не числящимися в истории цивилизациями. Я всюду нахожу солидные доказательства того, что в прошлом люди искусственно распоряжались климатом. Возьми ледниковый период. Разве это произошло случайно? Никоим образом! Это было сделано за деньги. У меня есть тысяча фактов, с помощью которых можно это доказать, и когда-нибудь я их обнаружу.

Я открою тебе в общих чертах мой замысел. Он заключается в том, чтобы использовать пятна на солнце, заставить их, понимаешь ли, работать на нас и употребить выделяемую ими гигантскую энергию на благую цель реорганизации нашего климата. Сейчас они являются лишь источниками беспокойств и неприятностей, порождают циклоны и всякие электрические бури, но как только они окажутся под разумным контролем человека, все это прекратится, и они будут приносить только пользу.

Я уже разработал план, согласно которому надеюсь и рассчитываю поставить солнечные пятна под полный и абсолютный контроль, а также подробно разработал метод, который позволит мне наладить коммерческую эксплуатацию пятен, но я не решаюсь пускаться в описание деталей, пока не получу патента на свою идею. Я надеюсь и рассчитываю продать право на торговлю погодой малым странам за сравнительно небольшую сумму; что же до великих держав, то я буду поставлять им добротный климат по особому преискуранту, равно как и специальную погоду для коронаций, битв и прочих великих событий. Это предприятие принесет мне миллиарды: ведь для этого не понадобится сооружать дорогостоящие заводы, и я могу приступить к реализации моего плана через несколько дней, самое позднее — через несколько недель. Таким образом, я смогу заплатить наличными за Сибирь, как только она будет предоставлена в мое распоряжение, и, следовательно, спасу мою честь и не подорву кредит. В этом я убежден.

Мне бы хотелось, чтобы ты купил себе все необходимое и по получении моей телеграммы, — когда бы она ни пришла, днем или ночью, — немедленно выехал на север. Мне хотелось бы, чтобы ты прибрал к рукам все, что лежит к югу от Северного полюса, а также Гренландию и Исландию, пока их еще можно дешево купить. Я намерен передвинуть туда один из тропиков, а зону вечной мерзлоты перенести на экватор. В будущем году весь район Арктики будет продаваться как летний курорт, а то, что останется от старого климата, после того как я переделаю экватор, я намерен использовать, чтобы понизить температуру конкурирующих курортов. Думаю, я сообщил достаточно, чтобы ты мог постичь гигантский размах задуманного мною плана, а также то, как легко его выполнить и какие огромные выгоды он сулит. Я присоединюсь к вам, счастливы, в Англии, как только распродам мои главные климаты и договорюсь с царем насчет Сибири.

А пока ждите от меня вестей. Через восемь дней мы будем очень далеко друг от друга, ибо я буду на берегу Тихого океана, а вы — далеко в Атлантическом, у берегов Англии. В этот день, если я буду жив, а мое великое открытие будет подтверждено и доказано, я пошлю вам приветствие, и посланец мой вручит вам его, где бы вы ни были, даже среди морских просторов, ибо я закрою солнечный диск, словно дымовой завесой, огромным пятном. По этому знаку вы поймете, что я приветствую вас, и скажете: «Малберри Селлерс через всю вселенную шлет нам свой поцелуй!»

Приложение

ПОГОДА, ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В НАСТОЯЩЕЙ КНИГЕ, ЗАИМСТВОВАНА ИЗ НАИБОЛЕЕ
АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Непродолжительная, но сильная гроза отгремела над городом и постепенно затихала вдали. Хотя дождь прекратился уже с час тому назад, беспорядочные громады черных и рыжих туч, озаренных пронзительно багряным отсветом, еще нависали исполинскими глыбами над нелепыми и жалкими домишками, а вдали, высоко над подернутым дымкой хитросплетением низеньких черепичных кровель и печных труб, распростерлась мантия синевы, мертвенно-бледной, как кожа прокаженного, испещренная тускло-желтыми полосами и черными чумными пятнами, прорезаемая зигзагами еще вспыхивающих время от времени молний. Гром, по-прежнему гроыхавший в душном, знойном воздухе, заставлял испуганных обитателей улицы сидеть по домам за закрытыми ставнями; и какими же убогими, притихшими, всеми покинутыми и смиренными, точно глупые подвыпившие бедняки, испытывавшие на себе всю ярость летней бури, казались эти мокрые строения, стоявшие по обеим сторонам узкой кривой улочки, такой уродливой и в то же время живописной под раскинувшимся над нею гигантским балдахином неба. Дождевая вода еще уныло и монотонно капала с карнизов на разбитые плиты тротуара, образуя на них лужи или ручейками стекая в переполненные канавы, по которым, мрачно kloкоча, бурные потоки мчались к реке.

(«Бронзовый Андроид». — *У. Д. О'Коннор* .)

Жгучее мартовское солнце с минуту висело
Над бесплодной иудейской пустыней,
Затем мрак поглотил нас, и наступила ночь.

(«Канун пасхи в Керак-Моабе». — *Клинтон Сколлард* .)

Уже подкрадывались быстро наступающие зимою сумерки. Снова, как бы нехотя, мягкими хлопьями стал падать снег.

(«Фелисия». — *Фанни Н. Д. Мерффри* .)

О, милосердные небеса! Весь запад от края и до края занялся ярким пламенем; миг — и земля заколебалась, словно содрогаясь от чудовищного залпа десяти тысяч артиллерийских орудий. Это было сигналом к пробуждению фурии; тысячи демонов завопили и завизжали, сонмы огненных змей заматались и озарили мрак.

Полил дождь; со страшным стоном пронесся ветер; слепя глаза, непрерывно засверкала молния; и удары грома слились в непрекращающийся гул, подобный грохоту восьмисот пушек под Геттисбергом. Бум! Бум! Бум! Это валятся на землю тополя. Взз! Взз! Взз! Это демон носится по долине, срывая все, вплоть до травинки. Трах! Трах! Трах! Это фурия вгоняет свои огненные стрелы в грудь земли.

(«Демон и фурия». — *М. Квод* .)

Отлетели вдале все постылые будничные мысли и исчезли в широком приволье озаренных солнцем, расплывающихся в лазури вершин под лазурными небесами. Глубокая недвижная синева глядела вниз, но вода лишь кое-где со всею точностью воспроизводила этот непередаваемый оттенок небесной лазури.

(«В чужой стране». — *Чарльз Эгберт Крэддок* .)

Все указывало на то, что надвигается песчаный смерч, хотя солнце по-прежнему ярко светило. Знойный ветер вдруг неистово пронесся над самой землей. Он во все стороны разметал песок, покрывавший долину. Высоко в воздухе закружились песчаные конусы и горы, — любопытное зрелище на фоне синего неба. А внизу тучи песка неслись во все стороны от долины, точно по ней промчались невидимые всадники. Но ветер мгновенно рассеивал песок, — ввысь взмывали лишь самые большие тучи, однако они становились все более грозными и многочисленными.

Глаза Альфреда, быстро охватив горизонт, заметили крышу хижины объездчика, все еще поблескивавшую на солнце. Он хорошо помнил эту хижину. До нее от этого места дороги не больше четырех миль, а то и меньше. Знакомы были ему и эти песчаные смерчи: Биндарра славилась ими. Не долго думая, Альфред пришпорил лошадь и во весь опор помчался к хижине. Но не успел он проехать и полпути, как отдельные тучи песка слились в один вертящийся столб, и если бы не инстинкт лошади, никогда бы ему не добраться до этой хижины, ибо последние полмили он совсем потерял ее из виду, а когда очертания ее вдруг возникли над ушами лошади, солнца уже давно не было видно.

(«Лесная невеста».)

И шел дождь сорок дней и сорок ночей.

(«Книга Бытия».)

Том Сойер за границей

Перевод М. И. Беккер

Глава I

Том ищет новых приключений

Вы думаете, Том уgomонился после всех приключений, которые были с нами на реке, — ну, тех, когда мы освободили негра Джима и когда Тому прострелили ногу? Ничуть не бывало. Он еще больше разошелся — только и всего. Понимаете, когда мы все трое вернулись с реки героями, воротились, так сказать, из долгих странствий, и когда все жители поселка вышли встречать нас с факелами, и произносили речи, и кричали «ура», а некоторые так даже напились пьяные — понятно, мы все прослыли героями. Ну а Тому, известно, только того и надо.

Правда, ненадолго он и впрямь уgomонился. Все с ним носились, а он себе знай расхаживает по улицам, задрав нос кверху, точно весь поселок принадлежит ему. Кое-кто даже стал называть его Том Сойер-Путешественник. Ну, понятно, тут он и вовсе чуть не лопнул от спеси. На нас с Джимом он и смотреть не хотел — ведь мы всего-навсего спустились вниз по реке на плоту и только вверх поднялись на пароходе; ну а Том — он и туда и обратно на пароходе ехал. Все наши мальчишки страшно завидовали мне и Джиму, а уж Тому они просто пятки готовы были лизать.

Н-да, прямо не знаю, может он на этом и успокоился бы, если б только не Нат Парсонс, наш почтмейстер, — знаете, такой тощий, долговязый, лысый старикашка. Нат был человек добродушный и глуповатый, а уж болтливее его я в жизни никого не видывал. Ну и вот, этот самый Нат за последние тридцать лет единственный во всем поселке заслужил себе такую репутацию — то есть, я хочу сказать, репутацию путешественника, — ну и, понятно, до смерти возгордился. Говорят, он за эти тридцать лет не меньше миллиона раз распространялся о своем путешествии и страшно гордился своими рассказами. А тут вдруг откуда ни возмись является мальчишка, которому еще и пятнадцати-то не исполнилось, и весь поселок, разинув рот, восхищается его путешествиями. Ясно, что бедного старикашку всего корезить начинает от такого дела. Ему просто тошно было слушать рассказы Тома и аханье: «Вот здорово!», «Нет, вы только послушайте!», «Чудеса, да и только!» и всякое тому

подобное. Но деться ему было некуда, — все равно как мухе, у которой задняя лапка в патоке завязла. И вот всякий раз, стоит только Тому сделать передышку, — глядишь, несчастный старикан уж тут как тут, расписывает свои облезлые путешествия, как только может. Впрочем, они уже всем порядком надоели, да и вообще-то немногого стоили, так что просто смотреть на него было жалко. Тут Том снова принимается рассказывать, старик за ним, и так далее и тому подобное, — иной раз часами стараются друг друга за пояс заткнуть.

А путешествие Ната Парсонса вот с чего началось. Когда он только поступил в почтмейстеры и был совсем новичком в этом деле, приходит однажды письмо, а кому — неизвестно, во всем поселке такой отродясь не живал. Ну вот, он и не знал, что тут делать да как тут быть. А письмо все лежит — лежит неделю, лежит другую, покуда от одного вида этого письма у Ната стали колики делаться. К тому же письмо было доплатное — без марки, а взыскать эти десять центов не с кого. Вот Нат и решил, что правительство сочтет, будто он во всем виноват, да и прогонит его с должности, когда узнает, что он не взыскал эти деньги. В конце концов Нат не выдержал. Он не мог ни спать, ни есть, исхудал как тень, но посоветоваться ни с кем не посмел: вдруг этот самый человек возьмет да и донесет правительству про письмо. Запрягал он его под половицу, но опять без толку: чуть увидит, что кто-нибудь наступил на это место, так его сразу в дрожь бросает. Неспроста это, думает он про себя. И сидит он, бывало, до глубокой ночи, ждет, покуда все огни погаснут и весь поселок затихнет, а после прокрадется в контору, вытащит письмо и запрячет его в другое место. Народ, понятно, стал избегать Ната. Все качали головами да перешептывались — по всему его виду и поступкам выходило, что он либо убил кого-нибудь, либо еще бог весть чего наделал. И будь он не своим, а приедем, его бы уж наверняка линчевали.

Ну вот, значит, как я уже говорил, не мог Нат больше вытерпеть, и решил он отправиться в Вашингтон, пойти прямо к президенту Соединенных Штатов и чистосердечно во всем признаться, а потом вынуть письмо, положить его перед всем правительством и сказать:

«Вот оно. Делайте со мной, что хотите, только, видит бог, я ни в чем не виноват, и не заслужил наказания по всей строгости закона, и у меня осталась семья, которая теперь помрет с голоду, хоть она тут ни при чем, и я готов присягнуть, что все это правда».

Так он и сделал. Он путешествовал немножко на пароходе, немножко в дилижансе, но большую часть пути проделал верхом и за три недели добрался до Вашингтона. Он проехал много миль, видел множество разных поселков и четыре больших города. Отсутствовал Нат почти два месяца, а когда вернулся, то стал спесивее всех в поселке. Путешествия сделали его самым великим человеком в округе. Все только о нем и говорили, народ съезжался издалека — за тридцать миль, и даже из долины реки Иллинойс, чтобы только поглядеть на него, — и все, бывало, стоят разинув рты, а он знай себе болтает. Вы в жизни ничего подобного не видывали.

Ну вот, значит, не было никакой возможности решить, кто же самый великий путешественник. Одни говорили, что Нат, другие — что Том. Все признали, что Нат проехал больше по долготе, но им пришлось согласиться, что Том хоть и уступал Нату в долготе, зато перещеголял его по части широты и климата. Значит, получилась ничья. Вот обоим и приходилось всячески расписывать свои опасные приключения, чтобы хоть как-нибудь одержать верх. Парсонсу трудновато было тягаться с простреленной ногой Тома, и, как он ни пыжился, все равно ничего у него не получалось, — ведь Том не сидел на месте, как полагалось ему по справедливости, а поминутно вскакивал и, прихрамывая, ковылял взад-вперед, покуда Нат рассказывал про свои вашингтонские приключения. Том ведь все хромал, хотя нога-то у него давным-давно зажила. По вечерам он даже упражнялся дома, чтоб не разучиться, — и хромал ничуть не хуже, чем с самого начала.

А с Натом вот что приключилось, — не знаю, правда ли это, может он это в газете вычитал или еще где-нибудь, да только надо отдать ему справедливость — он здорово об этом рассказывал. Всех прямо мороз по коже подирал, да и у самого Ната дух захватывало, и он побелел, как полотно, а женщины и девицы — те прямо чуть в обморок не падали. Ну вот,

значит, дело было так.

Прискакал он в Вашингтон, поставил лошадь в конюшню и явился со своим письмом прямо на дом к президенту. Там ему говорят, что президент сейчас в Капитолии и как раз собирается ехать в Филадельфию, так что если он хочет застать его, то пускай ни минуты не медлит. Тут Нату просто дурно стало. Лошади-то при нем нету, и он прямо не знает, что делать. Вдруг откуда ни возьмись подъезжает какой-то негр в старой, обшарпанной карете. Нат не растерялся. Кинулся он к негру, да как заорет:

— Полдоллара, если ты доставишь меня к Капитолию за полчаса, и еще четверть доллара в придачу, если довезешь меня за двадцать минут!

— Идет! — отвечает негр.

Нат вскочил в карету, захлопнул дверцу, и они со страшным грохотом и треском понеслись вперед по самой скверной дороге, какая только есть на свете. Нат просунул руки в петли, вцепился в них что было силы, но вдруг карета натывается на камень, взлетает в воздух, дно у нее отваливается, а когда она снова упала вниз, ноги Ната очутились на земле, и он видит, что если не поспеет за клячами, то тут ему и крышка. Он до смерти перепугался, однако взялся за дело, не за страх, а за совесть: уцепился за петли, ноги у него так и замелькали. Бежит он во весь дух и что есть силы орет кучеру: останови, мол; да и народ на улицах тоже вопит — ведь все видят, как он под каретой ногами перебирает, а голова и плечи — из окон видать — внутри болтаются, и все понимают, какая страшная грозит ему опасность. А кучер-то — чем громче они кричат, тем громче он гикает, пуще прежнего понукает своих кляч, а сам орет не своим голосом: «Вы не бойтесь, хозяин, уж я вас к сроку доставлю, вы не беспокойтесь!» Ему-то кажется, будто все его подгоняют, и понятно — он из-за своего крика ничего расслышать не может. И вот таким порядком несутся они вперед, и тот, кто это видит, просто холодеет от ужаса, а когда они наконец подъехали к Капитолию, то все сказали, что еще никто никогда так быстро не ездил. Лошади стали, Нат в полном изнеможении свалился наземь, а когда его вытащили, он был весь в пыли, в лохмотьях и босой, но зато он успел как раз вовремя, захватил президента, вручил ему письмо, и все вышло как следует — президент тут же его помиловал; и Нат дал негру полдоллара прибавки вместо четверти — он ведь понимал, что, не будь этой кареты, ему бы ни за что не попасть туда к сроку.

Да, это было замечательное приключение, и Тому Сойеру приходилось всячески козырять своей раной, чтобы не ударить лицом в грязь.

Так вот, мало-помалу слава Тома начала меркнуть, потому что у людей появились новые темы для разговоров — сперва скачки, потом пожар, потом цирк, потом большой аукцион невольников, а сверх всего затмение, — ну, и тут, как всегда бывает в подобных случаях, устроили молитвенное собрание, и уж теперь никто больше не говорил о Томе, а он просто вне себя был от возмущения.

Вскоре Том совсем загрузил и целыми днями ходил как потерянный, а когда я стал спрашивать, из-за чего он так мается, он сказал, что у него скоро сердце разорвется от тоски: годы, мол, идут, он стареет, никто нигде не воюет, и не видит он никакого способа покрыть себя славой. Сказать по правде, все мальчишки про себя так думают, но я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь взял да прямо так и сказал об этом.

Ну вот он и принялся выдумывать разные планы, как бы ему стать знаменитостью, — и очень скоро его осенило, и он предложил принять меня и Джима. Том Сойер всегда был человеком щедрым и великодушным. Есть много ребят, которые подлизываются к тебе, если у тебя что-нибудь хорошее завелось, но когда им самим случится наткнуться на что-нибудь хорошее, они тебе ни слова не скажут, а постараются все это прикарманить. Но за Томом Сойером этого греха никогда не водилось.

Бывают же такие люди — будет он ходить вокруг, глотая слюнки, когда у тебя появилось яблоко, и выпрашивать огрызок, но уж если яблоко попало ему, а ты попросил огрызок у него и напомнил, как однажды тоже давал ему огрызок, он тебе такую рожу соорудит, да еще и скажет, что век будет тебя помнить, но вот только огрызка ты не

получишь. Но, между прочим, я заметил, что им всегда за это воздается. Подождите — сами увидите. Том Гукер всегда так поступал, и что же? — не прошло и двух лет, как он утонул.

Ну вот, отправились мы в лес, и Том рассказал нам, что он придумал. Он придумал стать крестоносцем.

— А что это такое — крестоносец? — спрашиваю я.

Посмотрел он на меня с презрением, — он всегда так делает, если ему стыдно за человека, — и говорит:

— Гек Финн, неужто ты не знаешь, что такое крестоносец?

— Нет, — говорю, — не знаю и знать не хочу. До сих пор я без них обходился и, как видишь, жив и здоров. Но как только ты мне скажешь — я узнаю, вот и хорошо будет. Не понимаю, зачем стараться узнавать про разные вещи и ломать себе голову над ними, если они, может, никогда мне и не понадобятся? Вот, например, Ланс Уильямс — научился он говорить на языке индейцев чокто, да только у нас тут никогда ни одного чокто не бывало, покуда не явился один — рыть ему могилу. Ну, так что же это такое — крестоносец? Но только я тебя предупреждаю: если на него требуется патент, то ты на нем много не заработаешь. Вот Билл Томпсон...

— Патент! — говорит он. — В жизни не видывал такого идиота. При чем тут патент? Крестоносцы ходили в крестовые походы.

«Уж не спятил ли он?» — подумал я было. Но нет, он был в полном сознании и спокойно продолжал:

— А крестовый поход — это война за то, чтобы отобрать Святую Землю у язычников.

— Какую именно Святую Землю?

— Ну, просто Святую Землю — она только одна и есть.

— А нам-то она на что?

— Да как же ты не понимаешь? Она находится в руках у язычников, и наш долг отобрать ее у них.

— А почему же мы позволили им захватить ее?

— Ничего мы им не позволяли. Они всегда ею владели.

— Ну, раз так, она их собственность. Разве нет?

— Разумеется, собственность. Разве я сказал, что нет?

Я немного подумал, но так и не уразумел, в чем тут дело.

— Знаешь, Том Сойер, уж этого я понять не могу. Если у меня есть ферма и она моя, а другой человек хочет ее отобрать, то разве справедливо будет, если он...

— Ох, ни черта ты не смыслишь, Гек Финн! Это же не ферма, это совсем другое. Видишь ли, дело вот в чем. Они владеют землей — просто землей — и больше ничем, но наши — евреи и христиане — сделали эту землю святой, так нечего им теперь ее осквернять. Мы ни минуты не должны терпеть такой позор. Мы обязаны немедленно отправиться в поход и отобрать ее у них.

— Н-да, в жизни не встречал я такого запутанного дела. Допустим, у меня есть ферма, а другой человек...

— Говорю тебе, что ферма тут совсем ни при чем. Фермерство — это самое обыкновенное дело, и больше ничего, а тут нечто возвышенное тут замешана вера, а не какие-нибудь низменные занятия.

— А разве вера велит нам отбирать землю у людей, которым она принадлежит?

— Конечно! Так оно всегда и бывало.

Джим только головой покачал и говорит:

— Масса Том, я так думаю, что тут где-то ошибка, уж наверняка тут ошибка. Я сам человек верующий и много верующих людей знаю, да только не видал я никого, кто бы так поступал.

Тут Том совсем рассвирепел и сказал:

— От такой непроходимой тупости заболеть можно. Если бы кто-нибудь из вас прочел что-нибудь по истории, вы бы узнали, что Ричард Львиное Сердце, и папа римский, и

линкГотфрид Бульонский, и множество других благороднейших и благочестивейших людей больше двухсот лет подряд били и резали язычников, стараясь отобрать у них их землю, и все это время они по горло плавали в крови, и после всего этого здесь, в захолустье штата Миссури, нашлось два тупоголовых деревенских остолопа, которые вообразили, будто лучше их понимают, кто прав и кто виноват! Ну и нахальство же!

Да, конечно после этого все дело представилось нам совсем в другом свете, и мы с Джимом почувствовали себя очень неловко, и нам стыдно стало, что мы такие легкомысленные. Я совсем ничего не мог сказать, а Джим — он тоже помолчал немного, а потом и говорит:

— Ну, теперь, по-моему, все в порядке: уж если и они не знали, так нам, беднягам, и пробовать нечего разбираться; а раз это наш долг, мы должны взяться его исполнить и постараться как следует. Но по правде говоря, мне так же жалко этих язычников, как и вам самому, масса Том. Очень трудно убивать людей, которых ты не знаешь и которые тебе ничего плохого не сделали. Вот в чем дело-то. Если б мы пришли к ним — мы все трое — и сказали, что мы голодны, и попросили чего-нибудь поесть, может они такие же, как все другие люди и негры, — как вы думаете? Уж наверное они накормили бы нас, и тогда...

— Что тогда?

— Я, масса Том, вот как понимаю. Ничего у нас не выйдет. Мы не сможем убивать этих несчастных чужеземцев, которые ничего худого нам не делают, до тех пор, пока мы не поупражняемся, — я это точно знаю, масса Том, совершенно точно. Но если мы возьмем парочку топоров — вы, и я, и Гек — и переправимся через реку нынче ночью, когда луна скроется, и вырежем ту большую семью, что живет возле Снай, и подожжем их дом, и...

— Ох, заткнись же ты наконец! У меня просто голова заболела. Не хочу я больше спорить с дураками вроде тебя и Гека Финна. Вечно вы не о том говорите, и не хватает у вас мозгов понять, что нельзя судить о чистом богословии с точки зрения законов об охране недвижимого имущества.

Но вот это уж было несправедливо со стороны Тома. Джим ничего худого не хотел сказать, и я тоже. Мы ведь отлично знали, что мы не правы, а он прав, и просто хотели уразуметь, в чем тут суть, — вот и все. И единственная причина, почему он не мог объяснить все так, чтобы мы поняли, — это наше невежество, да, да, и тупость, я этого вовсе не отрицаю, да только разве мы в этом виноваты?

Но он и слушать больше не стал, сказал только, что если бы мы захотели как следует взяться за это дело, тогда он, Том, набрал бы тыщонку-другую рыцарей, заковал их с ног до головы в стальные латы, назначил меня лейтенантом, Джима маркитантом, сам принял верховное командование, смел всю шайку язычников в море, словно стаю мух, и в ореоле славы прошел бы триумфальным маршем по всему свету. Но уж если у нас не хватало разума воспользоваться этим случаем, он больше никогда нам ничего такого предлагать не станет. И не стал. Уж если он вобьет себе что-нибудь в голову, его ни за что с места не сдвинешь.

Ну да я на него не обиделся. Я человек миролюбивый и никогда не ссорюсь с людьми, которые мне ничего не сделали. Я так рассудил: если язычнику ничего не надо, то и мне ничего не надо. Ну и дело с концом.

Том взял этот план из книги Вальтера Скотта — он вечно ее перечитывал. По-моему, это довольно-таки дикий план, потому что ему бы ни за что не удалось набрать столько людей, а если бы даже и удалось, то его бы наверняка разбили в пух и прах.

Я взял эту книгу, прочел все, что там сказано, и насколько я понял, туговато пришлось большинству из тех, кто бросил свои фермы и отправился в крестовый поход.

Глава II

Подъем воздушного шара

Так вот, значит, Том придумывал один план за другим, но в каждом было какое-нибудь слабое место, и ему приходилось их бросать. Наконец он просто в отчаяние пришел. В это

время газеты в Сент-Луисе много писали о воздушном шаре, который должен полететь в Европу, и Том начал подумывать, не отправиться ли ему туда посмотреть, что это за шар, да все никак не мог решиться. Однако газеты все не унимались, и тогда ему пришло в голову, что если теперь не поехать, так, может, больше никогда не представится другого случая увидеть воздушный шар. К тому же он узнал, что Нат Парсонс едет туда, ну и, понятно, это решило дело. Ведь Нат Парсонс, когда вернется, непременно станет хвастать, что видел шар, и тогда ему, Тому, придется слушать да помалкивать, а уж этого он стерпеть не мог. Вот он и попросил меня и Джима поехать вместе с ним, и мы поехали.

Шар оказался замечательный — огромный, с крыльями, лопастями и разными тому подобными штуками, совсем непохожий на те шары, какие рисуют на картинках. Он был привязан на краю города, на пустыре, в конце Двенадцатой улицы, а кругом толпился народ, и все насмеялись над шаром и над его изобретателем — тощим, бледным малым, с глазами как у помешанного, — и все утверждали, что шар не полетит. Изобретатель приходил в ярость, бросался на них с куланами и говорил, что они тупые скоты, однако в один прекрасный день они поймут, что им довелось встретить одного из тех, кто возвышает народы и создает цивилизацию, а у них не хватило мозгов это уразуметь. И тогда на этом самом месте их собственные дети и внуки воздвигнут ему памятник, который переживет века, а имя его переживет и самый памятник.

Тут народ снова начинал хохотать, орать и спрашивать, как была его фамилия до того, как он женился, сколько он возьмет, чтобы больше так не поступать, как звали бабушку кошки его сестры, и разные тому подобные вещи, какие обычно говорит толпа, когда ей попадетя парень, которого можно дразнить. Правду сказать, некоторые замечания были смешные и даже очень остроумные, но все равно это несправедливо и не слишком благородно, когда столько народу пристает к одному человеку, да притом когда все они такие бойкие на язык, а он и ответить-то толком не умеет. Да и в сущности-то, стоило ли ему огрызаться? Ему ведь от этого никакого проку, а им только и надо — попался простак на удочку. Но все равно он тут ничего поделаться не мог — такой уж был человек. Он был славный малый, а газеты писали, что он настоящий гений, — но уж в этом-то он наверняка не виноват. Не могут же все быть здравомыслящими, приходится нам быть такими, какие мы есть от природы. Я так разумею: гении думают, что они все знают, и потому не слушают ничьих советов, а всегда поступают по-своему, и из-за этого все люди их ненавидят и презирают. И ничего удивительного тут нет. Если б они были поскромнее, прислушивались к тому, что люди говорят, да старались научиться уму-разуму, то им же самим было бы лучше.

Та часть шара, в которой сидел профессор, была похожа на лодку. Она была большая, просторная, и по бокам в ней стояли водонепроницаемые ящики. В них хранились разные вещи, на них можно было сидеть, стелить постели и спать. Мы забрались в лодку. Там уже болталось человек двадцать, они всюду совали свой нос, все рассматривали; и старый Нат Парсонс тоже был тут как тут. Профессор возился с приготовлениями к отлету, и все стали друг за дружкой вылезать обратно на землю. Старый Нат шел позади. Ну а мы ведь не могли допустить, чтоб он остался после нас, вот мы и решили обождать, покуда он уйдет, и вылезть последними.

Но вот уже Нат сошел на землю, и теперь наступил наш черед. Вдруг я услышал громкие крики, обернулся, смотрю — город стрелой улетает у нас из-под ног! Мне просто дурно сделалось, до того я перепугался. Джим стоит весь серый, слова вымолвить не может, а Том молчит, но вид у него вроде даже радостный. Город все уходил и уходил вниз, но нам казалось, будто мы не двигаемся, а просто висим в воздухе на одном месте. Дома становились все меньше и меньше, город сжимался все теснее и теснее, люди и экипажи стали совсем крошечными, словно жуки или муравьи, улицы превратились в ниточки и трещинки. Потом все как будто растворилось, и вот уже и города нет — одно только большое пятно на поверхности земли осталось; и я подумал, что теперь наверняка все видно за тысячу миль вверх и вниз по реке, хотя, конечно, так далеко видеть нельзя. Мало-помалу земля превратилась в шар — в обыкновенный круглый шар какого-то тусклого цвета, а по

шару вились и извивались блестящие полосы — реки. Вдова Дуглас вечно твердила, что земля круглая, как шар, но я никогда не придавал значения разным ее предрассудкам — их у нее целая куча, — и уж ясно, на этот раз я и вовсе внимания не обратил. Ведь я сам прекрасно видел, что земля имеет форму тарелки и что она плоская. Взберусь я, бывало, на гору, да и окину взглядом окрестность, чтоб самому в этом убедиться. По-моему, лучший способ составить себе правильное представление о каком-нибудь факте — никому на слово не верить, а пойти и посмотреть самому. Однако на этот раз мне пришлось признать, что вдова-то была права. Вернее, я хочу сказать, что она была права, когда говорила про всю землю, но она была не права, когда говорила про ту часть, где находится наш город. Эта часть имеет форму тарелки, и она плоская, честное слово!

Профессор все это время сидел тихо, как будто спал, но вдруг его прорвало. Он был ужасно зол и говорил что-то в таком роде;

— Идиоты! Они сказали, что он не полетит. Хотели все осмотреть, разнюхать и выведать у меня секрет. Но я их перехитрил. Никто, кроме меня, не знает секрета. Никто, кроме меня, не знает, что приводит его в движение. Это — новая энергия, новая энергия, в тысячу раз сильнее всего, что есть на земле! Пар — чепуха по сравнению с ней! Они сказали, что мне не долететь до Европы. До Европы! Да тут у меня на борту хватит энергии на пять лет, а провизии у меня на три месяца запасено. Глупцы! Ничего они не понимают. Сказали, что мой воздушный корабль непрочен. Как бы не так! Он у меня пятьдесят лет выдержит! Стоит мне только захотеть — и я всю жизнь буду летать в небесах, направляя свой путь куда мне заблагорассудится, хотя они и смеялись надо мной и говорили, что ничего у меня не выйдет. Они говорили, что я не смогу управлять им! Поди сюда, мальчик, попробуем. Нажимай вот эти кнопки и слушай меня.

Профессор объяснил Тому, как управлять шаром, и вмиг научил его всему. Том сказал, что это очень просто. Потом он велел Тому спуститься почти до самой земли, и шар так низко летел над прериями Иллинойса, что мы могли разговаривать с фермерами и совершенно ясно слышали, что они отвечают. Он бросал им печатные листки, на которых было все написано про шар и про то, что мы летим в Европу. Том так наострился, что, бывало, направит курс на какое-нибудь дерево и держит так до тех пор, пока, кажется, вот-вот налетит на него, но в этот самый миг он возьмет да и взмоет вверх и пронесется у него над самой верхушкой. А потом профессор научил Тома садиться на землю, и Том первоклассно проделал эту операцию и так ловко посадил шар посреди прерии, словно в пуховую перину сел. Однако только мы собрались спрыгнуть на землю, профессор как заорет:

— Нет! Не уйдете! — и снова направил шар в воздух.

Ох, и жутко нам было! Я стал его упрашивать, и Джим тоже, но он еще пуще рассвирепел и смотрел на нас таким безумным взглядом, что я и вовсе струсил.

После этого он снова принялся перечислять свои невзгоды, ворчать и жаловаться, что над ним потешаются, и все никак не мог с этим примириться, особенно с тем, что люди сказали, будто шар непрочный. Он всячески глумился над ними и над их мнением, что шар очень сложно устроен и будет все время ломаться. Ломаться! Этого он и вовсе вынести не мог. Он заявил, что скорее вся солнечная система сломается. Он сердился все больше и больше. Я никогда не видел, чтобы человек так переживал. У меня просто мурашки по телу бегали, когда я смотрел на него, и у Джима тоже. Мало-помалу он начал кричать и вопить, потом стал божиться, что теперь он вообще никому не раскроет свой секрет, раз с ним так скверно обошлись. Он заявил, что облетит на своем шаре вокруг света — пусть все убедятся, на что он способен, — а после утопит его в море, да и нас с ним вместе. Ох, и попали же мы в переделку! А тут еще ночь надвигалась.

В конце концов он дал нам поесть и велел перейти на другой конец лодки, а сам прилег на ящик, с которого можно было управлять всеми снастями, положил под голову свой пистолет и сказал, что пристрелит всякого, кто сделает попытку спустить шар на землю.

Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и в головах у нас бродило много разных

мыслей, но мы все время молчали, и лишь изредка кто-нибудь промолвит словечко-другое — когда уж совсем от страха выдержать не может. Ночь тянулась медленно-медленно. Мы летели довольно низко. В лунном свете все казалось таким приятным и красивым; виднелись славные, уютные сельские домики, слышались разные домашние звуки, и нам так хотелось попасть туда, но не тут-то было! Мы лишь проносились над ними, словно привидение, не оставляя за собою никаких следов.

Поздно ночью, когда даже по звукам, по воздуху и по запахам чувствовалось, что уже около двух часов, — так я по крайней мере думал, — Том проговорил:

— Профессор лежит очень тихо, он, наверное, уснул, и нам уже пора...

— Что пора? — спросил я шепотом и весь замер от страха, потому что догадался, о чем он думает.

— Пробраться туда, связать его и спустить шар на землю, — говорит Том.

— Нет уж, сэр, — отвечаю я ему, — сиди-ка ты смирно, Том Сойер, и выбрось это из головы.

А Джим — у него даже дух захватило, до того он был перепуган.

— О масса Том, — говорит он, — не надо! Стоит вам только к нему притронуться — и нам крышка, ей-богу крышка! Я ни за что к нему не подойду, ни за что на свете! Масса Том, ведь он же совсем рехнулся.

Том зашептал:

— Вот потому-то мы и должны действовать. Если б он не рехнулся, я бы ни за что отсюда не ушел, ни за какие деньги. Я ведь уже привык к этому шару, и мне теперь даже не страшно отрываться от земли. Да, если б только он был в своем уме... Ясно, что ни один здравомыслящий человек не станет летать с сумасшедшим, который собирается облететь весь земной шар, а потом всех утопить. Мы должны действовать, а не ждать, покуда он проснется. Может, это наш последний шанс. Пошли!

Но у нас от таких слов только поджилки затряслись, и мы заявили, что не двинемся с места. Тогда Том сказал, что сам пойдет и посмотрит, нельзя ли подобраться к машине, которая управляет шаром, и спустить шар на землю. Напрасно мы просили и умоляли его не делать этого — он и слушать не хотел. Встал он на четвереньки и тихонько пополз вперед, а мы, затаив дыхание, следили за ним. Добравшись до середины лодки, он пополз еще медленнее, так что мне казалось, будто он уже целый год ползет. Наконец мы увидели, что он добрался до головы профессора, осторожно приподнялся, долгим взглядом посмотрел ему в лицо и прислушался. Глядим — он уже ползет к профессорским ногам: там были рулевые кнопки. Туда он дополз благополучно и уже тихонько подбирался к кнопкам, как вдруг — бац! — что-то с шумом падает вниз. Том бросается ничком на дно и лежит, словно мертвый. Профессор пошевелился и спросил: «Что такое?» Но мы все молчим, словно воды в рот набрали, и тогда он начинает что-то бормотать и ворочаться, словно проснуться хочет, а я чувствую, что сию минуту помру со страху.

Тут как раз на луну нашла туча, и я чуть не закричал от радости. Луна все глубже и глубже запрягивалась в тучу, и стало так темно, что мы уже не могли разглядеть Тома. Вскоре стал накрапывать дождь, и мы слышали, как профессор возится со своими канатами и прочими приспособлениями и клянет погоду. Мы очень боялись, как бы он не прикоснулся к Тому — ведь тогда нам всем конец и помощи ждать неоткуда. По Том уже полз обратно, и когда мы почувствовали, что он трогает руками наши колени, у меня сразу дыхание сперло, и сердце у меня провалилось куда-то вниз к остальным внутренностям. Ведь в темноте-то я не мог разобрать — Том это или профессор, и, конечно, был уверен, что это именно профессор и есть.

Ох ты господи! Я был счастлив, что он вернулся, — как только может быть счастлив человек, который оказался в воздухе с полоумным. В темноте нельзя спускать шар на землю, и потому мне очень хотелось, чтобы дождь шел как можно дольше и чтобы Том сидел на месте и перестал наводить на нас такой страх. Мое желание исполнилось. Дождь моросил всю ночь, — она вовсе не была такой длинной, как нам показалось, — а на рассвете небо

прояснилось, и весь мир стал такой красивый, серенький и приятный, и так славно было снова увидеть поля и леса, и лошадей и коров, которые тихо стояли и думали о чем-то. А потом поднялось веселое, сверкающее солнце, и тут мы вдруг почувствовали, что нас совсем разморило от усталости, и не успел я оглянуться, как мы все уже спали.

Глава III **Том объясняет**

Заснули мы часа в четыре, а проснулись около восьми. Профессор угрюмо сидел на корме. Он дал нам поесть, но велел оставаться на носу и не заходить дальше середины лодки.

Если человек был очень голоден, а потом вдруг наелся до отвала, то все сразу выглядит куда лучше, чем прежде, и на душе у него как-то легче становится, даже если он летит на воздушном шаре с гением. Мы даже разговаривать начали.

Меня очень беспокоил один вопрос, и в конце концов я сказал:

— Том, мы ведь на восток летели?

— На восток.

— Ас какой скоростью?

— Ты же слышал, что профессор говорил, когда он тут бесновался. Он сказал, что иногда мы летим со скоростью пятьдесят миль в час, иногда девяносто, иногда сто, а если поднимется сильный ветер, скорость может достигь трехсот миль в час. Когда нам понадобится ветер, да к тому же попутный, мы должны подняться повыше или спуститься пониже — только и всего.

— Так я и думал. Профессор соврал.

— Как так?

— Да так. Если б мы летели с такой скоростью, мы бы уж давно пролетели Иллинойс, верно?

— Верно.

— Ну вот, а мы его еще не пролетели.

— А ты почему знаешь?

— Я по цвету узнал. Мы все еще находимся над Иллинойсом. Сам можешь убедиться, что Индианы пока не видно.

— Что с тобой, Гек? Уж не спятил ли ты? Разве можно штаты по цвету узнавать?

— Можно?

— Да причем же тут цвет?

— При том! Иллинойс зеленый, а Индиана розовая. Ну-ка, покажи мне внизу что-нибудь розовое, если можешь. Нет, сэр, тут все зеленое.

— Индиана розовая? Что за чушь!

— Вовсе это не чушь, я сам видел на карте, что она розовая.

В жизни я еще не видывал, чтоб человек так возмущался.

— Знаешь, Гек Финн, — говорит он мне, — если б я был таким остолопом, как ты, я бы давно уже за борт прыгнул. Он на карте видел! Да неужто ты воображаешь, что каждый штат в природе такого же цвета, как на карте?

— Скажи-ка, Том Сойер, для чего, по-твоему, существует карта? Ведь она сообщает нам о фактах?

— Разумеется.

— Ну а как же она может сообщать нам о фактах, если она все врет?

— Ох ты, болван несчастный! Ничего она не врет.

— Нет, врет.

— Нет, не врет.

— Ну ладно, если она не врет, тогда, значит, все штаты разного цвета. Что ты на это скажешь, Том Сойер?

Видит он, что попал впросак, и Джим тоже это видит. Признаться, очень я обрадовался,

потому что нелегко взять верх над Томом Сойером. Джим хлопнул себя по ляжке и говорит:

— Вот это здорово! Ничего не поделаешь, масса Том, заткнул он вас за пояс, что верно, то верно. — Тут он снова хлопает себя по ляжке и добавляет: — Ну до чего здорово!

Никогда я так не радовался. А ведь я вовсе не думал говорить что-нибудь умное — оно у меня само вырвалось. Я болтал, что в голову придет, и не думал ни про что такое, как вдруг оно возьми да и выговорись. Они вовсе этого не ожидали, да я и сам тоже. Как будто человек жевал себе потихоньку кусок кукурузной лепешки, ни о чем не думая, и вдруг ему на зуб попадает алмаз. В первую минуту он обязательно подумает, что это просто камешек какой-нибудь, и до тех пор не догадается, что это алмаз, покуда не вытащит его изо рта, не счистит с него песок, крошки и прочую дрянь и не посмотрит на него, — и как же он тут удивится, да и как обрадуется! Ну и конечно он будет страшно гордиться своей находкой, хотя, если как следует разобраться, то ясно, что особой заслуги тут нет, — ведь не занимался же он специально розысками алмазов. Подумайте немножко — и сами увидите, в чем тут разница. Понимаете, такая случайная находка — это ерунда. Вот если вы его специально искали — тогда совсем другое дело.

В такой кукурузной лепешке всякий нашел бы алмаз, но ведь и не всякому такая лепешка попадает. Вот в чем заслуга того парня, и вот в чем моя заслуга. Я вовсе не хочу сказать, что я какой-нибудь особенный человек; навряд ли мне бы это еще раз удалось, но в тот раз мне это удалось — вот и все, что я хочу сказать. И я совсем не подозревал, что способен на такую штуку, и совсем не думал о ней, даже и не пытался, — все равно как вот вы сейчас. Сидел я совсем тихо, тише воды, ниже травы — и вдруг ни с того ни с сего оно у меня вырывается. Я часто вспоминаю об этом случае и отлично помню все, что было вокруг, — как будто оно произошло неделю назад. Я и сейчас все это перед собою вижу: привольные поля, леса и озера на сотни миль кругом протянулись, города и поселки тут и там мелькают, профессор сидит за столом, склонившись над картой, а на снастях Томова шапка трепыхается — он ее туда на просушку повесил. А особенно запомнилась мне одна птичка — футах в десяти от нас. Она летела с нами в одну сторону и изо всех сил старалась не отстать, а мы ее все время обгоняли; да еще поезд, там внизу, — он тоже все гнался за нами: извивается между деревьями и фермами и знай себе выпускает из трубы длинную ленту черного дыма. А иногда из трубы вырывалось маленькое белое облачко, — ты уж давно позабыл о нем, как вдруг — чу! — до тебя еле-еле доносится коротенький, слабенький вздох... Да ведь это же паровозный свисток! Ну так вот, оставили мы и птичку и поезд далеко-далеко позади, — и между прочим, без всякого труда.

Но Том был не в духе. Сперва он заявил, что мы с Джимом слабоумные болтуны, а потом говорит:

— Предположим, художник рисует рыжего теленка и большого рыжего пса. Что он должен сделать прежде всего? Он должен нарисовать их так, чтобы ты мог сразу же отличить их друг от друга, стоит тебе только взглянуть. Понимаешь? Ну вот. Теперь скажи, нужно ли ему красить их обоих в рыжий цвет? Ясно, что нет. Вот он и покрасит одного из них в синий цвет, и уж тогда-то ты их не перепутаешь. То же самое с картой.

Вот почему все штаты раскрашивают разными цветами: чтобы ты их не перепутал.

Однако я никак не мог понять, к чему он клонит, да и Джим тоже. Джим покачал головой и говорит:

— Ах, масса Том, если б вы знали, до чего глупы эти художники, вы б еще подумали, стоит ли их брать, чтоб доказать какой-нибудь факт. Вот я вам сейчас расскажу, и тогда вы сами увидите. Смотрю я однажды — сидит себе один из них на задворках у Хэнка Уильямса и рисует. Подошел я к нему и вижу, что рисует он старую корову-пеструху — у нее еще один рог обломан, — да вы сами знаете, про какую я говорю. Спрашиваю, значит, я его, зачем он ее рисует, а он мне говорит, что когда нарисует, то получит за картину сто долларов. Масса Том, да ведь он же мог за пятнадцать долларов купить эту самую корову, и я ему так и сказал. И представьте себе, сэр, он только головой покачал, художник-то этот, и знай малюет себе дальше. Ей-богу, масса Том, ничего-то они не понимают.

Тут Том просто из себя вышел. Я давно заметил, что так почти всегда бывает с человеком, которого переспорили. Он велел нам попридержаться языки, — может, говорит, мы тогда одумаемся. Вдруг он видит где-то там внизу городские часы, берет подзорную трубу, смотрит на них, потом смотрит на свою серебряную луковицу, потом снова на часы, а потом опять на луковицу, и говорит:

— Странно! Эти часы почти на целый час вперед.

Спрятал он свою луковицу, но вскоре заметил внизу еще одни часы, посмотрел на них, а они тоже на час вперед. Том очень удивился.

— Странно, — говорит, — не могу понять, в чем тут дело.

Взял он тогда подзорную трубу, разыскал еще одни часы, глянь — а они опять же на час вперед. Смотрю: у Тома глаза на лоб полезли, дыханье сперло.

— Черт возьми, — говорит он, — ведь это же долгота!

Тут я совсем перепугался.

— Что еще случилось? — говорю.

— Случилось то, что эта старая калоша одним махом пролетела над Иллинойсом, над Индианой и Огайо, а теперь мы уже находимся на восточном конце штата Пенсильвания или Нью-Йорк, или где-нибудь по соседству.

— Врешь!

— Честное слово! Со вчерашнего вечера мы продвинулись на пятнадцать градусов долготы от Сент-Луиса. Все эти часы идут верно. Мы уже почти восемьсот миль пролетели.

Я, конечно, не поверил, но все равно меня дрожь пробрала. Ведь я по собственному опыту знал: меньше чем за две недели так далеко даже на плоту вниз по Миссисипи не уедешь.

Джим между тем сидел в глубоком раздумье. Вдруг он спрашивает:

— Масса Том, вы сказали, что эти часы идут верно?

— Разумеется, верно.

— Но ведь ваши часы тоже идут верно?

— В Сент-Луисе они шли верно, а здесь они на час отстают.

— Масса Том, уж не хотите ли вы сказать, что время не везде одинаковое?

— Вот именно, что не везде.

Джим очень огорчился и говорит:

— Мне просто больно слушать, что вы так говорите, масса Том, мне просто стыдно слушать. А вы еще такое воспитание получили. Да, сэр, у тети Полли сердце разорвется, если она это услышит.

Том с изумлением поглядел на Джима, но ничего не ответил, а Джим продолжал:

— Масса Том, откуда взялись люди в Сент-Луисе? Их создал господь бог. Откуда взялись люди здесь, где мы сейчас находимся? Их тоже создал господь бог. Разве все они не дети божьи — и те и другие? Ясно, что да. Почему же он создал такую дискриминацию?

— Дискриминация! В жизни не видывал подобного невежества. Никакой тут дискриминации нет. Вот, например, он создал тебя и еще кое-кого из своих детей черными, а всех прочих белыми — так как же ты это назовешь?

Джим понял, что крыть ему нечем. А Том и говорит:

— Вот видишь, он устраивает дискриминацию когда ему вздумается. Но только тут дискриминацию устроил не бог, а человек. Господь бог создал день, и он создал ночь, но время изобрел не он, и не он распределил его между разными местами. Это сделал человек.

— Неужто, масса Том? Неужто это человек сделал?

— Разумеется, человек.

— А кто ж ему позволил?

— Никто. Он и не спрашивал вовсе.

Джим на минутку задумался, а потом произнес:

— Да, тут уж я молчу. Я бы так рисковать не стал. Есть же такие люди, которые ничего не боятся. Идут себе напролом и плюют на все. Выходит, что повсюду всегда на час разница,

масса Том?

— На час? Ничего подобного! На каждый градус долготы разница в четыре минуты. Понятно? Пятнадцать градусов дают час, тридцать — два часа, и так далее. Например, когда в Англии уже вторник и час ночи, то в Нью-Йорке еще понедельник и всего восемь часов вечера.

Джим немного отодвинулся от Тома, и по всему видно было, что он обижен. Он сидел на своем ящике, покачивая головой, и что-то бормотал про себя. Я подошел к нему, погладил его по колену, приласкал. Мало-помалу он успокоился и говорит:

— Чтоб масса Том мог такое сказать! Вторник в одном месте, понедельник в другом, и все это в один день! Гек, здесь, наверху, не место для шуток. Два дня за один день! Как это ты засунешь два дня в один день? Разве можно засунуть два часа в один час? Или засунуть двоих негров в шкуру одного негра? Или влить кувшин виски в маленькую кружку? Нет, сэр, ничего у вас все равно не получится. Послушай, Гек, а вдруг этот вторник пришелся на Новый год? Выходит тогда, в одном месте новый год, а в другом еще старый, и все это в одну и ту же минуту? Чушь несусветная — вот что это такое! Не могу я этого вытерпеть, не могу я слушать, когда такое говорят.

Тут он весь как задрожит, посерел прямо; а Том ему говорит:

— Да что с тобой? В чем дело?

Джим с трудом отвечает:

— Масса Том, ведь вы пошутили, правда? Ведь не бывает же такого на самом деле?

— Нет, я не шучу, так оно и есть.

Джим снова затрясся и говорит:

— Тогда, значит, если на тот понедельник придется светопреставление, то в Англии его вовсе не будет и мертвые не встанут из могил. Не надо нам туда ехать, масса Том. Пожалуйста, поверните эту штуку обратно, я хочу быть там, где...

В этот самый миг мы вдруг увидели такое, что сразу вскочили, забыв обо всем на свете, да так и застыли, вытаращив глаза.

Том промолвил:

— Да ведь это... — тут у него даже дух захватило. — Провалиться мне на этом месте! Да ведь это — океан!

От таких слов у нас с Джимом тоже дух захватило. Стоим мы все как окаменелые, но зато счастливые, потому что никто из нас ни разу не видал океана и вовсе даже никогда не надеялся увидеть. А Том все приговаривает:

— Атлантический океан. Атлантика. Вот это здорово, нечего сказать! Это он, и — на него смотрим мы. Мы, а не кто-нибудь! Прямо не верится, до чего здорово!

Потом мы увидели густую тучу черного дыма, а когда подлетели ближе, то поняли, что это город. Ух, и городище же это был! С одного боку тесно в ряд стояли корабли... Уж не Нью-Йорк ли это, подумали мы, и принялись судить да рядить, но не успели мы оглянуться, как город уже ушел из-под нас и унесся назад, а мы очутились прямо над океаном, и штормовой ветер со страшной силой помчал нас вперед. Тут мы сразу опомнились, скажу я вам!

Кинулись мы на корму, подняли крик и стали умолять профессора повернуть обратно, высадить нас на землю и отпустить к родным, — ведь они так о нас беспокоятся, а если с нами что-нибудь случится, то могут просто помереть с горя; но он выхватил свой пистолет и погнался назад. Пришлось нам воротиться на прежнее место. Знал бы кто, каково нам было!

От земли теперь осталась одна тоненькая полоска вроде змейки — далеко-далеко, на самом краю воды, а под нами на сотни миллионов миль простирался бесконечный океан, с бешеным ревом вздымая огромные валы. Мелкие брызги рассыпались по гребням. Кое-где барахтались одинокие жалкие кораблики. Они то накренились с борта на борт, то тыкались вверх носом или кормой. Вскоре и кораблей не стало, и теперь все небо и весь океан были наши. Никогда не видывал я места просторнее и пустынее.

Глава IV

Буря

Кругом становилось все более мрачно и уныло. Над нами было огромное, бездонное небо, внизу простирался совершенно пустой океан — одни волны и больше ничего. Вокруг нас, там, где небо сходится с водою, было кольцо — совершенно правильное круглое кольцо, и казалось, что мы застряли в самом центре — тютетька в тютетьку. Хотя мы и неслись с бешеной скоростью, словно степной пожар, но все равно ни на дюйм не продвигались вперед и никак не могли выбраться из этого самого центра. Нас просто мороз по коже подирал — уж до того это было странно и непонятно.

Вокруг стояла такая тишина, что мы тоже стали говорить шепотом. Постепенно нас до того жуть одолела, что и вовсе разговаривать расхотелось. Вот мы и принялись «мыслить», как Джим выражается, и очень долго сидели молча.

Профессор все время лежал тихо. Когда поднялось солнце, он встал и приложил к глазам какую-то треугольную штуковину. Том сказал, что это секстант, — профессор определяет им положение солнца, чтобы узнать, где находится шар. Потом профессор начал что-то вычислять, заглянул в какую-то книжку, ну а после опять за старое принялся. Много всякой чепухи он наболтал, и между прочим заявил, что будет держать скорость в сто миль до завтрашнего вечера, покуда не опустится в Лондоне.

Мы ответили, что будем весьма признательны.

Профессор глядел в другую сторону, но, услышав это, мгновенно обернулся и окинул нас таким страшным, злобным и подозрительным взглядом, какого я еще в жизни не видывал, а потом и говорит:

— Вы хотите меня покинуть. Не пытайтесь отрицать.

Мы не знали, что ответить, и потому молчали.

Профессор пошел на корму, сел, но видно было, что мысль о нашей измене никак не выходит у него из головы. Он то и дело выкрикивал что-нибудь про это и хотел заставить нас отвечать, но мы помалкивали.

Кругом было до того пустынно и уныло, что мне совсем невтерпеж сделалось, но когда начало смеркаться, то стало еще хуже. Вдруг Том ткнул меня в бок и прошептал:

— Смотри!

Глянул я па корму и вижу, что профессор тянет что-то из бутылки. Это мне сильно не понравилось. Вскоре он хлебнул еще разок, еще, а потом принялся пить. Тем временем наступила ночь, надвигалась гроза. Профессор все пел и пел — каким-то диким голосом, а тут еще загредел гром, в снастях завыл и застонал ветер, и совсем жутко стало. Было так темно, что мы уже не могли видеть профессора. Нам очень хотелось, чтоб и голоса его не слышно было, но все равно он до нас доносился. Потом он замолк, но не прошло и десяти минут, как мы заподозрили неладное, и нам захотелось, чтоб он опять поднял крик, — тогда бы мы хоть знали, где он сидит. Вдруг сверкнула молния, и мы увидели, что профессор встает, но он был пьян и потому зашатался и упал. И тут мы услышали в темноте крик:

— Они не хотят ехать в Англию! Отлично! Я возьму другой курс. Они хотят меня покинуть — пусть покидают, и притом немедленно!

Я чуть не помер со страху, когда он это сказал. Тут он снова умолк и молчал так долго, что я просто не мог больше выдержать, и мне стало казаться, что молнии уж больше никогда не будет. Наконец все же блеснула молния, и мы увидели, что профессор ползет на четвереньках в каких-нибудь четырех футах от нас. Ох, посмотрели бы вы на его глаза! Он кинулся к Тому и закричал: «Отправляйся за борт!», но тут снова стало ужасно темно, и я не мог разглядеть, схватил он его или нет, а Том не произнес ни звука.

Снова наступило долгое, мучительное ожидание, потом опять сверкнула молния, и тут я увидел, как голова Тома опускается куда-то за лодку и исчезает. Он повис на веревочной лестнице, которая болталась в воздухе за бортом. Профессор завопил и кинулся к нему, но

тут опять наступила тьма.

— Бедный масса Том, пропала он совсем! — простонал Джим и бросился на профессора, но того уж и след простыл.

Вдруг раздались дикие вопли, потом послышался еще один крик — потише, а за ним другой — откуда-то издалека, снизу, так что его едва можно было разобрать, и тут я услышал, как Джим говорит:

— Бедный масса Том!

Наступила жуткая тишина, и наверняка можно было сосчитать до четырехсот тысяч, покуда снова вспыхнула молния. Когда она вспыхнула, я увидел, что Джим стоит на коленях. Руки он положил на ящик, голову опустил на руки, а сам плачет. Не успел я взглянуть за борт, как уже снова стало темно, и я даже обрадовался — мне и видеть-то ничего не хотелось. Но когда снова сверкнула молния, я осмотрелся крутом и вижу, что кто-то болтается на лестнице там, внизу, на ветру, и что это — Том!

— Лезь наверх! — крикнул я. — Полезай сюда, Том!

Голос у него был такой слабый, а ветер ревел так сильно, что я не мог разобрать, что он говорит, но решил, что он спрашивает, на борту ли профессор.

— Нет, он упал в океан! Лезь наверх! Может, помочь тебе?

Конечно, все это происходило в темноте.

— Гек, кого ты зовешь?

— Тома!

— Ох, Гек, да как же это так, разве ты не знаешь, что бедный масса Том... — тут Джим испустил жуткий вопль, всплеснул руками и снова завопил. Дело в том, что тут как раз вспыхнула яркая молния, а он поднял голову и увидел, что Том, белый, как снег, лезет на борт да прямо ему в глаза глядит. Понимаете, он решил, что это привидение...

Том вскарабкался на борт. Как только Джим убедился, что это он, а не его дух, он принялся обнимать и целовать Тома, да так, что просто с ног до головы облюнявил, и называл его всякими ласковыми именами. Совсем рехнулся от радости. Тут я и говорю:

— Чего ты ждал, Том? Почему сразу наверх не лез?

— Я боялся, Гек. Я видел, что кто-то пролетел мимо меня вниз, но в темноте не мог разобрать кто. Ведь это мог быть ты или Джим.

Вот каков Том Сойер — он всегда разумно рассуждает. Он не полез наверх, покуда не узнал, где профессор.

К этому времени буря разыгралась со страшной силой, гром гремел и грохотал во всю мощь, молнии сверкали, ветер выл и ревел в снастях, а дождь лил как из ведра.

Стояла такая темень, что нельзя было разглядеть свою собственную руку; потом вдруг вспыхивал яркий свет, и тогда вы могли пересчитать каждую ниточку на своем рукаве, а сквозь пелену дождя было видно, как внизу, на необъятных океанских просторах, бушуют и бьются волны. Замечательная штука такая буря, да только не особенно приятно наблюдать ее, когда ты затерян где-то высоко в небе, промокший до нитки и несчастный, да к тому же только что лишился одного из членов своей семьи.

Мы сидели на носу, тесно прижавшись друг к другу, тихонько говорили о несчастном профессоре, жалели его и сокрушались, что люди его высмеивали и были к нему так жестоки. А ведь он же делал все что мог, и не было рядом с ним ни одного друга, никого, кто бы его подбадривал и не давал ему слишком много думать, чтоб он не свихнул себе мозги. На корме была целая куча всякой одежды и одеял, но мы решили, что лучше мокнуть под дождем, чем лезть в тот конец. Понимаете, было как-то жутко идти на то место, которое, как говорится, еще не остыло после покойника. Джим сказал, что он готов скорее промокнуть насквозь, чем идти туда да, не ровен час, между двумя молниями наткнуться на дух профессора. Он сказал, что ему всегда делалось худо от одного вида призрака, и он скорее помрет, чем дотронется до него.

Глава V

Земля

Мы старались придумать какой-нибудь план, но никак не могли поладить. Джим и я — мы стояли за то, чтоб повернуть обратно и ехать домой, но Том сказал: когда рассветет, мы сможем различить дорогу, и тут-то наверняка окажется, что мы совсем недалеко от Англии. Тогда уж, пожалуй, стоит туда съездить, а домой вернуться на пароходе, — по крайней мере будет чем похвастать.

К полуночи буря утихла, выглянул месяц и осветил весь океан. Нам стало сразу очень уютно и до смерти захотелось спать. Растянулись мы на своих ящиках и тотчас же уснули, а когда проснулись, то увидели, что уже солнце всходит. Море сверкало, словно усеянное алмазами, погода стояла прекрасная, и скоро все наши вещи высохли.

Мы пошли на корму поискать чего-нибудь на завтрак и вдруг видим — стоит под колпаком компас, а в нем огонек светится. Том сразу забеспокоился и говорит:

— Надеюсь, вам понятно, что это значит. Это значит, что кто-нибудь всегда должен стоять на вахте и управлять этой штуковиной — все равно как на корабле, а не то она будет носиться где попало по воле ветра.

— Так что же она делала все это время, с тех пор как... с тех пор как произошло несчастье с профессором? — спрашиваю я.

— Носилась, — отвечает он удрученно, — ясное дело, что носилась где попало. Сейчас ветер гонит ее к юго-востоку, по откуда мы можем знать, давно он уже дует в эту сторону или нет.

Том взял курс на восток и сказал, что будет так держать, покуда мы не позавтракаем. Профессор припас всего, чего только можно пожелать, — лучше не бывает. Правда, не хватало молока для кофе, но зато была вода и вообще все что угодно — печка и все, что полагается к ней; трубки, сигары и спички, вино и водка, — ну да это не по нашей части, — книги, морские и всякие другие карты, и даже гармоника; и еще меха, одеяла, и без счета всякой дряни вроде медных бус и украшений. Том сказал, будто это верный признак, что профессор собирался лететь к дикарям. Были и деньги. Да, профессор здорово все устроил.

После завтрака Том научил меня и Джима управлять шаром и распределил всех нас на четырехчасовые вахты — так, чтобы мы по очереди сменяли друг друга. Когда вахта Тома кончилась, его сменил я, а он нашел среди вещей профессора перо и бумагу и принялся писать письмо домой тете Полли. В письме он подробно рассказал все, что с нами было, пометил его: «В Небесной Тверди, близ Англии», сложил, запечатал красной облаткой, надписал адрес, а сверху большими буквами вывел: «От Тома Сойера-Эрронавта». То-то, говорит, обалдеет Нат Парсонс, почтмейстер, когда увидит в своей почте такое письмо.

— Том Сойер, — говорю я, — ведь это вовсе не твердь, а шар.

— А кто сказал, что это твердь, чудила?

— Сам же ты на письме написал.

— Ну и что ж? Это вовсе не значит, что шар — это твердь.

— А я думал, что значит. Ну ладно, а что же тогда эта «твердь» означает?

Гляжу — он вроде смутился. Начал он рыться у себя в памяти, да, видно, не нашел там ничего подходящего и говорит:

— Не знаю я, да и никто не знает. Это просто слово — очень хорошее слово, и все тут. Немного найдется на свете слов лучше этого, пожалуй их и вовсе нет.

— Ишь ты! — говорю. — Ну а что же оно значит? В чем его суть-то?

— Говорят тебе — не знаю. Это слово люди употребляют для... для... одним словом, для украшения. Вот, например, кружевные манжеты — их ведь не ради тепла к рубашке пришивают, верно?

— Понятно, не ради тепла.

— Однако ведь пришивают же их?

— Пришивают.

— Ну вот видишь — письмо, что я написал, это вроде рубашки, а твердь — это

кружевные манжеты, которые к ней пришили.

Ну, думаю, не стерпит Джим таких слов, это уж как пить дать. Так оно и вышло.

— Ох, масса Том, нельзя так говорить, грешно это. Вы же знаете, что письмо — не рубашка, и никаких манжетов на нем нету. Их тут вовсе и пришить-то некуда, вам их ни за что не пришить, а если вы даже их пришьете, они все равно держаться не будут.

— Да замолчи ты. Не говори, чего не понимаешь.

— Да неужто вы, масса Том, и в самом деле думаете, будто я не понимаю в рубашках? Да ведь я же всегда относил белье в стирку, с тех самых пор, когда...

— Ты что, с ума меня свести захотел? Замолчи! Это — метафора, только и всего.

От такого слова мы вроде как поперхнулись и с минуту молчали. Потом Джим спрашивает, робко-пре-робко, потому что видит — Том крепко обиделся;

— Масса Том, а что такое метафора?

— Метафора это... значит... гм... метафора — это... это иллюстрация.

Тут он сам видит, что от этого никому не легче, и начинает снова:

— Вот, например, когда я говорю: ворон ворону глаз не выклюет, то я хочу в метафорической форме выразить, что...

— Да что вы, масса Том! Обязательно выклюет. Неужто вы не знаете? Вы только подождите, пока вам попадутся сразу два ворона, и уж тогда...

— Ах, да оставь ты меня в покое наконец! Ведь в твою дурацкую башку самую простую вещь вбить невозможно. Не приставай ко мне больше, слышишь?

Джим с победоносным видом замолчал. Он был очень доволен собой: наконец-то ему удалось разделать Тома под орех. В тот самый миг, когда Том заговорил про птиц, я понял, что тут ему несдобровать: Джим-то — он ведь знал про птиц больше, чем мы оба вместе взятые. Он их сотнями подстреливал, а так только и можно узнать все про птиц. Те, кто пишет про птиц, так и делают. Они до того любят птиц, что готовы ни пить, ни есть и какие угодно мучения принимать, лишь бы найти новую птицу и подстрелить ее. Они называются орнитологи, и я бы сам тоже мог стать орнитологом — уж очень я люблю птичек и всяких прочих тварей. Вот однажды решил я заделаться орнитологом. Гляжу — сидит на ветке птичка, поет себе — заливаётся, головку набок, клювик раскрыла, — и тут я возьми да и выстрели. Песня сразу оборвалась, а птичка, словно тряпка, упала на землю. Подбегаю я к ней, беру в руки, а она уже мертвая. Тельце-то у нее еще тепленькое, головка туда-сюда болтается, как будто ей шею сломали, глаза белой пленкой затянуло, а на голове капелька крови показалась. Ох ты боже мой! Тут мне глаза застлало слезами, и я уж ничего больше не видел; и с тех самых пор я больше никогда не убивал птиц и зверей, которые мне ничего худого не делают, да и впредь не собираюсь.

Но эта самая твердь просто вывела меня из терпения. Мне захотелось обязательно узнать, что она означает. Я опять заговорил о ней, и Том старался растолковать мне, как мог. Когда человек произносит замечательную речь, сказал он, то в газетах пишут, что от криков народа содрогнулась небесная твердь. Он еще сказал, что они всегда так пишут, но никогда не разъясняют, что это такое. Вот он и думает, что это просто значит на открытом воздухе, и притом где-то в вышине. Согласитесь, что это довольно-таки разумное объяснение, и оно меня вполне удовлетворило. Так я ему и сказал. Том очень обрадовался и говорит:

— Ну вот и прекрасно, а кто старое помянет, тому глаз вон. Хотя я и сам как следует не знаю, что такое небесная твердь, но имей в виду: когда мы высадимся в Лондоне, она у нас содрогнется как миленькая.

Потом он сказал, что эрронавт — это человек, который летает на воздушных шарах, и еще сказал, что Том Сойер-Эрронавт звучит куда шикарнее, чем Том Сойер-Путешественник, и что мы обязательно прославимся на весь мир, если только все у нас пойдет хорошо, а он теперь ни гроша не даст за то, чтоб называться путешественником.

В середине дня у нас все было готово для высадки. Чувствовали мы себя очень хорошо и здорово гордились, и все время наблюдали в подзорную трубу, — совсем как Колумб, когда он открывал Америку. Но, кроме океана, ничего не было видно. День клонился к

вечеру, солнце село, а земля все еще не показывалась. Мы никак не могли взять в толк, в чем тут дело, но решили, что в конце концов она появится, и продолжали держать курс на восток, только поднялись повыше, чтобы в темноте не наткнуться на какую-нибудь колокольню или на гору.

Я нес вахту до полуночи, после меня заступил Джим, а Том все не ложился. Он сказал, что капитаны кораблей при приближении к земле всегда так поступают: они остаются на вахте все время.

Когда наконец забрезжил рассвет, Джим вдруг вскрикнул. Мы вскочили, посмотрели вниз — и точно: там была земля — везде кругом, насколько хватал глаз, совершенно ровная желтая земля. Давно ли мы летим над ней? Этого мы не знали. Ни деревьев, ни холмов, ни городов — ничего не было видно, и потому Джим с Томом приняли эту землю за море. Они думали, что это океан и что стоит мертвый штиль. Но, между прочим, мы летели на такой высоте, что, если б даже внизу бушевала буря, нам все равно в темноте показалось бы, что стоит штиль.

В страшном волнении бросились мы к подзорной трубе и стали всюду искать Лондон, но его и в помине не было, да и вообще нигде не было видно никаких следов человеческого жилья, и ни озер, ни рек мы тоже не обнаружили. Том совсем растерялся. Он сказал, что совершенно иначе представлял себе Англию, — он всегда думал, что Англия похожа на Америку. Пока что он предложил нам позавтракать, а потом спуститься вниз и попросить, чтоб нам указали кратчайшую дорогу в Лондон. На завтрак у нас много времени не ушло — мы просто как на иголках сидели от нетерпения. Когда мы начали спускаться, сделалось теплее, и вскоре мы сбросили с себя меха. Между тем становилось все теплее и теплее, а потом стало совсем жарко. К тому времени, когда мы очутились в самом низу, у нас прямо вся кожа пузырями покрылась!

Мы остановились футах в тридцати от земли — если, конечно, песок можно назвать землей, — а это был чистейший песок. Мы с Томом слезли вниз по лестнице и решили немножко побегать, чтобы размять ноги. Получилось очень здорово — ноги, мы, конечно, размяли, да только песок был горячий, как раскаленные уголья, и обжигал нам пятки. Вдруг видим — кто-то к нам приближается. В это время Джим стал кричать.

Обернулись мы, смотрим — скачет он как полоумный, делает нам какие-то знаки и орет не своим голосом. Слов-то мы разобрать не могли, но все равно здорово перепугались и повернули назад к шару. Подойдя поближе, мы поняли, что он кричит, — и тут-то мне сразу дурно стало.

— Бегите! Спасайтесь! Это лев, я его в подзорную трубу вижу! Бегите, ребята, мчитесь что есть силы. Он удрал из зверинца, а поймать-то его некому!

Том понесся стрелой, а у меня сразу ноги подкосились, — знаете, как оно бывает, когда вам во сне приснится, будто за вами привидение гонится.

Том добежал до лестницы, взобрался на несколько ступенек и остановился, ожидая меня. Не успел я поставить ногу на первую ступеньку, как Том приказал Джиму отчаливать. Но Джим — он совсем голову потерял от страха — и говорит, что позабыл, как это делается. Тогда Том полез дальше и велел мне следовать за ним, а лев уж тут как тут — подскакивает к нам с диким ревом, ну и, понятно, у меня поджилки так затряслись, что я и вовсе пошевелиться не смею, — подниму, думаю, одну ногу, а вторая-то сразу и отнимется.

Но Том уже вскарабкался на борт. Он направил шар вверх, и как только конец лестницы повис футах в десяти или двенадцати от земли, мы снова остановились. Лев с ревом бесновался подо мной — он изо всех сил старался допрыгнуть до лестницы, и мне всякий раз казалось, что до меня остается каких-нибудь четверть дюйма. Да, замечательно было сознавать, что ему до меня не добраться, просто замечательно, и я весь преисполнился благодарности — вернее, моя верхняя половина: я ведь только цеплялся за лестницу, а наверх взобраться никак не мог, и оттого моей нижней половине было очень плохо и страшно. Знаете, это редкий случай, чтоб в человеке все так перепуталось, и я никому ничего такого не пожелаю.

Том спросил меня, как теперь со мной быть, но я и сам не знал. Он спросил: смогу ли я продержаться, покуда он отведет шар в безопасное место, подальше от льва? Я отвечал, что, пожалуй, смогу, если только он не станет подниматься выше, чем сейчас, — стоит только ему подняться повыше, я сразу же растеряюсь и упаду — уж это точно.

— Ладно, — говорит он, — теперь держись, — и пустил шар в ход.

— Не так быстро, — кричу, — у меня голова кружится!

Шар рванулся с места с быстротой молнии. Том тут же замедлил ход, и мы спокойно поплыли над песком, но меня все-таки тошнило, — не очень-то приятно, когда все под тобой скользит и плывет, а кругом такая тишина — ни единого звука не слышно.

Однако вскоре до меня донеслось даже слишком много звуков — это лев нас догнал. Его рычание привлекло других львов, и они со всех сторон длинными прыжками кинулись к нам. Я и оглянуться не успел, как подо мной уже скакало не меньше двух десятков львов, и все они рвались к моей лестнице, огрызаясь и лязгая зубами. Вот таким-то порядком летели мы над песком, а львы изо всех сил старались сделать так, чтоб мы вовек не забыли про нашу встречу с ними. А тут еще и другое непрошеное зверье явилось, — ну и поднялась там внизу такая свалка, что только держись.

Тут мы поняли, что наш план никуда не годится — таким аллюром нам от них ни за что не уйти; да и не мог же я вечно на лестнице висеть. Том задумался на минуту, и его осенила новая мысль — пристрелить льва из профессорского пистолета, а самим улететь, пока остальные будут драться над его тушей. Так мы и сделали: остановили шар, убили льва — и полетели дальше. Покуда звери дрались между собой, мы отошли на четверть мили, но только Том с Джимом успели втащить меня наверх, глядь — вся шайка уже снова тут как тут. Видят они, что им теперь ни за что до нас не добраться, — вот они и уселись на задних лапах и, задрав головы кверху, стали посматривать на нас с жалостным видом. Просто сердце разрывалось, на них глядя.

Глава VI

Караван

Я совсем ослабел и мечтал только об одном — добраться поскорее до своей постели и прилечь. Так я и сделал. Но разве в таком пекле человек может прийти в себя? Том скомандовал поднять шар выше, и Джим взял курс в небо.

Нам пришлось подняться почти на целую милю вверх, прежде чем мы наткнулись на подходящую погоду. Здесь, наверху, дул приятный свежий ветерок, было совсем не жарко — в самый раз, и вскоре я почувствовал себя лучше. Том Сойер сидел тихо и размышлял про себя. Вдруг он как вскочит:

— Я знаю, где мы! Держу пари на тысячу против одного, что мы попали в пустыню Сахара! Это ясно как божий день.

Он так разволновался, что не мог усидеть на месте. Я, наоборот, был совершенно спокоен.

— А где эта Сахара? В Англии или в Шотландии?

— Не тут и не там. Она в Африке.

У Джима сразу глаза на лоб полезли, и он с интересом стал смотреть вниз — ведь отсюда произошли его предки. Ну а я так не мог этому поверить. Понимаете, не мог, — получалось, что уж слишком далеко мы заехали.

Том был в восторге от своего открытия, как он выразился. Песок и львы ясно доказывают, что мы попали в Великую пустыню. Он сказал, что еще до того, как мы увидели землю, он мог догадаться об ее приближении, если б только принял во внимание одну вещь. Мы спросили, что он имеет в виду, и он сказал:

— Вот эти часы. Это хронометры. Про них написано во всех книгах о морских путешествиях. Один хронометр идет по гринвичскому времени, а другой — по времени

Сент-Луиса, как мои часы. Когда мы выехали из Сент-Луиса, то на моих часах и на этом хронометре было четыре часа дня, а гринвичский хронометр показывал десять часов вечера. Известно, что в это время года солнце заходит около семи часов. Вчера вечером, когда садилось солнце, я заметил, что гринвичский хронометр показывает половину шестого, а по моим часам и по второму хронометру было половина двенадцатого утра. Итак, в Сент-Луисе солнце вставало и садилось по моим часам, а гринвичский хронометр спешил на целых шесть часов. К тому времени мы уже улетели так далеко на восток, что до захода солнца по гринвичскому времени оставалось всего каких-нибудь полчаса, а мои часы уже отстали больше чем на четыре часа с половиной. Это значит, что мы тогда приближались к долготе Ирландии, и очень скоро достигли бы ее, если б только держали правильный курс. Но в том-то все дело, что курс у нас был неверный. Да, сэр, мы просто неслись в воздухе по направлению на юго-восток, и, по-моему, мы теперь в Африке. Взгляните на эту карту. Видите, что левый бок Африки вытянулся на запад? Вспомните, с какой скоростью мы летим. Если б мы шли прямо на восток, мы бы уж давно Европу пролетели. Теперь постарайтесь не прозевать полдень. В полдень мы все встанем, и когда наша тень исчезнет, то на гринвичском хронометре будет почти ровно двенадцать. Да, сэр, я уверен, что мы в Африке, и это здорово!

Джим все это время глядел вниз в подзорную трубу. Он покачал головой и проговорил:

— Масса Том, мне кажется, тут что-то не совсем так. Я до сих пор ни одного негра не видел.

— Не важно, они в пустыне не живут. А что это там такое? Дай-ка мне трубу.

Он долго приглядывался и наконец сказал, что видит длинную черную ленту, которая тянется по песку, но не может разобрать, что это такое.

— Ну вот, — говорю я, — теперь ты, может, и узнаешь, где находится наш шар. Ведь это наверняка одна из тех линий, что нарисованы на карте. Те самые, которые ты называешь меридианами. Стоит нам только спуститься вниз и посмотреть, какой у нее номер, и...

— Ох, и болван же ты, Гек Финн! Ты что же думаешь — меридианы протянуты по земле?

— Том Сойер, они нарисованы на карте — ты это отлично знаешь; вот они — возьми сам и посмотри.

— Разумеется, они нарисованы на карте, но это ничего не значит — на земле их нет.

— Том, ты это точно знаешь?

— Конечно знаю.

— Стало быть, эта карта опять соврала. В жизни не видывал такого вруна, как эта карта.

Тут Том рассвирепел, я рассердился, ну и Джим тоже приготовился высказать свое мнение. Еще минута — и мы снова принялись бы спорить, но в этот самый миг Том уронил подзорную трубу и как сумасшедший стал хлопать в ладоши и вопить:

— Верблюды! Верблюды!

Я схватил подзорную трубу, Джим тоже, и мы стали глядеть. Однако я сразу же разочаровался и сказал:

— Сам ты верблюд! Это же пауки!

— Пауки? В пустыне? Осел несчастный! Процессия пауков? Ты когда-нибудь думаешь, что говоришь, Гек Финн? Да только, по-моему, тебе и думать-то нечем. Разве ты не знаешь, что мы поднялись на целую милю вверх, а до этой цепочки, что ползет там внизу, еще мили две или три? Пауки — как бы не так! Пауки с корову величиной! Может, ты спустишься вниз, чтоб их подоить? Но все равно, это верблюды. Это караван — вот что это такое, и не меньше мили длиной.

— Ну, раз так, давай спустимся и поглядим. Не верю я в это, и не поверю, куда сам не увижу.

— Отлично, — говорит Том и тут же дает команду снижаться.

Спускаясь по косой вниз, к жаркой погоде, мы увидели, что это и в самом деле

верблюды. Они тянулись бесконечной цепочкой, и на каждом были навьючены тюки. А еще мы увидели людей — несколько сот человек в длинных белых балахонах. Головы у них были повязаны чем-то вроде шалей с кистями и бахромой. У одних были длинные ружья, у других — ничего, некоторые ехали верхом на верблюдах, другие шли пешком. А жарища-то —* настоящее пекло! А как медленно они тащились! И вдруг мы остановились в какой-нибудь сотне ярдов над их головами!

Тут они все как завопят! Некоторые бросились ничком на землю, другие начали палить в нас из ружей, остальные кинулись врассыпную, верблюды за ними.

Когда мы увидели, что причиняем им одни неприятности, то сразу же поднялись на милю вверх, к прохладе, и опять стали наблюдать. Целый час ушел у них на то, чтобы собраться и снова составить свою процессию. Затем они опять двинулись в путь, но в подзорную трубу нам было видно, что они все время следят за нами, — ну а мы летим себе, поглядывая на них в свои подзорные трубы. Вдруг мы увидели большой песчаный холм. За холмом как будто копошились люди, а на верхушке вроде бы лежал человек. Он то я дело поднимал голову, словно следил за чем-то — не то за нами, не то за караваном, мы никак не могли разобрать. Когда караван подошел поближе, человек быстро сполз на другую сторону холма и кинулся к остальным людям — это и в самом деле были люди, и притом с лошадьми, — и мы увидели, как они вскакивают на лошадей и несутся, словно на пожар. Одни были вооружены копьями, другие — длинными ружьями, и все вопили благим матом.

Они посыпались на караван, и в один миг все смешалось и такая поднялась пальба, какой вы в жизни не слыхивали. Сквозь густой пороховой дым едва можно было разглядеть, как они там дерутся. В этой битве участвовало не меньше шестисот человек — прямо смотреть жутко. Потом все разбились на отдельные кучки и сражались не на жизнь, а на смерть, носясь взад-вперед и избивая друг друга как попало; и каждый раз, когда дым немного рассеивался, было видно, что везде валяются убитые и раненые люди и верблюды, а уцелевшие верблюды бегут во все стороны.

Наконец разбойники убедились, что каравана им не одолеть. Тогда их предводитель протрубил сигнал, и все, кто еще оставался в живых, кинулись прочь.

Разбойник, удиравший последним, схватил ребенка и положил его перед собой на седло. За ним бросилась женщина, с криками и мольбами бежала она по равнине вслед за разбойником. Но все было напрасно. Вскоре мы увидели, как она рухнула в песок и закрыла лицо руками. Тогда Том схватился за штурвал и кинулся за него. Мы со свистом устремились вниз и выбили разбойника из седла вместе с ребенком, причем злодею здорово досталось. Ребенок был невредим. Он лежал, болтая в воздухе ручонками и ножонками, — в точности как навозный жук, который упал на спину и не может перевернуться. Разбойник, шатаясь, пошел ловить свою лошадь. Он не знал, чем его ударило, потому что мы уже поднялись на три-четыре сотни ярдов вверх.

Мы ждали, что теперь женщина пойдет и возьмет своего ребенка, но она не пошла. В подзорную трубу было видно, что она все еще сидит на месте, опустив голову на колени. Она, конечно, ничего не видела и думала, что разбойник так и увез ребенка. Находилась она почти в полумиле от своих. Поэтому мы подумали, что успеем спуститься, взять ребенка и доставить его к ней прежде, чем люди из каравана смогут до нас добраться. Рассудив, что у них и без нас достаточно хлопот с ранеными, мы решили, что стоит рискнуть. Сказано — сделано. Мы спустились пониже, остановились, Джим слез по лестнице и подобрал ребенка. Славный толстый малыш был в прекрасном настроении, хотя только что участвовал в битве и свалился с лошади. Затем мы отправились к матери, остановились невдалеке, Джим сошел на землю, подкрался к ней, и когда он был совсем рядом, ребенок загукал, как обычно делают малыши. Услышав его голос, мать быстро обернулась и закричала от радости. Она бросилась к ребенку, схватила его, обняла, затем опустила на землю и стала обнимать Джима, потом сорвала с себя золотую цепь, повесила ее Джиму на шею, снова кинулась его обнимать, потом подняла ребенка и прижала его к груди. Все это время она всхлипывала и издавала радостные крики. Джим подошел к лестнице, вскарабкался наверх, и в тот же миг

мы снова взмыли в небо. Женщина, закинув голову, глядела вверх, а ребенок охватил ей шею руками. Так она стояла, пока мы не скрылись из виду.

Глава VII

Том отдает должное блохе

— Полдень! — сказал Том. И точно — Томова тень превратилась в маленькое пятнышко возле его ног. Посмотрели мы на гринвичские часы — и видим, что на них сейчас будет двенадцать. Том и говорит, что Лондон от нас либо прямо на север, либо прямо на юг — одно из двух. Судя по погоде, по песку и по верблюдам, он решил, что на север, и порядочно на север — примерно как от Нью-Йорка до Мехико-Сити.

Джим сказал, что, по его мнению, шар — самая быстроходная штука в мире, если только не считать некоторые породы птиц, например дикого голубя, или поезд.

Но Том говорит, будто он читал, что в Англии поезда ходят со скоростью сто миль в час и что во всем мире нет птиц, которые бы летали так быстро, не считая одной, — а именно блохи.

— Блохи? Да как же это, масса Том? Во-первых, она вроде не совсем птица...

— Не птица? А кто ж она тогда?

— Не знаю точно, масса Том, да только я думаю что она просто животная. Да нет, это тоже не годится — для животной она вроде маловата. Она, наверно, жук. Да, сэр, она жук, уж это точно.

— Бьюсь об заклад, что она не жук, да уж ладно. Ну а во-вторых, что?

— Во-вторых, птицы летают далеко, а блоха нет.

— Блоха далеко не летает? А скажи-ка, далеко — это, по-твоему, сколько?

— Далек — это много-много миль. Да ведь это же всякий знает.

— Ну а человек, он может много миль пройти?

— Да, сэр, может.

— Столько же, сколько поезд?

— Да, сэр, только дайте ему время.

— А блоха разве не может?

— Может, пожалуй, если дать ей времени побольше.

— Теперь ты видишь, что дело вовсе не в расстоянии, а во времени, за которое это расстояние можно пройти. Ясно?

— Пожалуй, так оно и есть, да что-то мне не верится, масса Том.

— Тут все дело в соотношении, и когда ты начнешь оценивать чью-нибудь скорость по его размерам, то разве какая-нибудь птица, человек или поезд может сравниться с блохой? Самому проворному человеку ни за что не пробежать больше десяти миль в час — а это не намного больше, чем если увеличить его собственную длину в десять тысяч раз. Зато во всех книгах говорится, что любая, самая обыкновенная третьесортная блоха может прыгнуть на расстояние, которое в сто пятьдесят раз больше ее собственной длины. Вот. И к тому же она может сделать пять прыжков в секунду. Это значит, что за одну-единственную короткую секунду она может прыгнуть на расстояние, которое в семьсот пятьдесят раз больше ее собственной длины. Она ведь не тратит зря время на остановки — она и останавливается и прыгает одновременно. Попробуй, придави ее пальцем — сам увидишь. Ну вот, это простая третьесортная блоха. А теперь возьми первоклассную итальянскую блоху, которая всю свою жизнь была любимицей дворянства и никогда не знала ни нужды, ни холода, ни голода, — такая блоха может прыгнуть на расстояние в триста раз больше своей длины, и так она может прыгать целый день — по пять прыжков в секунду, — итого в тысячу пятьсот раз больше своей длины. Представь себе, что человек мог бы пройти в секунду расстояние в тысячу пятьсот раз больше своей длины, — скажем, полторы мили. Это будет девяносто миль в минуту, то есть намного больше пяти тысяч миль в час. Ну, куда твоему человеку, птице, поезду, шару? Да они гроша ломаного не стоят рядом с блохой. Блоха — это просто

маленькая комета.

Я здорово удивился, и Джим тоже. Он сказал:

— А это все точно, масса Том? Тут никакого обмана нету?

— Разумеется, точно. Совершенно точно.

— Ну, раз так, значит блоху уважать надо. Я их раньше никогда не уважал, ну, а теперь, видать, придется, — они заслужили. Это уж точно, что заслужили.

— Еще бы! Конечно заслужили. Если принять во внимание рост блохи, то у них побольше ума-разума, чем у любой другой твари на земле. Блох чему хочешь научить можно, и учатся они всему очень быстро. Например, блох запрягают в маленькие тележки и учат возить их туда-сюда и во все стороны — куда приказано; и еще маршировать — совсем как солдаты, по команде. Их учат выполнять всякую тяжелую и грязную работу. Допустим, тебе удалось вывести блоху ростом с человека, да притом такую, чтобы ее ум и способности увеличивались в той же пропорции, что и рост. Как ты думаешь, что тогда станется со всем родом человеческим? Ведь эта блоха будет президентом Соединенных Штатов, и тебе ее ни за что не удержать — все равно что молнию.

— Боже ты мой, масса Том! А я и не знал, что она за тварь такая! Нет, сэр, у меня этого и в мыслях никогда не было, уж это я точно говорю.

— Блоха — она любому человеку или зверю сто очков вперед даст, особенно если посмотреть на ее рост. Она куда занятнее любого из них. Люди вечно болтают о силе муравья, слона и паровоза. Да они все гроша ломаного не стоят по сравнению с блохой! Блоха может поднять груз в двести или триста раз больше своего собственного веса, а они что? Даже ничего похожего. И потом, у блохи есть свои взгляды, и она ни за что от них не отступится. Блоху не проведешь — она своим инстинктом, или умом, или что там у нее в голове, обо всем правильно судит и никогда не ошибается. Некоторые думают, что для блохи все люди одинаковы. Ничего подобного. Есть люди, к которым блоха и близко не подойдет, хотя бы она с голоду помирала. Вот я, например. На мне ни разу в жизни ни одной блохи не было.

— Масса Том!

— Ты не думай, я не шучу.

— Да, сэр, я еще в жизни такого не слыхивал.

Джим никак не мог этому поверить, да и я тоже, и потому пришлось нам спуститься вниз на песок, заpastись блохами и поглядеть, что из этого получится. Том оказался прав. Блохи тысячами кинулись на меня и на Джима, а на Тома ни одна не полезла. Понять это было невозможно, но это был факт, от которого никуда не денешься. Том сказал, что так оно всегда и бывает, и будь их тут хоть целый миллион — все равно ни одна блоха ни за что на него не полезет и беспокоить его не станет.

Мы поднялись наверх, к холоду, чтобы выморозить блох, и оставались там некоторое время, а после снова спустились в приятную погоду и стали лениво продвигаться вперед со скоростью не больше двадцати — двадцати пяти миль в час. Понимаете, чем дальше мы находились в этой тихой и мирной пустыне, тем меньше нам хотелось шуметь и суетиться. Мы чувствовали себя счастливыми и довольными, пустыня нравилась нам все больше и больше, и в конце концов мы ее даже полюбили. И вот, как я уже сказал, мы снизили скорость и неплохо проводили время — глазели в подзорную трубу, читали, развалившись на ящиках, или дремали.

Словно это и не мы, а кто-то другой так стремился найти землю и высадиться, и все же это были мы. Но теперь с этим было покончено — раз и навсегда. Теперь мы уже привыкли к шару и ничего не боялись, и нам больше никуда не хотелось. Шар стал для нас родным домом. Мне даже казалось, что я тут родился и вырос, и Том с Джимом то же самое говорили. Ведь вокруг меня всегда были противные люди, которые вечно ко мне придирались, пилили и бранили меня, и все-то я делал не так, и они вечно шипели, надоедали, придирались и житья мне не давали, заставляя меня делать то одно, то другое, — и всегда, то, чего я делать не хотел, а после давали мне нагоняй за то, что я увивал и делал

что-нибудь другое, и все время отравляли жизнь. А здесь наверху, в небе, так тихо, и солнышко так славно светит; ешь сколько влезет, спи сколько хочешь, и множество интересных вещей кругом, и никто не пристает, не пилит, и нет приличных людей, и все время один сплошной праздник. Ох, черт возьми, не очень-то я торопился отсюда обратно к цивилизации! Ведь в цивилизации что хуже всего? Если кто-то получил письмо и в нем какая-нибудь неприятность, то он непременно придет и расскажет вам все про нее, и вам сразу на душе скверно станет. А газеты — так те все неприятности со всего света собирают и почти все время портят вам настроение, а ведь это такое тяжкое бремя для человека. Ненавижу я эти газеты, да и письма тоже, и если б я мог сделать по-своему, я бы ни одному человеку не позволил свои неприятности сваливать на людей, с которыми он вовсе незнаком и которые совсем на другом конце света живут. Ну вот, а на шаре ничего этого нет, и потому он — самое распрекрасное место, какое только есть на свете.

Мы поужинали. Такой красивой ночи я еще в жизни не видывал. От лунного сияния было светло, как днем, только гораздо приятнее. Раз мы увидели льва — он стоял себе совсем один, как будто никого другого в целом свете нет, а тень его лежала возле него на песке, словно чернильная клякса. Хорошо бы, если б луна всегда так светила!

Мы почти все время валялись на спине и разговаривали. Спать нам не хотелось. Том сказал, что мы теперь попали прямехонько в «Тысячу и одну ночь». И еще он сказал, что как раз тут произошло одно из самых занятных приключений, какие описываются в этой книге. Вот мы и глядели вниз во все глаза, покуда он нам про это рассказывал, — ведь нет ничего интереснее, чем глядеть на то место, про которое в книжке говорится. Это была сказка о погонщике верблюдов, который потерял своего верблюда. И вот бродит он по пустыне, встречает одного человека и говорит:

— Не попадался ли тебе беглый верблюд?

А человек отвечает:

— Он слеп на левый глаз?

— С одной стороны на нем навьючено просо, а с другой мед?

— Ну да. Хватит уж описывать, это он и есть, а я очень тороплюсь. Где ты его видел?

— А я его вовсе не видел.

— Не видел? Почему же ты его так точно описываешь?

— Потому что если у человека есть глаза, то для него всякая вещь имеет свой смысл. Да только большей части людей глаза и вовсе ни к чему. Я знаю, что здесь проходил верблюд, потому что видел его следы. Я знаю, что он хромает на заднюю левую ногу, потому что он берег эту ногу и легко ступал на нее, — это по следу видно. Я знаю, что он слеп на левый глаз, потому что он щипал траву на правой стороне тропы. Я знаю, что у него не хватает верхнего переднего зуба, потому что это видно по отпечатку зубов на дерне. С одной стороны просыпалось просо — об этом мне рассказали муравьи; с другой стороны капал мед — об этом мне сказали мухи. Я все знаю про твоего верблюда, хотя я его и не видел.

Тут Джим говорит:

— Продолжайте, масса Том, это очень хорошая сказка и ужасно занятная.

— Это все, — отвечает Том.

— Все? — с изумлением спрашивает Джим. — А что же стало с тем верблюдом?

— Не знаю.

— Масса Том, да неужто в сказке про это не говорится?

— Нет.

Джим поразмыслил немножко, а потом сказал:

Ну, знаете, глупее этой сказки я еще не слыхивал. Как дошла до самого интересного места — так ей тут и конец. Какой же прок от сказки, если она так поступает, масса Том? Неужто вы не знаете, нашел тот человек своего верблюда или нет?

— Нет, не знаю.

Я тоже подумал, что никакого нет проку в этой сказке, раз она так обрывается. Да только я не собирался ничего про это говорить — я ведь видел, что Том и сам уже злится

из-за того, что сказка так выдохлась, а тут еще Джим ей в самое слабое место тычет. Я всегда считал, что несправедливо приставать к человеку, ежели ему и без того тошно. Однако Том быстро повернулся ко мне и говорит:

— Ну а ты что думаешь про эту сказку?

Делать нечего — пришлось мне выкладывать все начистоту. Я сказал, что мне тоже кажется, как и Джиму, что раз эта сказка застряла в самой середке — ни туда ни сюда, — то ее и вовсе не стоит рассказывать, только время попусту потеряешь.

Том опустил голову и даже не стал бранить меня за то, что я насмехаюсь над его сказкой (признаться, я этого ожидал). Нет, он только вроде как бы загрустил и промолвил:

— Одни люди видят, а другие — нет, в точности как тот человек говорил. Что там верблюды, — если б даже циклон прошел, то и тут вы, остолопы, ничего бы не заметили.

Не знаю, что он имел в виду, он ничего про это не сказал, да только думаю, что это просто одна из его всегдашних штучек, — он их вечно откальвает, когда сядет в лужу и не знает, как оттуда выбраться. Ну, да мне-то что. Мы этой сказке в самое что ни на есть слабое место попали — точка в точку, и Тому от этого никуда не уйти. Он совсем запутался, хоть изо всех сил старался не подавать виду.

Глава VIII

Исчезающее озеро

Мы рано позавтракали, уселись поудобнее и стали глядеть вниз, на пустыню. Стояла очень мягкая, приятная погода, хотя мы летели не особенно высоко. После захода солнца в пустыне надо спускаться все ниже и ниже: пустыня очень быстро остывает, и потому, когда приближается рассвет, вы уже парите над самым песком.

Мы следили, как тень от шара скользит по земле, и время от времени оглядывали пустыню — не шевелится ли там что-нибудь, а потом снова глядели на тень. Вдруг почти под самым шаром мы увидели множество людей и верблюдов. Все они тихо и спокойно лежали на земле и как будто спали.

Мы выключили машину, осадили назад, остановились прямо над ними, и только тогда увидели, что все они мертвы. Тут нас просто мороз по коже подрал. Мы сразу притихли и стали говорить вполголоса, словно на похоронах. Мы осторожно спустились вниз, остановились, и тогда мы с Томом слезли по лестнице и подошли к ним. Там были мужчины, женщины и дети. Все они высохли от солнца, кожа у них потемнела и сморщилась, как у мумий, какие нарисованы на картинке в книжке. И все же они были совсем как живые, — просто не верится, — и как будто спали; одни лежали на спине, раскинув руки по песку, другие на боку, некоторые ничком, и только зубы торчали у них больше, чем обычно. Двое или трое сидели. Одна женщина сидела опустив голову, а на коленях у нее лежал ребенок. Какой-то человек сидел, обхватив руками колени, и мертвыми глазами глядел на девушку, распростертую перед ним. Вид у него был до того несчастный, что просто смотреть жалко. И так тихо было все кругом. Черные волосы этого человека свисали ему на лицо, и когда легкий ветерок шевелил ими, я просто дрожал со страху — мне все казалось, будто он головой качает.

Некоторые люди и верблюды были наполовину покрыты песком, но таких было мало, потому что в этом месте земля была твердая, а слой песку над гравием очень тонкий. Одежда у них большей частью сгнила, и они лежали почти совсем голые. Стоило только дотронуться до какой-нибудь тряпки — она сразу же расплзалась, словно паутина. Том сказал, что, по его мнению, они здесь уже много лет пролежали.

У некоторых мужчин были заржавленные ружья или сабли, у других — заткнутые за пояс длинные пистолеты с серебряными украшениями. На всех верблюдах оставались навьюченные тюки, но только эти тюки лопнули или сгнили, и весь груз вывалился на землю. Мы подумали, что покойникам сабли уже ни к чему, и взяли себе по сабле и по несколько пистолетов. И еще мы взяли шкатулку — уж очень она была красивая, с такими

тонкими резными узорами. Нам очень хотелось похоронить этих людей, но мы не знали, как это сделать, да и хоронить-то их было негде — разве только в песке, но ведь он бы все равно снова осыпался.

Тогда мы решили хотя бы прикрыть эту несчастную девушку и положили на нее несколько шалей из разорванного тюка, но когда мы хотели засыпать ее песком, волосы у мужчины снова зашевелились, и тут мы от страха остановились, потому что нам показалось, будто он хочет попросить нас, чтобы мы их не разлучали. Я думаю, что он ее очень любил и без нее остался бы совсем одиноким.

Ну а потом мы поднялись наверх и полетели прочь, и скоро это темное пятно на песке совсем пропало из виду, и теперь мы больше никогда не увидим этих несчастных. Мы думали да гадали, как они очутились там и что с ними стряслось, но так ничего и не придумали. Сперва нам пришло в голову, что они заблудились и бродили взад-вперед до тех пор, пока у них не кончились вода и припасы, — и тогда они умерли с голоду. Однако Том сказал, что раз ни дикие звери, ни хищные птицы их не тронули, значит это не так. В конце концов мы бросили гадать и решили больше о них не думать — уж очень сильную тоску эти мысли на нас нагоняли.

Потом мы открыли шкатулку и нашли в ней целую кучу всяких драгоценных камней и украшений и маленькие покрывала — вроде тех, что были на мертвых женщинах, — обшитые по краям диковинными золотыми монетами, каких мы никогда не видали. Мы подумали, не вернуться ли нам и не отдать ли их обратно, но Том все обмозговал и сказал, что нет, — в этой стране полно разбойников, они придут, все разворуют, и тогда мы возьмем на себя грех — ведь это мы введем их во искушение. Вот мы и отправились дальше, и я подумал: хорошо бы забрать все, что у них было, чтоб уж никакого искушения не осталось.

Целых два часа мы провели внизу, на палящей жаре, и когда снова поднялись на борт, нам ужасно хотелось пить. Мы сразу же отправились за водой, но оказалось, что она совсем испортилась, прогоркла да к тому же была слишком горячая — просто глотку обжигала. Пить ее было невозможно. Это была вода из Миссисипи — лучшая вода в мире, и мы даже взболтали илистый осадок — может, вкуснее будет, да только осадок этот был ничуть не лучше, чем вода.

Пока мы занимались погибшими людьми, жажда нас не очень мучила, но теперь, когда мы увидели, что пить нечего, нам захотелось пить в пять раз больше, чем за секунду до этого. Ох, вскоре мы уже готовы были высунуть язык, как собаки.

Том сказал, что мы должны во что бы то ни стало отыскать оазис, иначе он не знает, чем все это кончится. Сказано — сделано. Мы взяли подозрные трубы и водили ими во все стороны, пока не устали до того, что трубы стали валиться у нас из рук. Два, три часа проходит. Мы все смотрим и смотрим, а кругом все песок да песок и больше ничего, а над песком раскаленный воздух дрожит. Да, брат, тот не хлебнул еще горя, кто ни разу не подышал от жажды, потеряв всякую надежду когда-нибудь добраться до воды. Под конец я уже больше не мог смотреть на эти раскаленные равнины. Улегся я на ящик, да и махнул на все рукой.

Вдруг Том как заорет: «Вода!» И верно — мы увидели большое блестящее озеро, над которым склонялись сонные пальмы, бросая на воду такие прозрачные и легкие тени, какие нам и во сне не снились. В жизни не видел я такой прекрасной картины. Озеро было очень далеко, но нам это все нипочем. Мы рванулись вперед со скоростью в сто миль, рассчитывая прибыть туда за семь минут. Однако озеро оставалось все так же далеко — словно мы нисколько к нему не приближались; да, сэр, оно оставалось все таким же далеким и сияющим — совсем как мечта, и мы никак не могли подойти к нему поближе, а потом оно вдруг взяло да исчезло.

Том вытаращил глаза и говорит:

— Ребята, да ведь это мураж!

А сам как будто радуется. Не вижу я, чему тут радоваться, и говорю:

— Может быть. Что мне за дело, как оно называется? Одно я только хочу знать: куда

оно девалось?

Джим весь дрожал и со страху ни слова вымолвить не мог, а то и он тоже задал бы этот вопрос.

Том сказал:

— Куда оно девалось? Ты же сам видишь, что оно пропало.

— Видеть-то вижу, что пропало, да только куда?

Оглядел он меня с ног до головы и говорит:

— Постыдился бы ты, Гек Финн, такие вопросы задавать! Будто ты не знаешь, что такое мураж!

— Не знаю. А что?

— Это одно только воображение, и больше ничего.

Разозлился я на такие слова и говорю:

— И к чему ты только все это болтаешь, Том Сойер? Ведь я же видел озеро.

— Ну да, ты думаешь, что видел.

— Ничего я про это не думаю. Видел — и все тут.

— Говорят тебе, что ты его не видел, — видеть-то было нечего.

Услыхав такие речи, Джим очень удивился. Он вмешался в разговор и жалобным голосом промолвил:

— Масса Том, пожалуйста, не говорите так, да еще в такое ужасное время. Вы ведь не только собой рискуете, но и нами тоже, — точь-в-точь как Анания Сапфирой. Озеро там было — я видел его совсем ясно, вроде как сейчас вас и Гека.

Тут я сказал:

— Да ведь он и сам его видел! Он ведь его первый заметил, вот оно как было-то.

— Да, масса Том, так оно и было, — не станете же вы отпираться? Мы все его видели, и это доказывает, что оно там было.

— Доказывает! Как же это доказывает?

— Да так же, как в любом суде, масса Том. Один человек — он может напиться пьяный, или уснуть, или перепутать, и двое тоже; но говорю вам, сэр, что когда трое видели что-то, будь они пьяные или трезвые, значит так оно и есть. Никуда вам от этого не уйти, масса Том, вы и сами знаете.

— Ничего я не знаю. Сорок тысяч миллионов людей видели, что солнце движется с одного конца неба на другой. Разве это доказывает, что солнце и в самом деле двигалось?

— Конечно доказывает. Да тут и доказывать-то нечего. Всякий, у кого хоть капля мозга в голове, и так это знает. Вот оно, солнце-то, — плывет себе по небу, как всегда.

Том повернулся ко мне и говорит:

— Ну а ты что скажешь? Как по-твоему, солнце стоит на месте?

— Том Сойер, и чего ты такие дурацкие вопросы задаешь? Всякий, у кого есть глаза, видит, что оно на месте не стоит.

— Что ж, — говорит он, — остался я один в небе, а со мной только два тупых осла, которые смыслят не больше, чем глава университета лет триста или четыреста назад. Да ну тебя, Гек, в те времена даже папы римские и то больше твоего знали.

Это было нечестно, и так я ему и сказал:

— Ругань, — говорю, — это еще не доказательство, Том Сойер.

— А кто ругается-то?

— Да ты же.

— Я и не думал ругаться. Не вижу ничего обидного в том, чтобы сравнить безмозглую деревенщину из штата Миссури вроде тебя с папой римским, хотя бы даже с самым негодным из всех, какие сидели на престоле. Да это еще большая честь для тебя, головастик ты несчастный: это ведь папе римскому попало, а вовсе не тебе, и ты не можешь обижаться, если он станет ругаться; да только они не ругаются, — то есть теперь не ругаются, я хочу сказать.

— Правда, Том? А прежде они разве ругались?

— В средние века? Да ведь это было их обычное занятие.

— Честное слово? Неужто они и вправду ругались?

Тут Том разошелся и такую речичку загнул (когда он в ударе, он может), что я даже попросил его написать мне на память вторую часть этой речи, — уж очень она была похожа на то, как в книжках пишут, — никак не запомнить, а многие слова даже и писать-то трудно, до того они замысловатые.

— Ясно, ругались. Не то чтоб они сквернословили где попало, ну вроде бы как Бен Миллер, и складывали ругательные слова так, как он. Нет, слова у них были те же самые, но складывали они их вместе по-другому, — ведь их самые лучшие учителя обучали, вот они и знали, что к чему, не то что Бен Миллер, — он-то просто набрался этих слов где попало, и не было у него под рукой знающего человека. Зато папы римские — они знали, что к чему. Их ругательства — это не пустая, бестолковая ругань, как у Бена Миллера, который просто из пустого в порожнее переливает, — нет, это были научные, систематические, основательные, торжественные, грозные проклятия; тут уж не отойдешь в сторону и не посмеешься, как над неотесанным неучем Беном Миллером. Такой тип, вроде Бена Миллера, может проклинать человека целую неделю подряд, а тому хоть бы что — собака лает, ветер носит. Но вот если в средние века папа римский, обученный проклятиям, соберет все свои ругательные принадлежности да начнет гвоздить короля, или целое королевство, или еретика, или еврея, или еще кого-нибудь, кто дурно вел себя и нуждался в исправлении, — это совсем другое дело. Папа римский — он не действовал как бог на душу положит, нет, — он брал этого короля или другого человека и проклинал его всего, сверху донизу. Он проклинал каждый волосок у него на голове, каждую кость в его черепе, проклинал его глаза и уши, воздух, которым он дышит, все его внутренности и жилы, всю его плоть и кровь и кости во всем его теле, проклинал всех, кого он любит, и всех его друзей, выбрасывал его на улицу и проклинал каждого, кто давал ему пищу, приют и постель, каждого, кто давал ему глоток воды или рубище, чтобы прикрыть его наготу, когда он замерзал. Вот это я понимаю! Такие проклятия действительно чего-нибудь да стоят! Человек или страна, которых так проклинали, готовы были сорок раз помереть. Бен Миллер! И он еще воображает, что умеет ругаться! Куда там! Да ведь его бы любой, самый ничтожный захолаустный епископишка из средних веков с легкостью переплюнул бы! Что там говорить, в нынешние времена мы и вовсе проклинать не умеем.

— Да брось ты, — говорю я ему, — стоит ли об этом сокрушаться, мы и так проживем. Ну а теперешние епископы умеют проклинать так, как в прежнее время?

— Да, их этому обучают, это часть науки, которая входит в ихний курс, — знаешь, вроде изящной словесности; и хотя ему от нее столько же пользы, как девчонкам из штата Миссури от французского языка, все равно приходится ее учить, как и девчонкам этим. Ведь если девчонка из штата Миссури не умеет говорить «бонжур», а епископ не умеет проклинать, то им в обществе делать нечего.

— А разве им нынче приходится проклинать, Том?

— Очень редко. Может, в Перу они и проклиняют кого-нибудь, но среди людей, которые хоть что-нибудь смыслят, это дело давно уже сошло на нет, и они на это и вовсе внимания не обращают, все равно как на Бена Миллера. Понимаешь, они так далеко ушли вперед, что теперь знают не меньше, чем саранча в средние века.

— Саранча?

— Ну да. В средние века во Франции, когда саранча начинала пожирать хлеб, епископ выходил в поле и с важным видом осыпал ее страшными проклятиями. Точно такими же, какими осыпали еврея, еретика или короля, — как я тебе рассказывал.

— А что же делала саранча, Том?

— Смеялась, только и всего, и продолжала преспокойно пожирать хлеба. В средние века разница между человеком и саранчой состояла в том, что саранча была не дура.

Тут Джим как завопит:

— Ох ты господи, ох ты боже мой, опять озеро! Ну, масса Том, что вы теперь скажете?

Да, сэр, на краю пустыни снова появилось озеро. Мы видели его совершенно ясно — и деревья и все было точно такое же, как и прежде. Я сказал:

— Ну, что ты теперь скажешь, Том Сойер?

— Ничего. Никакого озера там нет.

— Не говорите так, масса Том, — сказал Джим, — мне просто страшно вас слушать. Это у вас от жары да от жажды в голове помутилось, масса Том. Ох, и какое же оно красивое! Мне просто невтерпех, до того пить хочется.

— Придется тебе обождать, хоть жди не жди — все одно. Ведь говорят же тебе, что никакого озера там нет.

— Джим, ты только не спускай глаз с озера, — говорю я.

— Да неужто ж я их спущу, милок, дай тебе бог здоровья.

Мы понеслись к озеру, и хотя миля за милей оставались позади, мы ни на дюйм не приближались к нему, — и вдруг оно снова исчезло! Джим зашатался и чуть не упал. Когда он смог разговаривать, он сказал, ловя воздух ртом, как рыба:

— Масса Том, это дух, вот что это такое, и дай бог, чтоб мы его больше не увидели. Озеро там было, да только что-то случилось, и оно померло, и мы видели его дух, мы два раза его видели, и уж это вернее верного. Тут, в пустыне, водятся привидения, это уж точно. О масса Том, давайте отсюда выбираться! Я лучше помру, чем останусь тут ночью, когда дух этого озера станет шататься вокруг нас, а мы во сне и не узнаем, какая нам опасность грозит.

— Дух! Эх ты осел несчастный! Да это просто воздух и жажда, склеенные вместе воображением человека. Если бы я... Дай-ка сюда подзорную трубу!

Том схватил трубу и стал глядеть направо.

— Вот стая птиц, — сказал он. — Уже вечерет, и они движутся наперерез нам. Они зря не полетят — скорее всего, летят кормиться где-нибудь у воды. Право руля! Ниже! Так держать!

Мы сбавили ход, чтобы не перегонять птиц, и понеслись за ними следом, держась примерно в четверти мили от стаи. Часа через полтора мы сильно приуныли, а жажда до того нас замучила, что и вовсе невольно стало. Вдруг Том сказал:

— Пусть кто-нибудь из вас возьмет подзорную трубу и доглядит, что там впереди виднеется.

Джим взял трубу, глянул в нее, да как рухнет на ящик — ему худо сделалось. Чуть не плача, он произнес:

— Опять оно, масса Том, это опять оно! И теперь я непременно помру — так уж всегда бывает, когда в третий раз привидение увидишь. Ох, и зачем я только на этот шар полез!

Он не стал больше смотреть, да и я тоже испугался, услышав такие слова. Ведь я знал, что это правда, и потому мне тоже смотреть не хотелось. Мы с Джимом стали умолять Тома повернуть и лететь куда-нибудь в другое место, но он ни за что не соглашался и сказал, что мы оба тупые, суеверные болваны. Ох, и попадетса же он в лапы к привидению, если будет так оскорблять всю их братию, сказал я про себя. Они, может, еще немножко потерпят, но не станут же они терпеть вечно. Всякому, кто хоть что-нибудь смыслит в привидениях, известно, как легко их обидеть и какие они злопамятные.

Все было тихо и спокойно; мы с Джимом помирали со страху, а Том занимался делом. Вдруг он останавливает шар и говорит:

— Ну, вставайте и смотрите, остолопы несчастные!

Тут мы увидели, что под нами вода — настоящая, прозрачная, голубая, глубокая вода! — и легкий ветерок колышет на ней волны. В жизни я ничего лучше не видывал! А кругом зеленые берега, и цветы, и тенистые рощи высоких деревьев, переплетенных виноградными лозами; и все такое тихое, мирное и уютное, — прямо плакать хочется от радости, что такую красоту видишь.

Джим — тот и в самом деле заплакал, закричал и заплясал, просто чуть не рехнулся от счастья. Наступила моя вахта, так что я остался при механизмах, а Том с Джимом спустились вниз и выпили по бочке воды каждый и мне тоже принесли напиток. Да, много вкусных

вещей перепробовал я на своем веку, но где им с этой водой сравняться! Потом они снова спустились вниз и искупались, а после Том сменил меня, и тогда мы с Джимом пошли купаться, а потом Джим сменил Тома, и мы с Томом принялись бегать наперегонки и бороться, и мне еще ни разу в жизни так хорошо не было. Погода была не особенно жаркая — дело шло к вечеру, да к тому же мы были совсем голые. Одежда — она только в школе, в городе да, может, еще на балах требуется, ну а там, где никакой цивилизации и прочих докучных неприятностей не водится, она и вовсе ни к чему.

— Львы идут! Львы! Скорей, масса Том! Спасайся, Гек!

Ох, и понеслись же мы! Забыв про одежду, мы, в чем были, полезли вверх по лестнице. Джим — тот сразу голову потерял, он всегда ее теряет, если очень расстроится или напугается, — и вот, вместо того чтобы только слегка приподнять лестницу с земли, чтоб звери ее не достали, он дал полный ход, шар взмыл наверх, а мы повисли между небом и землей, и он даже не сразу понял, что за глупости делает. Потом Джим остановил шар, но у него совсем из головы выскочило, что надо дальше делать, ну а мы пока что болтались в воздухе, да так высоко, что львы казались нам просто щенками, а ветер тем временем относил шар в сторону.

Но Том все же взобрался наверх к механизмам и направил шар наискосок вниз и обратно к озеру, где собралась целая куча зверей, словно на молитвенное собрание. «Уж не рехнулся ли он? — подумал я. — Ведь он же знает, что я со страху не могу наверх взобраться. Может, он хочет сбросить меня вниз, прямо в лапы всем этим тварям?»

Но, оказывается, он был в полном здравии и рассудке и знал, чего хочет. Спустившись вниз, он остановил шар футях в тридцати или сорока над самой серединой озера и крикнул:

— Отцепляйся и прыгай!

Я так и сделал и пулей понесся вниз, ногами вперед, да так, что чуть не на целую милю ушел под воду; а когда поднялся на поверхность, Том мне и говорит:

— А теперь ложись на спину и плавай, покуда не отдохнешь и храбрости не наберешься. Тогда я спущу лестницу в воду и ты сможешь залезть на борт.

Сказано — сделано. Том это здорово придумал! Ведь если бы он отлетел куда-нибудь в другое место, над песком, то весь зверинец пошел бы за нами следом, и мы бы до тех пор искали безопасное место, пока я окончательно не выбился бы из сил и не упал на землю.

Все это время львы и тигры ворошили нашу одежду, стараясь поделить ее между собой так, чтобы каждому что-нибудь досталось, но все время у них получалось какое-то недоразумение, потому что некоторые пытались захватить себе больше, чем им полагалось, — ну и снова начиналась свалка, какая вам и во сне не снилась. Их было штук пятьдесят, и все сбились в одну кучу, и все рычали, фыркали, ревели, кусались и толкались, задрав хвосты кверху, а кругом только шерсть да песок летели. Когда все наконец угомонились, одни упали мертвыми, другие, прихрамывая, заковыляли прочь, а остальные уселись кружком на поле боя зализывать свои раны и поглядывали на нас, как будто приглашая нас спуститься вниз немножко позабавиться, да только нам чего-то не хотелось.

Ну а от одежды и вовсе ничего не осталось. Звери проглотили все до последнего лоскутка, но только я не думаю, чтоб она им впрок пошла — уж больно много медных пуговиц там было, а в карманах лежали ножи, табак, гвозди, куски мела, камешки, рыболовные крючки и прочее барахло. Ну да мне-то что за дело. Я об одном беспокоился — у нас теперь только профессорская одежда осталась. Ее было много, но она никуда не годилась — штаны длинные, как туннели, пиджаки и все прочее в том же роде. Впрочем, нашлось все, что нужно для портного, а Джим немного умел портняжничать и сказал, что скоро сможет приспособить для нас парочку костюмов.

Глава IX

Том рассуждает о пустыне

Мы все же решили на минутку спуститься на землю, правда по другой причине. Большая часть провизии, заготовленной профессором, была упакована в жестянки по-новому, только что изобретенному кем-то способу, остальная была свежая. Когда едешь в Великую Сахару с бифштексом из штата Миссури, нужно быть осмотрительным и держаться повыше, где прохладная погода. Наши припасы сохранялись хорошо, пока мы не провели столько времени внизу среди мертвецов. От этого у нас испортилась вода, а от бифштекса пошел такой дух, что англичанину он, может, показался бы в самый раз, но для американцев, пожалуй, слишком крепок, — так по крайней мере заявил Том. Вот мы и решили спуститься вниз на львиный базар и поглядеть, нельзя ли там чем-нибудь поживиться.

Втащив лестницу на борт, мы опустились пониже, но с таким расчетом, чтобы звери не могли нас достать, а потом сбросили вниз веревку со скользящей петлей и подняли наверх мертвого льва — небольшого, понежнее, а потом еще тигренка. Прочую братию нам пришлось отгонять пистолетом, а не то они вмешались бы в это дело и принялись бы нам помогать.

Мы содрали с туш шкуры, отрезали от каждой по большому куску мяса, а остальное выкинули за борт. Насадив на крючки мясную наживку, мы принялись удить рыбу. Шар стоял на подходящей высоте над озером, и мы поймали множество отличной рыбы. Ужин у нас получился на редкость — жаркое из льва, жаркое из тигра, жареная рыба и горячие кукурузные лепешки. Ну а мне ничего лучше и не надо.

На закуску у нас были фрукты, мы их сорвали с верхушки одного высоченного дерева. От корней до верхушки на этом дереве не было ни одной ветки, и только на самом верху торчал пучок листьев — вроде метелки из перьев, которой пыль смахивают. Это была пальма — ясное дело. Пальму — ее всякий вмиг узнает по картинкам. Мы поискали на ней кокосовых орехов, но их не оказалось. На этой пальме висели только большие пучки каких-то ягод вроде крупных виноградин, и Том сказал, что это, наверно, финики, — он про них в «Тысяче и одной ночи» и в других книжках вычитал. Конечно, это, может, и вправду были финики, ну а может — это вовсе яд. Вот мы и решили обождать немножко и посмотреть, едят их птицы или нет. Оказалось, что едят, ну тогда и мы тоже стали есть. Ох, и вкусные же они были!

Мало-помалу начали слетаться какие-то огромные птицы. Они садились на дохлых зверей и принимались храбро клевать какого-нибудь льва, даже если с другого конца его уже другой лев грыз. Лев прогонит птицу, но не успеет он опять за дело приняться, а она уж снова тут как тут.

Птицы прилетали со всех сторон. Когда они были так далеко, что простым глазом не разглядеть, то можно было увидеть их в подзорную трубу. Дохлятина была еще слишком свежая, и от нее ничем не пахло — за пять миль птице такого запаха никак не учуять, и потому Том сказал, что они не по запаху мясо находят, они его видят.

Вот это зрение так зрение! Том сказал, что за пять миль куча дохлых львов выглядит не больше ногтя, и он не понимает, как птицы могут разглядеть такую фитюльку с такого большого расстояния.

Нам показалось очень странно и неестественно, что лев пожирает льва, и мы подумали, что, может, они вовсе не родня. Но Джим сказал, что это все равно. Он сказал, что свинья любит есть своих собственных детей, и паук тоже, и что, наверно, лев почти такой же безнравственный, может только чуть-чуть поменьше. Он сказал, что лев, наверно, не станет есть своего родного отца, если только узнает его, ну а зятя своего он наверняка сожрет, когда очень сильно проголодается, а что касается тещи — то ее в любой момент. Ну да известно, что от рассуждений толку мало. Рассуждай хоть до тех пор, куда коров с поля пригонят, и все равно ни до чего не додумаешься. Потому мы это дело бросили.

Обыкновенно в пустыне по ночам бывает очень тихо, но на этот раз мы услышали концерт. На ужин собралось множество всяких зверей — визгливые подлые твари, про которых Том сказал, что это шакалы, и еще какие-то, с изогнутыми спинами, — их он называл гиенами. Вся шайка подняла страшный галдеж. Такого, что они там вытворяли, я

еще в жизни не видывал. Мы привязали шар канатом к вершине дерева, отменили вахты, улеглись спать и уснули, но я несколько раз вставал поглядеть на зверей и послушать ихнюю музыку. Это все равно что получить бесплатный билет в зверинец. Дурак бы я был, если б спал и не воспользовался таким небывалым случаем, — навряд ли еще когда-нибудь так здорово повезет.

На рассвете мы снова отправились ловить рыбу, а потом целый день прохлаждались в густой тени на островке и по очереди следили, чтоб зверям не вздумалось сунуться к нам и стащить себе на ужин парочку эрронавтов. Мы назначили отлет на завтра, но потом передумали, — уж больно хорошо тут было.

На третий день, поднявшись в небо и взяв курс на восток, мы обернулись назад и до тех пор смотрели на озеро, покуда оно не превратилось в маленькое пятнышко на поверхности пустыни, и нам казалось, будто мы распрощались с другом, которого больше никогда не увидим, вот что я вам скажу.

Джим долго думал про себя, а потом и говорит:

— Масса Том! По-моему, мы уже почти до самого конца пустыни добрались.

— С чего ты взял?

— Добрались, это факт. Вы ведь знаете, как долго мы над ней болтаемся. Наверно, скоро весь песок выйдет. Я прямо удивляюсь, как его еще до сих пор хватило.

— Ерунда! Песку тут полным-полно, ты не беспокойся.

— Да я не беспокоюсь, масса Том, я только удивляюсь, и все. У господ бога песку сколько угодно, в этом я не сомневаюсь, да только не станет он его зря на ветер бросать, а эта пустыня уже и так хороша, и если ее еще дальше тянуть, то наверняка песок зря на ветер бросать придется.

— Да брось-ка ты! Пустыня еще только начинается. Как ты думаешь, Гек, Соединенные Штаты — большая страна?

— Ясно, большая, — говорю, — я так думаю, что больше ее на свете нет.

— Вот видишь, — говорит Том, — эта пустыня почти такой же формы, как Соединенные Штаты, и если ее положить на Соединенные Штаты, то страна свободы скроется с глаз, словно ее одеялом накрыли. Там наверху, возле штата Мэн, на северо-западе, останется торчать один уголок, да и еще Флорида вылезет наружу, как черепаший хвост, вот и все. Года два или три назад мы отняли у мексиканцев Калифорнию, так что теперь эта часть Тихоокеанского побережья наша, и если взять Сахару и положить так, чтоб ее край был на берегу Тихого океана, она накроет все Соединенные Штаты и за Нью-Йорком протянется еще миль на шестьсот в Атлантический океан.

— Господи боже ты мой! — говорю я. — А документы у тебя на это есть, Том Сойер?

— Есть, вот они тут, и я их все время изучаю. Можешь сам посмотреть, если хочешь. От Нью-Йорка до Тихого океана две тысячи шестьсот миль, а от одного края Великой Пустыни до другого — три тысячи двести. Площадь Соединенных Штатов — три миллиона шестьсот тысяч квадратных миль, площадь пустыни — четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи. Сахарой можно накрыть все Соединенные Штаты — до последнего дюйма, а туда, где края выступают, можно засунуть Англию, Шотландию, Ирландию, Францию, Данию и всю Германию в придачу. Да, сэр, всю родину смелых и все эти страны можно начисто запрятать под Великой Сахарой, да еще две тысячи квадратных миль песка останется.

— Да, — говорю я, — тут уж я и вовсе ничего не понимаю. Выходит, господь положил на Сахару столько же трудов, сколько на Соединенные Штаты и все прочие страны. Он, наверно, не меньше двух или трех дней эту пустыню создавал.

Тут Джим вмешался в наш разговор:

— Нет, Гек, неправильно ты говоришь. Я так думаю, что эту пустыню вовсе никто не создавал. Ты только погляди на нее. Погляди — и увидишь, что я прав. От пустыни какой прок? Никакого. От нее никакой выгоды быть не может. Верно я говорю, Гек?

— Пожалуй, верно.

— Ведь правда, масса Том?

- Может, и правда. Валяй дальше.
- Если от чего-нибудь никакого проку нет, то его зря создали, правда?
- Правда.
- Ну вот! Разве господь бог создавал что-нибудь зря? Вы мне ответьте.
- Конечно нет. Не создавал.
- Тогда зачем же он пустыню создал?
- Валяй, валяй. В самом деле, зачем он создал пустыню?

— Масса Том, мое мнение такое: он никогда ее не создавал, то есть у него и в мыслях ничего такого не было, он и вовсе за это дело не брался. Сейчас я вам все растолкую, и вы тогда увидите. Все было точно так же, как бывает, когда строится дом. Что вы тогда делаете с мусором и щепками, которые остаются? Вы берете их, вывозите и сбрасываете в кучу на каком-нибудь пустом участке. Ну, вот я и думаю, что точно так же оно и было. Когда господь бог собрался построить мир, он взял множество камней и сложил их в кучу, а потом взял много земли и тоже сложил в кучу рядом с камнями, а потом взял песок, и его тоже там, рядом, в кучу сложил. Затем он начал. Отмерил он немного камней, земли и песку, сложил их вместе и сказал: «Это Германия», а после приклеил к ней ярлык и поставил в сторонку сушиться; потом отмерил еще немножко камней, земли и песку, сложил их вместе и сказал: «Это Соединенные Штаты», приклеил на них ярлык и поставил в сторонку сушиться; и так далее и тому подобное — пока не настал субботний вечер. Тогда он оглянулся и увидел, что все они созданы и что очень даже хороший мир он за такое короткое время создал. Вдруг он заметил, что землю и камни он отмерил точно, а вот песку-то очень много осталось, а как это так вышло, он и сам позабыл. Стал он глядеть, нет ли где поблизости пустого участка, и увидел это место, и сильно обрадовался, и велел ангелам забрать весь песок, да и свалить его сюда. Вот что я про это думаю — я думаю, что Великую Сахару вовсе никто не создавал, она просто так, случайно получилась.

Я сказал, что это и в самом деле веский аргумент, Джим еще ни разу такого не приводил. Том сказал то же самое. Однако он добавил, что аргументы — это в конце концов одни лишь теории, и больше ничего; а теории ничего не доказывают, от них только та польза, что можно немножко выиграть время и отдохнуть, ежели ты совсем запутался, стараясь найти что-нибудь, чего найти невозможно. Потом он говорит:

— Теории еще чем плохи: в них обязательно где-нибудь неувязка найдется, стоит только посмотреть как следует. Вот и с Джимовой теорией то же самое. Посмотри, сколько миллиардов звезд на небе. Как же так вышло, что звездного материала было ровно столько, сколько надо, и ничего не осталось? Почему на небе нет кучи песку?

Но у Джима ответ уже был готов, я он сказал:

— Ну, а Млечный Путь — это что такое, хотел бы я знать. Вы мне скажите, что такое Млечный Путь?

Мое мнение такое, что это был решающий удар. Конечно, это просто мнение просто мое мнение, — и другие могут по-другому думать, но я высказал его тогда и придерживаюсь его теперь. Да, это был решающий удар. И главное — попал он Тому не в бровь, а прямо в глаз. Он ни слова вымолвить не мог. У него был такой ошарашенный вид, словно ему в спину гвоздями выстрелили, Он только и нашелся сказать, что готов скорее вести умные разговоры с лягушкой, чем со мной и с Джимом. Но это всякий может сказать, и я заметил, что люди всегда так поступают, когда кто-нибудь им два очка вперед даст. Том Соьер просто устал от этой темы.

Вот, значит, мы снова вернулись к разговору о величине Сахары, и чем больше сравнивали ее то с тем, то с другим, то с третьим, тем огромнее, благороднее и величественнее она нам казалась. В конце концов, роясь в цифрах, Том вдруг обнаружил, что Сахара такой же величины, как Китай. Он показал нам, сколько места он занимает на карте и во всем мире. Да, это было здорово, и я сказал:

— Сколько раз я слышал разговоры про эту пустыню, но никогда не думал, что она такая важная.

Том рассердился:

— Важная? Сахара — важная! Ведь есть же такие люди! Если что-нибудь имеет огромные размеры, значит оно важное, а больше они и знать ничего не хотят. Она только и видят, что величину. Да ты на Англию погляди! Ведь это самая важная страна в мире, а ее можно засунуть Китаю в жилетный карман. Да это еще что попробуй найди-ка ее там, в кармане, когда она тебе снова понадобится. Или возьми Россию. Вон она сколько места занимает — и тут, и там, и везде где хочешь, а все равно от нее не больше проку, чем от Род-Айленда. Мой дядя Абнер — он был пресвитерианский священник, и, пожалуй, самый дошлый из них из всех, — так он всегда говорил, что если по величине судить о важности, то что тогда рай по сравнению с тем, другим местом? Он всегда говорил, что рай — это Род-Айленд того света.

Вдруг мы видим, что вдали, на самом краю пустыни, стоит низкий холм. Том оборвал свою речь, схватил подозрную трубу, дрожа от волнения, поглядел в нее и сказал:

— Вот он — тот самый, который я все время искал, это уж точно. А если это так, значит это тот самый холм, в который дервиш привел человека и показал ему все сокровища мира.

Мы тоже устали на холм, а Том начал рассказывать нам историю из "Тысячи и одной ночи".

Глава X

Холм с сокровищами

Том сказал, что дело было так.

Однажды в знойный летний день по пустыне тащился пешком дервиш. Он прошел целую тысячу миль и был нищий, голодный и несчастный. Вдруг, примерно в том месте, где мы сейчас находимся, он повстречал погонщика с сотней верблюдов и попросил у него подаяния. Но погонщик верблюдов сказал, что подавать ему нечего.

Дервиш спрашивает:

— Разве это не твои верблюды?

— Мои.

— У тебя есть долги?

— У меня? Нет.

— Ну, так вот: человек, у которого сотня верблюдов и нет долгов, — богат, и не просто богат, а очень богат. Разве не так?

Погонщик верблюдов с этим согласился. Тогда дервиш сказал:

— Бог сделал тебя богатым, а меня бедным. У него были на то свои причины, и причины веские, да прославится имя его! Но он повелел, чтобы богачи помогали беднякам, а ты оставляешь меня, брата своего, в нужде, и он попомнит тебе это, и ты на этом прогадаешь.

От таких слов погонщику верблюдов стало не по себе, но все равно он от рождения был очень жадный и ему было жалко даже с одним медяком расстаться, и вот он принялся хныкать и объяснять, и сказал, что времена нынче тяжелые, и, хотя он доставил в Басру большой груз и получил за него жирный куш, обратно он идет порожняком и потому на этом переходе не особенно много заработал. Тогда дервиш пошел дальше, сказав:

— Ладно, поступай как хочешь, да только я думаю, что на этот раз ты сделал ошибку и упустил счастливый случай.

Ну, ясно, погонщику верблюдов захотелось узнать, какой счастливый случай он упустил, — вдруг тут деньгами пахнет! Кинулся он за дервишем и стал так жалобно упрашивать простить его, что дервиш наконец сдался и говорит:

— Видишь вон тот холм? Так вот — в этом холме заключены все сокровища мира, и я ищу человека с добрым сердцем, мудрого и великодушного, а когда я его найду, я натру ему глаза особой мазью, и он увидит сокровища и сможет их оттуда забрать.

Тут погонщик верблюдов прямо весь вспотел от огорчения. Он начал плакать и стонать и на коленях умолять дервиша. Он сказал, что он именно такой человек и есть, и еще сказал, что может привести тысячу свидетелей, которые подтвердят, что никогда еще никто так точно его не описывал.

— Ладно, — сказал дервиш. — Если мы нагрузим сто верблюдов, ты отдашь мне половину?

Погонщик был так счастлив, что чуть не запрыгал от радости, и сказал:

— Вот теперь ты говоришь дело!

Ударили они по рукам, дервиш вытащил шкатулку и натер погонщику правый глаз той самой мазью, и тогда холм открылся и они вошли, а там лежали огромные груды золота и драгоценных камней и так ярко сверкали, что казалось, будто все звезды упали с неба.

Ну вот, они с дервишем бросились к драгоценностям и нагрузили на каждого верблюда столько, сколько он мог выдержать. Затем они распрощались, и каждый отправился своей дорогой с полсотней верблюдов. Однако вскоре погонщик бегом бросился обратно, догнал дервиша и говорит:

— Ты не вхож в общество и тебе вовсе не нужно то, что ты получил. Будь добр, дай мне еще десять верблюдов.

— Ладно, — говорит дервиш, — может, ты прав.

Дервиш отдал ему десять верблюдов и пошел дальше с оставшимися сорока. Но погонщик опять с воплями бросается за ним, хнычет, и ноет, и просит отдать ему еще десяток верблюдов, потому что, говорит он, тридцать верблюдов вполне достаточно, чтобы прокормить дервиша: они ведь живут очень бедно, своего хозяйства не ведут, а обедают где придется и только расписки оставляют.

Но тем дело не кончилось. Этот подлый пес возвращался снова и снова, пока не выклянчил всю сотню верблюдов. Тут он успокоился, и был очень благодарен, и сказал, что всю жизнь будет помнить дервиша, ибо никогда еще не встречал такого доброго и щедрого человека. Они пожали друг другу руки и снова Разошлись.

Но не прошло и десяти минут, как погонщику верблюдов и этого показалось мало — он был самый подлый гад во всех семи графствах, — и он снова прибежал к дервишу. На этот раз он захотел, чтобы дервиш натер ему мазью другой глаз.

— Зачем? — спрашивает дервиш.

— Сам знаешь зачем, — ответил погонщик.

— Что я сам знаю? — говорит дервиш.

— Тебе меня не одурачить, — говорит погонщик. — Ты от меня что-то утаить хочешь, — ты сам отлично знаешь. Понимаешь, я думаю, что если мазь будет у меня и на втором глазу, то я увижу гораздо больше драгоценностей. Пожалуйста, натри мне глаз мазью.

Дервиш ему отвечает:

— Ничего я от тебя не утаивал. Знаешь, что будет, если я натру тебе второй глаз мазью? Ты больше никогда ничего не увидишь. Ты на всю жизнь останешься слепым.

И знаете, этот пройдоха ему не поверил. Нет, он просил, и умолял, и хныкал, и канючил до тех пор, пока дервиш не открыл свою шкатулку и не велел ему сделать самому, что он хочет. Он это сделал и, разумеется, в тот же миг ослеп.

Тогда дервиш стал над ним смеяться, дразнить его и подшучивать над ним, а после и говорит:

— Прощай. Слепому драгоценности ни к чему.

И ушел с сотней верблюдов, а того жалкого и несчастного человека бросил одного до конца его дней бродить в пустыне.

Джим сказал:

— Бьюсь об заклад, что это был для него хороший урок.

— Да, — сказал Том, — такой же, как многие другие уроки, которые человек получает. Толку от них все равно нет — ведь ничего такого никогда второй раз не случается, да и не

может случиться. Помните, когда Хэн Сквил свалился с трубы и сломал себе спину, то все говорили, что это для него будет хороший урок. Что это за урок? Какая ему польза от такого урока? Он больше не мог лазать по трубам, ломать ему больше было нечего — второй-то спины ведь у него нету.

— Все равно, масса Том, всему на собственном опыте научаешься. В писании сказано, что кто на молоке обжегся, тот на воду дует.

— А я разве это отрицаю? Я ведь что говорю — если бы что-нибудь могло случиться дважды и притом совершенно одинаково, то это и в самом деле был бы хороший урок. Таких вещей очень много, и они учат человека уму-разуму, — это и дядя Абнер всегда говорил. Да ведь есть еще сорок миллионов других случаев — таких, которые два раза в жизни не повторяются, — и пользы от них ровно столько, сколько от оспы. Положим, ты заболел оспой. Какой тебе прок, если ты понял, что надо было сделать прививку? А теперь и от прививки никакого проку не будет, потому что оспой два раза не болеют. Правда, дядя Абнер говорил, что человек, который хоть раз схватил быка за рога, знает раз в шестьдесят или семьдесят больше, чем тот, который этого не делал; и еще он говорил, что человек, который тащит кота домой за хвост, приобретает такие знания, которые ему всегда пригодятся и никогда не будут лишними. Но я должен тебе сказать, Джим, что дядя Абнер всегда терпеть не мог тех людей, которые пытались извлечь урок из чего попало, хотя бы...

Но Джим уже спал. У Тома был довольно смущенный вид. Знаете, человеку всегда не по себе, если он говорил очень красиво и думал, что другой им восхищается, а тот взял да и уснул. Конечно, ему бы не следовало так засыпать, ведь это нехорошо, — да только чем красивее человек говорит, тем скорее вы уснете; и если подумать, так тут никто и не виноват — оба хороши.

Джим захрапел; сперва он тихонько посапывал, потом захрюкал, потом захрапел еще громче и издал с полдюжины таких звуков, какие можно услышать, когда последние остатки воды просачиваются сквозь дырку в ванне; потом раздалось еще несколько подобных же звуков, только посильнее, а после он как запыхтит да зафыркает, словно корова, которая вот-вот задохнется, — а когда человек дошел до этой точки, он уже своего предела достиг, и теперь он может разбудить всякого, хотя бы тот находился в другом квартале да в придачу проглотил целую чашку опия. А сам он хоть бы что — не просыпается и баста, хотя весь этот жуткий шум раздается всего в каких-нибудь трех дюймах от его же собственного уха. И это самая удивительная вещь на свете, скажу я вам. Но стоит чиркнуть спичкой, чтобы зажечь свечу, — и от этого еле слышного шороха он тут же проснется. Хотел бы я знать, в чем тут дело, да только в этом никак разобраться невозможно. Взять хотя бы Джима — всю пустыню перепугал, всех зверей собрал — они издалека сбежались посмотреть, в чем там дело, и сам он был к шуму всех ближе — и вот, оказывается, он единственное существо, которому до этого шума дела нет. Мы орал и гикали на него — и все без толку. Однако чуть только раздался какой-то тихий, слабый звук, да только непривычный, он сразу же проснулся. Да, сэр, я все это обдумал, и Том тоже, и все равно никак не разобраться, почему человек не слышит своего собственного храпа.

Джим сказал, что он и не спал вовсе, — он только глаза закрыл, чтоб лучше слышать.

Том сказал, что никто его ни в чем не обвиняет.

Тут у Джима сделался такой вид, словно он готов от своих слов отказаться. По-моему, он решил поговорить о чем-нибудь другом, потому что принялся ругать погонщика верблюдов. Люди всегда так поступают, если их поймали на чем-нибудь, — всегда стараются сорвать свою злость на других. Он поносил погонщика как только мог, и мне пришлось с ним соглашаться, а потом начал изо всех сил расхваливать дервиша, и мне и тут пришлось с ним соглашаться.

Но Том сказал:

— Я что-то не совсем в этом уверен. Вот вы говорите, что этот дервиш был страшно щедрый, добрый и не эгоист, — да только я ничего такого в нем не нахожу. Он ведь не искал другого бедного дервиша, верно? Если уж он не эгоист, то пошел бы туда сам, набрал бы

себе полный карман драгоценностей и успокоился. Нет, сэр, ему подавай человека с сотней верблюдов. Он как можно больше сокровищ забрать хотел.

— Да как же, масса Том, ведь он хотел честно поделить их поровну, он же только пятьдесят верблюдов просил.

— Потому что он знал, что потом всех получит.

— Но ведь он же сказал тому человеку, что он ослепнет, масса Том.

— Сказал, конечно, потому что знал, какой у него характер. Ему как раз такого человека и надо было — такого, который никогда не доверяет чужим словам и не верит в чужую честность, потому что у него у самого ее нету. По-моему, есть очень много таких людей, как этот дервиш. Они жульничают направо и налево, но так, что другому человеку всегда кажется, будто он сам себя обжулил. Они все время придерживаются буквы закона, и потому до них никак не доберешься. Они тебе глаза мазать не будут — о нет, это был бы грех! — но они знают, как заговорить тебе зубы, чтобы ты сам себя этой мазью намазал, чтобы вышло, будто ты сам себя ослепил. По-моему, дервиш и погонщик верблюдов — достойная парочка: один — хитрый, подлый и пронырливый, другой — тупой, грубый и неотесанный, — но все равно оба мерзавцы.

— Масса Том, а как вы думаете, есть сейчас на свете такая мазь или нет?

— Дядя Абнер говорит, что есть. Он говорит, что такая мазь есть в Нью-Йорке и что ею мажут глаза деревенским простакам и показывают им все железные дороги на свете; они попадают на эту удочку и достают эти дороги, а потом, когда им намажут мазью второй глаз, то тот человек говорит им «до свиданья» и уходит восвояси с ихними железными дорогами. Смотрите, вон тот холм с сокровищами. Вниз!

Мы спустились на землю, но холм оказался вовсе не таким интересным, как я думал, потому что мы никак не могли найти то место, где они вошли внутрь за сокровищами. Все же было очень приятно даже просто поглядеть на тот холм, в котором такое чудо случилось. Джим сказал, что он бы и за три доллара от такого зрелища не отказался; и я то же самое подумал.

Мы с Джимом очень удивлялись, как это Том может приехать в большую чужую страну и сразу же найти такой вот маленький горбик и в один миг отличить его от миллиона таких же точно горбиков, — а все потому, что он такой ученый и от природы такой способный. Мы много говорили про это, но все не могли взять в толк, как он это делает. Том — это голова, я еще такого умного человека не видывал, и если б он был постарше, то стал бы знаменитым, как капитан Кидд или Джордж Вашингтон. Бьюсь об заклад, что любому из них пришлось бы попытаться, пока бы они этот холм нашли, ну а Тому все нипочем — он себе проехал через всю Сахару, да и ткнул прямо в него пальцем с такой легкостью, словно ему надо было разыскать негра в стае ангелов.

Мы нашли поблизости пруд с соленой водой, наскребли по краям кучу соли и набили ею шкуры льва и тигра, чтобы они не портились, пока Джим не начнет их дубить.

Глава XI **Песчаная буря**

Мы проболтались над пустыней еще день-другой, а потом, когда полная луна коснулась края земли, мы увидели, как перед ее большим серебряным лицом движется цепочка маленьких черных фигурок. Они были видны так ясно, словно их нарисовали на луне чернилами. Это был еще один караван. Мы убавили скорость и поплелись за ними — просто так, для компании, потому что нам с ними было вовсе не по пути. Да, это был замечательный и очень красивый караван. На следующее утро солнце залило всю пустыню, и по золотому песку ползли длинные тени верблюдов, словно тысяча длинноногих кузнечиков, выступающих друг за другом. Мы не подходили к ним слишком близко, ведь мы теперь знали, что тогда и люди и верблюды в испуге разбегутся в разные стороны. Мы еще в жизни не видывали таких ярких нарядов и таких благородных манер. Некоторые вожди ехали на

дромадерах, — мы их тогда в первый раз встретили. Они были очень высокие, выступали, словно на ходулях, и так трясли своих всадников, что у них в желудке наверняка весь обед перемешивался! Но зато они очень резвые, и простому верблюду ни за что за ними не угнаться.

В середине дня караван сделал привал, а к вечеру снова отправился в путь. Вскоре солнце стало какое-то странное. Сперва оно сделалось желтое, как латунь, потом рыжее, как медь, а после превратилось в кроваво-красный шар. Воздух стал горячий и плотный, и вдруг все небо на западе потемнело, заволочлось густым туманом и сделалось таким огненным и страшным, как бывает, когда смотришь сквозь красное стекло. Посмотрели мы вниз — и видим, что весь караван мечется со страху туда-сюда, а потом все бросились ничком в песок и замерли.

Вдруг мы увидели, что приближается какая-то огромная стена. Она воздвиглась от земли до самого неба, закрыла солнце и с быстротой молнии неслась вперед. Потом поднялся слабый ветерок, но вскоре он задул сильнее, и песчинки стали бить нас по лицу и жечь, как огонь. И тогда Том крикнул:

— Это песчаная буря! Повернитесь к ней спиной!

Не успели мы повернуться, как поднялся ураган, — песок сыпался на нас лопатами, а воздух стал такой плотный, что невозможно было ничего разглядеть. Минут через пять лодка была полна до краев, а мы сидели на ящиках по горло в песке, так что одни головы торчали, и почти совсем не могли дышать.

Когда буря немного утихла, мы увидели, как стена движется дальше по пустыне, — просто смотреть страшно, ей-богу. Мы кое-как выбрались из песка, посмотрели вниз — и увидели, что там, где прежде был караван, простиралось огромное море песка — и больше ничего, и все кругом было тихо и спокойно. Все люди и все верблюды задохлись, умерли и были похоронены под толстым слоем песка — футов десять, не меньше, и Том сказал, что может пройти много лет, прежде чем ветер сдует с них песок, и все это время их друзья так и не будут знать, что стало с караваном. Том сказал:

— Ну, теперь-то мы знаем, что случилось с теми людьми, у которых мы забрали сабли и пистолеты.

Да, сэр, так оно и было. Теперь это стало ясно как день. Их занесло песком, и дикие звери не могли до них добраться, а когда песок сдуло ветром, от них остались только кожа до кости и они уже не годились в пищу. Мне тогда показалось, что мы еще в жизни никого так не жалели и не оплакивали, как этих несчастных людей, но я ошибся — после гибели второго каравана у нас на душе стало еще тяжелее. Понимаете, те были нам совсем чужие, мы с ними так и не познакомились, не считая разве того человека, который смотрел на девушку; но со вторым караваном дело обстояло совсем по-другому. Мы ведь летали над ними целую ночь и почти целый день и прониклись к ним самыми лучшими, самыми дружескими чувствами. Я теперь понял, что самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, — это поехать с ним путешествовать. Так и тут. Они нам сразу понравились, а когда мы с ними вместе поехали — это окончательно решило дело. Чем больше мы с ними путешествовали, тем больше к ним привыкали, тем больше они нам нравились, и тем больше мы радовались, что их встретили. С некоторыми мы так хорошо познакомились, что, говоря о них, называли их по имени, и такая у нас была дружба, что мы даже отбросили «мисс» и «мистер» и звали их просто по имени, без всяких титулов, — и это даже не казалось невежливым, а совсем наоборот. Конечно, это были не настоящие их имена, а те, какие мы им дали. Например, мистер Александр Робинсон, и мисс Аделина Робинсон, и полковник Джейкоб Макдугал, и мисс Гарриет Макдугал, и судья Джереми Батлер, и молодой Бушред Батлер. Все это большей частью были главные вожди, которые носили на головах великолепные огромные тюрбаны, а одеты были не хуже Великого Могола. И с ними были члены их семей. Но когда мы с ними как следует познакомились и полюбили их, не стало больше мистера и судьи и тому подобного, а только Алек, да Адди, да Джек, Хетти, Джерри, Бак и тому подобное.

А ведь известно: чем больше вы делите с людьми радость и горе, тем ближе и дороже становятся они вам. Ну а мы ведь не были холодными и равнодушными, как большинство путешественников, — наоборот, мы были дружелюбны и приветливы и во всем принимали участие; и караван вполне мог на нас положиться: что бы ни случилось, мы всегда были тут как тут.

Когда они делали привал, мы тоже делали привал — в тысяче футов над ними. Когда они ели, мы ели тоже, и нам как-то уютнее становилось в их обществе. Вечером у них была свадьба — Бак с Адди поженились, и мы ради праздника нарядились в самые что ни на есть раскрахмаленные профессорские тряпки, и когда они плясали, мы тоже ногами притопывали.

Но больше всего сближает людей горе и несчастье, — и нас больше всего сблизили похороны. Это было на рассвете, после свадьбы. Мы не знали покойника, он был не из нашей компании, но все равно — он ехал в караване, и этого было достаточно, — никто не проливал над ним более искренних слез, чем мы с высоты в тысячу сто футов.

Да, разлука с этим караваном была куда горше, чем разлука с тем, другим. Ведь те люди были нам почти совсем чужие, и притом померли-то уж очень давно, а этих мы знали при жизни, и к тому же любили. Вот почему страшно больно было видеть, как смерть настигает их прямо у нас на глазах, оставляя нас одних-одинешеньких в самой середине этой огромной пустыни. Пусть лучше у нас совсем не будет больше друзей, пока мы путешествуем, если снова придется терять их таким образом.

Мы никак не могли перестать говорить о них и то и дело вспоминали их такими, какими они были, когда мы все были счастливы вместе. Нам все время казалось, будто мы видим, как движется цепочка верблюдов, как блестят на солнце кончики пик, как важно шагают дромадеры. Мы снова видели свадьбу и похороны, а чаще всего — их молитвы. Они строго соблюдали часы молитвы, и уж тут им ничто не могло помешать. Как только раздавался призыв, — а это происходило по несколько раз в день, — они сразу же останавливались, поворачивались лицом к востоку, поднимали головы, простирали руки к небу и начинали молиться. Раза три или четыре они опускались на колени, а потом падали вперед и касались лбами земли.

Однако мы решили, что не стоит больше про них вспоминать, хотя они были такие славные при жизни и так дороги нам и в жизни и в смерти, — не стоит потому, что ничего хорошего из этого не получится, а только вконец настроение испортишь. Джим сказал, что будет изо всех сил стараться жить жизнью праведника, чтобы встретиться с ними на том свете; ну а Том помалкивал и не сказал Джиму, что они просто какие-то магометане, — зачем его огорчать, ему и без того тошно.

Проснувшись на следующее утро, мы немножко приободрились, потому что как следует выспались: песок ведь самая удобная кровать, какая только есть на свете, и я всегда удивлялся, почему люди, которые могут себе позволить спать на песке, не спят на нем всю жизнь. И к тому же он замечательный балласт — шар еще никогда таким устойчивым не был.

Том сказал, что у нас не меньше двадцати тонн песка. Что бы нам с ним сделать? Ведь не выбрасывать же его. Джим и говорит:

— Масса Том, а нельзя ли отвезти его домой и продать? Сколько на это времени надо?

— Зависит от того, как будем лететь.

— Что ж, сэр, ведь дома его по двадцать пять центов за тачку продавать можно, а тут тачек двадцать наберется, верно? Сколько ж это всего будет?

— Пять долларов.

— Ой, масса Том, поехали скорее домой! Ведь это больше чем по полтора доллара на брата, верно?

— Верно.

— Черт меня побери, если это не самый легкий способ зарабатывать деньги! Песок-то — ведь он же сам на нас насыпался, тут и делать-то вовсе было нечего. Поехали скорее, масса Том.

Но Том был занят своими мыслями и подсчетами и так увлекся, что ничего не слышал. Вдруг он говорит:

— Пять долларов — ха! Послушайте, этот песок стоит... он стоит... В общем, он стоит кучу денег.

— Как так, масса Том? Продолжайте, голубчик, продолжайте.

— Понимаете, как только люди узнают, что это настоящий песок из настоящей пустыни Сахары, им сразу захочется купить себе немножко, насыпать в склянку, наклеить ярлык и поставить куда-нибудь, как редкость. А нам только и дела, что рассыпать его по склянкам да летать по всем Соединенным Штатам и продавать их по десять центов за штуку. Ведь у нас тут, на этом шаре, песку не меньше чем на десять тысяч долларов.

Мы с Джимом прямо чуть не померли от радости и принялись кричать «ура», а Том сказал:

— И мы можем все время возвращаться обратно и набирать песку, а после снова возвращаться и снова набирать, и так ездить взад и вперед до тех пор, пока не вывезем и не распродадим всю эту пустыню; и никто нам не помешает, потому что мы выхлопочем себе патент.

— Господи боже! — говорю я. — И мы станем такими богатыми, как Креозот, да?

— Ну да, ты хочешь сказать — «как Крез». Понимаешь, дервиш искал в том холмике все сокровища мира — и не знал, что у него под ногами тысяча миль настоящих сокровищ. Погонщика он ослепил, а сам был куда более слеп.

— Масса Том, сколько же у нас всего денег будет?

— Я пока точно не знаю. Надо еще высчитать, а это нелегкое дело, потому что тут больше четырех миллионов квадратных миль песку, по десять центов склянка.

Джим страшно разволновался, но, услышав про склянки, немножко успокоился, покачал головой и сказал:

— Масса Том, нам не купить столько склянок. Даже королю — и то столько не купить. Давайте лучше не будем забирать всю пустыню, масса Том, — ведь эти склянки нас вконец разорят, уж это точно.

Том тоже притих; я думал — из-за склянок, но оказалось, что нет. Сидел он, размышляя про себя, и все грустнее и грустнее становился. Наконец он сказал:

— Ничего у нас не выйдет, ребята. Придется нам это дело бросить.

— Да почему же, Том?

— Из-за пошлин. Когда ты пересекаешь границу какой-нибудь страны, там всегда находится таможня. Приходят чиновники, роются в твоих вещах и облагают их огромной пошлиной. Они говорят, что таков их долг. Понимаешь, это их долг — обобрать тебя до нитки, если только можно, а если ты не заплатишь пошлину, то они сцапают твой песок. Они называют это конфискацией, а на самом деле просто возьмут да и сцапают. Если мы повезем этот песок в ту сторону, куда мы сейчас едем, нам придется то и дело перелезть изгороди, одну границу за другой — Египет, Аравия, Индия и так далее, — покуда мы совсем из сил не выбьемся, и все они будут тянуть с нас пошлину. Теперь ты понял, что нам этой дорогой не проехать?

— Да к чему все это, Том? — говорю я. — Ведь мы можем просто пролететь над всеми ихними границами — и все тут. Им ведь нас ни за что не остановить.

Посмотрел он на меня с грустью, да и говорит, серьезным таким голосом:

— По твоему, это честно будет, Гек Финн?

Ненавижу я, когда меня вот так перебивают! Я на это ничего не ответил, а Том продолжал:

— Другой путь нам тоже отрезан. Если мы вернемся той же дорогой, какой приехали, то угодим прямо на нью-йоркскую таможню, а она хуже их всех вместе взятых, — и все из-за нашего груза.

— Почему?

— Да потому, что в Америке сахарский песок не разводят, а когда в Америке

какую-нибудь вещь не разводят, то надо платить миллион четыреста тысяч процентов, если ты хочешь ввезти ее в Америку оттуда, где ее разводят.

— Не вижу в этом никакого смысла, Том.

— А кто же видит? Зачем ты мне это говоришь, Гек Финн? Ты подожди, пока я скажу, что вижу в этом смысл, а уж после ругай меня за это.

— Ладно, считай, что я заплакал и извинился. Ну а дальше-то что?

Джим говорит:

— Масса Том, они как — за всё эту пошлину берут, что в Америке не разводят, и никакой разницы для них нету?

— Вот именно.

— Масса Том, есть ли на свете что-нибудь дороже благословения божия?

— Ясно, что нету.

— Священник — он ведь стоит на кафедре и просит, чтоб на людей снизошло благословение божие, верно?

— Верно.

— Откуда оно снисходит, благословение-то?

— Ясно откуда — с небес.

— Да, сэр, вы в самую точку попали, голубчик, — оно снисходит с небес, а небеса — это ведь заграница. Ну вот, а за это благословение они тоже пошлину берут?

— Нет, не берут.

— Понятно, не берут. И, значит, выходит, что вы ошиблись, масса Том. Не станут же они брать пошлину за всякий хлам вроде песка, который никому не нужен, раз не берут ее за самые лучшие вещи, без которых никто обойтись не может.

Видит Том Сойер, что сказать ему нечего, — Джим его окончательно в угол загнал. Он попробовал выкрутиться, сказал, что они просто позабыли ввести эту пошлину, но на следующей сессии конгресса непременно вспомнят и введут ее, — да только он и сам понимал, что жалкая это увертка. Он сказал, что пошлиной облагаются все заграничные товары — кроме этого, и потому если они не обложат и этот пошлиной, то не будет у них никакой последовательности, а последовательность — первое правило в политике. И он все время утверждал, что они нечаянно забыли про эту пошлину и что обязательно введут ее, а не то их непременно на этом деле поймают да на смех поднимут.

Но мне уже неинтересно было слушать про такие вещи, раз мы все равно свой песок провезти не могли, а потому я и вовсе нос повесил, и Джим тоже. Том старался нас утешить. Он сказал, что придумает еще какую-нибудь спекуляцию — ничуть не хуже, а то и лучше этой, но все без толку — мы не верили, что может быть еще одна такая же. Ох, до чего же скверно это было! Не успели мы разбогатеть, да так, что хоть покупай целую страну, учреждай там королевство, да и живи в счастье и довольстве, — как вдруг мы уже снова бедные и несчастные, да еще с этим самым песком на руках. Раньше песок был такой приятный, что твое золото да алмазы, и такой мягкий да шелковистый на ощупь, — ну а теперь я просто смотреть на него не мог, так мне тошно стало; и я понял, что до тех пор не успокоюсь, покуда мы от него не избавимся, чтоб не напоминал он нам о том, чем мы были и чем стали. И у прочих то же самое было на душе. Я это точно знаю, потому что они очень обрадовались, когда я сказал: «Давайте-ка возьмем весь этот мусор и выкинем за борт».

Да, порядочная это была работенка! И Том решил распределить ее по справедливости и по силам. Он сказал, что мы с ним уберем по одной пятой песку, а Джим — остальные три пятых. Но Джиму такой порядок не понравился, и он сказал:

— Я, конечно, самый сильный и потому согласен сделать больше всех, да только, масса Том, вы, ей-богу, что-то уж чересчур много на старого Джима навалили.

— Не знаю, Джим; а впрочем, дели-ка ты его сам, а мы поглядим.

Вот Джим и говорит, что, по всей справедливости, нам с Томом не меньше чем по одной десятой полагается.

Тут Том повернулся к нам спиной, чтоб побыть одному, и на лице у него появилась

улыбка — такая широкая, прямо всю Сахару осветила — до самого берега Атлантического океана, откуда мы приехали. Ну а после он снова повернулся к нам и сказал, что это хорошее распределение и что если Джим согласен, то и мы тоже согласны. Джим сказал, что он согласен.

Тогда Том отмерил наши две десятые на корме, а остальное отдал Джиму. Джим страшно удивился при виде того, какая огромная часть песку пришлось на его долю, и какая маленькая на нашу. Я, говорит, очень рад, что вовремя высказался и попросил отменить первое распределение, потому что, мол, даже и теперь на мою долю приходится больше песку, чем удовольствия.

Мы принялись за дело. Ох, и жарко же наметало! Пришлось передвинуться в более прохладную погоду, потому что выдержать было просто невозможно. Мы с Томом сменяли друг друга — пока один работал, другой отдыхал; но беднягу Джима сменить было некому, так что вся эта часть Африки промокла от его пота. Нам было так смешно, что мы даже не могли как следует работать, и Джим все время беспокоился, что с нами такое стряслось, так что нам приходилось всячески изворачиваться и придумывать разные причины — не очень-то убедительные, но для Джима все сойдет, он всему верил. Когда мы покончили с работой, то просто чуть не померли — не от усталости, а от смеха. Джим тоже чуть не помер — он так замаялся, что нам пришлось по очереди сменять его, и он благодарил нас как только мог. Сидит он на планшире, вытирает пот и говорит, что мы очень добры к бедному старому негру, и он никогда нас не забудет. Джим — он всегда был самым благодарным негром на свете и всегда благодарил за любую мелочь, какую для него сделаешь. Он только снаружи был черным — внутри он был белый, ничуть не хуже вас.

Глава XII

Джим в осаде

Теперь вся наша еда была здорово приправлена песком, но, когда есть хочется, это не страшно, а ежели ты не голоден, тогда все равно есть неохота, — и потому горсточкой песку каши не испортишь, я так понимаю.

Наконец, держа курс на северо-восток, мы добрались до восточного края пустыни. Далеко на горизонте, в мягком розовом свете, у самого края песков мы увидели три остроконечных крыши вроде палаток, и Том сказал:

— Это египетские пирамиды.

У меня сердце так и запрыгало. Понимаете, ведь я тысячу раз видел их на картинке и слышал, как про них рассказывали, но когда мы вдруг на них наткнулись и поняли, что они настоящие, а не одна только выдумка, у меня от удивления прямо дух захватило. Правда, очень странно: чем больше ты слышишь о каком-нибудь замечательном, чудесном и важном предмете или человеке, тем больше они — ну как бы это лучше выразить? — расплываются, что ли, или превращаются во что-то большое, неясное и волнистое — один только лунный свет, и больше ничего существенного. Так всегда бывает с Джорджем Вашингтоном, и то же самое с этими пирамидами.

И потом, мне всегда казалось, что те, которые про них рассказывали, просто врут. Однажды к нам в воскресную школу явился один человек, принес картинку, на которой были нарисованы пирамиды, и сказал, что самая большая пирамида занимает тринадцать акров, а высотой она почти в пятьсот футов — настоящая крутая гора, сложенная из каменных глыб величиной в большой комод, которые лежат ровными слоями, вроде ступенек лестницы. Понимаете, тринадцать акров под одно строение! Ведь это же целая ферма. Если б это было не в воскресной школе, я бы подумал, что он врет, — и когда я оттуда вышел, я так и решил. Он еще говорил, что в пирамиде есть дыра и что в нее можно войти со свечкой, а потом подняться наверх по длинному покатоному туннелю и наконец попасть в большую комнату в самом брюхе этой каменной горы, а там ты найдешь большой каменный ящик, в котором лежит царь, и ему четыре тысячи лет. Я тогда сказал себе, что если он не врет, то я съем

этого царя, когда его оттуда вытащат. Ведь даже Мафусалим не был такой старый, по крайней мере никто этого не утверждает.

Когда мы подлетели ближе, то увидели, что желтый песок разом кончается, словно одеяло, и что к нему вплотную прилегает широкая ярко-зеленая полоса, а по ней змейкой вьется какая-то лента. Том сказал, что это Нил. Тут у меня сердце снова екнуло, потому что про Нил я тоже никогда не верил, что он на самом деле существует. Я вам точно говорю: если вы пролетели добрых три тысячи миль над желтым песком, который так трепещет от жары, что прямо слезы из глаз текут, когда на него смотришь, и если вы к тому же летели несколько дней подряд и наконец увидели зеленую землю, — то вам покажется, будто вы попали домой или прямо в рай, и у вас снова слезы из глаз потекут. Вот так было и со мной и с Джимом.

А когда до Джима дошло, что он смотрит на землю египетскую, то он ни за что не хотел въезжать в нее стоя. Он опустился на колени и снял шляпу. Не подобает, мол, несчастному, смиренному негру иначе вступать туда, где жили такие люди, как Моисей, Иосиф, Фараон и другие пророки. Джим был пресвитерианином и питал глубочайшее уважение к Моисею, который, как он сказал, тоже был пресвитерианином. Джим ужасно разволновался и произнес:

— Это земля египетская, земля египетская, и я удостоен узреть ее своими собственными глазами. И это та самая река, которая превратилась в кровь, и я гляжу на ту самую землю, на которой были моровые язвы, и вши, и жабы, и саранча, и град; на ту самую землю египетскую, где мазали кровью дверные косяки и где ангел божий поразил всех первенцев. Старый Джим недостойн дожить до этого дня.

Сказав все это, он совсем размяк и зарыдал от благодарности. У них с Томом нашлось о чем поговорить! Джим страшно волновался из-за того, что эта земля так полна историей: тут и Иосиф с братьями, и Моисей в камышах, и Иаков, который явился в Египет покупать зерно, и серебряная чаша в мешке, и тому подобные занятные вещи. Том тоже волновался, потому что эта земля полна историей, но уже по его части — насчет Нуреддина, Бедреддина и тому подобных жутких великанов, от которых у Джима волосы дыбом встали, и еще насчет кучи разного другого народа из «Тысячи и одной ночи», из которых половина никогда не сделала того, чем они хвастают, — по крайней мере я ни за что не поверю.

Только скоро мы все очень разочаровались, потому что поднялся густой туман, — знаете, какие по утрам бывают, — а летать поверх него совсем ни к чему — так можно и мимо Египта пролететь. Вот мы и решили, что лучше всего направить шар по компасу прямо к тому месту, где виднелись расплывчатые и затуманившиеся пирамиды, а после опуститься пониже, парить над самой землей и глядеть в оба. Том взялся за штурвал, я приготовился бросать якорь, а Джим, сидя верхом на носу, зорко вглядывался в туман и следил, чтоб мы ни на что не наткнулись. Мы медленно, но верно продвигались вперед, а туман все густел да густел — и под конец сгустился так, что Джим стал весь какой-то тусклый, неясный и косматый. Было до того тихо, что мы разговаривали шепотом и прямо помиралы со страху. Время от времени Джим говорил:

— Поднимитесь немножко, масса Том!

Шар взмывал фута на два вверх, и мы пролетали над плоской крышей какой-нибудь глиняной хижины, где люди еще спали или только начинали ворочаться, зевать и потягиваться. Когда одному парню вздумалось встать на задние лапы, чтобы лучше зевнуть да потянуться, мы нечаянно хлопнули его по спине и сбили с ног. Мало-помалу, примерно через час, когда кругом по-прежнему стояла гробовая тишина, а мы, наострив уши и затаив дыхание, ловили каждый звук, туман вдруг немножко рассеялся, и Джим в ужасе заорал:

— Ой, масса Том! Ради всего святого, осадите назад! Тут самый огромный великан из «Тысячи одной ночи» на нас лезет!

С этими словами он стал пятиться назад, а Том дал задний ход; и когда мы остановились, человеческое лицо с наш дом величиной заглядывало к нам через борт — ну

точно как дом из своих окон выглядывает, — и тут я лег и испустил дух.

Минуты две я лежал совсем мертвый, а когда ожил, то увидел, что Том, прицепив шар крючком к нижней губе великана, долгим взглядом всматривается в его жуткое лицо.

Джим, сжав руки, стоял на коленях и умоляющим взглядом глядел на чудовище. Губы у него шевелились, но он ни слова не мог вымолвить. Я только раз глянул на лицо и тут же начал снова помирать, но в это время Том сказал:

— Он неживой, остолопы несчастные! Это же сфинкс!

Я никогда не видел, чтоб Том был такой малюсенький, совсем как букашка, — но это только казалось из-за того, что голова великана была такая большая и жуткая. Вот именно — жуткая! Но теперь она уже не казалась страшной, потому что лицо было такое благородное и вроде даже печальное. Сразу было видно, что он думал не о тебе, а о чем-то другом, поважнее. Голова была каменная, из красноватого камня, нос и уши обломаны, и из-за этого у сфинкса был такой обиженный вид, что нам его даже жалко стало.

Мы дали задний ход подальше и начали летать вокруг великана. Эх, и замечательный же он был! Это была голова мужчины, — а может, и женщины — на туловище льва в сто двадцать пять футов длиной, а между передними лапами стоял хорошенький маленький храм. Много сот, а то и тысяч лет все туловище, кроме головы, было покрыто песком, но недавно песок убрали и нашли этот маленький храм. Чтобы спрятать такого зверя, нужна была масса песку, — я думаю, почти столько же, сколько надо, чтобы зарыть пароход.

Мы высадили Джима на самую макушку сфинкса и дали ему для защиты американский флаг, — потому что тут ведь граница, — а после стали удаляться от него на разные расстояния, чтобы, как выразился Том, наблюдать эффекты, пропорции и перспективы. Ну а Джим, он просто из кожи вон лез, стараясь выдумать всякие немыслимые позы. Лучшее всего у него получалось, когда он стоял на голове и дрыгал ногами, как лягушка. Чем дальше мы отлетали, тем Джим становился меньше, а сфинкс больше, пока наконец Джим не превратился в булавку на соборе, если можно так выразиться. Вот так перспектива выявляет истинные пропорции, объяснил Том, и еще он сказал, что рабы Юлия Цезаря не знали, какой он великий, потому что находились слишком близко от него.

Мы отлетали все дальше и дальше, пока наконец Джима и вовсе не стало видно, и тут-то огромная фигура сделалась еще благороднее, чем прежде. Торжественно, молчаливо и одиноко стояла она, окидывая взглядом всю долину Нила. Все ветхие лачуги и прочая дрянь, разбросанная кругом, совсем исчезли из виду, и вокруг не было ничего, кроме широкого мягкого ковра из желтого бархата, — и это был песок.

Вот тут-то и надо было остановиться. Так мы и сделали. С полчаса мы глядели и размышляли, и ни один из нас не говорил ни слова. Когда мы вспоминали, что он уже много тысяч лет глядит таким вот манером на долину и думает свои величавые думы, которых и по сей день никто разгадать не может, как-то тихо и торжественно становилось у нас на душе.

Наконец я взял подозрную трубу и увидел, что на бархатном ковре копошится несколько маленьких черненьких фигурок, а другие карабкаются зверю на спину. Потом, гляжу, два или три белых дымка появились. Показал я их Тому, а он и говорит:

— Это жуки. Нет, постой, это... Ой, да ведь это же люди! Точно — люди и лошади. Они втаскивают на спину сфинксу какую-то длинную лестницу. Странно... Теперь они хотят прислонить ее... смотри, вот опять дымки... Да ведь это ружья! Гек, это они к Джиму подбираются!

Мы дали полный ход и бросились к ним. В мгновение ока мы уже были на месте и со свистом свалились в самую гущу. Все кинулись врассыпную, а те, которые карабкались по лестнице за Джимом, выпустили из рук ступеньки и упали. Взмыв наверх, мы увидели, что Джим лежит на самой макушке сфинксовой головы, еле живой от страха и от криков, — он все время звал нас на помощь. Он выдерживал осаду очень долго — целую неделю, так он по крайней мере заявил, но на самом деле это ему только показалось, потому что они на него здорово наседали. Они в него стреляли и осыпали его градом пуль, но никак не могли в него попасть. Когда они убедились, что он ни за что не встанет и что в лежачего пули не

попадают, они побежали за лестницей, и тут он понял, что если мы сейчас же не прилетим, то тут ему конец. Том был страшно возмущен и спросил его, почему он не показал им флаг и именем Соединенных Штатов не велел им убираться вон. Джим ответил, что он так и поступил, но они на это никакого внимания не обратили. Том заявил, что добьется рассмотрения этого дела в Вашингтоне, и добавил:

— Вот увидите, что им придется извиниться за оскорбление флага и сверх того возместить убытки, и они еще дешево отделаются.

Джим спросил:

— Что это значит — возместить убытки, масса Том?

— Это значит выложить деньги наличными, вот что.

— А кому эти деньги достанутся, масса Том?

— Нам, а кому же еще?

— А извинение кому?

— Правительству Соединенных Штатов. Или, если нам захочется, то наоборот — мы примем извинения, а деньги отдадим правительству.

— А сколько это будет денег, масса Том?

— При таких отягчающих вину обстоятельствах не меньше трех долларов на брата, а может, и больше.

— Ну, тогда мы лучше деньги возьмем, — на что нам ихние извинения. Как по-вашему, масса Том? А по-твоему, Гек?

Мы обсудили это дело и решили, что, пожалуй, стоит взять деньгами. Я еще не слышал про такие вещи и спросил у Тома, всегда ли страны приносят извинения, если они поступили неправильно.

— Всегда. Во всяком случае, малые страны.

Мы летели себе потихоньку, рассматривая пирамиды, а потом взмыли вверх, опустились на плоскую верхушку самой большой и увидели, что она точно такая, как рассказывал тот человек в воскресной школе. Пирамида эта была как бы сложена из четырех лестниц, которые начинались широкими ступенями внизу и, постепенно сужаясь кверху, сходились в одну точку на верхушке. Но только по этим лестницам нельзя было лазать, как по настоящим: каждая ступенька была высотой в человеческий рост, и без чужой помощи на нее ни за что не взберешься. Другие две пирамиды стояли неподалеку, и люди, которые двигались по песку между ними, казались маленькими, как букашки, — так высоко над ними мы находились.

Том чуть не ошалел от радости и изумления, что попал в такую знаменитую местность, и мне казалось, что история так и лезет у него изо всех пор. Ему просто не верилось, что он стоит на том самом месте, откуда принц вылетел на бронзовом коне. Он сказал, что это было во времена «Тысячи и одной ночи». Кто-то подарил принцу бронзового коня, у которого на лопатке был шпенек, и он мог сесть верхом и летать по воздуху, как птица, и объехать весь мир, и управлять конем, поворачивая шпенек, и летать высоко или низко, и спускаться на землю везде, где захочет.

Когда он все это рассказал, наступило неловкое молчание — знаете, какое бывает, когда человек окончательно заврался, и вам его жалко, и вы стараетесь как-нибудь переменить тему, чтобы помочь ему выбраться из затруднительного положения, но не знаете как; а покуда вы раскидывали мозгами: что же делать? — это молчание уже наступило и разлилось кругом, и теперь уже деваться некуда. Я смутился, и Джим тоже смутился, и мы оба ни слова вымолвить не могли. Том с минуту сверлил меня сердитым взглядом, а после сказал:

— Ну, говори же, что ты об этом думаешь?

— Том Соьер, ты и сам этому не веришь, — отвечаю я.

— Почему же мне не верить? Что мне может помешать?

— А то тебе мешает, что таких вещей быть не может, вот что.

— Почему не может?

— Ты мне сперва скажи, почему может?

— По-моему, этот шар ясно показывает, что такие вещи бывают.

— Почему?

— Почему? Я еще ни разу такого дурака не видывал. Неужели ты не понимаешь, что наш шар и бронзовый конь — это одно и то же, только под разными названиями?

— Ничего подобного. Шар — это шар, а конь — это конь. Большая разница. Скоро ты скажешь, что дом и корова — одно и то же.

— Клянусь богом, Гек его снова поймал! Теперь ему ни за что не выкрутиться!

— Заткнись, Джим! Ты сам не понимаешь, что болтаешь. И Гек тоже. Послушай, Гек, сейчас я тебе все растолкую, чтобы ты понял. Тут дело не в форме, а в принципе, а принцип у обоих один. Понимаешь?

Я пораскинул мозгами и сказал:

— Нет, Том, ни к чему это все. Принципы принципами, да только остается один большой факт, а именно: то, что может сделать шар, вовсе не доказывает, что это же самое может сделать конь.

— Да ну тебя, Гек! Ничего ты не понял. Послушай немножко, это же совершенно ясно. Летим мы по воздуху или нет?

— Летим.

— Хорошо. Теперь скажи: можем мы летать высоко или низко, как захотим?

— Можем.

— Можем мы повернуть, куда захотим?

— Можем.

— Можем мы спуститься на землю в любом месте, где нам вздумается?

— Можем.

— Как мы управляем шаром?

— Нажимаем на кнопки.

— Надеюсь, теперь тебе все ясно? В другом случае управление производится поворотом шпенька. Мы нажимаем на кнопки, а принц поворачивал шпенек. Как видишь, ни малейшей разницы нет. Я знал, что до тебя дойдет, если только объяснить как следует.

Он был так счастлив, что даже насвистывать начал. Но мы с Джимом молчали, и тогда он перестал свистать и с удивлением сказал:

— Неужели ты до сих пор ничего не понял, Гек?

Тогда я сказал:

— Том Сойер, разреши задать тебе несколько вопросов.

— Валяй, — говорит он; и я вижу, что Джим насторожился.

— Насколько я понял, тут все дело в кнопках и в шпеньке, остальное значения не имеет. Кнопки имеют одну форму, а шпенек — другую, но это не важно.

— Не важно, раз у них одна и та же сила.

— Прекрасно. Какая сила в свечке и в спичке?

— Огонь.

— В обеих одна и та же?

— Конечно.

— Прекрасно. Допустим, я поджигаю спичкой столярную мастерскую, что будет с мастерской?

— Она сгорит.

— Ну а если я подожгу свечкой эту пирамиду — сгорит она или нет?

— Ясно, что нет.

— Отлично. Итак, в обоих случаях огонь один и тот же. Почему же мастерская горит, а пирамида нет?

— Потому что пирамида вообще гореть не может.

— Ага! Ну а лошадь вообще летать не может!

— Вот так здорово! Посадил-таки его Гек в лужу, говорю я вам! Эх, и угодил же он в

ловушку! Эх... да...

Тут Джим чуть не задохся от смеха и уж больше ничего сказать не мог. А Том страшно рассвирепел, видя, как я уложил его на обе лопатки да его же доводами разбил в пух и прах. Он только и мог сказать, что всякий раз, когда мы с Джимом начинаем возражать, ему за весь род человеческий краснеть приходится. Ну а я ничего не сказал — я и так был вполне удовлетворен. Когда мне удастся таким путем заткнуть кого-нибудь за пояс, я никогда не похваляюсь и на его счет не прохаживаюсь, как некоторые. Я тогда думаю, что если б я был на его месте, то не хотел бы, чтоб он на мой счет прохаживался. По-моему, гораздо лучше быть великодушным.

Глава XIII

Джим едет за трубкой Тома

Вскоре мы оставили Джима одного летать возле пирамид, а сами полезли в дыру, которая ведет в туннель, захватили с собой несколько арабов и свечки, и там, внизу, в самой середине пирамиды, мы нашли комнату, а в ней большой каменный ящик, где хранился царь, — в точности как тот человек в воскресной школе рассказывал. Только теперь царя не было — его кто-то утащил. Но я не особенно интересовался внутренностью пирамиды: я подумал, что там, наверное, водятся привидения, — конечно, не свежие, — ну да мне все равно, я никаких не люблю.

Потом мы вышли оттуда, сели на маленьких осликов и проехали немного верхом, потом немного на лодке, а после еще на осликах и наконец прибыли в Каир. Дорога все время была такая ровная и красивая, какой я еще в жизни не видывал. По обеим сторонам росли высокие финиковые пальмы, везде бегали голые ребятишки, а все мужчины были медно-красного цвета, стройные, сильные и красивые. А до чего удивительный был сам город! Улицы — такие узенькие, настоящие переулки — были битком набиты народом. Мужчины — в тюрбанах, женщины — под покрывалами, и все разодеты в яркие, пестрые наряды всевозможных цветов; и никак нельзя было понять, каким образом люди и верблюды ухитряются пролезать в такие узкие щели, но они все же ухитрялись; и кругом были шум и давка. Лавки были тоже такие маленькие, что в них не повернешься, но заходить туда было незачем: лавочник, поджав ноги, сидел на своем прилавке, курил длинную изогнутую трубку, разложив все свои товары так, чтобы можно было достать их рукой, и чувствовал себя все равно что на улице, — все-таки проходившие мимо верблюды задевали его вьюками.

Время от времени какая-нибудь важная персона проносилась по улицам в своей карете, а впереди бежали разряженные люди, вопили благим матом и колотили длинными шестами всех, кто не уступал дорогу. Вдруг откуда ни возьмись появился султан. Он ехал верхом во главе процессии в таком роскошном наряде, что у всех прямо дух захватило, и все тут же бросились плашмя на землю и лежали на брюхе, пока он не проехал. Я забыл лечь, но мне помог вспомнить один парень — тот, что бежал впереди с шестом.

Были там и церкви, да только здешние жители до того глупы, что вместо воскресенья празднуют пятницу и нарушают день субботний. Когда заходишь в эти церкви, надо снимать башмаки. В церкви находились толпы мужчин и мальчиков, они сидели кучками на каменном полу и страшно шумели. Том сказал, что они учат наизусть свои уроки из корана — они думают, что это библия, а те, кто понимает, что коран не библия, те предпочитают в это дело не вмешиваться и знай себе помалкивают. Я в жизни такой огромной церкви не видывал. Она была до того высокая, что прямо голова кружилась, когда вверх посмотришь. Церковь в нашем городе ничто по сравнению с этой, — если засунуть ее в эту, люди подумали бы, что это ящик с галантерейным товаром.

Но больше всего мне хотелось поглядеть на дервишей — я ими очень интересовался из-за того дервиша, который сыграл такую штуку с погонщиком верблюдов. Мы нашли их целую кучу в какой-то церкви. Они называли себя вертящимися дервишами — ив самом деле

вертелись, да так, как я еще в жизни не видывал. На них были надеты высокие шляпы вроде сахарных голов и полотняные юбки, и они беспрерывно крутились и вертелись, как волчки, а юбки ихние развевались во все стороны. Я такой красоты еще ни разу не видал и, глядя на них, совсем ошалел. Том сказал, что все они мусульмане; а когда я спросил, что значит мусульманин, он мне объяснил, что это всякий, кто не пресвитерианин. Выходит, что в штате Миссури их множество, только я раньше не знал.

Мы не видели и половины того, что надо было посмотреть в Каире, потому что Тому приспичило отыскать все места, которые прославились в истории. Мы прямо с ног сбились, разыскивая житницу, куда Иосиф складывал зерно перед голодом, а когда мы ее нашли, оказалось, что и смотреть-то там не на что — такая это ветхая развалина. Однако Том был очень доволен и поднял страшную бучу. Я бы ни за что так не орал, даже если б мне гвоздь в ногу вонзился. Как он вообще это место нашел — ума не приложу. Пока мы до него добрались, мы прошли не меньше сорока точно таких же житниц, и я думал, что любая из них вполне сойдет, но Тому только настоящую подавай — другие ему не годятся. Я никогда не встречал никого дотошнее Тома Сойера. Чуть он завидел ту самую житницу, он ее вмиг узнал — вроде как бы я узнал свою запасную рубашку, если б только она у меня была. Да, но как ему это удалось, он с таким же успехом мог бы объяснить, как подняться в воздух и полететь, — он сам в этом признался.

Потом мы очень долго рыскали в поисках дома, где жил мальчик, который научил кади, как рассудить дело со старыми и новыми маслинами. Том сказал, "что это из «Тысячи и одной ночи» и что после, на досуге, он нам с Джимом про это расскажет. Ну вот, рыскали мы рыскали — до тех пор, пока я чуть не свалился с ног от усталости. Я стал просить Тома бросить это дело, прийти на следующий день и разыскать кого-нибудь, кто хорошо знает город, умеет говорить по-миссурийски и сможет отвести нас прямо на место, — но нет, он непременно хотел найти его сам, и все тут. Вот мы и поплелись дальше. Но тут произошла самая удивительная вещь на свете. Этот дом исчез (исчез много сот лет назад), и от него не осталось ничего, кроме одного глиняного кирпича. Никто бы в жизни не поверил, что какой-то деревенский мальчишка из штата Миссури, который никогда раньше в этом городе не бывал, может прийти, обыскать это место и найти тот самый кирпич. А вот Том Сойер это сделал. Я знаю, что он это сделал, потому что я сам видел. Я был рядом с ним в это время и видел, как он заметил тот кирпичи как узнал его. Да, сказал я про себя, как же он это делает? Что это — знания или инстинкт?

Вот все факты — точно, как было, и пусть каждый объясняет сам, как хочет. Я долго над этим думал, и мое мнение, что это отчасти знания, но главное тут — инстинкт. И вот почему. Том положил кирпич в карман и сказал, что, когда вернется домой, напишет на нем свое имя и все факты и отдаст его в музей. Ну а я потихоньку вытащил кирпич у него из кармана и сунул туда другой, почти такой же, и он не заметил никакой разницы, — а разница-то была. По-моему, это решает дело: тут главное инстинкт, а не знания. Инстинкт говорит ему, где подходящее место для кирпича, вот он и узнает его — по месту, а не по виду самого кирпича. Если б дело было в знаниях, а не в инстинкте, он бы узнал этот кирпич, увидев его снова. А он не узнал. Теперь вы понимаете, что, сколько бы там ни кричали, будто знания такая замечательная штука, — инстинкт в сорок раз больше стоит, потому что он такой безошибочный. И Джим то же самое говорит.

Когда мы вернулись обратно, Джим спустился вниз и взял нас на борт. В лодке сидел молодой человек в красной феске с кисточкой, в красивой голубой шелковой куртке и в широких штанах; поясом ему служила шаль, за которую были заткнуты пистолеты. Он говорил по-английски и хотел наняться к нам в гиды и показать нам Мекку, Медину и Центральную Африку — и все за полдоллара в день и за харчи. Мы его наняли и поехали, включив полный ход. После обеда мы очутились над тем самым местом, где израильтяне переходили Чермное море, когда фараон хотел их догнать и на него обратились воды. Там мы остановились и хорошенько осмотрели место. И Джим очень обрадовался, он сказал, что видит все в точности, как оно было. Он видит, как израильтяне идут между стенами вод, а

египтяне догоняют их, спеша вовсю; а когда они вошли в море, он увидел, как воды возвратились и потопили их всех до одного. Потом мы снова включили полный ход, понеслись дальше и стали парить над горой Синай и осмотрели то место, где Моисей разбил каменные скрижали, и ту равнину, где расположились сыны Израилевы и где они поклонялись золотому тельцу, — и все это было ужасно интересно, и гид знал каждое место не хуже, чем я свой родной город.

Но тут у нас случилась беда, и все наши планы пошли насмарку. Томова старая кукурузная трубка до того распухла и покоробилась, что уже никакие завязки и веревочки не помогали: она треснула и развалилась на куски. Том прямо не знал, что делать. Профессорская трубка ему не годилась — она была пенковая, а человек, который привык к трубке из кукурузной кочерыжки, знает, что все остальные трубки на свете ей в подметки не годятся, и ни за что другую курить не станет. А мою Том ни за что не хотел брать, сколько я его ни упрашивал. Мы прямо не знали, что и делать.

Он все обдумал и сказал, что нам надо порыскать кругом, посмотреть — не найдется ли такой трубки в Египте, Аравии или еще где-нибудь; но гид сказал, что это все напрасно — их там нету. Том сильно приуныл, но вскоре развеселился и сказал, что нашел выход. Он заявил:

— У меня есть еще одна кукурузная трубка — первый сорт и почти новая. Она лежит у нас дома на стропилах над кухонной плитой. Джим, ты с гидом поедешь за ней, а мы с Геком расположимся тут, на горе Синай, и будем вас дожидаться.

— Что вы, масса Том, да нам и в жизни наш город не найти! Трубку-то я найду, потому что я вашу кухню знаю, но, ей-богу, мне ни за что не найти ни нашего города, ни Сент-Луиса и ничего такого. Мы ведь дороги не знаем, масса Том.

Это был факт, и он на мгновение поставил Тома в тупик. Однако вскоре Том сказал:

— Послушай, все это чепуха. Я тебе скажу, что надо делать. Наставь компас и лети на запад — прямо, как стрела, пока не найдешь Соединенные Штаты. Тут ничего трудного нет, потому что это будет первая же земля, на которую ты наткнешься по ту сторону Атлантического океана. Если ты прилетишь туда днем, дуй себе дальше, прямо на запад от верхней части побережья Флориды, — и через час и три четверти доберешься до устья Миссисипи, при той скорости, какую я тебе поставлю. Ты будешь лететь на такой высоте, что земля покажется тебе сильно выпуклой — вроде как таз, перевернутый вверх дном; и задолго до того, как ты туда доберешься, ты увидишь целую кучу рек, расплзающихся в разные стороны, и с легкостью узнаешь Миссисипи. Потом можешь лететь вдоль нее на север еще час и три четверти, покуда не увидишь, что в нее впадает Огайо. Теперь тебе придется смотреть в оба, потому что будет уже близко. Наверху, по левую руку, ты увидишь, как в нее впадает другая лента, — это будет Миссури, немного выше Сент-Луиса. Здесь надо спуститься вниз, чтобы следить, какие городки будут попадаться по дороге. За пятнадцать минут ты пролетишь штук двадцать пять, и когда увидишь наш, то сразу его узнаешь; ну а если нет — можно крикнуть и спросить.

— Если это так просто, масса Том, я думаю, мы сможем это сделать. Да, сэр, я знаю, что сможем.

Гид тоже был в этом уверен и сказал, что, наверное, скоро научится стоять на вахте.

— Джим за полчаса всему вас выучит, — сказал Том. — Управлять этим шаром так же просто, как челноком.

Том вытащил карту, нанес на нее курс, измерил и сказал:

— Самый кратчайший путь — лететь обратно на запад. Тут всего каких-нибудь семь тысяч миль. Если лететь на восток, вокруг всего света, получится почти вдвое больше.

Потом он сказал gidу:

— Вы оба должны все время следить за счетчиком, и каждый раз, когда он будет показывать меньше трехсот миль в час, вы должны подниматься или опускаться до тех пор, пока не найдете штормовое течение, идущее по пути с вами. На этом шаре вы можете лететь со скоростью сто миль в час без всякого ветра. В любое время, когда вам вздумается, вы

сможете разыскать двухсотмильный шторм.

— Мы так и сделаем, сэр.

— Смотрите, не забудьте. Иногда вам придется подниматься на несколько миль вверх, и там будет зверский холод, но большей частью шторм будет гораздо ниже. Ну а если вам посчастливится напасть на циклон — вот это будет здорово! Из профессорских книг вы можете узнать, что в этих широтах циклоны движутся на запад, и притом довольно низко.

Потом он подсчитал время и сказал:

— Семь тысяч миль при скорости триста миль в час. Вы можете проделать весь путь за одни сутки — за двадцать четыре часа. Сегодня четверг. В субботу к вечеру вы уже будете здесь. Живо давайте сюда пару одеял, провизию, книги и прочее, для меня и Гека, и отправляйтесь. Нечего тут прохлаждаться — я хочу курить, и потому чем скорее вы доставите трубку, тем лучше.

Вся команда бросилась за вещами, и ровно через восемь минут все наши вещи были выгружены, а шар готов к отлету в Америку. На прощанье мы пожали ДРУГ другу руку, и Том отдал последние распоряжения:

— Сейчас без десяти два по синайскому времени. Через двадцать четыре часа, то есть завтра в шесть часов утра по нашему городскому времени, вы будете дома. Когда доберетесь до города, садитесь в лесу за вершиной холма, чтоб вас никто не видел. Джим, после этого ты сбегаешь вниз, отнесешь эти письма на почту; если тебе кто-нибудь встретится, нахлобучишь шляпу на лоб, чтобы тебя не узнали. Потом проберись с черного хода на кухню, положи на стол эту бумажку, придави ее сверху чем-нибудь, а после выскользни оттуда и беги обратно, да так, чтоб ни тетя Полли и никто другой тебя не заметил. Потом лезь обратно в шар и дуй на гору Синай со скоростью триста миль в час. Вы потеряете не больше часу. Вы вылетите обратно в семь или восемь утра по нашему городскому времени и будете здесь через сутки, то есть в два или в три часа по синайскому времени.

После этого Том прочел нам, что он написал на бумажке:

«Четверг, два часа пополудни. — Том Сойер-Эрронавт шлет привет тете Полли с горы Синай, где был Ноев ковчег⁷ и Гек Финн тоже. Она получит это письмо завтра в половине седьмого утра.

Том Сойер-Эрронавт ».

— У нее от такого письма глаза на лоб полезут и слезы потекут, — сказал он и скомандовал:

— Приготовились! Раз, два, три — полный вперед!

И точно — полнее некуда. Через секунду они уже скрылись из виду.

Том первым делом отправился искать то место, где были разбиты каменные скрижали, чтоб мы могли поставить там памятник. Потом мы нашли очень уютную пещеру с видом на равнину, расположились в ней и стали дожидаться трубки.

Вернуться-то шар вернулся, и трубку они привезли, но только тетя Полли поймала Джима, и нетрудно было догадаться, что тут произошло: она послала его за Томом. Вот Джим и говорит:

— Масса Том, она стоит на крыльце, глядит в небо и вас поджидает. Сказала, что с места не сойдет, пока до вас не доберется. Беда, масса Том, беда!

Пришлось нам тут ехать домой, и скажу я вам, не слишком весело было у нас на душе.

Простофиля Вильсон **Перевод В. И. Лимановской**

На ухо читателю

⁷ По Библии, Ноев ковчег остановился на горе Арарат, а не на Синае. (Прим. автора.)

Насмешки, даже самые бездарные и глупые, могут загубить любой характер, даже самый прекрасный и благородный. Взять к примеру осла: характер у него почти что безупречен, и это же кладезь ума рядом с прочими заурядными животными, однако поглядите, что сделали с ним насмешки. Вместо того чтобы чувствовать себя польщенными, когда нас называют ослиами, мы испытываем сомнение.

Календарь Простофили Вильсона

Человек, не знакомый с судопроизводством, всегда способен наделать ошибок, если будет пытаться описать сцену суда; вот почему я не захотел печатать главы, изображающие судебный процесс, пока их со всей строгостью и пристрастием не прочтет и не выправит какой-нибудь опытный стряпчий — так, кажется, они называются. Теперь эти главы абсолютно правильны, до самой мельчайшей подробности, ибо они были переписаны под непосредственным наблюдением Уильяма Хикса, изучавшего когда-то, тридцать пять лет тому назад, юриспруденцию в юго-западной части штата Миссури, а затем, приехавшего сюда, во Флоренцию, для поправки здоровья и поныне исполняющего кое-какую подсобную работенку ради физических упражнений, а также за харчи на фуражном складе Макарони-Вермишели, что на маленькой улочке, если свернуть за угол с Пьяцца-дель-Дуомо, как раз позади того здания, где на камне, что вделан в нишу в стене, сиживал шестьсот лет назад Данте, делая вид, будто он наблюдает, как строится колокольня Джотто, но мгновенно теряя к этому интерес, лишь только появлялась Беатриче, направлявшаяся к ларьку, чтобы купить для своей защиты кусок орехового торта, на случай если гибеллины устроят беспорядки прежде, чем она успеет дойти до школы; и все в этом же старом ларьке, и все тот же старый торт продается и по сей день, и он все так же вкусен и воздушен, как тогда, — и это не лесть, а чистая правда. Хикс малость подзабыл свою юридическую науку, но для этой книги восполнил пробел в знаниях, и теперь те две-три главы, в которых речь идет о суде, — в полном и безупречном порядке. Он сам мне это сказал.

Сие подписано мною собственноручно сегодня, января второго дня, тысяча восемьсот девяносто третьего года, на вилле Вивиани, в деревне Сеттиньяно, в трех милях от Флоренции, в горах, откуда открывается самый прелестный вид, какой только возможен на нашей планете, и сияют самые волшебные, чарующие закаты, какие только возможны на какой-либо планете и даже в какой-либо солнечной системе; подписано в роскошном зале, украшенном бюстами сенаторов и других вельмож, представляющих род Церретани и взирающих на меня с одобрением, как взирали они на Данте, и взывающих ко мне с безмолвной мольбой принять их в лоно моей семьи, что я делаю с радостью, ибо мои самые отдаленные предки — едва вылупившиеся цыплята по сравнению с этими важными, пышно разодетыми древними старцами, и меня возвеличивает и наполняет удовлетворением мысль, что им шестьсот лет.

МАРК ТВЕН

Глава I

Вильсон зарабатывает прозвище

Открой свои карты или бей козырем, но только не упусти взятку.

Календарь Простофили Вильсона

Место действия этой хроники — городок Пристань Доусона на Миссурийском берегу реки Миссисипи; от него до Сент-Луиса полдня езды пароходом вверх по реке.

В 1830 году это было маленькое уютное селение, застроенное скромными деревянными

домиками в один-два этажа, выбеленные фасады которых утопали в плюще, жимолости и выющихся розах. Перед каждым из этих хорошеньких домиков был палисадник, огороженный белой деревянной изгородью, пестревший мальвами, ноготками, недотрогами, княжескими перьями и другими, вышедшими теперь из моды, цветами; на подоконниках стояли ящики с моховыми розами и терракотовые горшки с геранью, усеянной огненными лепестками, пламеневшими на фоне бледных роз. Если среди этих горшков и ящиков оставалось свободное местечко, то его в погожий денек непременно захватывала кошка и, растянувшись во всю длину, погружалась в блаженный сон, выставив пушистое брюшко на солнце, уткнув нос в согнутую лапку. И это был уже совершенный домашний очаг, ибо кошка служила символом и безошибочным свидетельством того, что под этой крышей царят довольство и покой. Говорят, что и без кошки — откормленной, избалованной, привыкшей к почитанию — бывают идеальные дома; быть может, не спору, но как это доказано?

Вдоль кирпичных тротуаров росли акации, стволы которых были огорожены деревянными решетками. Летом акации давали тень, а весной, когда распускались их пушистые гроздья, источали сладкий аромат. Главная улица — в одном квартале от реки и параллельная ей — была единственной торговой улицей города, она тянулась на шесть кварталов и была застроена жалкими деревянными лавчонками, среди которых, правда, высились и кирпичные трехэтажные торговые заведения, одно-два на каждый квартал. По всей улице скрипели раскачиваемые ветром вывески. Пестрый, полосатый, похожий на леденец столб, какие вдоль каналов Венеции стоят у входов во дворцы, указывая, что их владельцы принадлежат к старинному роду, в этом городе служил опознавательным знаком скромной цирюльни. На центральном перекрестке была вбита в землю высокая некрашеная мачта, сверху донизу увешанная жестяными кастрюльками, сковородками и кружками, которые своим дребезжанием и стуком помогали жестянщику оповещать мир (в ветреную погоду), что его мастерская — на углу — всегда к услугам заказчиков.

Берега Пристани Доусона омывались чистыми водами великой реки; городок был расположен на небольшой возвышенности, а окраина его бахромой редких домишек рассыпалась у подножия поросшей лесом холмистой гряды, захватывавшей селение в полукольцо.

Примерно каждый час вверх и вниз по Миссисипи проходили пароходы. Те, которые обслуживали небольшие линии, например Каирскую и Мемфисскую, причаливали к пристани регулярно, а крупные суда из Нового Орлеана останавливались только по требованию, чтобы высадить пассажиров или сдать груз, так же как и огромная флотилия «транзитных». Эти попадали сюда с доброй дюжины рек — с Иллинойса, Миссури, Верхней Миссисипи, Огайо, Мононгахилы, Теннесси, Ред-Ривер, Уайт-Ривер и других — и направлялись в разные места; трюмы их были набиты всевозможнейшими предметами и первой необходимости и роскоши, каких только могли пожелать жители бассейна Миссисипи во всех его девяти климатических поясах, от студеного водопада св. Антония до раскаленного зноем Нового Орлеана.

Пристань Доусона, окруженная тучными полями и богатыми свиноводческими фермами, на которых трудились негры-невольники, была рабовладельческим городком, сонным, уютным, самодовольным. Основанный пятьдесят лет назад, он рос очень медленно, но все же рос.

Самым почетным местным жителем считался окружной судья, сорокалетний Йорк Лестер Дрисколл. Он чрезвычайно гордился своим происхождением от виргинских аристократов, и его гостеприимство, в сочетании с известной чопорностью, говорило о приверженности старинным традициям. Он был честен, справедлив и щедр. Быть джентльменом, джентльменом в полном смысле слова, казалось ему самым главным в жизни, и этому своему кредо он никогда не изменял. Весь город любил судью Дрисколла, почитал и уважал его. Он жил в достатке, постепенно приумножая свое богатство. Он и его супруга были почти счастливы, но все же только почти, а не совсем, потому что не имели детей. С годами тоска по ребенку все усиливалась, но господь так и не благословил их.

Вместе с четой Дрисколл жила овдовевшая сестра судьи, миссис Рэчел Прэтт, тоже бездетная и безутешно оттого скорбящая. Обе женщины были добры и простодушны, вели примерную жизнь и в награду за то имели чистую совесть и доброе имя. Они принадлежали к пресвитерианской церкви, что же касается судьи, то он был вольнодумцем.

Другим потомком старинной виргинской знати, бесспорно ведущим свой род от первых колонистов, был юрист Пемброк Говард, холостяк лет сорока. Добрый, храбрый, представительный, этот джентльмен отвечал самым придирчивым требованиям виргинского «света»; преданный сын пресвитерианской церкви, знаток «законов чести», всегда готовый учтиво принять вызов, если какой-нибудь его проступок или фраза представлялись вам сомнительными или подозрительными, и дать удовлетворение при помощи любого вида оружия, по вашему усмотрению, — от сапожного шила до пушки включительно, Пемброк Говард был любимцем города и лучшим другом судьи.

Можно назвать еще одну важную особу из числа ППВ (Первых Поселенцев Виргинии) — полковника Сесилия Барли Эссекса, но, собственно говоря, он в нашем повествовании почти не участвует.

У судьи был брат Перси Нортумберленд Дрисколл, на пять лет моложе его. Перси был женат, и всевышний благословил его брак многочисленным потомством, но на малюток по очереди нападала то корь, то скарлатина, то еще какая-нибудь болезнь, и это давало местному доктору возможность применять свои чудесные допотопные методы, в результате чего детские колыбельки пустели. Перси Дрисколл был богат, знал толк в спекуляции землей, и его состояние росло.

1 февраля 1830 года у него в доме родились два мальчика: один — у его супруги, а другой — у рабыни, двадцатилетней девушки по имени Роксана. В тот же самый день Роксана была уже на ногах и хлопотала, ухаживая за обоими младенцами.

Через неделю миссис Перси Дрисколл скончалась. Мальчики остались на попечении Рокси. Ей была предоставлена полная свобода растить их по своему усмотрению, так как мистер Дрисколл, поглощенный своими спекуляциями, совершенно устранился от этих забот.

В том же месяце Пристань Доусона обогатилась еще одним жителем. Это был некто Дэвид Вильсон, молодой человек шотландского происхождения. Родом из центральной части штата Нью-Йорк, он попал в этот городок в поисках счастья. Ему было двадцать пять лет, он окончил колледж и прошел недавно курс юридических наук в университете одного из восточных штатов.

Дэвид Вильсон был некрасивый рыжеватый малый с веснушчатым лицом и умными голубыми глазами, которые смотрели открыто и приветливо, а по временам искрились добродушным лукавством. Не сорвись у него с языка одно неудачное замечание, успешная карьера была бы ему обеспечена. Но Вильсон произнес эту злосчастную фразу в первый же день своего появления в городке, и эта оплошность стала для него роковой. Дело было так. Познакомившись кое с кем из местных жителей, он стоял с ними на улице, как вдруг позади забора какая-то собака начала рваться, лаять и рычать, явно проявляя свой дурной нрав, и Вильсон промолвил, словно про себя:

— Я хотел бы, чтобы половина этой собаки принадлежала мне.

— Зачем? — спросил его кто-то.

— Тогда я мог бы убить свою половину.

Собеседники уставились на Вильсона — кто с любопытством, кто с испугом, но, не найдя никакой разгадки, никакого ключа к пониманию, шарахнулись от него, как от зачумленного, и, уединившись, принялись о нем судачить.

Один сказал:

— Кажется, он дурак.

— Не кажется, а так оно и есть, — поправил другой.

Третий уточнил:

— Только идиот способен пожелать, чтоб ему принадлежала половина собаки. Что же

станет, по его мнению, со второй половиной, если он убьет свою? Неужели он думает, что вторая половина останется жить?

— Наверняка думает так, если этот идиот может думать. Не думай он так, он пожелал бы быть хозяином всей собаки, а не половины! Он бы понимал, что если убьет одну половину, то другая все равно тоже околеет, и ему придется отвечать за всю собаку; и никого не будет интересовать, какую именно часть он убил: свою или чужую. Что вы скажете, джентльмены, прав я или нет?

— Прав, разумеется. Владей он продольной половиной общей собаки все равно так оно и было бы; и даже владей он поперечной половиной, все равно так оно и было бы; а в первом случае — особенно; ведь если убить продольную половину общей собаки, никто не может сказать, чья именно половина убита, но владей он поперечной половиной, может быть он и сумел бы убить свою половину, и...

— Нет, все равно у него ничего не получилось бы, все равно ему пришлось бы отвечать, если бы и вторая половина издохла, а она обязательно бы издохла. По-моему, этот человек просто сошел с ума.

— Да ему и сходить-то не с чего!

Обыватель номер три заметил:

— Да что там спорить, это же олух!

— Вот именно! — подхватил обыватель номер четыре. — Болван, это прямо на лице у него написано.

— Да уж что верно, то верно — дурень! — сказал номер пятый. — Пусть другие думают, как хотят, а я остаюсь при своем мнении.

— Согласен с вами, джентльмены, — сказал номер шестой. — Это совершеннейший осел, короче говоря — простофиля. Уж если он не простофиля, тогда я, значит, не умею судить о людях!

Так Вильсона и прозвали Простофилей. Происшествие стало мгновенно известно всему городу, и каждый обыватель считал своим важнейшим долгом принять участие в его всестороннем обсуждении. За неделю приезжий превратился в Простофилю Вильсона. Правда, с годами он обрел популярность, и даже немалую, но прозвище Простофиля прочно утвердилось за ним. В первый же день ему был вынесен приговор: простофиля, и он не сумел добиться ни его отмены, ни даже смягчения. Хотя прозвище Простофиля вскоре утратило злобный и недружелюбный смысл, но оно сохранялось за Вильсоном целых двадцать лет.

Глава II

Дрисколл щадит своих рабов

Адам был просто человеком — этим все сказано. Не так уж ему хотелось этого яблока, — ему хотелось, вкусить запретный плод. Жаль, что змей не был запретным, — Адам наверняка съел бы его.

Календарь Простофили Вильсона

Простофиля Вильсон привез кое-какие деньги и купил себе домик на западной окраине города. Только небольшой, заросший травой участок с шаткой изгородью посередине разделял его владения и владения судьи Дрисколла. Вильсон снял еще небольшое помещение в центре города и прибил у входа жестяную табличку такого содержания:

ДЭВИД ВИЛЬСОН

Адвокат и юрисконсульт.

Землемерные работы, нотариальные акты и т. д.

Однако роковое замечание о собаке погубило его карьеру в зародыше, если говорить о

юриспруденции: клиенты не являлись. Прождав довольно долго, Вильсон снял табличку и перевесил ее на свой дом, замазав краской слова о юридической практике и предлагая теперь свои услуги лишь в качестве скромного землемера и опытного бухгалтера. Время от времени ему поручали размежевать участок или какой-нибудь местный торговец приглашал его к себе привести в порядок бухгалтерские книги. С истинно шотландским терпением и мужеством Вильсон решил добиться того, чтобы город изменил о нем мнение и признал его юристом. Бедняга! Мог ли он предвидеть, какой мучительно долгий срок потребуется для этого?

Вильсон располагал уймой свободного времени, но он никогда этим не тяготился, так как интересовался всем новым, что только было в сфере науки, и проводил у себя дома всевозможные эксперименты. Одним из его коньков была хиромантия. Как называлась его вторая причуда, он не говорил и объяснял только, что занимается этим ради развлечения. Он понимал, конечно, что такие причуды лишь укрепляют его репутацию простофили, и потому предпочитал не распространяться о них. Это второе его увлечение заключалось в том, что он коллекционировал отпечатки пальцев разных людей. В кармане сюртука Вильсон постоянно носил плоскую коробочку с отделениями, в которых помещались стеклянные пластинки — пять дюймов в длину и три в ширину, Внизу к каждой пластинке была приклеена полоска белой бумаги. Вильсон обычно просил собеседника провести руками по волосам, чтобы пальцы стали жирными, а затем прижать к стеклышку большой палец и, один за другим, остальные четыре. На нижней полоске бумаги, под этими еле видимыми пятнами, Вильсон делал такую, например, запись: «ДЖОН СМИТ, *правая рука*», проставляя тут же число, месяц и год; затем снимал на другое стеклышко отпечатки левой руки этого человека, записывал имя, фамилию и дату и прибавлял: «*левая рука*». Стекла укладывались обратно в коробочку и занимали свое место в архиве Вильсона, как он называл эту коллекцию.

Нередко сживал Вильсон до поздней ночи, погрузившись в изучение своей коллекции, пристально и внимательно разглядывая отпечатки пальцев, но что он там находил и находил ли вообще что-либо — это никому не было известно. Иногда он срисовывал на бумагу тонкие, затейливые узоры, оставленные отпечатками пальцев, и затем при помощи пантографа увеличивал их во много раз, чтобы удобнее и легче было исследовать причудливую паутину линий.

Как-то в знойный послеполуденный час — это был первый день июля 1830 года — Вильсон трудился над каким-то весьма запущенным грессбухом в своем кабинете, выходявшем окнами на запад, где расстилались пустыри. Внезапно чьи-то голоса нарушили тишину. Их громкая перекличка заставляла предположить, что собеседники находятся на изрядном расстоянии друг от друга.

— Эй, Рокси, как твой малыш? — кричали откуда-то издали.

— Прекрасно! А ты как поживаешь, Джеспер? — слышалось под окном Вильсона.

— Хвастаться нечем, но и жаловаться грех. Как-нибудь соберусь, приду поухаживать за тобой, Рокси!

— Ах ты грязный черный кот! — отвечала Рокси, сопровождая свои слова беззаботным смехом. — Очень мне надо якшаться с такими черными обезьянами, как ты! Точно не найду я себе кавалера получше! Признайся-ка, что Нэнси, служанка старой миссис Купер, дала тебе отставку?

— Э, Рокси, да ты никак ревнуешь! Ишь плутовка, хе-хе-хе! Поймал тебя на этот раз!

— Как же, поймал! Ха-ха! Ей-богу, Джеспер, когда-нибудь ты лопнешь от гордости. На месте твоего хозяина, я продала бы тебя в низовья реки, пока ты еще не совсем свихнулся. Вот увижу твоего хозяина, обязательно ему посоветую!

Ленивому, бесцельному зубоскальству не было конца. Обе стороны явно получали удовольствие от этого дружеского поединка, и каждая была довольна своим острословием, ибо оно представлялось им острословием и ничем иным.

Вильсон подошел к окну посмотреть на дуэлянтов; их болтовня мешала ему работать. На соседнем пустыре он увидел Джеспера — молодого, черного, как уголь, геркулеса негра,

который, будучи послан на работу, восседал на садовой тачке под нещадно палящим солнцем и лишь собирался приступить к делу, а пока что отдыхал часок перед началом. Возле крыльца Вильсона стояла Рокси с детской коляской работы домашнего мастера, в которой сидели лицом к лицу два малыша. Если не видеть Рокси, то по речи ее можно было принять за негритянку, но это не соответствовало действительности. Она была негритянкой только на одну шестнадцатую, и обнаружить эту шестнадцатую не представлялось возможным. Рокси была совершенно светлокожая, рослая, пышнотелая, с величавой осанкой и исполненными благородной, царственной грации движениями. У нее были блестящие карие глаза, здоровый, яркий румянец во всю щеку и копна мягких шелковистых волос каштанового цвета, которые, правда, скрывал сейчас туго повязанный на голове клетчатый платок. Лицо было выразительно и говорило о решительном характере, черты его были правильны, миловидны и даже красивы. Среди своих соплеменников она держалась свободно и независимо, пожалуй несколько вызывающе; но при белых вела себя тише воды, ниже травы.

По существу Рокси ничем не отличалась от белых, но одна шестнадцатая часть, то есть негритянская часть, перетянула остальные пятнадцать шестнадцатых и сделала ее негритянкой. Она была рабыней и в качестве таковой подлежала купле-продаже. Что касалось ее ребенка, то он был белым на тридцать одну тридцать вторых, но именно из-за ничтожной одной тридцать второй части считался, по нелепости закона и местных обычаев, негром, и посему — тоже рабом. У него были голубые глаза и льняные кудри, как и у его белого сверстника; отец белого ребенка различал малышей, хотя очень редко их видел, — правда, только по одежде. Его дитя носило платьице из мягкого муслина с кружевными оборками и коралловое ожерелье ка шейке, а сын Рокси — только простую рубашонку из сурового домотканого полотна, еле доходившую до колен, и никаких украшений на нем не было.

Белого младенца звали Томас Бекет Дрисколл, а имя негритенка было Вале де Шамбр⁸ без фамилии, ибо рабы такими привилегиями не пользовались. Роксана где-то случайно услышала это выражение, ей понравилось незнакомое звуко сочетание, и, приняв его за имя, она наградила им свое чадо. Впрочем, оно быстро превратилось в Чемберса.

Вильсон знал Рокси, и когда состязание в остроумии стало ослабевать, он вышел на крыльцо, собираясь раздобыть несколько новых стеклышек для своей коллекции. Поняв, что его безделье замечено, Джеспер с рвением принялся за работу. Вильсон оглядел младенцев и спросил:

— Сколько им уже, Рокси?

— Обоим пять месяцев, сэр. Они родились первого февраля.

— Славные малыши, оба красавчики.

Рокси просияла от удовольствия, показав белоснежные зубы.

— Дай вам бог здоровья, мистер Вильсон! — с жаром воскликнула она. — Спасибо вам за ваши слова, ведь один-то из них — негр! Для меня он, конечно, самый лучший мальчонка на свете, но это, видать, потому, что он мой.

— Как же ты их различаешь, Рокси, когда они голышом?

Раскатистый хохот Рокси был под стать ее комплекции.

— Ну, я-то различаю, мистер Вильсон, а вот мистер Перси, тот нипочем не сумеет!

Вильсон еще немножко поболтал с Рокси, а потом достал две стеклянные пластинки и попросил у нее для своей коллекции отпечатки пальцев с правой руки и с левой, затем написал ее имя и число, а заодно снял отпечатки пальцев обоих младенцев и сделал соответствующие пометки.

Спустя два месяца, 3 сентября, он повторил эту операцию со всеми тремя. Он любил составлять «серии»: то есть, начав снимать у детей отпечатки пальцев, повторял это через

⁸ Valet de chambre — камердинер (франц.)

каждые несколько лет.

На следующий день, 4 сентября, произошло событие, которое глубоко потрясло Роксану. Мистер Дрисколл снова обнаружил пропажу небольшой суммы денег — другими словами, это случилось не впервые, а уже в четвертый раз, — и терпение хозяина лопнуло. Он был человеком довольно снисходительным, когда дело касалось негров и прочих домашних животных, когда же речь шла о провинностях представителей его собственной расы то даже чересчур снисходительным. Но с воровством мириться он не желал, а что в доме завелся вор, больше не оставалось сомнений. И кто бы еще это мог быть, если не один из его негров?

Необходимо было принять экстренные меры. Дрисколл созвал всех слуг. Их было трое, кроме Рокси: мужчина, женщина и мальчик двенадцати лет. Все они были друг другу чужие. Мистер Дрисколл заявил им:

— Я вас предупреждал. Это не помогло. На сей раз я намерен вас проучить. Я продам вора. Кто из вас виноват?

Угроза хозяина повергла всех в трепет: здесь им жилось неплохо, и на новом месте наверняка будет хуже. Негры хором заголосили, что они не виноваты. Никто из них ничего не крал, уж во всяком случае не деньги! Может, когда и случалось взять кусочек сахара, пирожок, немножко меду или там какое-нибудь еще лакомство, чего мистеру Перси не жалко и за что он не станет их бранить, но деньги — нет! Деньги — никогда! Однако их пылкие заверения не тронули сердце мистера Дрисколла. Он был непреклонен и твердил одно:

— Назовите вора!

По правде говоря, виноваты были все, кроме Роксаны. Она подозревала каждого, но с уверенностью сказать не могла. Она с содроганием подумала, что две недели назад тоже находилась на грани преступления: ее удержало в последнюю секунду воспоминание о посещении негритянской методистской церкви, которое помогло ей «очистить душу». На другой день после того, как благодать божья снизошла на Роксану и она еще находилась под свежим впечатлением этого события и была исполнена гордости, что душа ее очистилась от скверны, хозяин нечаянно оставил на письменном столе около двух долларов, и когда Рокси во время уборки заметила их, ее стал одолевая соблазн. Несколько минут она с нарастающей злобой глядела на деньги, а потом воскликнула в сердцах:

— К черту это молитвенное собрание! Не могли они, что ли, устроить его завтра.

С этими словами она прихлопнула соблазн книгой, и он попутал душу другого представителя кухонного ведомства. Рокси принесла эту жертву в силу религиозного этикета, отнюдь не собираясь, впрочем, сделать это для себя законом на вечные времена: через недельку-другую святость ее поубавится и восторжествует рассудок, — в следующий раз два доллара, столь неосмотрительно брошенные, попадут уже в верные руки, и Рокси могла предсказать, в чьи именно.

Была ли она дурной женщиной? Хуже, чем остальные ее соплеменники? Нет. В битве жизни все они страдали от несправедливости и поэтому не считали за грех воспользоваться военным преимуществом перед врагом, — разумеется, только в малом; в малом, но не в серьезных делах. Они таскали из кладовой провизию при каждом подходящем случае, не брезговали медным наперстком, кусочком воска, наждачной бумагой, пачкой иголок, серебряной ложечкой, бумажным долларом и разными мелкими предметами, — словом, рады были пустяковым трофеям, попадавшим к ним в руки, но были при этом настолько далеки от признания подобных действий греховными, что, прийдя в церковь, с превеликим усердием молились и во всю глотку распевали религиозные псалмы, невзирая на то, что у них в карманах лежало украденное. Коптильню на ферме всегда приходилось держать под крепким замком, ибо даже негритянский дьякон не мог устоять перед соблазном, когда провидение указывало ему во сне или при иных обстоятельствах место, где сиротливо тоскует и жаждет чьей-нибудь любви копченый свиной окорок. Но, увидев перед собой сотню висящих окороков, дьякон никогда не брал двух, — то есть, я имею в виду, двух сразу. Иной жалостливый вор-негр в холодную ночь подогревал конец дощечки и подсовывал его

под застывшие лапки спящих на дереве кур: сонная курица переходила на теплое местечко, деликатно прокудахтав «спасибо», и вор поспешно отправлял ее в свой мешок, а после — в желудок, совершенно уверенный в том, что, беря такую мелочь у человека, изо дня в день отнимающего у него бесценное сокровище — свободу, он не совершает греха, который господь мог бы припомнить ему в день Страшного суда.

— Назовите вора!

Мистер Дрисколл произнес это в четвертый раз все тем же суровым тоном. И затем присовокупил нечто исполненное самого ужасного смысла:

— Я даю вам одну минуту. — Тут он вынул часы. — Если вы не признаетесь по истечении минуты, я не только продам всех вас четверых, но... но я продам вас в низовья реки!

Это было равносильно угрозе отправить их в ад. В этом не усомнился бы ни один миссурийский негр. Рокси зашаталась, лицо ее побледнело; остальные пали на колени, как подстреленные, и, обливаясь слезами, с мольбой воздев к хозяину руки, заголосили хором:

— Я... я виноват!

— Я... я виноват!

— Я виноват! Смилуйтесь, хозяин! Господи, спаси и помилуй нас, бедных негров!

— Очень хорошо, — сказал мистер Дрисколл, кладя назад в карман свои часы. — Раз так, то я продам вас *здесь*, хоть вы и не заслуживаете такого снисхождения. На самом деле вас следовало бы продать в низовья реки.

В порыве благодарности преступники распростерлись перед ним ниц, лобызая его ноги и клятвенно заверяя, что, покуда живы, не забудут хозяйской милости и до конца дней не перестанут молиться за него. Все это говорилось с полной искренностью, ибо хозяин, точно бог, протянул могущественную длань и захлопнул врата ада, разверзшиеся было перед ними. Он и сам чувствовал, что совершает благородное, милосердное деяние, и был очень доволен своей добротой. В тот же вечер он занес весь этот эпизод в свой дневник, дабы сын его, когда вырастет, прочел эту запись и она вдохновила бы его на великодушные, гуманные поступки.

Глава III

Рокси проделывает хитрый фокус

Тот, кто прожил достаточно долго на свете и познал жизнь, понимает, как глубоко мы обязаны Адаму — первому великому благодетелю рода людского. Он принес в мир смерть.

Календарь Простофили Вильсона

Перси Дрисколл отлично проспал всю ночь, после того как избавил свою челядь от путешествия вниз по реке, но Рокси не сомкнула глаз ни на минуту. Она была охвачена величайшим ужасом. Ведь когда ее ребенок вырастет, его тоже могут продать в низовья реки! Эта страшная мысль сводила Рокси с ума. Минутами ей удавалось забыться, но в следующий миг сна как не бывало, и Рокси вскакивала и устремлялась к колыбели своего младенца, дабы воочию убедиться, что он все еще там. Она прижимала его к сердцу и бурно изливала свою любовь, осыпая малютку поцелуями, смачивая слезами, стеная и приговаривая:

— Они не посмеют, они не посмеют! Уж лучше твоя мама убьет тебя своими руками.

После одного из таких приступов отчаяния Рокси, укладывая своего сына в колыбель, заметила, что второй младенец пошевелился во сне, и только тут вспомнила о его существовании. Она подбежала к нему и долго стояла, размышляя вслух:

— В чем провинился мой сыночек, что он лишен твоего счастья? Ведь он же никому ничего плохого не сделал! К тебе бог милостив, а к нему нет. Почему? *Тебя* никто не посмеет продать в низовья реки! Ох, ненавижу я твоего папашу, бессердечный он, а пуще

всего бессердечный к неграм! Так бы и убила его, проклятого! — Она притихла, размышляя, но вскоре опять разразилась истошными рыданиями: — А убить-то придется тебя, моего ребеночка! *Его* убивать что пользы? Тебя, крошку мою, это не спасет! Продадут мою крошку в низовья реки, и дело с концом! Значит, такая уж судьба у твоей бедной мамы — убить тебя ради твоего же спасения! — Она еще крепче прижала ребенка к своей груди, осыпая его ласками. — Мама должна убить тебя, да как рука на это подыметься? Нет, нет, не плачь, мама не бросит тебя, мама уйдет с тобой вместе, убьет себя тоже. Уйдем отсюда, мой сыночек, утопимся вместе и забудем все земные горести! *Там-то* уж, верно, никто не продает бедных негров в низовья реки!

Она направилась к двери, укачивая ребенка и что-то напевая, но вдруг остановилась на полпути. Взгляд Рокси упал на ее новенькое воскресное платье из немыслимо пестрого ситца с какими-то фантастическими разводами. Долго, долго не могла она оторвать от него затуманенных глаз.

— Так ни разу и не пришлось мне надеть его, а до чего же оно красивое! — запричитала Рокси. Потом, осененная радостной мыслью, тряхнула головой: — Нет, не хочу, чтобы меня выловили из реки на глазах у всего народа, в старом тряпье, будто нищенку!

Рокси положила ребенка и надела пестрое платье. Потом оглядела себя в зеркальце и сама удивилась своей красоте. Нет уж, она нарядится перед смертью по всем правилам! Рокси стащила с головы платок и сделала прическу «как белые», а потом завязала на своих пышных красивых волосах бантики из обрывков разноцветных ленточек и воткнула в них букетик уродливых бумажных цветов. В довершение туалета она накинула на плечи кусок ярко-красного тюля, какой в то время назывался «облачком». Теперь она была готова умереть.

Рокси снова взяла на руки своего сына, но тут ей бросилась в глаза его жалкая, куцая рубашонка из небеленого холста, и она остро ощутила контраст между нищенским видом младенца и сказочным великолепием ее собственного наряда, и материнское сердце не выдержало этого срама.

— Нет, моя куколка, не такая уж дурная у тебя мать! Ангелы будут любоваться не одной твоей мамой, а тобой тоже! Я не хочу, чтоб они сгорели от стыда и говорили Давиду, Голиафу и другим пророкам: «Этот ребенок явился к нам в неподобающем виде!»

Приговаривая так, Рокси стащила с малютки рубашонку и нарядила его в одно из длинных белоснежных платьиц Томаса Бекета — с изящными оборочками и ярко-голубыми бантиками.

— Вот, теперь все хорошо! — Она усадила ребенка на стул и, отступив назад, оглядела его с восторгом и изумлением. — Ох, лучше быть не может! — воскликнула она, хлопая в ладоши. — Я и не замечала, что ты у меня такой красавчик! Мистер Томми ничуть не красивее тебя, ни вот настолечко!

Она шагнула к ребенку хозяина, посмотрела на него, потом перевела взгляд на своего и снова глянула на маленького Дрисколла. Глаза ее странно заблестели, и, пораженная какой-то мыслью, она с минуту стояла как зачарованная, потом пробормотала:

— Вчера, когда я купала их, его собственный папаша спросил меня, который из них его сыночек.

Дальше Рокси действовала, как сомнамбула. Она раздела догола Томаса Бекета и облачила его в грубую холщовую рубашонку. Его коралловое ожерелье она надела на своего ребенка. Потом положила обоих младенцев рядышком и, окинув их пристальным взглядом, заговорила сама с собой:

— Кто бы поверил, что платье так меняет детей? Лопни мои глаза, если я сама различаю их, а уж его отец и давно не сумеет!

Она положила свое чадо в нарядную колыбельку Томми и сказала:

— С этой минуты ты — хозяйский сыночек, мистер Том, и я должна привыкнуть называть тебя так, не то, боже упаси, перепутаю, и тогда нам с тобой беда будет! Ну вот, лежи тихонько и не капризничай, мистер Том. Слава богу, ты теперь спасен, ты теперь

спасен! Теперь уж ни один человек на свете не сможет продать мое сокровище в низовья реки!

А настоящего Тома она сунула в некрашеную сосновую люльку своего сына и сказала, смущенно глядя на спящего наследника Дрисколла:

— Бог свидетель, болит у меня за тебя душа, малыш, но что делать-то, скажи? Твой папаша когда-нибудь все равно продал бы его в низовья реки, а я бы этого не пережила, просто бы не пережила, понимаешь?

Рокси бросилась на кровать, но долго вертелась с боку на бок. Все думала и думала. Потом вдруг села, в ее возбужденном мозгу мелькнула утешительная мысль: «Это не грех, сами белые так делают! Святой боже, это не грех, нет! И у белых так случается, и не просто у белых, а даже у самих королей!»

Рокси силилась восстановить в памяти подробности какой-то истории, которую когда-то слышала, но забыла.

«Ага, вспомнила! — обрадовалась она. — Это рассказывал у нас в церкви старый негритянский проповедник из Иллинойса. Он говорил, что просто так спастись нельзя — сколько ни работай, сколько ни молись. Все зависит от удачи, — а уж это не от людей, а от бога, он сам назначает счастливую судьбу, кому хочет: ему все равно, святой ты или грешник. Он выбирает сам, кого захочет, и одному дает вечное блаженство, а другого посылает в геенну огненную. Проповедник рассказывал, что в Англии было раз такое дело: королева уложила своего сыночка спать, а сама ушла в гости, а одна негритянка, ну такая, почти белая, прокралась к ней в комнату, увидела ребенка, схватила его, раздела догола, надела все его вещи на своего ребенка и положила его в кроватку королевича, а королевского сынка унесла к себе — туда, где жили рабы, и так никто ничего и не узнал; и когда пришло время, сын ее стал королем, а настоящего королевича при разделе наследства продали в низовья реки. Да, да, сам проповедник это рассказывал, и в этом нет греха, потому что белые тоже это делают. Да, да, делают, и не какие-нибудь захудалые белые, а самые важные. Слава тебе, господи, что я вспомнила эту историю!»

Успокоенная, счастливая, она встала и, подойдя к колыбелькам, «практиковалась» остаток ночи. Она легонько похлопывала своего ребенка и говорила просительным тоном:

— Лежите тихонько, мистер Том!

А настоящего Тома она шлепала и сердито командовала:

— Лежи тихо, Чемберс! А то я тебе задам!

Продолжая эту репетицию, Рокси сама дивилась, как быстро и ловко сумела она перенести свою рабскую почтительность с маленького хозяина на маленького узурпатора и, наоборот, стала относиться повелительно, с материнской резкостью к злополучному наследнику старинного рода Дрисколлов.

Время от времени Рокси прерывала свои упражнения и начинала прикидывать шансы на успех того, что она затеяла.

«Этих негров продадут сегодня за кражу денег, а потом купят других; те не знают малышей, стало быть тут все будет спокойно. А я буду делать так: как выведу детей на прогулку, каждый раз зайду за угол и обмажу им ротки вареньем, и тогда никто не заметит, что я их обменяла. Буду так делать хоть целый год, пока не уверюсь, что все в порядке.

Боюсь я только одного человека — Простофилю Вильсона. Его называют у нас простофилей, дураком. Ну нет, он такой же дурак, как я дура! Да это же самый умный человек в городе после судьи Дрисколла, ну и, может, еще Пема Говарда. Черт бы побрал Простофилю, страсть как боюсь его проклятых стекол; по-моему, он колдун. Вот что я сделаю: схожу к нему на днях, попрошу, чтобы он снова взял отпечатки пальчиков у моих малышей, — я, мол, знаю, что он этого ждет. Если уж он не заметит подмены, то другие и подавно, и мне, значит, бояться нечего. А на всякий случай прихвачу с собой подкову против его колдовства».

С новыми рабами у Рокси, разумеется, никаких осложнений не произошло. И с хозяином тоже, потому что как раз в эту пору он запутался в какой-то спекуляции и был

настолько озабочен, что едва ли видел детей, даже когда глядел на них. А Рокси при его появлении начинала забавлять малышей, отчего они так смеялись, что вместо личиков видны были только широко разинутые рты и розовые десны. Дрисколл уходил, не дождавшись, пока стихнут пароксизмы смеха и мальчуганы вновь обретут обычный вид.

Прошло несколько дней; дела мистера Перси с его земельной спекуляцией еще больше запутались, и он уехал из города улаживать что-то, прихватив с собой своего брата судью. Спекуляция землей была для него привычным занятием, но на этот раз дело осложнилось тяжбой. Оба Дрисколла находились в отъезде целых семь недель. За это время Рокси успела побывать у Вильсона и осталась очень довольна результатами визита. Вильсон снял отпечатки пальцев детей, пометил имена и число — 1 октября — и аккуратно убрал стекла на место, не переставая болтать с Рокси, которая все спрашивала, разве он не замечает, как похорошели и поправились малыши с прошлого месяца, когда он в последний раз брал у них отпечатки пальчиков. Вильсон доставил ей удовольствие и похвалил ребят. Однако сейчас личики их были чистые, не замазанные ни вареньем и ничем другим, и Рокси трепетала — а вдруг он... Но нет, он не заметил, ничего не заметил, и Рокси ушла от него ликуя и навсегда выбросила из головы все страхи.

Глава IV

Подмененные ребята подрастают

Адам и Ева имели перед нами много преимуществ, но больше всего им повезло в том, что они избежали прорезывания зубов.

Календарь Простофили Вильсона

Беда с провидением: очень часто задумываешься, к кому, собственно, оно благоволит? Пример — случай с детьми, медведицами и пророком: медведицы получили больше удовольствия, чем пророк, ведь им достались дети.

Календарь Простофили Вильсона

Отныне мы в своем повествовании должны сообразоваться с подменой, которую совершила Роксана, и называть истинного наследника Чемберсом, а маленького раба Томасом Бекетом, для краткости — Томом, как звали его окружающие.

Став самозванцем, Том сразу превратился в несносного ребенка. Он ревел из-за всякой чепухи, без малейшего повода впадал в бешенство и визжал и орал благим матом до тех пор, пока не начинал задыхаться, как это талантливо умеют делать младенцы, когда у них прорезываются зубки; этот приступ удушья всегда очень страшное зрелище: наступает словно паралич легких, крошечное существо беззвучно корчится в конвульсиях, извиваясь всем телом и суча ножонками, и не может продохнуть; губы синеют, широко раскрытый рот застывает, являя взору один-единственный малюсенький зубок, торчащий в нижнем ободке малиновых десен. Невесть сколько длится роковая тишина, уже не остается сомнения, что младенец испустил дух, как вдруг подбегает нянюшка, прыскает водой ему в лицо, и мгновенно его легкие наполняются воздухом и дитя раздражается таким криком, воплем или воем, что могут лопнуть барабанные перепонки, — и у обладателя барабанных перепонек невольно вырываются такие слова, каких, будь он ангелом, он бы никогда не посмел произнести. Маленький Том царапал каждого, кого мог достать своими ногтями, и колотил погремушкой всех, кто оказывался под рукой. Он орал во всю мочь, чтоб ему дали пить, а когда ему подносили чашку, швырял ее на пол, выплескивал воду и поднимал крик, чтоб дали еще. Ему спускали все его капризы, даже самые злые и отвратительные; ему позволяли есть все, чего бы он ни пожелал, даже такие лакомства, от которых у него после болел живот.

Когда Том подрос настолько, что уже начал ковылять, лепетать какие-то слова и понимать, для чего ему даны руки, он стал бичом для окружающих в полном смысле слова. Пока он бодрствовал, Рокси не знала с ним ни минуты покоя. Он требовал все, что только

видели его глаза, лаконично произнося: «Хоцу!» И это являлось приказом. Когда же ему приносили вещь, которую он требовал, он отталкивал ее и истерически вопил: «Не хоцу, не хоцу!» Но стоило только убрать от него эту вещь, как он поднимал отчаянный крик: «Хоцу! Хоцу! Хоцу!» — и Рокси летела как на крыльях, чтоб утихомирить его, пока он не успел закатить истерический припадок, к которому явно готовился.

Самой любимой его игрушкой были каминные щипцы. Он предпочитал щипцы всем остальным вещам потому, что его «отец» запретил ему касаться их, боясь, чтобы он не разбил окно и не повредил мебель. Едва только Рокси отворачивалась в сторону, как Том подбирался к щипцам, заявляя: «Холосые!» — и посматривал одним глазком, наблюдает ли Рокси, затем произносил свое: «Хоцу!» — и опять искоса поглядывал в ее сторону; еще один взгляд украдкой, команда: «Дай!», наконец возглас: «Вот и взял!» — и трофей оказывался в его руках. В следующий миг тяжелые щипцы взлетали вверх, засим слышался треск, истошное мяуканье, и кошка мчалась на свидание уже на трех лапах, а Рокси бросалась спасать лампу или оконное стекло, хотя спасать было уже нечего.

Все ласки сыпались на Тома, Чемберсу не перепадало ничего. Все вкусные кушанья доставались Тому, Чемберса кормили только кашей и молоком да простоквашей без сахара. Вследствие этого Том был хилым ребенком, а Чемберс, наоборот, рос здоровяком. Том был капризник, как выражалась Рокси, и командир, а Чемберс отличался мягким и кротким нравом.

Несмотря на свою трезвую рассудительность и превосходную деловую сметку, Рокси вела себя, как глупая обожающая мать. Мало сказать — обожающая! Благодаря своей выдумке она превратила сына в своего повелителя, а так как внешние формы рабского подчинения требовали постоянного совершенствования, то Рокси заставляла себя практиковаться столь прилежно и старательно, что вскоре такое поведение превратилось у нее в бессознательную привычку, и это повлекло за собой естественный результат: обман, рассчитанный на других людей, мало-помалу практически превратился в самообман; притворная почтительность стала искренней почтительностью; притворное раболепие стало искренним раболепием; притворное угодничество стало искренним угодничеством; небольшое, искусственно созданное расстояние между мнимой рабыней и мнимым господином быстро ширилось, пока не оказалось пропастью, теперь уже самой настоящей, — и на одной стороне этой пропасти находилась Рокси, жертва собственного обмана, а на другой — ее чадо, которого она считала уже не узурпатором, а признанным, несомненным повелителем. Он был ее милым сыночком, ее господином и ее божеством — всем сразу, и, молясь на него, Рокси забывала, кто она и кем был ее ребенок еще недавно.

В детстве Том безнаказанно колотил, щипал и царапал Чемберса, который тогда уже понял, что существуют две тактики поведения: одна из них заключается в терпении, а другая — в протесте, и первая куда благоразумнее второй. В тех редких случаях, когда он все-таки забывал осторожность и давал своему мучителю сдачи, ему приходилось дорого расплачиваться за это в более высокой инстанции, причем трепку он получал не от Рокси: она, как правило, ограничивалась суровым внушением, что, мол, Чемберс «забывает, кто его маленький господин», и лишь в крайнем случае позволяла себе дать ему затрещину. Роль экзекутора выполнял Перси Дрисколл. Он заявил Чемберсу, что ни при каких обстоятельствах тот не смеет поднимать руку на своего юного господина. Чемберс трижды нарушал запрет и каждый раз получал столь внушительную порцию розог от человека, который, сам того не подозревая, был его отцом, что научился покорно сносить жестокость Тома и уже больше не делал таких попыток.

Вне дома оба мальчика находились всегда вместе. Чемберс был не по годам силен и мастер драться: силен потому, что питался простой пищей и много работал по дому, а драться умел потому, что у него уже был по этой части большой опыт, так как Том натравливал его на тех белых мальчишек, которых ненавидел и боялся. Чемберс был неизменным телохранителем Тома на пути в школу и домой; он дежурил на школьном дворе во время перемен, на случай если надо будет защитить его подопечного. Мало-помалу

Чемберс благодаря своим кулакам приобрел настолько солидную репутацию, что Том мог бы обменяться с ним платьем и странствовать спокойно, как сэр Кэй, облаченный в доспехи Ланселота.

Чемберс был хорош в тех играх, где требовалась ловкость. Том выдавал ему камешки для игры, а после отнимал у него весь выигрыш. В зимнее время Чемберс, одетый в обноски Тома — рваные красные рукавицы, продранные на коленях и на заду штаны и ветхие башмаки, — тащил в гору санки своего тепло одетого маленького господина, а тот скатывался вниз, никогда, впрочем, не приглашая с собой Чемберса. Чемберс лепил из снега солдат и крепости по команде Тома. Он же покорно служил мишенью, когда Тому захочется, бывало, побросаться снежками, причем мишень не имела права дать сдачи. Чемберс носил на каток коньки Тома, пристегивал их ему и — на всякий случай — бежал рядом с ним по льду, но его маленькому хозяину и в голову не приходило позволить ему покататься.

Летом городские ребята любили таскать с фермерских возов яблоки, персики, дыни — удовольствие тем более замечательное, что было связано с риском получить кнутовищем по лбу. Том особенно отличался в этих проделках, загребая, однако, жар чужими руками. Таскал за него Чемберс и получал в качестве своей доли косточки от персиков, яблочную сердцевину и дынные корки.

Том постоянно заставлял Чемберса купаться с ним вместе в реке и охранять его на всякий случай. Наплававшись в свое удовольствие, Том выскакивал на берег, завязывал узлами рубаху Чемберса, смачивал ее в воде, чтоб труднее было развязать, одевался и, усевшись на траве, хохотал, глядя, как Чемберс стоит голышом и, дрожа от холода, пытается развязать зубами упрямые узлы.

Том обижал своего покорного товарища по двум причинам: одной был его врожденный дурной нрав, другой — ненависть к Чемберсу за то, что тот был сильнее его, смелее и гораздо способнее. Том не умел нырять — от этого у него начиналась отчаянная головная боль. Чемберс же нырял, как рыба, и очень любил это занятие. Как-то раз он привел в такой восторг компанию белых ребят, делая заднее сальто с кормы, что Том от злости не стерпел и подтолкнул лодку под Чемберса так, что тот, кувыркнувшись в воздухе, упал не в воду, а обратно в лодку и ударился головой о дно. Пока он приходил в себя, несколько давнишних врагов Тома, воспользовавшись долгожданной возможностью, дали мнимому наследнику Дрисколла такую трепку, что Чемберс потом с трудом дотащил его до дому.

Однажды, когда мальчикам было по пятнадцати лет, Том купался в реке и выкидывал разные штуки, с целью обратить на себя внимание, но вдруг почувствовал себя плохо и стал звать на помощь. У ребят была такая манера: изображать судороги и кричать «Помогите!», особенно если они видели кого-нибудь постороннего, — тот бросался на помощь, а мальчишка отчаянно барахтался и орал во всю мочь, пока спасатель не подплывал к нему вплотную. Тогда крик мгновенно стихал, и «утопающий» с ехидной улыбочкой, дурачась, отплывал прочь, а все его дружки поднимали на смех доверчивого глупца и глумились над ним. Правда, Том до сих пор не пускался на такие штуки, но ребята решили, что сейчас он захотел выкинуть старый трюк, и на всякий случай отвернулись. Один только Чемберс поверил, что Том не притворяется, и кинулся на помощь. К сожалению, он подоспел вовремя и спас своему господину жизнь.

Это была капля, переполнившая чашу. Том кое-как терпел все остальное, но оказаться на виду у всех обязанным своим спасением черномазому, да еще кому: черномазому Чемберсу, — нет, это было уж слишком! Том стал осыпать Чемберса отборной бранью, зачем он полез к нему на помощь, притворившись, будто поверил, что Том и в самом деле зовет его; только болван негр мог сделать это!

Враги Тома представляли собой в этот момент сплоченную силу, поэтому они позволили себе свободно высказать ему свое мнение. Они смеялись над ним и обзывали по-всякому: и трусом, и лгуном, и ябедой, и обещали в честь случившегося переименовать Чемберса в черномазого папашу Тома Дрисколла и раззвонить по всему городу, что Том вторично родился на свет — на сей раз при содействии негра. Эти насмешки окончательно

взбесили Тома, и он заорал:

— Трахни их как следует, Чемберс! Слышишь! Чего стоишь, руки сложил?

Чемберс попробовал образумить его:

— Мистер Том, их ведь вон сколько, их тут...

— Слышишь, что я говорю?

— Пожалуйста, мистер Том, не заставляйте меня! Их тут столько, что...

Том прыгнул на него и несколько раз ударил перочинным ножом. Хорошо, что подбежали ребята, оттащили его и помогли окровавленному Чемберсу скрыться. Он был сильно изранен, но, к счастью, не очень опасно. Будь лезвие ножа чуть-чуть длиннее, на том бы жизнь Чемберса и кончилась.

Кормилицу Рокси Том давно приучил «знать свое место». Прошли те дни, когда она осмеливалась погладить мальчика по голове или сказать ему что-нибудь ласковое. Тому было тошно принимать эти знаки внимания от «черномазой», и он приказал Рокси соблюдать дистанцию и помнить, кто она. Рокси видела, как совсем чужим становится ее дорогой сыночек, как эта деталь его биографии исчезает и остается лишь хозяин, хозяин жестокий и требовательный. Рокси чувствовала себя поверженной с гордых высот материнства в мрачную пучину неприкрытого рабства. Между нею и ее ребенком разверзлась глубокая пропасть. Она была всего лишь нужной вещью, имуществом хозяина, собакой хозяина, пресмыкающейся, жалкой и беспомощной рабыней, покорной жертвой его вздорного характера, его злобной натуры.

Бывало, что, несмотря на усталость, Рокси целую ночь не могла уснуть; она кипела гневом после всего, что ей приходилось вынести от сыночка за день.

— Он меня ударил, — сердито бормотала она, — а чем я была виновата? На глазах у всех дал мне затрещину. И вечно он мне кричит: «Черномазая баба, шлюха!» Как только не обзывает, а ведь я сил для него не жалею! Господи, я так для него старалась, подняла его так высоко — и вот мне за то награда!

Подчас его жестокость так больно жалила сердце Рокси, что она начинала придумывать планы мести и представлять себе картины разоблачения Тома как самозванца и раба, но торжество ее тут же сменялось страхом: она сделала его слишком сильным, — теперь иди докажи! А за такое дело могут, чего доброго, продать в низовья реки! Итак, ее планы оставались неосуществленными, она отбрасывала их, кляня свою судьбу и себя самое за то, что в тот роковой сентябрьский день сглупила, не обеспечив себя свидетелем, на случай если бы ей захотелось насытить мщением свою душу.

Но все же, когда в редкие минуты Том обращался с ней хорошо и ласково, раны Рокси затягивались, и она чувствовала себя счастливой и преисполнялась гордости за своего сына — сына рабыни, властвующего над белыми и осуществляющего месть за их злодеяния против ее народа.

В эту осень — осень 1845 года — городок Пристань Доусона похоронил двух своих именитых граждан: сперва скончался полковник Сесиль Барли Эссекс, а вслед за ним — Перси Дрисколл.

На смертном одре Дрисколл отпустил Рокси на волю, а своего возлюбленного мнимого отпрыска отдал под опеку брата-судьи и его супруги. Бездетная чета была рада этому ребенку. Бездетным всякий ребенок понравится.

За месяц до кончины брата судья Дрисколл тайным образом купил у него Чемберса. Он узнал, что Том старается убедить отца продать парнишку в низовья реки, и хотел предупредить скандал, ибо местное общественное мнение не одобряло таких мер по отношению к домашним слугам, если те провинились по пустякам или вообще ни в чем не провинились.

Перси Дрисколл свел себя в могилу, стремясь поправить дела, пошатнувшиеся в результате неудачной земельной спекуляции. А сразу же после его смерти кончился и земельный ажиотаж, и юный наследник Перси Дрисколла, счастливчик, которому еще недавно весь город завидовал, превратился в нищего. Но это было не страшно: дядюшка

пообещал оставить ему после смерти все свое состояние, и Том утешился.

Зато Рокси очутилась без крова; и вот она решила распрощаться со своими друзьями и повидать белый свет, иными словами — наняться горничной на пароход, что для негритянки считалось вершиной счастья.

Последний, к кому она пришла с прощальным визитом, был великан негр Джеспер. Он в это время рубил дрова, заготавливая их на зиму для Простофили Вильсона.

В момент ее прихода Вильсон стоял возле Джеспера, болтая с ним о чем-то. Он спросил Рокси, сумеет ли она, поступив на пароход, перенести разлуку со своими питомцами, и в шутку предложил ей сделать на память копии отпечатков их пальцев — от младенческого возраста до двенадцати лет. Рокси испуганно насторожилась: уж не заподозрил ли он чего-нибудь? Потом ответила, что нет, пожалуй не стоит. Вильсон же подумал: «Это капля негритянской крови делает ее суеверной; она боится дьявола, ей кажется, что в моих стеклышках таится колдовство, — ведь таскала же она с собой старую подкову, когда приходила ко мне! А может, подкова оказывалась у нее случайно? Да нет, наверное, не случайно!»

Глава V

Близнецы производят сенсацию в городе

Воспитание — это все. Персик в прошлом был горьким миндалем; цветная капуста — не что иное, как обыкновенная капуста с высшим образованием.

Календарь Простофили Вильсона

Замечание доктора Болдуина относительно выскочек: «Мы не желаем есть поганки, которые мнят себя трюфелями».

Календарь Простофили Вильсона

В течение двух лет миссис Йорк Дрисколл наслаждалась ниспосланным ей свыше даром в виде племянника Тома, и хотя чувство ее нет-нет да и бывало омрачено, тем не менее она наслаждалась. Но вот она умерла, и овдовевший супруг и его бездетная сестра миссис Прэйт продолжали наслаждаться им в той же степени. Мальчишку нежили и баловали, позволяя ему делать все, что он хотел, — если не все, то почти все. Так продолжалось, пока ему не исполнилось девятнадцать лет, и тогда его послали учиться в Йельский университет. Для пребывания в университете Том был снабжен великолепным гардеробом, но, помимо этого, решительно ничем там не блистал. Пробыв в Йеле два года, он перестал штурмовать науки и вернулся домой. Впрочем, он значительно отшлифовал свои манеры: исчезли грубость и резкость, он стал довольно вежлив и даже изыскан в обращении, в речи его появилась тонкая, а иногда и довольно явственная ирония, с помощью которой он легонько покалывал собеседника, но с таким добродушным и рассеянным видом, что это уберегало его от неприятностей. Ленив он был по-прежнему и не проявлял заметного рвения заняться каким-либо делом. Посему знакомые сделали вывод, что он предпочитает сидеть на шее дядюшки в ожидании того дня, когда сам станет хозяином. В Йеле Том пристрастился к вину и картам, и свою первую страсть он проявлял открыто, а вторую скрывал, зная, что дядюшка этого терпеть не может.

У местной молодежи университетский лоск Тома не вызывал восторга. Было бы еще полбеды, если бы дело ограничивалось одними манерами, но Том носил перчатки, — а уж с таким-то оскорблением никто мириться не желал и действительно не мирился, в результате чего Том оставался по большей части в одиночестве. Среди привезенных им костюмов был один, какие носили в больших городах восточных штатов, он был столь изысканного фасона и покроя, что вызвал общий гнев: все сочли это оскорблением нравственности. Но юному Дрисколлу, наоборот, нравилось дразнить людей: весь первый день он разгуливал в таком виде по городу и был счастлив. В тот же вечер местные молодые люди засадили за работу

портного, и когда на следующее утро Том снова вышел из дому, он заметил, что следом за ним ковыляет наряженный в карикатурный костюм из ярчайшего ситца старый хромо́й негр-звонарь и старается изо всех сил подражать его изысканным городским манерам.

После этого Том покорился и стал одеваться, как все местные жители. Но ему, уже отведавшему веселой жизни, было неинтересно в скучном заштатном городишке, и с каждым днем это все больше его тяготило. Чтобы встряхнуться, он начал ездить на несколько дней в Сент-Луис. Там он находил компанию и развлечения себе по вкусу и, разумеется, кое в чем больше свободы, чем предоставлялось ему дома. В течение двух последующих лет эти поездки в Сент-Луис участились и срок его пребывания там с каждым разом становился длиннее.

Мало-помалу он начал запутываться, ибо занимался темными делами, которые не могли не кончиться плохо. Так оно и случилось.

Судья Дрисколл в 1850 году вышел в отставку и вот уже три года жил на покое, удалившись от дел. Он был председателем Общества свободомыслящих, причем единственным, кроме него, членом этого общества состоял Простофиля Вильсон. Ныне все интересы престарелого судьи свелись к еженедельным дебатам в обществе. Вильсон все еще тщетно пытался взять приступом одну из нижних ступенек общественной лестницы, ибо до сих пор ему не могли простить сорвавшейся у него с языка двадцать три года тому назад злосчастной фразы насчет собаки.

Судья Дрисколл дружил с ним и заявлял, что Вильсон обладает незаурядным умом, но на это смотрели как на одно из чудачеств судьи, и общество оставалось при прежнем мнении. Вернее, это была лишь одна из причин, мешавшая перемене общественного мнения, а существовала и другая, более важная. Если бы судья ограничился одним только высказыванием, это, возможно, подействовало бы, но он совершил ошибку, пытаясь подкрепить его фактами. Дело в том, что уже ряд лет Вильсон в тиши своего кабинета вел ради собственного удовольствия оригинальный календарь, слегка приперченный философскими размышлениями на каждый день, — как правило, в иронической форме. Находя шутки и афоризмы Вильсона забавными и остроумными, судья однажды взял с собой на целый день пачку листков из его календаря и прочитал некоторые записи кое-каким почтенным гражданам Пристани Доусона. Но эти люди не понимали иронии: их мозг не был на нее рассчитан. Они выслушали тонкие шутки с каменными лицами и пришли к непоколебимому убеждению, что если кто-нибудь и сомневался насчет того, заслуженно ли присвоена Дэву Вильсону кличка «Простофиля» (хотя они-то никогда не сомневались!), то отныне двух мнений быть не может. Так уж заведено в нашем мире: враг может довести человека почти до гибели, но, чтобы доконать его окончательно и бесповоротно, требуется добрый неосторожный друг. После этого случая судья стал еще нежнее относиться к Вильсону, уверовав пуще прежнего в достоинства его календаря.

Судья Дрисколл мог позволить себе даже свободомыслие, по-прежнему сохраняя свое положение: он был важной персоной в городе и потому не боялся идти своим путем и иметь собственные вкусы. Что касается второго члена Общества свободомыслящих, то ему дозволялось свободомыслие по той причине, что он был нуль в глазах граждан Пристани Доусона, и никто не придавал никакого значения ни его мыслям, ни его поступкам. Вообще-то к Дэвиду Вильсону в городе относились довольно хорошо, даже любили, хотя ни во что его не ставили.

Вдова Купер, которую весь город фамильярно называл тетя Пэтси, жила в уютном красивом домике со своей дочерью Ровеной — весьма хорошенькой романтической девицей девятнадцати лет, в остальном, впрочем, ничем не примечательной. У Ровены было два младших брата, тоже без особых талантов.

У вдовы имелась большая лишняя комната, которую она сдавала с пансионом, если находился подходящий квартирант. Но, к ее сожалению, комната пустовала уже целый год. Доходов миссис Купер хватало только на самое необходимое, а на деньги от сдачи комнаты можно было позволить себе кое-какие скромные удовольствия.

И вдруг однажды, в знойный июньский день, вдове Купер с неба свалилось счастье. Ее терпение было вознаграждено: объявление о комнате, данное в газете год тому назад, принесло долгожданный отклик. И главное, человек, выразивший желание поселиться у нее, был не какая-нибудь деревенщина — нет! Письмо пришло издалека, из таинственного, незнакомого мира, лежащего к северу от Пристани Доусона, — из Сент-Луиса. Вдова сидела на веранде, погруженная в радостные мечты, уставившись невидящим взором на сверкающую гладь величавой Миссисипи. Такое счастье ей и не снилось: ей предлагают не одного шильца, а двух!

Она прочла письмо своим детям, и Ровена, как на крыльях, помчалась отдавать распоряжения рабыне — служанке Нэнси — насчет уборки и проветривания комнаты. Сыновья же поспешили в город разгласить радостную весть, ибо она представляла всеобщий интерес, и каждый был бы удивлен и обижен, если бы его не поставили в известность. Но вот Ровена, вся пунцовая от радостного возбуждения, вернулась и попросила мать еще разок прочесть письмо. Оно гласило следующее:

«Милостивая государыня! Я и мой брат прочли случайно Ваше объявление и решили обратиться к Вам с просьбой сдать нам Вашу комнату. Нам по 24 года, мы близнецы, родом мы из Италии, но длительное время проживали в разных странах Европы, а последние несколько лет живем в Соединенных Штатах. Нас зовут Луиджи и Анджело Капелло. Уважаемая сударыня, Вы выразили желание иметь одного квартиранта, но мы не доставим Вам никаких хлопот, если Вы разрешите нам жить вдвоем и платить за двоих. Мы приедем в четверг».

— Итальянцы! Как романтично! Только подумайте, ма, ведь в наш город никогда не заезжал ни один итальянец! Всем захочется их повидать, все будут сгорать от любопытства, а они будут принадлежать только нам. Нам одним!

— Да, шум поднимется изрядный.

— Мало сказать шум! Весь город будет ходить на голове! Не шутка ведь — жили в Европе и всюду побывали! А к нам в город ни один путешественник никогда не заглядывал. Они ведь, пожалуй, и королей видели, — правда, ма?

— Трудно сказать, но шум и без этого будет.

— Еще бы! Луиджи, Анджело! Какие прекрасные имена, благородные, иностранные, не то что там Джонсы или Робинсоны! Они собираются приехать в четверг, а сегодня только вторник, — ах, как долго еще ждать! Вот к нам идет судья Дрисколл. Значит, он уже прослышал. Пойду отворю дверь.

Судья, преисполненный любопытства, зашел их поздравить. Письмо прочли вслух и обсудили. Потом явился мировой судья Робинсон, тоже с поздравлениями; чтение и обсуждение письма повторилось. Затем один за другим стали приходиться соседи, и поток посетителей обоего пола не прекращался весь день и в среду и в четверг. Письмо читали и перечитывали, пока оно не истрепалось до такой степени, что уже нельзя было разобрать ни слова; все восхищались его благородным и изысканным слогом, находя, что он свидетельствует о литературном опыте авторов, все были возбуждены, понимая великое значение этого события; что же касается Пэтси Купер и ее семейства, то они были на седьмом небе от счастья.

В те допотопные времена суда ходили как попало, когда мелела река. На этот раз пароход, который ожидался в четверг, до десяти часов вечера еще не прибыл, и публика зря проторчала на пристани целый день. Но она оставалась бы там и дольше, если бы не сильнейший ливень, который разогнал всех по домам и помешал видеть прибытие прославленных иностранцев.

Пробило одиннадцать; во всем городе было темно; свет горел только в одном доме — у вдовы Купер. Дождь лил как из ведра, грохотал гром, но измученная волнением семья все еще не теряла надежды. Вдруг раздался стук в дверь, и все ринулись отворять. Вошли двое негров и внесли наверх, в комнату для гостей, два сундука. За ними следовали приезжие, и

это оказались такие красавцы, такие элегантные благородные молодые люди, каких на Западе Америки никто и не видывал. Один был посветлее, другой потемнее, но в остальном они были похожи друг на друга, как две капли воды.

Глава VI **В лучах славы**

*Давайте жить так, чтобы даже гробовщик пожалел о нас,
когда мы умрем!*

Календарь Простофили Вильсона

*Привычка есть привычка, ее не выбросишь за окошко, а можно
только вежливенько, со ступеньки на ступеньку, свести с лестницы.*

Календарь Простофили Вильсона

На следующее утро, во время завтрака, близнецы пленили хозяйскую семью своими очаровательными манерами и обходительностью. Натянутость и официальность исчезли, и между хозяевами и гостями сразу установились дружеские отношения. Тетя Пэтси чуть ли не с первой минуты стала называть их по именам. Ей не терпелось выведать всю их подноготную, и она даже не скрывала этого; к ее вящему удовольствию, они охотно начали рассказывать о себе. Оказалось, что в детстве им пришлось испытать горе и лишения. Старушке очень хотелось задать им один-два вопроса, и, улучив подходящую, как ей казалось, минуту, когда брат-блондин, давая передышку брату-брюнету, рассказывал историю их жизни, она спросила:

— Прошу прощения, мистер Анджело, может быть, неудобно вас спрашивать, но, скажите, как это случилось, что вы в детстве были такими несчастными и одинокими? Только, пожалуйста, не отвечайте, если вам не хочется про это вспоминать.

— Отчего же, сударыня? В этом никто не виноват, просто неблагоприятное стечение обстоятельств. Наши родители были люди со средствами у себя на родине, в Италии, а мы с братом — их единственными детьми. Мы происходим из старинного флорентийского рода... (При этих словах у Ровены бешено заколотилось сердце, ноздри раздулись и загорелся взор.) Во время войны наш отец оказался в стане побежденных, и ему пришлось бежать, спасая свою жизнь. Все его владения были конфискованы, личное имущество тоже отняли, и мы очутились в Германии: беженцы, без друзей, без денег, попросту говоря — нищие. Мне и брату тогда едва сравнялось десять лет, но мы уже были неплохо образованны для своего возраста, очень прилежно учились, любили книги, хорошо знали языки — немецкий, французский, испанский и английский. Кроме того, нас считали музыкантами-вундеркиндами, — пусть мне будет дозволено так выразиться, ибо это сущая правда.

Наш отец не перенес всех злоключений и через месяц умер, и мать вскоре последовала за ним. Так мы остались одни на свете. Родители могли бы жить безбедно, если бы согласились, чтобы мы выступали перед публикой, — у них было много очень выгодных предложений, но гордость не позволяла им этого; они говорили, что скорее готовы умереть с голоду. Но то, на что они не давали своего родительского благословения, нам все равно пришлось делать. В связи с болезнью родителей и их похоронами понадобилось много занять, нас схватили за долги и поместили в дешевый балаган в Берлине, чтобы мы отработали задолженность. Из этого рабства мы сумели вырваться только спустя два года. Все это время нас возили по Германии и ничего нам не платили, даже есть не давали. Подчас, чтобы не умереть с голоду, нам приходилось просить милостыню.

Вот и все, сударыня, остальное не представляет интереса. Когда Луиджи и я избавились от этого рабства, нам исполнилось по двенадцать лет и мы были уже до некоторой степени взрослыми. Эти два года кое-чему научили нас: мы научились заботиться о себе, знали, как избегать мошенников и жуликов, как бороться с ними и как выгодно вести свое дело без

посторонней помощи. Много лет мы ездили по свету, выучились новым языкам, насмотрелись самых необыкновенных зрелищ и удивительных обычаев и приобрели широкое, разностороннее и довольно оригинальное образование. Это была интересная жизнь. Мы побывали и в Венеции, и в Лондоне, и в Париже, ездили в Россию, Индию, Китай, Японию...

В эту минуту Нэнси, служанка-рабыня, просунула голову в дверь и крикнула:

— Хозяйка, там в комнатах полно народу, все ждут не дождутся — хотят увидеть джентльменов! — Она кивнула в сторону близнецов и снова скрылась.

Для вдовы настал великий миг, и она собиралась насладиться им всюду, показывая заморских близнецов соседям и знакомым — простодушным провинциалам, которые вряд ли видели когда-нибудь иностранца вообще, а уж знатного и благородного и подавно. Тем не менее ее чувства не шли ни в какое сравнение с чувствами Ровены. Девушка была как в чад, от радости она ног под собой не чуяла: этот день обещал быть самым замечательным, самым романтическим в бесцветной истории глухой провинции. А ей выпало счастье оказаться в непосредственной близости от источника торжества и ощутить на себе и вокруг себя ослепительное сияние славы; другие местные девицы будут только глядеть да завидовать, но не смогут приобщиться к этой славе.

Вдова была готова, Ровена была готова, и приезжие тоже.

Близнецы и вся семья Купер прошли через переднюю и направились в гостиную, откуда доносился глухой гул голосов. Войдя, близнецы остановились у входа, хозяйка заняла место подле Луиджи, а Ровена — подле Анджело, и местные жители гуськом двинулись представляться чужестранцам. Миссис Купер с сияющим лицом принимала парад, а затем передавала гостей Ровене.

— Доброе утро, сестра Купер! (Рукопожатие.)

— Доброе утро, брат Хиггинс. Знакомьтесь, пожалуйста: граф Луиджи Капелло — мистер Хиггинс.

Рукопожатие, и Хиггинс ест графа глазами.

— Рад познакомиться!

— Очень приятно! — отвечает тот, учтиво наклоняя голову.

— Доброе утро, Ровена! (Рукопожатие.)

— Доброе утро, мистер Хиггинс, разрешите познакомить вас с графом Анджело Капелло.

Снова рукопожатие и взгляд, исполненный восторга.

— Рад познакомиться!

Граф Анджело, улыбаясь, вежливо кивает ему:

— Очень приятно!

И Хиггинс отходит в сторону.

Нельзя сказать, чтобы местные жители чувствовали себя вполне непринужденно во время этой церемонии, но, будучи людьми бесхитростными, они и не пытались притворяться. Ни один из них никогда в глаза не видывал титулованных особ и не ожидал встретиться с ними здесь; то, что они сейчас слышали, ошеломило их, захватило врасплох. Некоторые попытались выйти из неловкого положения, прохрипев: «милорд!», или «ваша светлость!», или что-то в этом роде, но большинство было настолько подавлено непривычным словом, вызвавшим в их мозгу смутное, пугающее представление о раззолоченных залах, дворцовых церемониях и коронациях, что они лишь пожимали дрожащей рукой пальцы близнецов и молча отходили прочь. Время от времени какой-нибудь сверхдружелюбный чудаков, какие попадаются на приемах повсюду, тормозил процессию и заставлял всех ждать, пока он осведомлялся, как понравился братьям городок, и сколько они намерены в нем пробыть, и здоровы ли их родственники, а потом приплетал к разговору погоду и выражал надежду, что скоро станет попрохладнее, и так далее и тому подобное, чтобы потом иметь возможность сказать дома: «У меня была довольно продолжительная беседа с ними». Но вообще никто не сказал и не сделал ничего такого, что заставило бы

город краснеть, и церемония знакомства состоялась по всем правилам этикета.

Затем завязался общий разговор, и близнецы переходили от группы к группе, весьма непринужденно болтая с гостями, за что удостоились похвал и всеобщего расположения. Хозяйка с гордостью наблюдала за их победным маршем, а Ровена в приливе радостных чувств твердила про себя: «Неужели они и вправду принадлежат нам, целиком и полностью нам?»

Ни мать, ни дочь не имели ни минуты покоя. Их рвали на части расспросами о близнецах, их теснили замирающие от любопытства слушатели, и только сейчас они осознали во всей полноте, что такое Слава, как грандиозна ее сила и почему во все времена и эпохи люди приносили на ее алтарь все свои скромные утехы, богатство и даже жизнь, лишь бы вкусить это великое неземное счастье. Поведение Наполеона и ему подобных нашло себе в этот час объяснение и... оправдание.

Когда Ровена выполнила наконец свои обязанности хозяйки внизу в гостиной, она поднялась на второй этаж, где тоже собралось множество народа, ибо гостиная не могла вместить всех визитеров. Здесь ее снова окружили жаждущие что-нибудь узнать о приезжих, и снова она поплыла по розовому морю славы. Время близилось к полудню, и тут Ровена с грустью подумала, что кончается самый чудесный эпизод в ее жизни и ничто уже не может продлить или повторить это счастье. Но грех роптать, хорошо и так: торжество шло с самого начала по восходящей, это был замечательный успех.

Вот если бы еще близнецы показали в заключение что-нибудь необыкновенное, что-нибудь из ряда вон выходящее, что-нибудь, способное вознести их еще выше в глазах публики, что-нибудь вроде «электрического фокуса»...

В эту минуту дом задрожал от стука и грохота, и все кинулись вниз — узнать, что там происходит. Оказалось, что это братья-близнецы уселись за фортепиано и принялись виртуозно барабанить какую-то классическую пьесу. Вот теперь Ровена была удовлетворена, вполне удовлетворена.

Публика долго не отпускала молодых иностранцев от фортепиано. Обыватели были потрясены и восхищены их игрой и боялись даже подумать о том, что это наслаждение окончится. Музыка, которую им приходилось слышать до сих пор, вдруг показалась им бездушным ученическим брэнчаньем, некрасивым и неизящным, по сравнению с каскадами пьянящих звуков, которые извлекали из инструмента приезжие. Жители Пристани Доусона чувствовали, что раз в жизни на их долю выпало счастье послушать подлинных виртуозов.

Глава VII

Таинственная красotka

Одно из главных различий между кошкой и ложью заключается в том, что у кошки только девять жизней.

Календарь Простофили Вильсона

Гости неохотно расходились по домам, горячо обсуждая сегодняшнее событие и выражая единодушное мнение, что вряд ли Пристань Доусона дождется другого такого дня. На этом приеме приезжие молодые люди приняли несколько приглашений и сами вызвались исполнить дуэт на фортепиано в любительском концерте, который устраивался с благотворительной целью. Местное общество встретило их с распростертыми объятиями. Но кому особенно повезло, так это судьбе Дрисколлу: он сумел заполучить близнецов для прогулки по городу и был преисполнен гордости, что он первый публично покажется с ними. Братья уселись в его экипаж и покатали с ним по главной улице; отовсюду на них взирали сонмы любопытных, облепившие все окна и заполнившие тротуары.

Судья показал приезжим новое кладбище, тюрьму и дом главного городского богача, а также масонскую ложу, методистскую церковь, пресвитерианскую церковь и место, где будет построена баптистская церковь, когда для этой цели соберут достаточно

пожертвований; позволил им полюбоваться ратушей и скотобойней, затем вызвал добровольную пожарную команду в полном облачении и заставил ее тушить воображаемый пожар, а в заключение, захлебываясь от гордости, повел их смотреть мушкеты местной милиции и был безмерно доволен тем, какое впечатление произвело на гостей все это великолепие. Приезжие, умиленные его восторгами, стремились вызвать в себе такие же чувства, что, впрочем, было не так-то легко, ибо они уже видели подобные вещи миллион или полтора миллиона раз при посещении других стран и это обстоятельство лишало их восприятие известной свежести.

Судья всячески старался доставить удовольствие гостям, и если это не всегда получалось, то уж не по его вине. Он так и сыпал анекдотами, каждый раз, впрочем, упуская соль, но братья приходили ему на помощь и дополняли недостающее, ибо все эти истории обладали длинной-предлинной бородой и в различных омоложенных вариантах были ими уже неоднократно слышаны. Судья не преминул поведать им о всех важных постах, которые он занимал на своем веку — и платных и почетных; о том, как однажды он был избран в законодательное собрание, а ныне является председателем Общества свободомыслящих; он сообщил, что это общество существует четыре года, насчитывает уже двух членов и построено на прочной основе.

Если молодым людям угодно посетить собрание общества, он готов заехать за ними сегодня вечером.

В обещанный час он явился за ними и по дороге выложил все, что знал о Простофиле Вильсоне, желая создать заранее благоприятное впечатление о своем друге и вызвать к нему симпатию. И это удалось: благоприятное впечатление было создано. Позже оно еще более укрепилось, когда Вильсон попросил отложить в честь гостей установленную тему дискуссии и посвятить часок обычной беседе, дабы создать атмосферу дружбы и доброжелательства; это предложение было поставлено на голосование и принято.

В оживленной беседе незаметно пролетел час, после чего у одинокого, всеми отвергнутого Вильсона прибавилось два друга. Он пригласил близнецов заглянуть к нему в гости нынче вечером, как только они освободятся от очередного визита, и они с удовольствием приняли это приглашение.

Было довольно поздно, когда братья пошли к Вильсону. Простофилия был дома и, поджидая их, ломал себе голову по поводу случая, который произошел утром. Дело заключалось в следующем: он поднялся сегодня очень рано, можно сказать чуть свет, и, пройдя по коридору, делившему его дом пополам, вошел в одну из комнат взять там что-то. Окна той комнаты не занавешивались, — она находилась в нежилой половине, и Вильсон увидел через окно нечто весьма заинтриговавшее его. А увидел он молодую особу — молодую особу в таком месте, где молодым особам находиться не полагалось, ибо это была комната в доме Дрисколла, не то над кабинетом судьи, не то над его гостиной. Это была комната Тома. В доме жили только Том, судья, его сестра миссис Прэтт да трое слуг-негров. Кто же была эта молодая особа? Владения Вильсона и судьи Дрисколла разделял низенький забор. Через узкий дворик Вильсону была хорошо видна девушка, стоявшая у открытого окна с поднятой шторой. На девушке было скромное, но изящное летнее платье в широкую белую и розовую полосу и шляпка с розовой вуалью. По-видимому, она разучивала какие-то позы и движения и делала это грациозно и с увлечением. Кто она и как попала в комнату Тома Дрисколла?

Вильсон поспешил занять положение, откуда мог наблюдать за девушкой без риска быть замеченным, и спрятался, надеясь, что она поднимет вуаль и откроет лицо. Увы! Минут через двадцать девушка исчезла и больше не появлялась, хотя Вильсон простоял на своем посту еще верных полчаса.

Около полудня Вильсон заглянул к соседям и завел разговор с миссис Прэтт о главном событии этого дня — о приеме у Пэтси Купер в честь именитых иностранцев. Затем осведомился о ее племяннике, и миссис Прэтт отвечала, что Том приезжает домой — его ждут сегодня к вечеру; они с братом, добавила она, очень обрадовались, узнав из его письма,

что он ведет себя скромно и благопристойно, — на что Вильсон в душе ухмыльнулся. Насчет гостыи Вильсон прямо не стал спрашивать, хотя задал несколько наводящих вопросов, ответ на которые пролил бы кое-какой свет на дело, — если бы миссис Прэтт могла его пролить, — и ушел от соседей, убедившись, что владеет секретом, неизвестным даже самой хозяйке.

Сейчас, поджидая близнецов, он не переставал гадать, кто же была эта девушка и как она очутилась чуть свет в комнате молодого человека.

Глава VIII

Мистер Том дразнит судьбу

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если только не пытаться просить денег взаймы.

Календарь Простофили Вильсона

Всегда помните о сути вещей. Лучше быть молодым навозным жуком, чем старой райской птицей.

Календарь Простофили Вильсона

Теперь давайте посмотрим, что случилось с Рокси.

Ей было тридцать пять лет, когда она получила вольную и пошла служить на пароход. Ей удалось поступить младшей горничной на «Великий Могол», курсирующий между Цинциннати и Новым Орлеаном. После двух или трех рейсов она уже овладела всеми тонкостями новой профессии и успела влюбиться без ума в пароходную жизнь с ее вечным движением, независимостью и романтикой. Спустя некоторое время Рокси получила повышение — должность старшей горничной. Она была любимицей всего пароходного начальства, которое с ней любезничало, и Рокси очень гордилась этим.

В течение восьми лет она проводила весну, лето и осень на «Великом Моголе», а зиму — на виксбергском пакетботе. Но последние два месяца у нее разыгрался ревматизм и от стирки невыносимо ломило руки. Пришлось оставить работу. Однако Рокси считала себя обеспеченной, чуть ли не богачкой, ибо вела скромный образ жизни и ежемесячно вносила по четыре доллара в банк в Новом Орлеане, припасая на старость. Она с самого начала сказала себе, что «обула босоногого негра для того, чтобы он мог потом топтать ее башмаками», и одной ошибки подобного рода с нее достаточно — отныне она желает быть независимой и ради этого готова трудиться день и ночь и во всем себе отказывать. Когда пароход причалил к новоорлеанской пристани, Рокси простилась с друзьями и снесла свой сундучок на берег.

Но не прошло и часа, как она вернулась. Банк лопнул, а с ним ухнули и четыреста долларов Рокси. Она осталась нищей и бездомной. А вдобавок еще инвалидом — сейчас, во всяком случае. Пароходное начальство посочувствовало ей в беде и собрало для нее небольшую сумму. Она решила поехать на родину: там у нее среди негров остались друзья детства, а бедняки всегда помогают своим собратьям по несчастью, — Рокси хорошо это знала и потому надеялась, что они не дадут ей умереть с голоду.

В Каире Рокси села на небольшой пакетбот, идущий до Пристани Доусона. Время притупило ее ненависть к сыну, теперь она могла думать о нем без злобы. Она старалась выбросить из головы его отвратительные выходки и помнить лишь те редкие минуты, когда он относился к ней милостиво. Эти воспоминания Рокси так усердно приукрашивала своей фантазией, что они становились приятными; она даже начала тосковать по сыну. Она говорила себе, что явится к нему с видом верной рабы, припадет к его ногам, — да, да, именно так, — авось время смягчило его характер, и он вспомнит свою кормилицу, обрадуется и примет ее ласково. Эх, кабы так! Тогда она забыла бы все — и горе и нищету.

Уж эта нищета! Чтобы подавить тревожные мысли, Рокси начинала строить воздушные

замки: сын будет помогать ей, давать ей... ну, хотя бы доллар в месяц. Для него это пустяк, а ей все же подмога. Еще бы не подмога!

И вот, когда пакетбот подплыл к Пристани Доусона, Рокси снова стала такая, как всегда: хандру как рукой сняло, и она была преисполнена розовых надежд. Ничего, все обойдется! В городе немало кухонь, где слуги поделаются с ней обедом да еще дадут на дорогу сворованного сахарку, или яблок, или других лакомств, а то и просто пустят ее в хозяйскую кладовую. Что ж, ей — хоть так, хоть этак — безразлично. К тому же существует еще и церковь. Рокси превратилась теперь в весьма ревностную методистку, и вера ее была не притворной, а истинной и непоколебимой. Итак, если впереди столько хорошего и, может быть, удастся снова получить старое местечко в первом ряду скамеек в методистской церкви, чего тогда слезы лить? Живи и не тужи до самого смертного часа!

Первый визит Рокси нанесла на кухню судьи Дрисколла. Ее встретили там с огромной радостью и превеликим почетом. То, что Рокси объездила столько городов и столько перевидала, казалось неграм величайшим чудом и делало ее в их глазах героиней. Они с упоением слушали ее рассказы о необыкновенных приключениях, все время прерывая их нетерпеливыми вопросами, взрывами хохота, восторженными восклицаниями и хлопаньем в ладоши; Рокси даже подумала, что, как ни приятно ездить на пароходу, рассказывать об этом, пожалуй, еще приятнее. Слушатели накормили ее досыта и начисто обобрали хозяйскую кладовую, чтобы наполнить корзинку гостя провизией.

Том в это время находился в Сент-Луисе. Слуги сообщили Рокси, что последние два года он живет там почти безвыездно. Рокси являлась каждый день и подолгу судачила с неграми о Дрисколлах и их семейных делах. Однажды она спросила, почему Том так долго не возвращается. Мнимый Чемберс сказал:

— Старому хозяину спокойнее, когда молодого хозяина нет в городе; он тогда и любит его сильнее. Вот он и дает ему пятьдесят долларов в месяц...

— Не может быть! Ты шутишь, Чемберс!

— Чесс-слово, матушка, мне мистер Том сам рассказывал. И что вы думаете, ему и этого не хватает!

— То есть как не хватает?

— А вот так не хватает. Сейчас я вам объясню, матушка. Мистер Том — картежник.

Рокси изумленно всплеснула руками. Чемберс продолжал:

— Старый хозяин узнал об этом, когда ему пришлось заплатить двести долларов — карточные долги мистера Тома. Правда, правда, матушка, я не вру!

— Да что ты мелешь! Двести долларов! Двести... долларов! Господи помилуй, ведь на эти деньги можно негра купить, пусть хоть неважного, но все же еще довольно крепкого! Признайся, детка, ты соврал, да? Неужто ты мог соврать своей старой матери?

— Клянусь богом, это святая правда. Чтоб мне с этого места не сойти, если я вру! Старый хозяин весь трясся, злой был, как черт! Он даже лишил мистера Тома наследства.

Выпалив столь важное сообщение, Чемберс даже облизнулся от удовольствия. Рокси начала было гадать, что это значит, но бросила ломать себе голову и спросила:

— Что ты мелешь?

— Я говорю: он лишил его наследства.

— Как это лишил? Объясни!

— Очень просто: взял да разорвал завещание.

— Разорвал завещание? Ври больше! Так не делают! Бери назад свои слова, поддельный ты негр! И зачем только я мучилась, рожала тебя?

Рокси чувствовала, как рушатся ее воздушные замки: жди теперь подачек от Тома! Ей казалось, что такого горя она не перенесет, даже подумать было страшно. А Чемберса это только развеселило:

— Ха-ха-ха! Слыхали? Я поддельный! А ты что, нет? Уж раз на то пошло, так скорее мы с тобой оба поддельные белые! Ведь мы же как белые, точь-в-точь как они! На негров-то мы вовсе и не похожи, мы...

— Хватит дурака валять, не то я тебе сейчас дам по уху! Расскажи мне лучше про это завещание. Успокой мою душу, скажи, что он ничего не уничтожил! Ну пожалуйста, миленький, скажи, и я буду вечно за тебя бога молить!

— Ладно! Говоря по правде, так оно и есть. Судья составил новое завещание, и мистеру Тому не о чем тревожиться. Но ты-то, мать, чего расстроилась? Тебе вроде нет до этого никакого дела!

— Как это нет дела? А кому ж тогда дело, скажи на милость? Не я ли пятнадцать лет заменяла ему мать, ну-ка скажи? Ты думаешь, я могу стерпеть, если его, бедного, несчастного, выгонят из дому? Эх ты, Вале де Шамбр! Не понимаешь ты материнского чувства, а то не стал бы чепуху городить!

— Так я же тебе рассказываю: старый хозяин простил его и написал новое завещание! Довольна ты теперь?

Да, теперь она была довольна, счастлива и полна самых нежных чувств. Она продолжала являться каждый день, пока наконец однажды ей не сообщили, что Том вернулся. Рокси вся затряслась от волнения и стала просить, чтобы ему передали, что «его бедная старая черная кормилица умоляет разрешить ей взглянуть на него хоть одним глазком, и тогда она сможет умереть спокойно».

Молодой хозяин лежал развалившись на диване, когда к нему вошел Чемберс и передал эту просьбу. Хотя миновало уже много лет, но стародавняя неприязнь Тома к этому юноше, который в детстве был его верным слугой и защитником, нисколько не уменьшилась, а оставалось столь же сильной и неукротимой. Том приподнялся на диване и вперил ненавидящий взгляд в белое лицо того, чье имя он, сам того не ведая, присвоил так же, как и его семейные права. Он не сводил глаз со своей жертвы, пока не заметил с удовлетворением, что Чемберс побледнел от страха, и лишь тогда спросил:

— Что нужно от меня этой старой карге?

Чемберс робко повторил просьбу Рокси.

Том вскочил с дивана.

— Кто разрешил тебе являться сюда и тревожить меня? Нужны мне очень какие-то знаки внимания от черномазых!

Теперь Чемберс трясся как осиновый лист и не в силах был этого скрыть. Он знал, что сейчас последует, и, пригнув голову, старался прикрыться левой рукой. А Том молча принялся колотить его по голове и по руке. При каждом ударе Чемберс умоляюще вскрикивал: «Не надо, мистер Том! Прошу вас, мистер Том!» Нанеся ему с полдюжины ударов, Том скомандовал: «Марш отсюда!» — и добавил еще два-три тычка в спину, так что белокожий раб вылетел за дверь и поспешил прочь, прихрамывая и утирая глаза рваным рукавом. Вдогонку ему Том крикнул:

— Пошли ее сюда!

Молодой хозяин снова растянулся на диване и сердито забормотал:

— Он вовремя явился: меня замучили мрачные мысли, и я не знал, на ком сорвать злость. Здорово помогло! Сразу полегчало!

И вот вошла его мать. Прикрыв за собой дверь, она шагнула к сыну — олицетворение смиренной, подобоострастной покорности, какую могут породить лишь страх и зависимость раба от хозяина, — и, остановившись на почтительном расстоянии, принялась ахать, какой он стал большой и красивый. А он, закинув руки за голову, а ноги — на спинку дивана, старался хранить подобающе равнодушный вид.

— Ах господи, миленочек вы мой, вы же стали совсем взрослым господином! Честное слово, не узнала бы вас, мистер Том, ни за что бы не узнала! А вы-то узнали старую Рокси? Взгляните на меня хорошенько, драгоценный мой, узнаёте вашу старую черную кормилицу? Ну, теперь я могу умереть спокойно, раз я повидала...

— Хватит ныть! Зачем пожаловала?

— Слыхали? Мистер Том ничуть не изменился! Всегда веселый, всегда шутит со своей старенькой кормилицей. Я так и знала...

— Хватит, хватит! Валяй выкладывай, чего тебе надо!

Рокси была горько разочарована. День за днем она вынашивала, берегла и лелеяла надежду, что Том приветит свою старую няньку, подбодрит и обрадует ласковым словом, и лишь после второго грубого окрика убедилась, что сын не шутит и все ее прекрасные мечты — это глупое, безрассудное тщеславие, горькая ошибка, достойная сожаления. Она была оскорблена до глубины души, и ей вдруг стало так стыдно, что на минуту она растерялась и не знала, как действовать дальше. Потом грудь ее стала вздыматься, на глазах выступили слезы, и она решила осуществить хотя бы свою вторую мечту — воззвать к щедрости сына — и, не раздумывая долго, запричитала:

— О мистер Том, ваша бедная старая нянька уже не в силах работать, вон как руки-то скрючило; если бы вы могли пожаловать доллар... хоть один-единственный доллар...

Том так стремительно вскочил на ноги, что просительница в испуге шарахнулась назад.

— Доллар! Дать тебе доллар? Да я тебя скорее придушу! Так вот зачем ты сюда явилась! Вон отсюда, убирайся, живо!

Рокси медленно попятилась к двери. Но на полдороге приостановилась и печально проговорила:

— Мистер Том, я нянчила вас с колыбели и вырастила вас одна, без помощников; теперь вы сами взрослый и богатый, а я бедная-пребедная и уже в годах; и вот я пришла к вам, думала, вы поможете старой нянюшке на том коротеньком пути, какой остался ей до могилы, а вы...

Молодому хозяину эта речь понравилась еще меньше, чем предыдущая, ибо она будила в нем отголоски совести. Не дав Рокси договорить, он заявил весьма решительно, хоть и не так резко, что у него нет никаких средств и помогать ей он не в состоянии.

— Значит, вы совсем мне не поможете, мистер Том?

— Нет! Уходи и больше не смей меня беспокоить!

Рокси стояла потупившись, с жалким видом. Но вдруг старая обида вспыхнула в ее душе и стала расти и жечь невыносимым огнем. Рокси медленно подняла голову и, как бы бессознательно, выпрямила свое крупное тело и обрела ту властную осанку, ту величественную грацию, какая была ей когда-то свойственна. Многозначительно подняв палец, Рокси молвила:

— Ладно, ваше дело. У вас была сейчас возможность, но вы растоптали ее. В следующий раз вы уж будете на коленях ползать и меня упрашивать.

Сердце Тома похолодело — почему, он и сам не знал; ему не пришло в голову, что подобная тирада в устах рабыни, да к тому же еще произнесенная столь многозначительным тоном, не могла не поразить своей несообразностью. Однако Том ответил так, как было ему свойственно — грубо и с издевкой:

— Это ты-то толкуешь мне о какой-то возможности, а? Так не бухнуть ли мне прямо сейчас тебе в ноги? Но скажи на милость, а вдруг я не захочу, что тогда?

— А вот что: я пойду прямо к вашему дядюшке и расскажу ему все, что про вас знаю.

Том побледнел, и Рокси это заметила. Тревожные мысли пронеслись у него в голове: «Откуда могла она узнать? Но вот ведь пронюхала, видать по глазам! Дядюшка всего три месяца назад написал новое завещание, а я опять по горло в долгах; я уж и так лезу из кожи вон, чтобы избежать разоблачения и гибели; может, мне бы и удалось скрыть все подольше, да эта чертовка каким-то образом дозналась. Интересно, много ли она разведала? Ох, ох, ох, от этого можно спятить! Ну прямо ложись и помирай! Но с ней, однако, надо поласковой, другого выхода нет».

И делая жалкие попытки принять шуточный тон, он сказал, деланно хихикнув:

— Ладно, ладно, Рокси голубушка, мы с тобой старые друзья, о чем нам спорить? На тебе доллар, бери и рассказывай, что ты узнала.

Он протянул ей ассигнацию лопнувшего банка, но она продолжала стоять, не двигаясь с места. Теперь настал ее черед ответить презрением на любые уговоры, и она не собиралась упустить этот случай. Вид ее был столь неумолим, что Том и тот понял: даже бывшая рабыня

может на какой-то десяток минут вспомнить обиды и щелчки, которые вечно получала в награду за свою беззаветную преданность, и тоже не прочь при первой возможности отомстить за них.

— Что я узнала? — переспросила Рокси. — Сказать вам, что я узнала? Во всяком случае, достаточно, чтобы от завещания вашего дядюшки не осталось и следа; и еще кое-что, еще кое-что... слышите?

Том был ошеломлен.

— Кое-что еще? Что же именно? Что может быть еще?

Презрительно рассмеявшись, Рокси тряхнула головой и подбоченилась.

— Ну да! Хотите, чтоб я вам все выложила за вашу рваную долларовую бумажку! Чего ради стану я *вам* рассказывать? У вас же нет денег! Лучше рассказать вашему дядюшке. Вот пойду к нему сейчас, и он заплатит мне за мой рассказ пять долларов, да как еще рад будет отвалить мне денежки!

Она высокомерно повернулась и шагнула к двери. Тома обуяла паника. Он схватил Рокси за юбку и начал умолять, чтобы она подождала. Рокси смерила его взглядом и важно молвила:

— Ну, что я вам сказала?

— Что... что... не помню сейчас. Что ты мне сказала?

— Я сказала, что, если захочу, вы в другой раз будете ползать передо мной на коленях и умолять меня...

Намиг Том просто онемел. От волнения у него перехватило дух. Потом он еле выговорил:

— О Рокси, ты не потребуешь такой жертвы от своего молодого господина! Ты, верно, шутишь!

— Скоро узнаете, как я шучу! Вы накричали на меня, чуть не плюнули мне в лицо. А за что? Я пришла сюда и начала говорить тихонько и вежливо, какой вы стали взрослый и красивый, и вспоминать, как я кормила вас своим молоком, как воспитывала вас и ухаживала за вами, когда вы болели, — вы ведь остались сиротой, без матери, и я заменяла вам мать; я пришла попросить у вас на хлеб, а вы стали гнать меня, бедную старуху, и обзывать по-всякому, — пусть вас бог за это накажет! Так вот, сэр, последний раз даю вам возможность поправить дело и разрешаю подумать полсекунды. Слышите?

Том рухнул на колени, взывая:

— Гляди, я умоляю тебя, честное слово! Скажи только мне, Рокси, скажи!

Дочь того племени, которое в течение двух веков подвергалось неслыханным оскорблениям и надругательствам, поглядела на него сверху вниз, явно упиваясь этим зрелищем, и сказала:

— Важный, благородный белый джентльмен на коленях перед бабой-негритьянкой! Всю жизнь хотела я поглядеть на это хоть разок, прежде чем господь призовет меня к себе. Теперь, архангел Гавриил, труби в свою трубу, я готова... Вставайте!

Том подчинился.

— Рокси, не наказывай меня больше, — робко заговорил он, — пожалуйста! Я заслужил твою кару, но сжался, смилуйся! Не ходи к дяде. Лучше расскажи мне все и возьми эти пять долларов с меня.

— Ясно возьму, да и побольше, чем пять! Но здесь я вам ничего не стану рассказывать.

— Помилуй бог, не здесь?

— Вы боитесь дома с привидениями?

— Н-н...нет.

— Тогда приходите туда сегодня вечером от десяти до одиннадцати, влезьте наверх по приставной лестнице — крыльцо сломано, — я буду там. Я устроилась в этой голубятне, потому что у меня нет денег, чтобы снять квартиру. — Рокси направилась к двери, но с порога скомандовала: — Ну-ка, давайте ваш доллар!

Том отдал ей доллар. Рокси осмотрела его со всех сторон и усмехнулась:

— Хм, небось банк лопнул! — Она уже готова была уйти, но вдруг вспомнила: — Есть у вас виски?

— Немножко есть.

— Тащите сюда!

Том побежал наверх в свою комнату и принес неполную бутылку. Рокси запрокинула ее и отхлебнула прямо из горлышка. Глаза ее заискрились от удовольствия. Причмокнув, она спрятала бутылку под шаль.

— Хорошая штука! Возьму с собой.

Том покорно распахнул перед ней дверь, и она удалилась, прямая и важная, как гренадер.

Глава IX

Том упражняется в низкопоклонстве

Почему мы радуемся рождению человека и грустим на похоронах? Потому что это не наше рождение и не наши похороны.

Календарь Простофили Вильсона

Находить недостатки дело нетрудное, если питать к этому склонность. Один человек жаловался, что уголь, которым он топит, содержит слишком много доисторических жаб.

Календарь Простофили Вильсона

Том бросился с размаху на диван, уткнулся локтями в колени и сжал руками виски. Он раскачивался из стороны в сторону и стонал:

— Я стоял на коленях перед черномазой бабой! Прежде мне казалось, что я пал ниже низкого, но, оказывается, то были сущие пустяки по сравнению с сегодняшним... Одно утешение — что теперь я достиг дна; ниже не падают!

Но Том поспешил с выводом.

В тот же день, в десять часов вечера, обессиленный, бледный и жалкий, он вскарабкался по приставной лестнице в дом с привидениями. Услышав шаги, Рокси встретила его на пороге.

Это был двухэтажный бревенчатый дом; несколько лет тому назад прошел слух, что в нем водятся привидения, и с тех пор он стоял заброшенный. Люди боялись в нем жить и даже днем его старательно обходили стороной, а уж ночью и подавно. Так как в городе у него не было конкурентов, то он именовался просто «дом с привидениями», и все понимали, о каком именно доме идет речь. Он так долго стоял заброшенным, что совсем покосился и пришел в полную ветхость. Триста ярдов пустыря отделяли его от владений Простофили Вильсона. Он был последним домом на этом краю города.

Том последовал за Рокси в комнату. В углу была расстелена чистая солома, служившая ей постелью, на стене висела бедная, но чистая одежда, на полу тускло горел жестяной фонарь и стояли ящики из-под мыла и свечей, заменявшие стулья. Они сели. Рокси сказала:

— Ну вот, сейчас все вам расскажу, а денежки начну получать с вас потом — мне не к спеху. Вы как думаете, о чем я собираюсь вам рассказать?

— Гм, гм, ты... ты... Да брось меня мучить, Рокси! Говори быстрее! Я понимаю: ты где-то разузнала, в какую я влип историю по глупости своей и беспутству.

— Как вы сказали? По глупости? По беспутству? Нет, сэр, не в этом дело! Это все пустяки, по сравнению с тем, что знаю!

Том недоуменно воззрился на нее.

— Не понимаю, Рокси, что ты имеешь в виду?

Она встала и мрачно и торжественно, точно судьба, поглядела на него сверху вниз.

— А вот что — и это правда, клянусь богом! Ты не ближе по крови старому мистеру Дрисколлу, чем я, — вот что я имею в виду! — И в ее глазах вспыхнуло торжество.

— Что???

— Да, сэр! И погоди, это еще не все! Ты — черномазый! Черномазый, и к тому же *раб*. Родился негром и рабом — и рабом остался, и стоит мне об этом заикнуться, двух дней не пройдет, как старый мистер Дрисколл продаст тебя в низовья реки.

— Врешь ты все, несчастная пустомеля!

— Ничуть не вру! Это правда, чистейшая правда, бог свидетель! Да, ты — мой сын...

— Ах ты чертовка!

— А тот бедный малый, которого ты колотишь и обижаешь, он сын Перси Дрисколла и твой господин...

— Ах ты скотина!

— И это *он* — Том Дрисколл; а *ты* — Вале де Шамбр, без фамилии, потому что у рабов нет фамилии.

Том вскочил, схватил полено и замахнулся, но его мать лишь усмехнулась и сказала:

— Садись, щенок! Ты что, напугать меня хочешь? Таких, как ты, никто не боится. Небось рад бы выстрелить мне в спину, — вот это на тебя похоже, я вижу тебя насквозь! Да я не боюсь, можешь убивать: все, что я тебе рассказала, записано на бумаге, и бумага эта хранится в верных руках; и тот человек, у которого она спрятана, знает, что ему делать, если меня убьют. Коли думаешь, что мать твоя такая же дура набитая, как ты, так ты здорово ошибся, голубчик! Стало быть, сиди тихо и веди себя как следует, и не смей вставать, пока я не скажу: «Встань!»

Охваченный бурей беспорядочных мыслей и чувств, полный злобы и ярости, Том все же нашел в себе достаточно самоуверенности, чтобы сказать:

— Все это враки! Убирайся и поступай, как хочешь, мне до тебя дела нет!

Рокси не ответила. Она взяла фонарь и пошла к выходу. Том мгновенно застыл от ужаса.

— Воротись! Эй, воротись! — завопил он. — Я пошутил, Рокси, я беру назад свои слова, я никогда так не буду говорить! Воротись, пожалуйста, Рокси!

Рокси постояла с минуту не двигаясь, потом веско произнесла:

— Слушай, Вале де Шамбр, тебе придется бросить эту привычку: ты не смеешь называть меня Рокси — ты мне не ровня. Дети так не разговаривают с матерью. Ты будешь называть меня мама или маменька — слышишь ты! — хотя бы когда мы одни. Ну-ка, повтори!

Тому пришлось сделать над собой усилие, чтобы выдавить из себя это слово.

— Вот и молодец! И заруби себе это на носу, если не хочешь нажить беды. Ты мне сейчас обещал, что больше не станешь говорить: «Басни! Враки!» Так вот помни, скажешь так еще хоть раз — и конец: я тут же пойду к судье и расскажу ему, кто ты, и *докажу* это. Можешь не сомневаться!

— Еще бы! — простонал Том. — Я и не сомневаюсь, я тебя знаю.

Рокси поняла, что это полная победа. Доказать она ничего не могла и лгала, будто все где-то записано, но она знала, с кем имеет дело, а потому угрожала, уверенная, что добьется своего.

Она опять подошла к сыну и опустила с видом победительницы на ящик из-под свечей; и она восседала на нем с таким горделивым и важным видом, словно это был не ящик, а трон.

— Ну, Чемберс, — сказала она, — давай поговорим с тобой всерьез, и больше не дури! Во-первых, ты получаешь пятьдесят долларов в месяц. Так вот, половину будешь отдавать теперь матери. Ну-ка, выгребай все из карманов!

Но у Тома за душой было только шесть долларов. Он отдал их матери, пообещав начать честный дележ со следующего месяца.

— А много ты должен, Чемберс?

Том вздрогнул и ответил:

— Почти триста долларов.

— Как ты собираешься их отдавать?

— Ох, сам не знаю, — простонал Том, — не задавай мне таких страшных вопросов.

Но она не отставала от него, пока не добилась признания. Оказалось, что он, переодевшись, совершает мелкие кражи в домах у местных жителей и успел изрядно поживиться за их счет еще две недели назад, когда все считали, что он в Сент-Луисе. Все же для расплаты с кредиторами ему не хватает денег, а он боится продолжать это занятие, так как город и без того сейчас взбудоражен. Мать похвалила его и предложила свою помощь, но это привело его в ужас. Весь дрожа, он пролепетал, что лучше бы она уехала, тогда ему было бы спокойнее. Как ни странно, ее не пришлось уговаривать, — Рокси заявила, что она сделает это с удовольствием: ей-то все равно, где жить, лишь бы, как договорились, получать свое содержание. Она согласна поселиться за городом и раз в месяц являться в дом с привидениями за деньгами. В заключение она сказала:

— Теперь я тебя уж не так ненавижу, как раньше. Да ведь было за что: подумать только, я тебя так удачно подменила, дала тебе хорошую семью, хорошее имя, сделала тебя богатым белым джентльменом. Ты теперь носишь вещи из магазина, а мне за это какая благодарность? Ты меня всю жизнь унижал, грубил мне при людях, не давал никогда забыть, что я черномазая и... и...

Тут она разрыдалась.

— Позволь, — сказал Том, — но я ведь даже понятия не имел, что ты моя мать, и к тому же...

— Ладно, не будем вспоминать прошлое, бог с ним. Я хочу все это забыть. — И она добавила с новой вспышкой гнева: — Только не вздумай сам никогда мне об этом напоминать, не то пожалеешь, так и знай!

Когда они прощались, Том спросил самым вкрадчивым тоном, на какой был способен:

— Мама, не скажешь ли ты мне, кто был мой отец?

Он боялся, что этот вопрос сконфузит Рокси, но он ошибся. Она выпрямилась, гордо трянула головой и ответила:

— Почему ж не сказать, скажу! И уж поверь, тебе нечего стыдиться твоего отца! Он был из старинной фамилии, из самой высшей знати нашего города. Его предки были первыми поселенцами Виргинии. Не хуже, чем Дрисколлы и Говарды, как бы они ни задавались! — Рокси еще больше выпятила грудь и внушительно проговорила: — Ты помнишь полковника Сесилия Барли Эссекса, который умер в один год с папашей твоего хозяина, Тома Дрисколла? Помнишь, какие ему устроили похороны все эти масоны, тайные братства и все наши церкви? Такие шикарные похороны нашему городу никогда и не снились! Вот кто был твой отец!

Это воспоминание вызвало у Рокси такой прилив гордости, что она вдруг будто помолодела и приобрела благородную торжественность в осанке, которую можно было бы назвать даже царственной, если бы окружающая обстановка чуть больше соответствовала этому.

— Во всем нашем городе нет раба такого знатного происхождения. А теперь ступай! И можешь задирать нос как тебе угодно, — чтоб мне пропасть, если ты не имеешь на это права!

Глава X

Красотка обнаружена

Все говорят: «Как тяжело, что мы должны умереть». Не странно ли слышать это из уст тех, кто испытал тяготы жизни?

Календарь Простофили Вильсона

Когда рассердишься, сосчитай до трех; когда очень рассердишься, выругайся!

Календарь Простофили Вильсона

Том улегся спать, но то и дело просыпался, и первой мыслью его было: «Слава богу, что это только сон!» А в следующий миг он со стоном валился снова на подушки и бормотал:

— Черномазый! Я — черномазый! Ох, лучше бы мне умереть!

Когда на рассвете Том проснулся и снова пережил весь этот ужас, он решил, что сон — коварная штука. Он принялся думать, и мысли его были отнюдь не веселы. Вот примерно что он думал:

«Для чего понадобилось создавать черномазых и белых? Какое преступление совершил тот первый черномазый еще в утробе матери, что на него легла печать проклятия уже при рождении? И почему существует эта ужасная разница между белыми и черными?.. Какой страшной кажется мне судьба негров с нынешнего утра! А ведь до вчерашнего вечера эта мысль даже не приходила мне в голову!»

Так, во вздохах и стенаниях, прошел у него целый час. Потом в комнату робко вошел «Чемберс» и доложил, что завтрак сейчас будет подан. «Том» багрово покраснел при мысли, что этот белый аристократ раболепствует перед ним, негром, и называет его «молодой хозяин».

— Убирайся прочь! — сказал он грубо и, когда юноша вышел, пробормотал: — Он-то, бедняга, ни в чем не виноват, но пусть сейчас не мозолит мне глаза: ведь это он — Дрисколл, молодой джентльмен, а я... Ох, лучше бы я умер!

Гигантское извержение вулкана, подобное недавнему извержению Кракатау, сопровождаемое землетрясениями, огромной приливной волной и тучами вулканической пыли, меняет ландшафт до неузнаваемости, срезая холмы, вздымая низменности, образуя дивные озера там, где была пустыня, и пустыни — там, где весело зеленели луга. Так и чудовищная катастрофа, постигшая Тома, изменила его нравственный ландшафт. Все, что казалось ему низким и ничтожным, поднялось в его глазах до идеала, а то, что он возвеличивал, рухнуло в пропасть и лежало во прахе, среди руин и пепла.

Том провел несколько дней, бродя по глухим местам, и все думал, думал, стараясь решить, как он должен теперь себя вести. Для него это усилие было непривычным. Встречая какого-нибудь приятеля, Том замечал, что прежние его привычки куда-то таинственным образом исчезли: прежде он всегда первым протягивал руку, теперь же она у него невольно повисала, словно плеть, — это давал себя знать рабский дух «черномазого», — и Том краснел и конфузился. И «черномазый» в нем замирал от удивления, когда белый приятель протягивал ему руку. Так же невольно «черномазый» в нем заставлял его уступать дорогу белым гулякам и буянам. Когда Ровена — самое драгоценное для него существо на свете, идол, которому он втайне поклонялся, — пригласила его зайти к ней, «черномазый» в нем пролепетал какую-то неловкую отговорку, побоявшись переступить порог дома и сесть на правах равного рядом со страшными белыми. И этот «черномазый» в нем старался сделаться незаметным и прятался за чужую спину при всяком удобном случае, ибо ему стало казаться, что на лицах людей, в их тоне и жестах проскальзывает подозрение и, пожалуй, даже догадка. Поведение Тома было настолько странным и необычным, что люди это замечали и, встречаясь с ним на улице, останавливались и глядели ему вслед; а он тоже оглядывался, не в силах удержаться и, поймав в их глазах удивление, холодел от страха и спешил унести подальше ноги. Он чувствовал себя затравленным, и вид у него был затравленный; он стал искать уединения на вершинах холмов, говоря себе, что над ним нависло проклятие Хама.

Особенно сильный страх овладевал им, когда собирались к столу: «черномазый» в нем робел перед белыми и дрожал, страхась разоблачения. Как-то раз судья Дрисколл даже спросил его: «Что с тобой? У тебя какой-то жалкий вид, прямо как у негра!» И тут Том почувствовал то, что, должно быть, чувствует тайный преступник, слыша разоблачающие его слова: «Ты убийца!» Том ответил, что ему нездоровится, и вышел из-за стола.

Заботы и нежности его мнимой тетушки теперь приводили Тома в ужас, и он старательно избегал их.

И все это время в душе у него росла ненависть к мнимому дядюшке, потому что его мучила мысль: «Он белый, а я его раб, его собственность, его вещь; и он может продать меня так же, как продал бы свою собаку».

Тому казалось, что за эту неделю его характер коренным образом изменился. Но это ему только так казалось, потому что, в сущности, он не знал себя.

Кое в чем его взгляды претерпели большие изменения и теперь уже никогда не могли снова стать прежними, но в основе своей характер его не изменился — это было бы невозможно. Одна или две довольно важные черты его характера, правда, изменились, и со временем, при благоприятных условиях, это могло бы дать некоторые результаты, пожалуй даже значительные. Под влиянием огромного умственного и нравственного потрясения характер и привычки Тома заметно преобразовались, но едва лишь буря начала стихать, как очень скоро все стало на прежнее место. Мало-помалу Том вернулся к привычной, беспечной и распушенной жизни, возродились его старые повадки и манеры, и никто из знакомых не смог бы уже обнаружить ничего отличающего нынешнего Тома от прежнего — слабохарактерного и легкомысленного баловня судьи Дрисколла.

Воровская деятельность Тома оказалась успешнее, чем он даже предполагал. Полученной суммы хватило для того, чтоб расплатиться с карточными долгами, спасти себя от разоблачения и сохранить тем самым завещание. Том и Роксана научились отлично ладить между собой. Правда, мать пока еще не пылала любовью к сыну, считая, что он того не стоит, но так как ее натура постоянно требовала господства над чем-нибудь или над кем-нибудь, то, за неимением лучшего, годился и Том. Его же восхищал сильный характер матери, ее настойчивость и властность, хоть эти качества он испытывал на себе чаще, чем ему хотелось бы. Впрочем, находясь с ним вместе, она значительную часть времени уделяла колоритному пересказу подробностей интимной жизни всех столпов местного общества (а знала Рокси все это потому, что, являясь в город, собирала дань у них на кухнях). Том любил ее рассказы. Это было в его характере. Он честно делился с матерью своим месячным содержанием и приходил в этот день в дом с привидениями, предвкушая удовольствие от беседы с нею. А в середине месяца она и сама не раз наносила ему внеочередные визиты.

Иногда Том уезжал на несколько недель в Сент-Луис и в конце концов опять не устоял перед соблазном: он выиграл в карты кучу денег, но тут же спустил их и сверх того проиграл значительную сумму, пообещав уплатить ее в самое ближайшее время.

С этой целью он задумал новое покушение на Пристань Доусона. На другие города он не распространял своей деятельности, опасаясь залезать в незнакомые дома, не зная ни распорядка жизни там, ни ходов и выходов. В среду, накануне появления в городе близнецов, он явился в дом с привидениями, переодетый в чужое платье, предупредив тетюшку Прэтт, что приедет в пятницу, — а сам полтора суток скрывался у своей матери. В пятницу перед рассветом он направился к дому дяди, отпер дверь черного хода собственным ключом и проскользнул в свою комнату, где к его услугам имелось зеркало и туалетные принадлежности. Он принес с собой в узелке девичий наряд, а сейчас на нем было платье Рокси, вуаль и черные перчатки. Когда рассвело, он уже был готов отправиться на промысел, как вдруг увидел в окно Простофилю Вильсона и понял, что тот в свой черед заметил его. Тогда он начал принимать кокетливые позы, чтобы ввести Вильсона в заблуждение, а через некоторое время спрятался и снова переоделся в платье матери. Затем осторожно, стараясь не шуметь, спустился с лестницы, потихоньку вышел через черный ход и отправился в центр города — на разведку места своих будущих операций.

Но его мучила тревога. Чтобы усилить маскировку, он, сгорбившись, плелся старушечьей походкой. Если Вильсон и продолжает шпионить, то у него вряд ли возникнут подозрения при виде жалкой старухи, вышедшей чуть свет из дома соседей с черного хода. А вдруг Простофилю все-таки что-то заподозрил и последовал за ним? При этой мысли Том похолодел. Он решил на сегодня отложить грабеж и поспешно зашагал к дому с привидениями, петляя по самым глухим улицам. Матери своей он не застал, но она вскоре вернулась с сообщением о замечательном приеме у Пэтси Купер и сумела быстро убедить

Тома, что сама судьба ниспосылает ему такой превосходный случай. И Том, преодолев свой страх, пошел и успел весьма недурно поживиться за то время, пока весь народ находился у Пэтси Купер. Удача приободрила его, придала такую отвагу, что, передав матери в безлюдном переулке всю свою добычу, он тоже отправился на прием к Пэтси Купер и сумел прибавить к награбленному несколько ценных вещиц из ее дома.

После столь пространныго отступления мы наконец возвращаемся к тому моменту, когда Простофиля Вильсон, в ожидании близнецов, сидел и гадал, что за странное видение явилось ему в это утро — девушка в комнате Тома Дрисколла, Но сколько Вильсон ни злился, сколько ни ломал голову, он так и не догадался, кто была эта молодая бесстыдница.

Глава XI

Поразительное открытие Простофили

Существуют три безошибочных способа доставить удовольствие писателю; вот они в восходящем порядке: 1) сказать ему, что вы читали одну из его книг; 2) сказать ему, что вы читали все его книги; 3) просить его дать вам прочесть рукопись его будущей книги.

№ 1 заставит его уважать вас; № 2 заставит его хорошо относиться к вам; № 3 завоюет вам прочное место в его сердце.

Календарь Простофили Вильсона

По поводу имени прилагательного:

Коли чувствуешь сомненье,
Зачеркни без сожаленья.

Календарь Простофили Вильсона

Но вот явились близнецы, и потекла беседа. Это была приятная, откровенная беседа, которая помогает упрочить дружбу. По просьбе гостей Вильсон достал свой календарь и прочел несколько заметок, и они удостоились горячей похвалы. Это доставило автору такое удовольствие, что в ответ на просьбу близнецов дать им почитать календарь дома он с радостью вручил им всю пачку своих листков. В своих скитаниях по свету братья убедились, что существуют три верных способа доставить автору удовольствие, и сейчас прибегли к самому действенному из всех трех.

Внезапно их беседа была прервана. Вошел Том Дрисколл и присоединился к компании. Пожимая знатным иностранцам руки, он прикинулся, что видит их впервые, хотя на самом деле уже видел их мельком на приеме у вдовы Купер, когда обворовывал ее дом.

Каждый из близнецов отметил про себя, что у Тома холеное и довольно красивое лицо и в движениях его нет угловатости: они плавны и, пожалуй, даже изящны. Анджело понравился его взгляд, но Луиджи показалось, что он подметил в нем что-то затаенное и хитрое; Анджело нашел, что у Тома приятная, свободная манера речи, но Луиджи счел ее даже чересчур свободной. Анджело мысленно назвал его довольно симпатичным молодым человеком, но Луиджи воздержался пока от выводов. Том вмешался в беседу, задав Вильсону вопрос, который повторял уже раз сто. Он всегда делал это в тоне добродушной шутки, однако всегда причинял этим Вильсону боль, ибо касался его тайной раны; сегодня же боль была особенно чувствительной, потому что присутствовали посторонние.

— Ну как, юрист? Нашлось для вас какое-нибудь дельце, а?

Вильсон прикусил губу, но, стараясь казаться равнодушным, ответил:

— Пока нет.

Судья Дрисколл великодушно умолчал об юридическом образовании Вильсона, когда рассказывал близнецам его биографию.

Том весело рассмеялся и пояснил:

— Джентльмены, Вильсон — юрист, но у него нет практики.

Несмотря на ядовитый сарказм этого замечания, Вильсон сдержался и сказал спокойным тоном:

— Верно, у меня нет практики. Верно, мне ни разу не поручали ни одного процесса, и вот уже двадцать лет, как я должен зарабатывать себе на хлеб, приводя в порядок счетные книги, — да и это бывает не так часто, как хотелось бы мне. Но скажу вам не хвалясь: у меня хорошая юридическая подготовка. В твоём возрасте, Том, я уже избрал себе профессию и вскоре обладал достаточными знаниями, чтобы применить их на деле. — Том поморщился, а Вильсон продолжал: — Я пока еще не получил возможности испытать свои силы на этом поприще, может быть никогда и не получу, но зато уж если получу, то в грязь лицом не ударю, потому что все годы я не переставал совершенствовать свои познания в этой области.

— Вот! Вот! Железная выдержка! Мне это нравится! Знаете, что я надумал? Поручить вам все свои дела. Мои дела да ваш юридический опыт — вот это будет весело! Верно, Дэв? — И Том захохотал.

— Если бы мне поручили... — Вильсон вдруг вспомнил девушку в спальне, и ему очень захотелось сказать: «Если бы мне поручили ту подозрительную часть твоих дел, которую ты держишь в тайне, мне бы работенки хватило!» Но он вовремя одумался и проговорил: — Впрочем, это не тема для общей беседы.

— Ладно, поговорим о другом; я чувствую, вы хотели подпустить мне какую-то шпильку, так что я рад переменить разговор. Как процветает ваша Жуткая Тайна? Господа, Вильсон задумал вытеснить с рынка все обыкновенное оконное стекло и заменить его стеклом с узорами от жирных пальцев; он собирается стать богачом — будет продавать это стекло по бешеным ценам коронованным особам Европы для украшения дворцов. Ну-ка, покажите свою коллекцию, Дэв!

Вильсон принес три стеклянные пластинки и сказал:

— Я прошу собеседника провести правой рукой по волосам, чтобы пальцы покрылись тонким слоем естественного жира, а затем приложить кончики пальцев к стеклу. На стекле отпечатается тончайшая паутина линий, и она может сохраниться навсегда, если уберечь стекло от трения о другие предметы. Начнем с тебя, Том!

— А ведь вы, кажется, уже два снимали у меня отпечатки пальцев?

— Правильно, снимал, но это было давно, когда тебе было лет двенадцать.

— Ага. Разумеется, с тех пор у меня все изменилось, а коронованным особам необходимо разнообразие!

Том провел всей пятерней по своим густым, коротко остриженным волосам, потом прижал поочередно каждый палец к стеклянной пластинке. Анджело сделал отпечатки своих пальцев на другой пластинке, Луиджи — на третьей. Вильсон подписал снизу имена, месяц и число и убрал свои стеклышки. Том хихикнул и сказал:

— Не мое дело вмешиваться, но если вы гонитесь за разнообразием, то вы зря испачкали одно стекло. Ведь у близнецов отпечатки одинаковые!

— Ну, теперь уж поздно говорить об этом, да и мне хотелось иметь от каждого из них отдельно память, — отвечал Вильсон, снова садясь на свое место.

— Кстати, Дэв, — не унимался Том, — раньше вы, бывало, предсказывали судьбу тех, у кого брали отпечатки пальцев. Да будет вам известно, джентльмены, что Дэв у нас вообще гений, прирожденный гений, великий ученый, зря прозябающий в этом захолустье, пророк, которого постигла участь всех пророков в своем отечестве. Ведь людям здесь наплевать на всякую ученость; наоборот, они считают, что у него голова набита глупостями. Разве не так, а, Дэв? Но ничего, он еще оставит после себя след... я хотел сказать — след от пальцев, ха-ха-ха! Нет, правда, попросите его когда-нибудь взглянуть мельком на ваши ладони: замечательное представление и почти задаром. Не понравится, можете получить деньги обратно! Он прочитает каждую складочку у вас на ладони, точно по книге, и назовет не только пятьдесят — шестьдесят событий, которые вас ждут, но даже пятьдесят —

шестьдесят тысяч, которые не ждут. Ну-ка, Дэв, докажите этим джентльменам, что в нашем городе имеется талантливый, разносторонний ученый, о существовании которого никто не подозревает!

Вильсон морщился от назойливой и не очень-то вежливой болтовни, и гости сострадательно поглядывали на него. Они правильно решили, что лучший способ помощи Вильсону — это принять все услышанное всерьез и с уважением; и вот, пропустив мимо ушей довольно плоские остроты Тома, Луиджи сказал:

— За время наших странствий мы немного познакомились с хиромантией и отлично знаем, какие изумительные тайны может она раскрыть. Уж если это не наука и не одна из самых великих, тогда не знаю, чем ее и считать. На Востоке, например...

Поглядев на него удивленно и с недоверием, Том сказал:

— Вы называете это шарлатанство наукой? Да вы, верно, шутите!

— Нисколько. Четыре года назад нам прочитали всю нашу жизнь по руке, как по книге.

— То есть вы хотите сказать, что это было похоже на правду? — спросил Том, уже не так недоверчиво.

— Еще бы! — ответил Анджело. — Нам описали наши характеры с такой изумительной точностью, что мы и сами не сумели бы сделать это точнее. И вдобавок прочли по руке два-три события, о которых, кроме нас, не знала ни одна душа.

— Впрямь колдовство какое-то! — воскликнул Том, загораясь любопытством. — Ну а как насчет будущего, это вам тоже правильно предсказали?

— В общих чертах довольно правильно, — ответил Луиджи. — Кое-какие события в самом деле совершились, как было предсказано, причем наиболее важное из них — в том же году. И некоторые мелкие предсказания исполнились тоже, хотя кое-что и не исполнилось и, возможно, даже никогда не исполнится; впрочем, я скорее буду удивлен, если это не случится, чем наоборот.

С Тома слетело все шутовство: то, что он услышал, произвело на него сильнейшее впечатление. Он сказал, как бы извиняясь:

— Дэв, я не хотел умалить вашу науку: я просто болтал, скажем прямо — трепал языком. Мне ужасно хочется, чтобы вы взглянули на их ладони. Ну пожалуйста, прошу вас!

— Ладно, я готов исполнить твою просьбу, но помни, что я ведь не имел возможности стать знатоком этого дела, да я и не претендую на особый опыт. Если какой-нибудь случай из прошлого более или менее явно отпечатался на ладони, я обычно могу его обнаружить, но прочее частенько ускользает от меня, — не скажу, что всегда, но довольно часто. Что же касается предсказания будущего, то здесь я себе не очень-то доверяю. Не думайте, что я каждый день занимаюсь хиромантией, отнюдь нет. За последние пять-шесть лет я не обследовал даже пяти-шести рук; понимаете, люди начали подшучивать, и я решил это дело бросить, покуда не кончатся пересуды. Давайте условимся так, граф Луиджи: я попытаюсь прочесть ваше прошлое, и если сделаю это успешно... нет, все равно, даже тогда я не стану касаться будущего: пусть этим занимаются специалисты.

Он взял руку Луиджи.

— Погодите, Дэв, — сказал Том. — Пока не начинайте! Граф Луиджи, вот вам карандаш и бумага. Запишите здесь то самое важное событие, которое, как вы говорили, было вам предсказано и совершилось в том же году. Запишите это и дайте мне, чтоб я смог проверить Дэва.

Загоравшаяся рукой бумагу, чтобы другие не увидели, что он пишет, Луиджи нацарапал несколько слов и, сложив листок, подал его Тому со словами:

— Если он угадает, я скажу вам, и вы прочтете.

Вильсон погрузился в изучение ладони Луиджи — нашел линию жизни, линию сердца, линию головы и так далее и проследил их связь с паутиной более тонких и малоприметных линий, расходившихся в разные стороны; он пощупал мясистый бугор у основания большого пальца и отметил про себя его форму, а также той части ладони, которая находилась между запястьем и основанием мизинца; потом внимательнейшим образом осмотрел все пальцы, их

форму, соотношение между собой и то, как они располагаются, когда рука находится в состоянии покоя. Остальные трое наблюдали эту процедуру, затаив дыхание: все они склонились над ладонью Луиджи, ни единым звуком не нарушая тишины. А Вильсон уже во второй раз, но все так же внимательно, обследовал ладонь и только потом начал излагать результаты своих наблюдений.

Он описал характер Луиджи, его наклонности, симпатии и антипатии, стремления и маленькие чудачества, и все это так, что Луиджи стал морщиться, а остальные — смеяться. Впрочем, оба брата заявили, что портрет написан мастерски и очень похож.

Затем Вильсон приступил к описанию жизни Луиджи. Он говорил осторожно, с запинкой, медленно водя пальцем по главным линиям ладони, время от времени задерживаясь на какой-нибудь «звездочке» и пристально разглядывая все линии по соседству с ней. Он назвал два-три прошлых события, и Луиджи подтвердил правильность его слов. Обследование продолжалось. Внезапно Вильсон удивленно поднял голову.

— Вот здесь отмечено одно событие, о котором вам, вероятно, не хотелось бы...

— Ничего, говорите! — добродушно сказал Луиджи. — Обещаю вам, что меня это не смутит.

Но Вильсон все еще колебался и не знал, что ему делать. Потом сказал:

— По-моему, это слишком деликатное дело. Лучше уж я напишу или шепну вам на ухо, и тогда вы сами решите, говорить ли мне об этом, или нет.

— Отлично, — согласился Луиджи, — пишите!

Вильсон написал что-то на листке бумаги и отдал Луиджи, тот прочел и обратился к Тому:

— Мистер Дрисколл, разверните-ка ваш листок и прочтите его вслух.

Том прочел:

— *«Мне было предсказано, что я убью человека. Это свершилось в том же самом году»*. Ах ты черт! — воскликнул он.

Затем Луиджи дал ему записку Вильсона и сказал:

— А теперь прочтите вот это!

Том прочел:

— *«Вы убили кого-то, но я не могу разобрать, мужчину, женщину или ребенка»*.

— Ого! — воскликнул Том в изумлении. — Первый раз в жизни слышу что-нибудь подобное. Выходит, своя собственная рука — смертельный враг! Подумать только — на руке остаются следы самых глубоких, можно сказать роковых тайн, и эта рука-предательница готова выдать их первому встречному, промышляющему черной магией! Но зачем же вы показываете свою руку, если на ней написаны такие страсти?

— А мне-то что? — спокойно сказал Луиджи. — Пусть знают! У меня были основания убить этого человека, и я ни о чем не жалею.

— Что же это за основания?

— Ну... в общем он это заслужил.

— Я вам сейчас расскажу, почему он его убил, раз он сам не хочет, — взволнованно заговорил Анджело. — Он это сделал, чтоб спасти мою жизнь, — вот почему. Значит, это был благородный поступок, а не то, что надо таить.

— Правильно, правильно! — сказал Вильсон. — Если это было сделано для спасения жизни брата, то это был великий и благородный поступок.

— Полноте! — возразил Луиджи. — Мне очень приятно это слышать, но на поверку тут нет ни бескорыстия, ни великодушия, ни героизма. Вы забываете об одном: допустим, я не спас бы жизни Анджело, что стало бы тогда со мной? Если бы я позволил тому человеку убить его, он наверняка убил бы и меня тоже! Значит, я спас собственную жизнь.

— Ну, это одни слова! — сказал Анджело. — Уж я-то тебя знаю и не поверю, что ты тогда хоть на миг подумал о себе. У меня хранится оружие, которым Луиджи убил этого человека, когда-нибудь я вам его покажу. Этот кинжал, еще до того, как он попал в руки Луиджи, имел свою долгую историю. Его подарил моему брату индийский раджа, гаеквар

Бароды: кинжал этот хранился в его семье не то двести, не то триста лет. Им было убито довольно много дурных людей, которые нарушали покой самого раджи и его предков. На вид оружие это ничем особенным не отличается, разве только тем, что оно не похоже на обычные кинжалы или ножи, — сейчас я вам его нарисую. — Анджело взял лист бумаги и принялся быстро чертить. — Вот так: широкий, зловещего вида клинок, с краями, острыми, как бритва. На клинке выгравированы знаки и имена прежних владельцев. Я добавил сюда имя Луиджи латинскими буквами и изобразил, как видите, наш герб. Обратите внимание, какая у него странная рукоять. Она сделана из цельной слоновой кости и отполирована, как зеркало, длина ее — четыре-пять дюймов, она круглая и толстая, как кисть мужской руки, а сверху плоская, чтобы удобнее было упираться большим пальцем; вы хватаете кинжал, кладете на это место большой палец, заносите над головой и ударяете сверху вниз. Гаеквар показал нам, как им пользоваться, когда дарил его брату, и в ту же самую ночь Луиджи пришлось воспользоваться этим оружием, а у гаеквара стало одним слугой меньше. Ножны кинжала отделаны великолепными драгоценными камнями. И конечно, ножны гораздо интереснее, чем сам кинжал.

Том подумал: «Какое счастье, что я пришел сюда. Я бы продал этот кинжал за гроши: ведь я-то думал, что это стекляшки, а не драгоценные камни!»

— Ну, а дальше что? Почему вы замолчали? — сказал Вильсон. — Мы сгораем от любопытства, расскажите об этом убийстве, пожалуйста!

— Коротко говоря, во всем виноват кинжал. Той же ночью слуга-туземец проскользнул к нам в комнату во дворце с целью убить нас и украсть кинжал, несомненно ради этих драгоценных камней на ножнах. Луиджи положил кинжал под подушку, а спали мы с ним в одной постели. В комнате горел лишь тусклый ночник. Я спал, а Луиджи — нет; и вдруг он заметил во мраке приближающуюся фигуру. Он выхватил кинжал из ножен и держал его наготове, — ничто не мешало ему: было очень жарко, и мы лежали нагишом. Через несколько мгновений у нашего изголовья выросла фигура туземца. Он склонился ко мне и занес правую руку с ножом над моей головой. Но Луиджи схватил его за кисть, рванул к себе и вонзил кинжал ему в горло. Вот и вся история.

Только тут Вильсон и Том перевели дух. Еще некоторое время этот трагический случай оставался предметом беседы, потом вдруг Простофилия взял Тома за руку и сказал:

— А знаешь, Том, как ни странно, я никогда не видел твоих ладоней. Может быть, и у тебя есть какие-нибудь маленькие подозрительные тайны, которые нуждаются в... Что с тобой?

Том резко отдернул руку, на лице его отразилось смятение.

— Смотрите, он покраснел! — удивился Луиджи.

Том метнул на него злобный взгляд и грубо выпалил:

— Даже если и так, это еще не значит, что я убийца.

Смуглое лицо Луиджи залилось краской, но прежде чем он успел вымолвить слово или вскочить, Том испуганно воскликнул:

— Тысячу раз прошу прощения! Это вырвалось у меня нечаянно, необдуманно, я очень, очень сожалею. Пожалуйста, простите меня!

Вильсон всеми силами старался загладить эту неловкость, и близнецы охотно простили Тому его грубый выпад по адресу Луиджи из жалости к хозяину, видя, как он расстроен бестактностью Тома. Однако сам обидчик не успокоился. Он делал вид, будто все в порядке, и внешне это ему довольно хорошо удавалось, хотя в душе он был очень зол, потому что эти трое стали свидетелями его неосторожного поведения; но, ругая их, он и не подумал пенять на себя самого за то, что дал им повод к подозрению. Тут его выручил счастливый случай, и Том опять подобрел и почувствовал прилив великодушия. Дело в том, что между близнецами возникла ссора, вернее не столько ссора, сколько небольшой спор, и, слово за слово, начались взаимные упреки. Том был в восторге, это его до такой степени обрадовало, что он принялся осторожно подливать масла в огонь, делая при этом вид, что руководствуется совсем иными, благородными побуждениями. При его содействии огонь

превратился в пламя, и, возможно, ему удалось бы увидеть настоящий пожар, если бы вдруг не раздался стук в дверь, рассердивший его в той же мере, в какой он обрадовал хозяина. Вильсон отпер дверь. В дом вошел Джон Бэкстон — полный кипучей энергии, добродушный и невежественный старик ирландец, оплот политической мысли в провинциальных масштабах, всегда принимавший горячее участие в любых общественных мероприятиях. В этот период в городке шли бурные дебаты по поводу употребления рома. Возникли две сильные партии: одна в защиту рома, другая — против. Так как Бэкстон был видным деятелем первой, его послали найти братьев-близнецов и пригласить их на массовый митинг поборников рома. Он выполнил поручение, сообщив, что кланы уже сходятся в большом зале над крытым рынком. Луиджи любезно принял приглашение. Анджело — менее любезно, ибо он не любил больших скоплений народа и не пил американских горячительных напитков, более того — иногда, если это представляло для него выгоду, он вообще становился трезвенником.

Близнецы пошли вместе с Бэкстоном, а Том Дрисколл последовал за ними, не дожидаясь приглашения.

Еще издали можно было заметить длинную извилистую линию горящих факелов, двигавшихся по главной улице, оттуда доносились глухие удары барабанов, звон цимбал, попискивание флейт и слабый гул далекого «ура». Когда близнецы подошли к рынку, хвост процессии уже взбирался на лестницу; наверху в зале было полно народу, и всюду факелы, дым, шум, гам, ликование. Бэкстон провел близнецов на трибуну, — Том Дрисколл по-прежнему следовал за ними, — и передал их председателю под бурю приветственных аплодисментов. Когда шум немного поутих, председатель предложил:

— Изберем наших высоких гостей почетными членами нашей замечательной организации, являющей собой рай для свободных людей и ад для рабов.

Красноречие председателя снова открыло шлюзы энтузиазма, и с громоподобным единодушием избрание состоялось. Затем послышался рев голосов:

— Вспрыснуть! Вспрыснуть! Дайте им выпить!

Близнецам поднесли по стакану виски. Луиджи поднял свой стакан над головой, затем поднес ко рту; но Анджело сразу поставил свой стакан на стол. Это вызвало новый шум:

— А второй-то почему не пьет? Почему блондин нас подводит? Требуем объяснения!

Председатель навел справки, а затем объявил:

— К сожалению, джентльмены, произошло недоразумение: оказывается, граф Анджело Капелло наш противник — он не признает рома и не намеревался вступать в наше общество. Он просит считать его избрание недействительным. Каково будет решение почтенного собрания?

Тут поднялся оглушительный хохот, свист и улюлюканье; впрочем, энергичный стук председательского молотка вскоре восстановил некое подобие порядка. Затем какой-то человек с места заявил, что, хотя он весьма сожалеет о происшедшей ошибке, тем не менее исправить ее на этом же собрании невозможно. По существующему уставу, вопрос теперь может быть решен только на следующем очередном собрании. Сам он не вносит никаких предложений, это и не требуется. Он желает от имени собрания принести джентльмену извинения и заверяет его, что Сыны Свободы сделают все, что в их силах, дабы временное пребывание в числе членов общества доставило ему удовольствие.

Он кончил речь под гром аплодисментов, сопровождавшихся возгласами: «Правильно!», «Все равно он славный парень, хоть и трезвенник!», «Выпьем за его здоровье!», «Ну-ка, тост и песню, ребята!»

Роздали стаканы, и все присутствующие на трибуне вылили за здоровье Анджело, в то время как публика в зале редела на разные голоса:

Он очень славный парень,
Он очень славный парень,
Он очень славный парень,

Никто не скажет «нет».

Том Дрисколл тоже выпил. Это был его второй стакан, так как он успел выпить стакан Анджело, едва тот поставил его на стол. От этих двух порций он заметно повеселел и стал принимать живейшее участие во всем, но главным образом — в пении, улюлюканье и ехидных замечаниях.

Председатель стоял на трибуне лицом к публике, а близнецы — по обеим его сторонам. Удивительное сходство между братьями побудило Тома Дрисколла сострить: шагнув вперед и перебивая председателя, он с пьяной развязностью обратился к публике:

— Вношу предложение, ребята! Лишим его слова. Пусть лучше эта ненатуральная двойняшка разразится речью.

Это хлесткое выражение понравилось, и зал снова загоготал.

Южная кровь Луиджи закипела от оскорбления, нанесенного ему и брату в присутствии четырехсот человек. А он был не из тех, кто спускает обиду или откладывает расплату. Он зашел сзади ничего не подозревающего шутника, нацелился и с такой титанической силой дал ему пинка, что тот перелетел через рампу и свалился прямо на головы Сынов Свободы, сидевших в первом ряду.

Даже трезвому неприятно, когда ему на голову без всякой причины сбрасывают откуда-то сверху человека, а уж нетрезвый-то и вовсе не потерпит таких преувеличенных знаков внимания. В том гнезде, куда Дрисколл попал, не было ни одной трезвой птицы; да и во всем зале, пожалуй, все были хоть чуточку да под хмельком. Дрисколла тут же с возмущением перебросили дальше — на головы Сынов Свободы, сидевших в следующем ряду, те же Сыны в свою очередь швырнули его дальше — и так до самого последнего ряда; причем каждый, кто его получал, набрасывался с кулаками на того, кто его швырял. Так, не пропустив ни одного ряда, Дрисколл, кувыркаясь в воздухе, как акробат, долетел до дверей, оставив позади разъяренную, жестикулирующую, дерущуюся и охрипшую от ругани аудиторию. Один за другим валились на пол факелы... — и вдруг, заглушая отчаянный стук председательского молотка, яростный гул голосов и треск ломающихся скамеек, раздался душераздирающий вопль: «Пожар!»

И сразу же прекратились драка и ругань; там, где только что бушевала буря, на миг воцарилась мертвая тишина, и все словно окаменели. А в следующую минуту вся человеческая масса ожила, пришла в движение и в едином порыве ринулась к выходам, напирая друг на друга, кидаясь то вправо, то влево; и только когда передний край начал таять за дверями и окнами, давление постепенно ослабло.

Никогда еще пожарные не являлись так быстро к месту происшествия, — правда, на этот раз бежать было недалеко: пожарная часть помещалась тут же, позади рынка. Пожарные делились на две группы: одна для тушения пожаров, а другая спасательная. В каждой — по моральным и политическим принципам захолустных городков того времени — было поровну и трезвенников и пьющих. Когда начался пожар, в части околачивалось изрядное число противников рома. В две минуты они нарядились в красные рубахи и шлемы (никто из них не позволил бы себе появиться в официальном месте в неофициальном костюме!), и когда участники митинга стали прыгать из окон на крышу рынка, спасатели встретили их мощной струей воды, которая одних смыла с крыши, а других едва не потопила. Но лучше вода, чем огонь, и бегство через окна продолжалось, а безжалостные пожарные орудовали с неослабевающим рвением, покуда зал не опустел; тогда пожарные ринулись внутрь и затопили все морем воды, какого хватило бы, чтобы потушить пламя в сорок раз сильнее, — ведь деревенская пожарная команда не часто получает возможность проявить свое искусство, а уж когда получает, то старается блеснуть вовсю. Те граждане Пристани Доусона, которые причисляли себя к категории солидных и рассудительных, не страховались от пожара, — они страховались от пожарной команды.

Глава XII

Позор судьи Дрисколла

Храбрость — это сопротивление страху, подавление страха, а не отсутствие страха. Если человек не способен испытывать страх, про него нельзя сказать, что он храбр, — это было бы совершенно неправильным употреблением эпитета. Взять к примеру блоху: она считалась бы самой храброй божьей тварью на свете, если бы неведение страха было равнозначно храбрости. Она кусает вас и когда вы спите, и когда вы бодрствуете, и ей невдомек, что по своей величине и силе вы для нее то же, что все армии мира вкупе для новорожденного младенца; блоха живет день и ночь на волосок от гибели, но испытывает не больше страха, чем человек, шагающий по улицам города, находившегося десять веков назад под угрозой землетрясения. Когда говорят о Клайве, Нельсоне и Путнэме как о людях, «не ведавших страха», то непременно надо добавить к списку блоху, поставив ее на первое место.

Календарь Простопили Вильсона

В пятницу судья Дрисколл лег спать около десяти часов вечера, встал наутро чуть свет и отправился на рыбную ловлю со своим другом Пемброком Говардом. Оба они провели свое детство в Виргинии, считавшейся в те времена самым главным и блистательным из всех штатов, и они по привычке, говоря о родной Виргинии, добавляли с гордостью и нежностью прилагательное «старая». Здесь, в Миссури, человек родом из старой Виргинии почитался высшим существом, а если он мог к тому же доказать, что происходит от Первых Поселенцев Виргинии, этой великой колонии, то его почитали чуть ли не сверхчеловеком. Говарды и Дрисколлы принадлежали именно к такой знати. В их глазах это было своего рода дворянство — со своими законами, хоть и неписанными, но столь же строгими и столь же четко выраженными, как любые законы, напечатанные в числе статутов государства. Потомок ППВ был рожден джентльменом; высший долг своей жизни он усматривал в том, чтобы хранить как зеницу ока сие великое наследие. Его честь должна была оставаться незапятнанной. Для него эти законы были компасом, они определяли курс его жизни. Если он отклонялся от них даже на полрумба, его чести грозило кораблекрушение, — то есть он мог утратить звание джентльмена. Эти законы требовали от него кое-каких поступков, которые его религия, возможно, и запрещала, — но в таких случаях уступать обязана была религия, ибо законы ППВ не подлежали смягчению ни ради религии, ни ради чего бы то ни было на свете. Честь стояла на первом месте, и в законах джентльмена было с точностью сформулировано, что она собой представляет и какими особыми чертами отличается от того понятия чести, которое признают те или иные религии и общественные законы и обычаи остальной, меньшей части земного шара, потерявшей значение после того, как были намечены священные границы штата Виргиния.

Если судья Дрисколл считался первым человеком в городе, то второе место, несомненно, занимал Пемброк Говард. Говарда называли «великим юристом», и это прозвище он заслуживал. Они с Дрисколлом были однолетки — и тому и другому было не то шестьдесят один, не то шестьдесят два года.

Хотя Дрисколл был свободомыслящим, а Говард — убежденным и непоколебимым пресвитерианином, это не мешало их прочной дружбе. Каждому из них были присущи свои собственные взгляды на жизнь, которые никто, даже друзья, не осмеливался не только критиковать и исправлять, но и подвергать обсуждению.

Наловив рыбы, Дрисколл и Говард плыли вниз по течению в лодке, обсуждая политику и другие высокие материи. Через некоторое время им навстречу попала другая лодка, и сидевший в ней человек сказал:

— Вы небось слышали, судья, как вчера вечером один из этих приезжих близнецов дал пинка в зад вашему племяннику?

— Дал... что?

— Дал пинка в зад, говорю.

Губы старика побелели, глаза загорелись огнем. На миг он едва не задохнулся от гнева, потом кое-как выдал из себя:

— Ну-ка, ну-ка, расскажи! И поподробнее, пожалуйста!

Тот рассказал. Когда он кончил, судья с минуту молчал, представляя себе картину позорного полета Тома с трибуны, затем, как бы размышляя вслух, произнес:

— Гм, ничего не понимаю. Я был дома и спал. Он меня не разбудил. Вероятно, решил, что обойдется без моей помощи. — При этой мысли лицо его просияло от радости и гордости, и он сказал с бодрой уверенностью: — Вот это мне нравится, настоящая виргинская кровь! Не правда ли, Пемброк?

Говард улыбнулся железной улыбкой и одобрительно кивнул.

Тут вестник в лодке заговорил снова:

— Зато Том побил этого молодца на суде.

Дрисколл оторопело посмотрел на собеседника:

— На суде! Какой мог быть суд?

— Как же, Том потащил его к судье Робинсону за оскорбление действием!

Старик сразу как-то сжался и, словно получив смертельный удар, покачнулся. Видя, что он теряет сознание и вот-вот упадет, Говард вскочил, подхватил его и уложил на дно лодки. Он брызнул ему в лицо водой и сказал опешившему рассказчику:

— Плывите своей дорогой, не надо, чтобы он вас видел, когда очнется. Видите, как подействовала на него ваша необдуманная болтовня! Надо быть осторожнее и не распространять столь легкомысленно клевету.

— Честное слово, мистер Говард, мне очень жаль... Я виноват, что ляпнул, не подумав, — но это не клевета, а чистая правда.

И он поплыл дальше. Скоро старый судья пришел в чувство и жалобно посмотрел на склонившегося к нему встревоженного друга.

— Скажите мне, что это неправда, Пемброк! Скажите, что все это неправда! — взмолился он.

И густой, полновзвучный бас ответил ему без колебания:

— Мой друг, вы понимаете не хуже меня, что это ложь. Ведь в жилах вашего племянника течет лучшая кровь Первых Поселенцев!..

— Благослови вас господь, вы меня утешили! — с жаром воскликнул старик. — Пемброк, я потрясен!

Говард остался со своим другом, проводил его домой и даже вошел в комнату. Было темно, все давно уже отужинали, но судья и не думал о еде, ему не терпелось услышать из первых уст, что все это клевета; и он хотел, чтобы Говард услышал это тоже. Послали за Томом, который тотчас явился. Он хромал, был весь в ссадинах и кровоподтеках и вид имел далеко не веселый. Дядя приказал ему сесть.

— Нам уже рассказали, Том, что с тобой приключилось, и, конечно, ради красного словца еще основательно приврали. Развей же эти вымыслы! Говори, какие меры ты принял? В каком положении сейчас дело?

Том простодушно ответил:

— Да ни в каком: все кончено. Я подал на него в суд и выиграл дело. Защищал его Простофиля Вильсон — это был его первый процесс за всю жизнь, — и он проиграл: судья приговорил это жалкое ничтожество к штрафу в пять долларов за оскорбление действием.

Уже при первых его словах Говард и Дрисколл инстинктивно вскочили на ноги и стояли, растерянно смотря друг на друга. Потом Говард печально и безмолвно сел на прежнее место. Но Дрисколл, не в силах сдержать свой гнев, разразился целым потоком ругательств:

— Ах ты щенок! Мерзавец! Ничтожество! Не хочешь ли ты мне сказать, что тебе, отпрыску нашего славного рода, нанесли побои, а ты побежал жаловаться в суд? Отвечай,

да?

Том понурил голову, и его молчание было красноречивее слов. На дядюшку было жалко смотреть: его взгляд, устремленный на Тома, выражал изумление, недоверие и стыд.

— Который это был из близнецов? — спросил он.

— Граф Луиджи.

— Ты вызвал его на дуэль?

— Не-ет, — бледнея, пробормотал Том.

— Сегодня же вечером вызовешь! Говард передаст ему вызов.

Том почувствовал себя нехорошо — это было видно по его лицу; он безостановочно вертел в руке свою шляпу. Потянулись гнетущие секунды молчания; взгляд дяди, прикованный к нему, становился все суровее и суровее; и наконец, еле ворочая языком, племянник взмолился:

— О дядюшка, не требуйте от меня этого! Он сущий убийца... я не смогу... я... я боюсь его!

Старик три раза открывал рот, но слова застревали у него в горле; потом плотина все-таки прорвалась:

— В моей семье завелся трус! Один из Дрисколлов трус! О, какое же прегрешение я совершил, чтобы заслужить такой позор?!

Шатаясь, он подошел к секретеру в углу, с теми же душераздирающими причитаниями вытащил из одного ящика какую-то бумагу и, шагая взад и вперед по комнате, стал медленно рвать ее на мелкие куски и бросать их себе под ноги. Потом, немного успокоившись, сказал:

— Гляди, я вторично уничтожаю свое завещание! Ты снова вынудил меня лишиться тебя наследства, подлый сын благороднейшего из людей! Прочь с глаз моих! Уйди, не то я плюну тебе в лицо!

Молодой человек не стал мешкать. Судья обратился к Говарду:

— Друг мой, согласны ли вы быть моим секундантом?

— Разумеется!

— Вон там перо и бумага. Пишите вызов на дуэль, не теряя времени.

— Он будет вручен графу через четверть часа, — заверил его Говард.

На сердце Тома легла тяжесть. Вместе с богатством и самоуважением у него пропал и аппетит. Он вышел из дому черным ходом и печально побрел по глухому переулку, раздумывая над тем, удастся ли ему, даже если он будет вести себя сверхпочтительно и в высшей степени примерно, снова завоевать расположение дяди и упросить его еще раз восстановить щедрое завещание, которое тот только что уничтожил у него на глазах. В конце концов Том пришел к заключению, что удастся. Ведь добился же он этого однажды, а то, что сделано один раз, может быть сделано и вторично. Он этим займется. Он употребит на это всю свою энергию и снова добьется успеха, даже если придется ему, любителю свободы, отказаться от каких-то удобств, даже если понадобится в чем-то ограничить свое привольное житье.

«Того, что я наворовал в городе, хватит, чтобы расплатиться с долгами, — размышлял он, — но на картах надо поставить крест раз и навсегда. Из всех моих пороков — это самый страшный, по крайней мере так мне кажется, потому что дяде легче всего дознаться об этом по милости нетерпеливых кредиторов. Он думает, что двести долларов, которые ему пришлось один раз уплатить за меня, это много. Так ли уж много, если я ставил на карту все его богатство! Но эта мысль, конечно, ему никогда не приходит в голову: ведь вот же есть люди, которые все меряют своей меркой! Если бы он знал, как я запутался в долгах, он уже давно бы выкинул ко всем чертям свое завещание, не дожидаясь этой истории с дуэлью. Триста долларов! Целый капитал! Слава богу, дядя никогда об этом не пронюхает! Вот выплачу этот долг — и буду спасен, и никогда больше не притронусь к картам. Во всяком случае, пока дядюшка жив, клянусь! Итак, Том, ты делаешь последнюю попытку исправиться — и ты победишь! Зато уж если потом проштрафишься, все пропало!»

Глава XIII

Том на краю гибели

Когда я раздумываю над тем, сколько неприятных людей попало в рай, меня охватывает желание отказаться от благочестивой жизни.

Календарь Простофили Вильсона

Октябрь — один из самых опасных месяцев в году для спекуляции на бирже. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль.

Календарь Простофили Вильсона

Так, скорбно беседуя с самим собой, Том миновал дом Простофили Вильсона, затем по переулку, вдоль которого тянулись огороженные пустыри, дошел до дома с привидениями и побрел обратно, то и дело мрачно вздыхая. Кто бы сейчас придал ему бодрости? Ровена! При этой мысли сердце его встрепенулось, но тут же упало: ведь ненавистные близнецы наверное там!

Проходя мимо обитаемой части дома Вильсона, Том заметил в гостиной свет. Что ж, на худой конец... Другие люди иной раз давали ему почувствовать, что он явился некстати, Вильсон же встречал его с неизменной вежливостью, а вежливость по крайней мере щадит твое самолюбие, даже если и не выдает себя за радушие. Вильсон услышал шаги на крыльце, покашливание.

«Кто, как не он, этот ветреный шалопай! Небось все приятели сегодня от него попрятались, кому охота водиться с этим дураком, после того как он так опозорился: трусишка, подал в суд за оскорбление личности!»

В дверь робко постучали.

— Войдите!

Вошел Том и, ни слова не говоря, повалился на стул. Вильсон спросил участливо:

— Что с тобой, мальчик? Зачем такое отчаяние? Не принимай все так близко к сердцу. Постарайся забыть этот пинок.

— О господи, — горестно откликнулся Том, — тут не в пинке дело, Простофиля! Тут кое-что другое, в тысячу раз хуже, в миллион раз хуже!

— Что именно, Том? Неужели Ровена дала тебе отставку?

— Нет, не она. Старик...

«Ага! — подумал Вильсон, сразу вспомнив таинственную девушку в спальне. — Дрисколлы начинают понемножку догадываться!» Но вслух он проговорил назидательно:

— Том, распушенность иногда приводит...

— Глупости, распушенность тут ни при чем! Он хотел, чтоб я вызвал на дуэль этого проклятого итальянского дикаря, а я не согласился.

— Понятно, это скорее в его духе, — как бы размышляя вслух, заговорил Вильсон. — Меня и то удивило, почему он не занялся этой историей вчера вечером и вообще разрешил тебе обращаться с таким делом в суд — хоть перед дуэлью, хоть после. Разве джентльмены решают такие дела судом? На твоего дядюшку это не похоже. Я не могу постичь, как это случилось.

— Да вот так и случилось, потому что он ничего не знал. Он уже спал вчера, когда я вернулся домой.

— И ты не разбудил его? Неужели правда, Том?

От этого разговора Тому не становилось легче. Он заерзал на стуле.

— Не пожелал я докладывать ему, вот и все, — вымолвил он наконец. — Старик собирался ехать на заре с Пемброком Говардом удить рыбу, и я решил так: если засажу близнецов в каталажку... — а я был в этом уверен, разве я мог думать, что они за такое чудовищное оскорбление отделаются каким-то пустяковым штрафом, — так вот я и решил:

если я засажу их в каталажку, они будут опозорены, и дядя не потребует, чтобы я дрался с такими темными личностями; наоборот, он даже не позволит...

— И тебе не стыдно, Том? Как ты можешь так относиться к своему доброму старому дядюшке? Выходит, я ему более надежный друг, чем ты; ведь если б я знал эти обстоятельства, то, прежде чем идти в суд, я поставил бы его в известность, чтобы он успел принять меры, как подобает джентльмену.

— Да неужели? — воскликнул Том с искренним удивлением. — Хотя это был ваш первый судебный процесс? Хотя вы прекрасно знаете, что процесс был бы отменен, прими только дядюшка меры? И вы прожили бы до конца своих дней в нищете и безвестности, вместо того чтобы стать, как сегодня, настоящим признанным адвокатом? Неужели вы и впрямь могли бы так поступить?

— Безусловно.

Том пристально взглянул на Вильсона, потом сокрушенно покачал головой и сказал:

— Я вам верю, честное слово. Не знаю почему, но верю. Слушайте, Простофиля Вильсон, да ведь вы самый большущий болван на свете!

— Очень благодарен!

— Не стоит благодарности.

— Итак, он потребовал, чтобы ты вызвал на дуэль этого итальянца, а ты отказался. Ты — позор славного рода! Я краснею за тебя, Том!

— Ну и ладно! Теперь уж все равно, раз он снова уничтожил завещание.

— Признайся, Том, не был ли он сердит на тебя за что-нибудь еще, кроме этого суда и отказа драться на дуэли?

Вильсон испытующе уставился на Тома, но тот глядел на него невинными глазами и ответил без запинки:

— Нет, только за это. Если бы он раньше сердился, то начал бы волынку вчера: у него как раз было подходящее настроение. Он возил этих идиотов близнецов по городу, показывал им достопримечательности, а воротившись домой, не мог найти серебряные часы своего отца, которые очень любит, хотя они давно не ходят; он их видел три-четыре дня назад и никак не мог вспомнить, куда их девал, и страсть как разволновался; а я возьми да и скажи, что, может, они не затерялись вовсе, а стянул их кто-нибудь; тут он совсем взбеленился и обозвал меня дураком, и я сразу понял, что он именно этого больше всего и боится, только признаться не хочет, ведь украденные-то вещи реже находятся, чем потерянные.

— Фью! — присвистнул Вильсон. — Список увеличивается!

— Список чего?

— Краж.

— Каких краж?

— Обыкновенных. Эти часы не потеряны, их украли. В городе опять начались кражи — такие же таинственные, как и в тот раз, помнишь?

— Да неужели?

— Точно, как дважды два четыре! А у тебя самого ничего не пропало?

— Нет. Впрочем, да — я не нашел серебряного пенала, который тетушка Мэри Прэтт подарила мне в прошлом году ко дню рождения.

— Вот увидишь, что и его украли!

— А вот и нет. Когда я сказал, что дядюшкины часы украли и получил за это нагоняй, я пошел к себе наверх, стал осматривать свою комнату и заметил, что пенала нет; но после я его нашел — он просто лежал в другом месте.

— Но ты уверен, что остальное все цело?

— Все более или менее ценное на месте. Вот еще не знаю, где мой золотой перстень. Он стоил доллара два или три. Но я поищу, он найдется.

— Думается мне, что нет. Уверяю тебя, это был вор. Кто там, войдите!

В комнату вошел судья Робинсон в сопровождении Бэкстона и городского констебля

Джима Блейка. Они сели, и после разных пустопорожних разговоров и болтовни о погоде Вильсон сказал:

— Кстати, мы сейчас обнаружили еще пропажу, если не две. У судьи Дрисколла украдены старинные серебряные часы, и вот у него, у Тома, кажется — золотое кольцо.

— Да, скверная история, — заметил судья Робинсон, — и чем дальше, тем все хуже. Пострадали Хэнксы, Добсоны, Пиллигрюзы, Ортоны, Грэнджерсы, Хейлсы, Фуллеры, Холкомы — да, собственно говоря, все, кто живет неподалеку от Пэтси Купер. У всех у них похищены разные безделушки, чайные ложечки и другие ценные мелочи, которые легко унести в карманах. Совершенно ясно, что вор воспользовался моментом, когда эти люди были на приеме у Пэтси Купер, а рабы толпились у забора, чтобы хоть украдкой повидать это представление, — вот тут-то он и похозяйничал беспрепятственно. Пэтси ужасно расстроена из-за соседей и особенно из-за жильцов, — до такой степени расстроена, что уж о своих потерях и не думает.

— Это один и тот же вор, — заявил Вильсон. — По-моему, сомневаться не приходится.

— Констебль Блейк придерживается другого мнения.

— Вот тут-то вы и ошибаетесь, Вильсон, — сказал Блейк. — Прежние ограбления совершил мужчина, хоть он нам и не попался в руки до сих пор, но по многим признакам мы, профессионалы, имеем возможность судить об этом. А на сей раз орудовала женщина.

Вильсон сразу же подумал о таинственной девушке. Она не выходила у него из головы. Но он и тут ошибся. Блейк продолжал:

— Это была сгорбленная старуха в трауре, под черной вуалью, с закрытой корзинкой в руке. Я видел ее вчера на пароме. Вероятно, живет в Иллинойсе; но где бы она ни жила, все равно я до нее доберусь, пусть не сомневается.

— Но с чего вы взяли, что это и есть воровка?

— А с того, что, во-первых, другой женщины не было, а во-вторых, один черномазый возчик, который в это время проезжал по улице, видел, как она входила и выходила из домов, и рассказал мне об этом, а именно эти-то дома и обчистили.

Все согласились, что такие косвенные улики можно считать вполне достаточными. Засим последовало продолжительное молчание. Первым заговорил Вильсон:

— Но одно хорошо: она не сможет ни продать, ни заложить драгоценный индийский кинжал графа Луиджи.

— Господи! — воскликнул Том. — Неужели и он пропал?

— Представьте себе, да.

— Хороший улов! Но почему вы думаете, что она не сможет ни продать, ни заложить его?

— А вот почему. После собрания Сынов Свободы всюду только и говорили: того обокрали, этого обокрали, и тетя Пэтси ждала близнецов, замирая от страха, как бы у них тоже не обнаружилась какая-нибудь пропажа. Действительно, оказалось, что пропал кинжал, и они тут же предупредили полицию и всех ростовщиков. Улов-то был хорош, да только рыбку продать не удастся: старушенцию сцапают.

— А они пообещали вознаграждение? — поинтересовался Бэкстон.

— Да. Пятьсот долларов за кинжал и пятьсот долларов за поимку вора.

— Тоже придумали, идиоты! — воскликнул констебль. — Разве вор придет сам или пришлет кого-нибудь? Ведь тот, кто явится, сразу же влипнет; сами посудите, какой ростовщик упустит возможность...

Если бы кто-нибудь взглянул в этот момент на физиономию Тома, возможно ее серо-зеленый цвет вызвал бы некоторые подозрения, но никто не взглянул. А Том подумал: «Ну, теперь я пропал, теперь мне нипочем не разделаться с долгами: ведь за все остальное, что я наворовал, я и половины того, что мне надо, не выручу ни от продажи, ни от заклада! Пропал я как пить дать, на этот раз уж не выкручусь никоим образом! Вот ужас-то, что мне делать, куда кинуться?»

— Не торопитесь с выводами! — сказал Вильсон Блейку. — Вчера ночью я сел и начал

прикидывать, как лучше поступить, и к двум часам у меня был готов превосходный план. Они получают свой кинжал обратно. И тогда я вам объясню, как все было устроено.

Это вызвало общее любопытство, и Бэкстон сказал:

— Да, вы заинтриговали нас не на шутку! И позвольте вам заявить, что если бы вы пожелали сообщить нам конфиденциально...

— От души был бы рад, Бэкстон, но мы с близнецами условились до поры до времени ничего не разглашать, поэтому не обижайтесь, если я не скажу. Но поверьте моему слову: вам не придется ждать и трех дней. Кто-то сразу же явится за вознаграждением, и тогда я покажу вам и вора и кинжал.

Констебль был расстроен и смущен. Он сказал:

— Хорошо бы, если б так; надеюсь, что вы окажетесь правы. Но будь я проклят, если я что-нибудь понимаю. Слишком это все мудрено для вашего покорного слуги.

Казалось, тема была исчерпана. Замечаний больше ни у кого не было. После паузы мировой судья заявил Вильсону, что он, Бэкстон и констебль пришли к нему в качестве депутации от демократической партии — просить его выставить свою кандидатуру на пост мэра: Пристань Доусона собиралась стать настоящим городом, и, по положению, в скором времени должны были состояться первые муниципальные выборы. И это был первый случай, когда Вильсона удостаивала вниманием какая-нибудь партия; положим, невелика честь, но, значит, признали все же его дебют в качестве местного общественного деятеля, — это обещало поднять его на ступеньку выше, и Вильсон был весьма обрадован. Он дал свое согласие, после чего депутация откланялась, а с нею вместе удалился и Том Дрисколл.

Глава XIV

Роксана наставляет Тома на путь истины

Настоящий южный арбуз — это особый дар природы, и его нельзя смешивать ни с какими обыденными дарами. Среди всех деликатесов мира он занимает первое место, он божьей милостью царь земных плодов. Отведайте его, и вы поймете, что едят ангелы. Ева вкусила не арбуза, нет, это мы знаем точно: ведь она раскаялась.

Календарь Простофили Вильсона

В то время когда депутация прощалась с Вильсоном, в соседний дом входил Пемброк Говард, дабы сообщить о результатах своей миссии. Судья Дрисколл ожидал его; он сидел в кресле, прямой, как палка, с хмурым челом.

— Ну, Говард, какие новости?

— Самые великолепные!

— Он согласился, да? — Боевой огонек засветился в повеселевших глазах судьи.

— Не только согласился, но был просто счастлив!

— Да ну? Хорошо. Отлично. Я очень рад. Когда же состоится дуэль?

— Нынче вечером. Сейчас. Немедленно. Замечательный молодой человек, замечательный!

— Замечательный? Это даже не то слово! Стреляться с таким человеком — не только удовольствие, но и честь. Прошу вас, ступайте не теряя времени! Приготовьте все и передайте ему мои сердечнейшие пожелания. Да, такие молодые люди — редкость! Он замечательный, вы правильно говорите!

Говард не стал мешкать; уходя, он сказал:

— Через час, самое большее, я приведу его на пустырь между домом Вильсона и домом с привидениями; пистолеты я принесу свои.

Судья Дрисколл принялся шагать взад и вперед по комнате в состоянии приятного возбуждения. Вдруг он остановился и начал думать — думать о Томе. Он дважды порывался подойти к секретеру, но не подошел. Наконец он проговорил:

— А вдруг это моя последняя ночь на земле? Тогда я не имею права так рисковать. Да, он ничтожный и недостойный малый, но в этом есть доля и моей вины. Мой брат на смертном одре поручил его мне, а я баловал его и портил, вместо того чтобы сурово учить и сделать человеком. Я не оправдал оказанного мне доверия, а если брошу его сейчас на произвол судьбы, то лишь усугублю тем свой грех. Однажды я простил его, а вот теперь... Если бы я был уверен, что проживу еще долго, я подверг бы его длительному тяжелому испытанию, прежде чем опять простить, но имею ли я право на такой риск? Нет, надо восстановить завещание перед дуэлью, а уж потом, если я останусь в живых, спрячу эту бумагу, и он ничего не узнает; буду молчать, пока он не исправится полностью и навсегда.

Судья Дрисколл уселся писать новое завещание, и мнимый племянник снова превратился в наследника его богатств. Когда старик уже кончал писать, вернулся домой Том, усталый от блуждания по улицам. Он прокрался на цыпочках к гостиной, заглянул в дверь и поспешно отступил назад: сейчас встреча с дядюшкой страшила его больше всего на свете. Удивительно, старик что-то пишет! Никогда раньше он не писал по ночам. Интересно знать, что это за бумага? Том почувствовал леденящий душу страх: а вдруг там что-нибудь насчет него? Беда никогда не приходит одна. Нет, надо во что бы то ни стало заглянуть в эту бумагу, узнать хотя бы, о чем она. Вдруг Том услышал чьи-то шаги и притаился. Пемброк Говард! Что тут такое затевается?

— Все в полном порядке, — радостно сообщил Говард. — Он отправился на поле чести со своим секундантом и врачом, с ними вместе пошел и его брат. Я обо всем договорился с Вильсоном, Вильсон будет его секундантом. Каждый из противников имеет право сделать три выстрела.

— Прекрасно. Как луна?

— Светло, как днем... почти что. Лучшего и не требуется; дистанция — пятнадцать ярдов. Ни малейшего дуновения ветерка. И очень тепло.

— Отлично. Превосходно. Одну минутку, Пемброк, прочтите это и подпишите как свидетель.

Пемброк прочитал завещание и скрепил его своей подписью, затем, с чувством пожал старику руку, промолвил:

— Вы правильно поступили, Йорк, но я другого от вас и не ждал. Вы не могли бы оставить бедного юношу на произвол судьбы, зная, что без средств и без профессии он погибнет; вы не могли бы этого допустить ради его покойного отца, если не ради него самого.

— Конечно, я это делаю только во имя его покойного отца, моего бедного брата Перси: вы же знаете, как мне был дорог Перси! Но имейте в виду, Том ничего не должен знать об этом — если меня сегодня не убьют.

— Понятно. Я сохраню вашу тайну.

Судья спрятал документ и вместе с Говардом отправился на место поединка. Не прошло и минуты, как Том уже читал завещание. Все его горе точно рукой сняло, настроение мгновенно переменилось. Он аккуратно положил документ на место и подбросил вверх свою шляпу — раз, другой, третий, широко разевая рот, словно выкрикивая «ура!», хотя на самом деле не издавал ни звука. Радостные мысли закружились у него в голове, победное «ура» так и рвалось из груди.

Он говорил себе: «Я снова богат, но нельзя и виду подавать, что мне это известно. Теперь уж я своего не упущу и рисковать больше не стану. Отказываюсь от карт, прекращаю пить, зарекаюсь посещать все злачные места! Это самый верный способ избежать искушения. Давно пора было подумать об этом... да вот не захотел! Зато теперь, когда я такого страху натерпелся, — кончено! К черту! Сегодня вечером мне еще казалось, что смогу уломать его как-нибудь, но чем дальше, тем меньше я верил в успех и тем тоскливее становилось на душе. Так вот, если он мне сам все расскажет — ладно; а не расскажет, я тоже не подам виду. Хорошо бы поделиться с Простофилей Вильсоном... нет, лучше поостерегусь; пожалуй, не стоит. Ура! — Опять мысленно возликовал он. — Я исправился —

и теперь уж навсегда!»

Том готов был выразить свои чувства еще одной мощной безмолвной демонстрацией радости, но тут внезапно в мозгу его всплыла мысль, что по вине Вильсона он не может ни продать, ни заложить индийский кинжал, а это значит, что он не избавлен от страшной опасности: кредиторы могут открыть дяде глаза. Вся радость Тома потухла, он повернулся и побрел из гостиной, тяжело вздыхая и негодуя на свою злую судьбу. Едва волоча ноги, он поднялся наверх в свою комнату и долго еще предавался тоскливым, безутешным мыслям — кинжал Луиджи не выходил у него из головы. Наконец он сказал себе со вздохом:

— Когда я считал, что это не драгоценные камни, а стеклышки и что это не слоновая кость, а просто кость, я не придавал значения этой вещице: мне и в голову не приходило, что она имеет такую ценность и может выручить меня. Но теперь — теперь я только о ней и думаю, я просто с ума схожу! Это мешок с золотом, которое у меня в руках превратилось в золу и пепел. Я гибну, а этот кинжал мог бы меня спасти. Я как утопающий, который идет ко дну, хотя ему рукой подать до спасательного круга. Такой уж я неудачник! Вот счастливицам везет — таким, как Простофиля Вильсон! Он пошел наконец в гору как юрист, — а чем он это заслужил, скажите на милость? И мало того: ради своей карьеры он хочет столкнуть меня с дороги. Мир полон эгоизма и зла, лучше бы я умер!

Том осветил кинжал свечкой, и камни заиграли дивным блеском, но это сверкание драгоценностей не радовало его, а лишь пуще расстраивало. «Я не стану ничего рассказывать Рокси, — решил он, — она ведь отчаянная: начнет выковыривать камни и продавать их по одному, и ее, чего доброго, арестуют, дознаются, откуда они, и тогда...»

Эта мысль повергла Тома в трепет, он поспешно спрятал кинжал, весь дрожа и украдкой озираясь, как преступник, которому кажется, что он сейчас будет пойман с поличным.

Не попытаться ли заснуть? О нет, он слишком удручен, слишком подавлен, ему не до сна. Сейчас ему необходимо чье-нибудь сочувствие. Он пойдет поделится своим горем с Рокси.

Откуда-то донеслось несколько пистолетных выстрелов, но в здешних местах это было не в диковину и не произвело на Тома никакого впечатления. Он вышел черным ходом и направился в западную сторону. Миновав владения Вильсона и шагая дальше по переулку, он вдруг заметил какие-то фигуры, направлявшиеся к дому Вильсона со стороны пустырей. Это были дуэлянты, возвращавшиеся с поединка, и Тому показалось, что он узнал их; но сейчас он не искал общества белых людей и потому притаился за забором, пока они не прошли.

Рокси была в отличном расположении духа.

— Где ты был, мальчик? — спросила она. — А я думала, ты тоже участвуешь.

— В чем?

— В дуэли.

— В какой дуэли? Что, разве была дуэль?

— Ну да! Старый судья дрался с одним из этих близнецов.

— Боже милостивый! — воскликнул Том, а про себя подумал: «Так вот почему он написал новое завещание! Побоялся, что его убьют, и потому так раздобрился! Теперь я понимаю, что за важные дела были у него с Говардом. О, если только этот иностранец убил его, тогда я, слава богу, избавлен от...»

— Что ты там бормочешь, Чемберс? Где ты пропал? Разве ты не знал, что будет дуэль?

— Ничего я не знал. Старик хотел заставить меня стреляться с графом Луиджи, но я не согласился, так он, видно, сам решил спасти фамильную честь.

Эта мысль показалась ему смешной, и он стал в подробностях пересказывать свой разговор с дядей: как старик не мог прийти в себя от стыда и ужаса, узнав, что в семье у него завелся трус. Покончив с рассказом, Том взглянул на мать — и тут и сам почувствовал ужас. Грудь Роксаны бурно вздымалась от еле сдерживаемого волнения, глаза метали молнии,

лицо выражало безграничное презрение.

— И ты отказался драться с человеком, который дал тебе пинка? Да ты бы должен обрадоваться такому случаю показать себя! И у тебя хватило духу прийти сюда и рассказывать это мне! Подумать только, что я родила на свет такую дохлятину, такого подлого труса! Да мне на тебя глядеть тошно! Это в тебе негр заговорил, вот что! Ты на тридцать одну часть белый и только на одну часть негр, но вот этот-то малюсенький кусочек и есть твоя *душа*. Такую душонку нечего спасать — поддеть на лопату и кинуть на помойку, и того она не стоит! Ты опозорил свой род! Что сказал бы о тебе твой папаша? Он небось в гробу переворачивается!

Последние три фразы привели Тома в бешенство: и он подумал, что если бы только папаша был жив и его можно было бы прирезать, он как благодарный сын живо показал бы матери, что довольно ясно представляет себе размеры своей задолженности этому человеку и готов оплатить ее сполна, даже с риском для собственной жизни. Однако Том не стал высказывать вслух свои рассуждения, решив, что так будет для него безопаснее, принимая во внимание настроение матери.

— В толк не возьму, что случилось с кровью Эсексов, которая в тебе! А в тебе ведь не только кровь Эсексов, но и других господ поважнее, куда поважнее! Мой пра-пра-прадед, а твой, значит, пра-пра-пра-прадед был капитан Джон Смит, самый знатный господин в старой Виргинии, а его пра-пра-прабабка, или кем там она ему приходилась, была индейская царица Покахонтас, жена черного африканского царя, а ты, такой-сякой негодяй, испугался дуэли и опозорил весь наш род, как самая последняя собака! Это все твоя негритянская кровь виновата!

Рокси присела на ящик из-под свечей и погрузилась в задумчивость. Том не стал нарушать ее: если ему иногда и не хватало благоразумия, то все же не при таких обстоятельствах. Буря в душе Роксаны понемногу стихала, но далеко еще не улеглась, и, хотя уже казалось, что она миновала, вдруг раздавались отдаленные раскаты грома, то есть сердитые восклицания такого рода:

— В нем мало чего от негра. Даже по ногтям не признаешь. А вот душа-то черная!

— Да, сэр, на душу хватило! — пробормотала она в последний раз, и лицо ее стало очищаться от туч, к удовольствию Тома, который достаточно изучил ее характер, чтобы знать, что сейчас выглянет солнце.

Том заметил, что Рокси то и дело машинально щупает кончик своего носа. Он пригляделся попристальнее и спросил:

— Странно, маменька, у тебя содрана кожа с кончика носа. Отчего бы это?

Рокси разразилась тем добродушным смехом, каким господь бог в своей премудрости наградил в раю счастливых ангелов, а на земле — одних только обиженных жизнью, несчастных черных рабов.

— Да прах ее возьми, эту дуэль, — сказала она, — это я там заработала.

— Боже милостивый, неужто от пули?

— А то от чего же?

— Ну и ну! Как же это случилось?

— А вот как. Сижу я здесь, даже вздремнула в темноте, вдруг слышу: «пиф-паф» — вон с той стороны. Я бегу на тот конец дома поглядеть, что там делается, подбегаю к окну, что напротив дома Простофили, — знаешь, которое не запирается... ну да хотя все они не запираются, — стою в темноте и выглядываю. От луны на дворе светло, и вижу, прямо под окном присел один из близнецов и ругается — не так чтоб очень громко, но все-таки ругается. Это был братец-брюнет, — он был ранен в плечо, потому и ругался. Доктор Клейпул, вижу, что-то с ним делает, Простофиля Вильсон помогает, а старый судья Дрисколл и Пем Говард стоят в сторонке и ждут, когда те будут опять готовы. Ну, они тут раз-два все сделали, потом что-то крикнули, и пистолет опять «пиф-паф» — и брюнет как охнет! В руку ему, что-ли, попало, а пуля — «цок» под мое окно. Потом еще раз выстрелили, близнец только успел опять «ох» крикнуть: ему досталось по щеке, а пуля — ко мне в

окошко и царапнула меня по носу; стой я хоть на дюйм — полтора ближе, и вовсе бы нос оторвало, была б твоя мать уродом. Вот она, пуля-то, я ее нашла.

— Неужели ты все время там стояла?

— А то нет? Спрашиваешь тоже! Что, мне каждый день выпадает случай дуэль посмотреть?

— Да ты же была на линии огня! И не струхнула?

Рокси презрительно ухмыльнулась:

— Струхнула? Смиты-Покахонтасы никогда не трусят и пули не испугаются.

— Да, храбрости у них, видимо, хватает; вот чего не хватает, так это разума. Я не согласился бы там стать.

— Ты-то? Да уж куда тебе!

— Кто же еще был ранен?

Да все мы, пожалуй. Целы и невредимы остались только близнец-блондин, доктор да секунданты. Судью-то, правда, не ранило, но клочок волос у него выдрало, — я слыхала, Простофиля Вильсон говорил.

«Господи! — подумал Том. — Что бы счастьем случиться! Теперь останется он жить, все обо мне узнает и долго размышлять не будет: продаст меня работоторговцу». А вслух промолвил мрачно:

— Мать, мы попали в ужасную беду.

Роксана едва не задохнулась.

— Сынок! Что это ты вечно меня пугаешь? Какая еще там новая бедастряслась?

— Видишь ли, я не успел тебе рассказать. Когда я отказался от дуэли, он разорвал свое второе завещание и...

Роксана побелела, как полотно, и воскликнула:

— Ну, теперь тебе крышка! Конец! Придется нам с тобой с голоду помирать!..

— Да помолчи, выслушай до конца! Все-таки, когда он решил сам стреляться на дуэли, он, наверно, испугался, что его могут убить и он не успеет простить меня на этом свете; тогда он составил новое завещание, я сам его читал, и там все в порядке. Но...

— Слава богу, значит мы с тобой опять спасены! Спасены! Так зачем же ты явился сюда и нагоняешь на меня страх?

— Да погоди ты, дай договорить! Что толку в завещании, если все мои кредиторы сразу явятся... Ты же понимаешь, что тогда будет!

Роксана устала в пол. Ей нужно посидеть одной и все это хорошенько обдумать.

— Послушай, — проговорила она внушительно, — ты должен быть теперь все время начеку. Он уцелел, и если ты хоть самую малость его прогневишь, он опять порвет завещание, — и уж это будет наверняка в последний раз, так и знай! Ты должен за это время показать себя с самой лучшей стороны. Будь кротким, как голубь, и пусть он это видит; лезь из кожи вон, чтоб он тебе поверил. Ухаживай за старой тетушкой Прэтт: она ведь вертит судьей, как хочет, и тебе лучший друг. А потом уезжай в Сент-Луис, тогда он тебя еще больше полюбит. А как приедешь туда, тотчас обойди своих кредиторов и сторгуйся с ними. Скажи им, что судья не жилец на этом свете — это же правда, — и пообещай им проценты, большие проценты, ну там, скажем, десять, что ли...

— Десять процентов в месяц?

— А ты что думал? Ясно. И начинай помаленьку сбывать свои вещички и плати из этого проценты. На сколько, думаешь, тебе хватит?

— Пожалуй, месяцев на пять, может на полгода.

— Что ж, и то хлеб! Если он не помрет за эти полгода, тоже ничего, положишься на святое провидение. Все будет в порядке, только веди себя хорошо! — Она окинула его строгим взглядом и добавила: — И ты *будешь* вести себя хорошо, ты теперь понял, правда?

Том рассмеялся, заверив ее, что, так или иначе, решил постараться. Но Рокси была неумолима.

— Стараться — это что! — заявила она строго. — Нет, уж ты изволь исправиться!

Смотри, и булавки не тронь — это тебе теперь опасно! Беги от дурной компании, забудь, что ты с ней знался! Вина в рот не бери! Зарекись играть в карты! Он «постарается», ишь ты! Нет, ты делом докажи! Помни: я за тобой буду следить! Сама приеду в Сент-Луис, заставлю каждый божий день приходить и рассказывать, как ты мой наказ выполняешь, а если нарушишь его вот хоть настолько, клянусь богом, сразу прикачу сюда и расскажу судье, что ты черномазый и раб, и документ предъявлю! — Она сделала паузу, чтобы ее слова поглубже проникли в его сознание, потом спросила: — Чемберс, ты веришь, что я не шучу?

Он понимал, что Рокси не шутит. И ответил без обычного легкомыслия:

— Да, мать, верю. Но ведь я теперь исправился — раз и навсегда. Теперь мне никакие искушения не страшны.

— Тогда ступай домой и начинай новую жизнь!

Глава XV **Ограбленный грабитель**

Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки.

Календарь Простофили Вильсона

Дурак сказал: «Не клади все яйца в одну корзину!» — иными словами: распыляй свои интересы и деньги! А мудрец сказал: «Клади все яйца в одну корзину, но... БЕРЕГИ КОРЗИНУ!»

Календарь Простофили Вильсона

Пристань Доусона переживала волнующее время. Этот всегда сонный городок теперь не успевал вздремнуть. Важные события и умопомрачительные сюрпризы сыпались на него без передышки: в пятницу утром — первое знакомство с «настоящими аристократами», большой прием у тети Пэтси Купер, а также ряд таинственных краж; в пятницу вечером — наследник «первого гражданина» получает полный драматизма пинок в присутствии четырехсот свидетелей; в субботу утром — Простофиля Вильсон, долго находившийся в опале, выступает в роли адвоката, и в тот же вечер происходит дуэль между «первым гражданином» города и титулованным иностранцем.

Пожалуй, этой дуэлью жители Пристаней Доусона гордились больше, чем всеми остальными событиями вместе взятыми. Город воспринял это как величайшую честь. В его глазах участники дуэли проявили верх благородства. Их имена были у всех на устах, все восхваляли их геройство. Немалого одобрения со стороны горожан удостоились и второстепенные участники дуэли, и посему Простофиля Вильсон внезапно сделался важной личностью. Когда в субботу вечером ему предложили выставить свою кандидатуру на пост мэра, он еще рисковал потерпеть поражение, но уже на следующее утро стал так знаменит, что успех был ему обеспечен.

А близнецы теперь покорили всех, город с энтузиазмом раскрыл им объятия. Каждый день и каждый вечер они ходили с визитами, обедали в гостях, заводили друзей, увеличивая и закрепляя свою популярность, чаруя и удивляя всех своими музыкальными способностями, а время от времени — и талантами в иных областях, поразительными по своему многообразию и совершенству. Близнецы были так довольны местным гостеприимством, что подали уже заявление, — как полагается, за месяц, — о желании принять американское гражданство, решив на всю жизнь остаться в этом приятном уголке. Это был апогей. Умиленные горожане поднялись все как один человек и разразились рукоплесканиями. Близнецам было предложено баллотироваться в члены городского самоуправления. Они изъявили согласие, и общественность была полностью и во всех отношениях удовлетворена.

Тома Дрисколла все это не только не радовало, но, наоборот, злило и уязвляло до глубины души. Одного из близнецов он ненавидел за то, что тот дал ему пинка, а другого — за то, что он родной брат обидчика.

По временам обыватели выражали недоумение: почему до сих пор ничего не слышно

ни о воре, ни о судьбе похищенного кинжала и других вещей? Но никто не мог пролить на это свет. Уже прошла целая неделя, а дело по-прежнему было покрыто мраком неизвестности.

В субботу констебль Блейк и Простофиля Вильсон встретились на улице. Откуда ни возьмись, к ним подскочил Том Дрисколл и сразу задал тон беседе.

— Вы неважно выглядите, Блейк, — сказал он, — вроде вас что-то тревожит. Что, сыщицкие дела не ладятся? По-моему, вы с полным основанием пользуетесь довольно хорошей репутацией... — Блейк от этого комплимента заметно повеселел, но Том поспешил закончить: — для провинциального сыщика!

И Блейк сразу слетел с облаков, выдав это не только взглядом, но и тоном голоса:

— Может, мы и провинциальные сыщики, сэр, а ни одному знаменитому сыщику не уступим.

— Ах, извините, я не хотел вас обидеть. Я собирался вас спросить вот о чем: где же та старуха воровка... ну, вы знаете... та скрюченная старая карга, которую вы обещались поймать? Я вам верил, потому что не привык считать вас хвастуном; ну, так как, поймали вы эту старуху?

— Будь она проклята, эта старуха!

— Как же прикажете вас понимать? Не поймали, значит?

— Пока не поймал. Уж кто-кто, а я б ее поймал, если бы можно было поймать, да вот никому она не дается в руки.

— Очень сожалею, очень сожалею и сочувствую вам: ведь если в городе узнают, что сыщик прежде высказался с такой уверенностью, а потом...

— Пусть вас это не волнует, да, да, пусть вас это совершенно не волнует, а что касается города, так и он может не волноваться. Я ее как миленькую сцапаю, будьте уверены! Я уже напал на след и обнаружил нити, которые...

— Прекрасно! А если бы вы еще позволили старому опытному сыщику из Сент-Луиса помочь вам распутать эти нити, узнать, куда они ведут, то...

— Я сам опытный, не нуждаюсь ни в чьей помощи! Она будет в моих руках самое большее через неде... ну, через месяц. Клянусь!

Том ответил небрежным тоном:

— Что ж, это бы еще ладно, с этим можно вполне примириться. Но, боюсь, она довольна стара, а старикам-то не всегда удается дотянуть до конца вашей профессиональной слежки: пока вы там собираете потихоньку свои улики, она, глядишь, не выдержит и помрет.

Тупая физиономия Блейка побагровела от обиды, но, пока он придумывал ответ, Том уже повернулся к Вильсону и сказал с видом полнейшего равнодушия:

— Кто получил награду, Простофиля?

Вильсон как-то съезжился, поняв, что настал его черед.

— Какую награду?

— Ну как же, одну — за поимку вора, другую — за кинжал.

Вильсон ответил, сконфуженно запинаясь:

— Как сказать, гм... собственно, никто до сих пор не являлся.

Том сделал удивленную мину.

— Что вы, неужели?

— Да, вот так, — подтвердил Вильсон с некоторым раздражением. — А что из этого?

— Ничего. Признаться, мне показалось, что вы предложили новую систему собственного изобретения, которая должна произвести переворот в дрянных устарелых методах... — Том сделал паузу и повернулся к Блейку, который уже возликовал, что не он, а другой занял место на дыбе. — А вы, Блейк, разве не поняли тогда его намеки, что вам, мол, незачем искать старуху?

— Безусловно! Он говорил, что через три дня и вор и краденое будут у него в руках, — когда это было? Да уже с неделю прошло. А я еще тогда сказал: если ростовщикам обещана награда, то вор и сам не пойдет и никого из своих дружков не подошлет продавать или

закладывать это добро. Меня прямо как озарило тогда!

— Вы бы так не думали, — не без раздражения осадил его Вильсон, — если бы знали весь план, а не только часть.

Констебль задумался.

— Что ж, — сказал он, — я говорил, что из этого ничего не выйдет. И, как видите, до сих пор ничего не вышло.

— Отлично, поживем — увидим. Как бы там ни было, мой метод ничем не хуже вашего, насколько я могу судить.

Констебль не сумел достаточно быстро отпарировать этот удар и лишь недовольно фыркнул.

После того как Вильсон у себя дома в прошлую пятницу вечером частично поделился своим замыслом с гостями, Том несколько дней тщетно ломал себе голову над тем, что представляет весь план в целом. Тогда он решил преподнести эту загадку более хитрой голове — Роксане. Он придумал сходный случай и рассказал ей. Она поразмыслила и изрекла свое суждение. «А ведь она наверняка права», — тогда же сказал себе Том. Сейчас он решил воспользоваться случаем проверить правильность этого суждения и понаблюдать за лицом Вильсона.

— Вильсон, — сказал он задумчиво, — вы далеко не дурак, как это недавно установлено. Я вижу кое-какой смысл в вашем плане, хотя Блейк другого мнения. Я не прошу, чтоб вы открыли свои карты, но давайте для начала представим себе, как было на самом деле, а потом сделаем некоторые выводы. Вы обещали пятьсот долларов за кинжал и пятьсот долларов за выдачу вора. Предположим, что о первом вознаграждении расклеены объявления, а о втором сказано только в секретном письме, разосланном ростовщикам, и...

Блейк хлопнул себя по ляжке и воскликнул:

— Черт возьми, Простофиля, он вас поймал! Как это ни я и *ни один* дурак не догадался!

А Вильсон подумал: «У любого человека с нормальными умственными способностями возникла бы такая мысль. Что Блейку это не пришло в голову, нечего удивляться, а вот что Том додумался — это довольно странно. Видимо, он все же толковее, чем я полагал». Но вслух Вильсон не промолвил ни слова.

А Том продолжал развивать свою теорию:

— Итак, продолжим. Вор, не подозревая о ловушке, приносит или там присылает с кем-нибудь кинжал, рассказывая, что он купил его где-то за гроши или нашел на дороге, или что-нибудь еще выдумывает и требует вознаграждения. Его арестуют, не так ли?

— Конечно! — ответил Вильсон.

— Непременно! — подтвердил Том. — Можно не сомневаться. А сами вы видели этот кинжал?

— Нет.

— А кто-нибудь из ваших друзей видел?

— Насколько мне известно — тоже нет.

— Ну, теперь я, кажется, сообразил, почему ваш план провалился.

— Что вы имеете в виду, Том? Не понимаю, куда вы гнете? — сказал Вильсон, начиная ощущать некоторое беспокойство.

— А туда, что никакого кинжала *вообще* нет.

— Послушайте, Вильсон, — сказал Блейк, — Том Дрисколл прав, бьюсь об заклад на тысячу долларов... Да жаль, нет их у меня!

Вильсона словно жаром обдало — неужели приезжие подшутили над ним? А ведь похоже на то. Но какой им от этого прок? Он высказал свои сомнения вслух. Том ответил:

— Какой прок? По-вашему, ясно, никакого. Но ведь они приезжие и стараются завоевать себе положение на новом месте. Так чем плохо представиться фаворитами восточного князя, — это же ничего не стоит? Чем плохо ослепить жалкий городишко обещанием тысячедолларовых наград, — когда это тоже ничего не стоит? Поверьте,

Вильсон, никакого кинжала нет, иначе, по вашему же плану, он бы уже где-нибудь обнаружился. А если и есть, так спрятан у тех же близнецов. Я готов поверить, что они видели такой кинжал: Анджело так быстро и ловко нарисовал его карандашом, что вряд ли это была просто фантазия. Не берусь утверждать, что у них никогда не было такого кинжала, но за одно ручаюсь головой: если он был у них, когда они сюда приехали, то он и сейчас у них.

Блейк сказал:

— А Том дело говорит, пожалуй так оно и есть.

Том бросил через плечо:

— Вот вы найдите эту старуху, Блейк, но если кинжала у нее не окажется, ступайте и сделайте обыск у близнецов!

И он не спеша удалился. Вильсон был весьма расстроен. Он не знал, что и подумать. Не хотелось ему терять свое доверие к близнецам, доводы-то довольно слабые, но... конечно, все надо продумать и взвесить.

— А каково ваше мнение на сей счет, Блейк?

— Сказать по правде, Простофиля, я склонен согласиться с Томом. Не было у них этого кинжала, а если был, то он и сейчас у них.

Они распрощались, и Вильсон сказал себе:

— Нет, быть-то он у них был, этому я верю, но если его действительно похитили, то мой план помог бы его вернуть, это точно. Значит, похоже, что он у них.

Том подошел к Вильсону и Блейку и завел с ними беседу без всякой определенной цели, только затем, чтобы поддеть обоих и насладиться их смущением. Но покидал он их уже в ином настроении — окрыленный уверенностью, что счастливый случай помог ему достичь без труда отличных результатов: во-первых, он сумел уколоть своих собеседников и видел, как досадливо они морщились; во-вторых, ему удалось уронить близнецов в глаза Вильсона: теперь у Простофили останется довольно горький привкус, который не так скоро исчезнет; ну а самое главное — он лишил ненавистных приезжих ореола в глазах местных жителей, ибо Блейк, как всякий сыщик, начнет, конечно, болтать направо и налево, и через неделю вся Пристань Доусона будет посмеиваться над Анджело и Луиджи, что они-де пообещали пышную награду за какой-то пустячок, которого у них даже не было, а если и был, так никуда не пропал. Словом, Том был чрезвычайно доволен своими успехами.

Всю неделю Том вел себя безукоризненно. Дядя и тетюшка никогда его таким не видели. Просто не к чему было придаться.

В субботу вечером Том сказал:

— Дядюшка, меня уже давно беспокоит одно обстоятельство. Я уезжаю. Может случиться, что я никогда вас больше не увижу, а потому я не смею таиться. Я знаю, что у вас создалось впечатление, будто я побоялся дуэли с этим итальянцем. Мне необходимо было найти предлог для того, чтоб отказаться от нее. Возможно, захваченный вами врасплох в прошлую пятницу, я выбрал неудачный предлог. Но ни один благородный человек не согласился бы встретиться с этим авантюристом на поле чести, располагая теми сведениями, которыми располагаю я.

— Да ну? В чем же дело, расскажи!

— Граф Луиджи убийца. Он сам признался.

— Не может быть!

— Клянусь вам! Вильсон узнал это по его руке с помощью хиромантии и сказал ему об этом напрямик, да так прижал его к стене, что тот вынужден был сознаться; но оба близнеца на коленях умоляли нас держать это в тайне и поклялись исправиться и впредь вести честный образ жизни, ну мы их и пожалели и дали им слово не выдавать их, если они сдержат свое обещание. И вы бы, дядюшка, на нашем месте тоже так поступили.

— Ты прав, мой мальчик, я поступил бы точно так же. Тайну человека следует хранить свято, если ты ее выведal таким случайным путем. Ты поступил хорошо, я горжусь тобой. Вот только жаль мне, что сам я не избежал позора дуэли с преступником, — договорил судья

со скорбной ноткой в голосе.

— Но что можно было сделать, дядюшка? Если бы я знал, что вы собираетесь вызвать его, я, разумеется, пренебрег бы своей клятвой и предупредил бы поединок; ну а от Вильсона нельзя этого требовать.

— Да, Вильсона осуждать не за что, он поступил правильно. Ах, Том, с моей души камень свалился! Я был потрясен, узнав, что в нашей семье есть трус!

— Вы можете себе представить, дядюшка, чего стоила *мне* эта роль!

— Да, мой бедный мальчик, я представляю, я все себе представляю. Я понимаю, как тяжело тебе было носить до сих пор такое позорное пятно! Но теперь все в порядке. Забудем взаимные обиды. Ты вернул мне душевный покой и себе самому тоже, а каждый из нас уже достаточно настрадался.

С минуту старик сидел погруженный в думы, потом с просветлевшим лицом проговорил:

— Я займусь этим делом, — правда, не сейчас. Ведь подумать только: этот убийца позволил себе наглость встретиться со мной на поле чести, словно джентльмен! Я пока не стану убивать его, подожду, пока не пройдут выборы. Я знаю, как погубить этих братцев иным путем, и немедленно приму меры. Ни тот, ни другой не будут избраны, ручаюсь! А никому еще не стало известно, что он убийца, ты в этом уверен?

— Абсолютно уверен, сэр.

— Тогда — вот мой козырь. Я намекну на сей факт весьма прозрачно на митинге накануне выборов. Это выбьет почву у них из-под ног.

— Еще бы! Это их доконает.

— Доконает наверняка, если мы к тому же подготовим избирателей. Ты должен будешь приезжать сюда время от времени и тайком обрабатывать городскую шантрапу. Будешь подкупать их на мои деньги — тут я не поскоплюсь.

Еще одно очко против ненавистных близнецов! Поистине сегодня счастливый день! И видя, что ему представляется случай сделать последний выстрел в ту же цель, Том не преминул им воспользоваться:

— Кстати насчет замечательного индийского кинжала, о котором так шумят эти близнецы... О нем до сих пор ничего не известно, и в городе уже пошли толки и пересуды, люди стали смеяться. Половина наших граждан считает, что у близнецов не было этого кинжала вовсе, а другая половина считает, что он и по сию пору у них. Человек двадцать это сегодня говорили, я собственными ушами слышал.

Итак, безупречное поведение Тома в течение целой недели восстановило былую благосклонность к нему со стороны дяди и тетки.

Его мать тоже была им довольна. В душе ей казалось, что она начинает любить его, но ему она этого не говорила. Она советовала ему уехать в Сент-Луис и готовилась ехать туда вслед за ним и даже разбила свою бутылку виски, сказав:

— Прах с ней! Коль скоро я собираюсь сделать из тебя трезвенника, Чемберс, не хочу, чтоб ты учился плохому от своей мамы. Я тебе наказывала, чтоб ты не смел якшаться с дурной компанией. Теперь я тебе буду вместо компании и должна давать тебе хороший пример! Ну, отправляйся! Живей!

В тот же вечер Том уехал из города на одном из больших транзитных пароходов, увозя с собой тяжелейший чемодан, полный награбленных вещей, и он проспал всю ночь сном несправедника, который, как известно нам из описаний кануна казни миллиона негодяев, бывает крепче и слаще, чем сон праведника. Но наутро оказалось, что счастье снова изменило ему. Какой-то собрат по профессии стащил его багаж, пока он спал, и сошел на берег на одной из промежуточных пристаней.

Глава XVI

Продана в низовья реки

Если подобрать издыхающего с голоду пса и накормить его досыта, он не укусит вас. В этом принципиальная разница между собакой и человеком.

Календарь Простофили Вильсона

Мы хорошо знакомы с повадками муравьев, мы хорошо знакомы с повадками пчел, но мы совсем не знакомы с повадками устриц. Можно сказать почти с уверенностью, что для изучения устриц мы всегда выбираем неподходящий момент.

Календарь Простофили Вильсона

Когда Роксана приехала в Сент-Луис, она застала сына в таком отчаянии, что это тронуло ее сердце, и материнское чувство с новой силой заговорило в ней. Положение Тома казалось безнадежным: его ждет быстрая, решительная расправа, и дальше — полное одиночество и отверженность. Для матери этого достаточно, чтоб полюбить свое чадо, и Роксана не являлась исключением; она даже сказала сыну об этом. И Том в душе содрогнулся — ведь она «черномазая»! То, что сам он такой же, отнюдь не мирило его с этой презренной расой.

Роксана осыпала его нежностями, на которые он отвечал как умел, хоть и без всякого удовольствия. Она пыталась утешить его, но утешить было нечем. Ее ласковость вызывала у Тома отвращение, и он целый час храбрился: «Вот сейчас потребую прекратить эти телячьи нежности или хоть умерить их...» Но он боялся ее... К счастью, мать вдруг сама притихла и некоторое время сидела в задумчивости. Она размышляла, как бы ей спасти Тома. Наконец она вскочила: есть выход! Том едва не задохнулся от восторга, услышав столь неожиданную и радостную новость. Роксана сказала:

— Я придумала, и мой план спасет тебя наверняка! Я негритянка, стоит мне заговорить, как это всякому становится ясно. За меня дадут шестьсот долларов. Продай меня и расплатись с этими картежниками.

Том был ошеломлен. Уж не ослышался ли он? На миг он точно онемел, потом проговорил:

— То есть ты согласна... быть проданной в рабство, ради того... чтоб спасти меня?

— Разве ты не мое дитя? И разве есть такая вещь на свете, которой мать не сделала бы для своего ребенка? Белая мать для своего ребенка ничего не пожалеет. А кто сотворил ее такой? Господь бог. А кто сотворил негров? Тоже господь бог. В душе все матери одинаковы. Так уж они господом богом устроены. Можешь продать меня в рабство, а через год выкупишь, и твоя мать снова будет свободным человеком. Я научу тебя, как это сделать. Я придумала.

— Какая ты добрая, маменька, я просто слов не нахожу...

— Ох, скажи это еще раз! И еще разок, пожалуйста! Лучшей платы мне и не надобно! Благослови тебя, господь, сыночек! Когда я стану рабыней и люди будут меня обижать, я вспомню, что у меня есть где-то сын, который поминает меня добром, — и мне сразу полегчает, и я все, все смогу вытерпеть!

— Изволь, матушка, я буду говорить это непрестанно. Но как я тебя продам? Ведь ты же свободная?

— Ну и что же, сынок? Белые не разбираются! А если бы, к примеру, мне велели убраться из этого штата и дали сроку шесть месяцев, а я бы не уехала, ведь имели бы они право меня продать? Составь бумагу — купчую — так, чтобы подумали, будто ты меня купил где-то далеко в Кентукки, и напиши чужие фамилии, и скажи, что продаешь меня по дешевке, потому что тебе срочно деньги нужны, — и все сойдет как нельзя лучше. Отвези меня в деревню и продай на какую-нибудь ферму; если не дорого возьмешь, никто ничего у тебя не спросит.

Том подделал купчую и продал свою мать на хлопковую плантацию в Арканзас за шестьсот с лишним долларов. Он не хотел совершать такое предательство, но, как на грех,

подвернулся покупатель из тех мест, и это избавило Тома от необходимости ехать куда-то севернее и кого-то искать, да еще с риском, что пришлось бы ответить на кучу вопросов. Этот плантатор был так рад купить Рокси, что почти ничего не спрашивал и даже сам потребовал, чтобы Рокси не говорили, куда она едет. Узнает потом, когда успокоится!

И вот Том стал убеждать себя, что для Рокси большое счастье попасть к хозяину, которому она понравилась, а что она понравилась, тот не скрывал. И скоро, призвав на помощь свою пылкую фантазию, он почти поверил, что оказывает матери великую тайную услугу, продавая ее в низовья реки. Он упорно твердил себе: «Ведь это же только на год. Через год я выкуплю ее на свободу. А раз она это знает, ей легче будет все перетерпеть». Вообще Том считал, что столь невинный обман вреда не принесет, — в конце концов все уладится самым лучшим образом. Том сговорился с покупателем, и оба они в присутствии Рокси толковали о том, что эта ферма к северу, и какой это райский уголок, и как все рабы там счастливы, — и бедную Рокси без труда обвели вокруг пальца. Ей и в голову не пришло, что собственный сын способен на подобное предательство по отношению к матери, добровольно надевавшей на себя страшное ярмо, ибо, соглашаясь на рабство, все равно какое — легкое или тяжелое, короткое или продолжительное, Рокси приносила Тому такую жертву, по сравнению с которой смерть казалась пустяком. Оставшись с ним наедине, она осыпала его поцелуями и обливала слезами, а потом уехала с новым хозяином, хоть и опечаленная, но гордая тем, что спасла сына.

Том рассчитался с кредиторами и решил не отступать от своего прежнего решения, дабы не рисковать больше дядюшкиным наследством. После уплаты долгов у него осталось еще триста долларов. По плану, начертанному Рокси, ему следовало их спрятать и каждый месяц добавлять к ним половину своего содержания — ту часть, которая причиталась ей. Через год на эти деньги можно будет выкупить ее из рабства.

С неделю он плохо спал, ибо злодейский поступок, совершенный им по отношению к доверчивой матери, заставил заговорить остатки его совести. Но мало-помалу голос совести умолк, и Том опять мог спать блаженным сном, как все преступники.

Пароход, на котором плантатор увозил Рокси, отчалил из Сент-Луиса в четыре часа дня. Стоя на нижней палубе, Рокси сквозь слезы смотрела на Тома, пока он не потерялся в толпе на берегу, затем она отошла от перил и, сев на бухту каната, проплакала до поздней ночи. И только тогда встала и отправилась в смрадный трюм, но заснуть под грохот машин ей так и не удалось. В глубокой печали лежала она на койке и ждала, когда наконец наступит утро.

Обманщики думали: «Она не догадается! Поверит, что плывет вверх по реке». Это она-то, проплававшая столько лет по Миссисипи! Едва рассвело, Рокси опять пробралась на палубу и снова присела на канат. По пути попадалось много коряг, торчавших из воды, и бурлившая вокруг них вода ясно показывала направление течения, так что нетрудно было сообразить, в какую сторону идет пароход, но мысли Рокси были далеко, и она ничего не замечала. Вдруг особенно громкий плеск вывел ее из оцепенения; Рокси подняла голову, наметанным глазом посмотрела на реку... и поняла все. С минуту она не отрывала от воды окаменевшего взгляда. Потом уронила голову на грудь и со стоном прошептала:

— О господи, смилуйся надо мной, несчастной грешницей! *Меня продали в низовья реки!*

Глава XVII

Страшное пророчество судьбы

Даже слава может быть чрезмерна. Попав в Рим, вначале ужасно сожалеешь, что Микеланджело умер, но потом начинаешь жалеть, что сам не имел удовольствия это видеть.

Календарь Простофили Вильсона

Четвертое июля. Статистика показывает, что в этот день

Америка теряет больше дураков, чем во все остальные 364 дня вместе взятые. Однако количество дураков, остающихся в запасе, убеждает нас, что одного Четвертого июля в году теперь уже недостаточно: страна-то ведь выросла!

Календарь Простифили Вильсона

Томительно тянулось лето. И вот наконец началась избирательная кампания, — началась довольно оживленно и с каждым днем становилась все более бурной. Братья-близнецы ушли в нее с головой — для них это был вопрос самолюбия. Их слава, столь громкая вначале, скоро пошатнулась, — главным образом потому, что была чрезмерно раздута, и это повлекло за собой естественную реакцию. К тому же повсюду усердно шушукались о том, что странно, как это до сих пор не нашелся их замечательный кинжал, если он был таким драгоценным и, кстати, если он вообще существовал. При этом обыватели толкали друг друга локтями, хихикали и подмигивали, что всегда производит должное впечатление. Близнецы сознавали, что успех на выборах поднимет их репутацию, но если их постигнет поражение, все тогда пропадет. Вот почему они старались изо всех сил, хотя, конечно, уступали в этом судь Дрисколлу и Тому, которые делали все от них зависящее, чтобы подорвать шансы Луиджи и Анджело в последний период избирательной кампании. Эти два месяца Том вел себя до такой степени безупречно, что дядюшка не только доверял ему деньги, с помощью которых практиковалось воздействие на избирателей, но даже позволил племяннику собственноручно доставать эти деньги из несгораемого шкафа, стоявшего в маленькой гостиной.

Заключительную предвыборную речь произнес судья Дрисколл. Она была направлена против обоих иностранцев и сыграла роковую роль. Судья поливал их ядом насмешек, то и дело заставляя участников митинга хохотать и аплодировать. Он с издевкой называл близнецов авантюристами, шарлатанами, бродячими комедиантами, экспонатами из грошового паноптикума; перечислял с безграничным презрением их пышные титулы, утверждал, что они — базарные цирюльники, загримированные под аристократов, уличные продавцы орехов, нарядившиеся джентльменами, бродячие шарманщики, потерявшие где-то своего третьего брата — ученую обезьяну. Наконец судья Дрисколл умолк и выжидательно обвел глазами публику и, лишь когда в зале наступила полная напряженная тишина, нанес свой сокрушительный удар, — нанес его с ледяным спокойствием, с точным расчетом на эффект.

— Обещание награды за похищенный кинжал, — веско, многозначительно проговорил он, — это чистейший вздор и надувательство! Обладатель кинжала знает сам, где его найти, в любой момент, когда ему понадобится *кого-нибудь убить*.

Затем мистер Дрисколл сошел с трибуны, и аудитория, вопреки обыкновению, проводила его не аплодисментами, не выкриками партийных лозунгов, а недоуменной глубокой тишиной.

Загадочная фраза облетела весь город и произвела невероятную сенсацию. Все недоумевали: «Что хотел сказать судья?»

Все задавали друг другу этот вопрос, но не получали на него ответа, ибо судья ограничился лишь намеком, ничего, однако, не объяснив; а когда обращались к его племяннику, тот отвечал, что понятия не имеет о том, что хотел сказать дядюшка. Вильсон же, когда его спрашивали, отвечал вопросом на вопрос: «А вы сами что думаете насчет этого?»

Избранным на пост мэра Пристани Доусона оказался Вильсон. Братья-близнецы потерпели поражение, жесточайшее поражение, и все друзья и знакомые отвернулись от них. Том уехал в Сент-Луис совершенно счастливый.

Пристань Доусона получила на недельку передышку, в которой сейчас очень нуждалась. Но город ждал чего-то, в воздухе пахло событиями. От напряженной предвыборной деятельности судья Дрисколл даже слег, но ходили слухи, что, как только он поправится, граф Луиджи вызовет его на дуэль.

Братья-близнецы отрешились от общества и в полном уединении переживали свой позор. Они избегали людей и выходили на прогулку только поздно вечером, когда на улицах не было ни души.

Глава XVIII

Роксана приказывает

Благодарность и предательство — это по сути дела начало и конец одной процессии, Когда прошел оркестр и пышно разодетые важные лица, дальше уже не стоит смотреть.

Календарь Простофили Вильсона

День Благодарения. Сегодня все возносят чистосердечные и смиренные хвалы богу, — все, кроме индюков. На островах Фиджи не едят индюков, там едят водопроводчиков. Но кто мы с вами такие, чтобы поносить обычаи Фиджи?

Календарь Простофили Вильсона

В пятницу после выборов целый день лил дождь. Лил как из ведра, не переставая, точно собираясь добела отмыть прокопченный город Сент-Луис, — но, конечно, старался зря. Около полуночи Том Дрисколл возвращался под проливным дождем в пансион, где он жил. Не успел он закрыть зонт и ступить в прихожую, как следом за ним вошел какой-то человек, по-видимому тоже квартирант, и, закрыв дверь, стал подниматься позади Тома по лестнице. В темноте Том нащупал свою дверь, вошел к себе и зажег газовый рожок; потом, насвистывая, повернулся — и вдруг заметил, что незнакомец тоже неслышно скользнул в комнату и, стоя спиной к нему, запирает дверь. Свист замер на губах Тома, ему стало не по себе. Незнакомый обернулся, и Том увидел промокшее до нитки тряпье и черное лицо под поношенной шляпой с широкими полями. Ему стало страшно. Он хотел крикнуть: «Вон отсюда!», но слова застряли у него в горле. И тогда незнакомец заговорил первым. Он сказал шепотом:

— Тише! Это я — твоя мать!

Том повалился на стул и, еле ворочая языком, забормотал:

— Я виноват, я поступил дурно, я знаю, но я хотел тебе добра, ей-богу правда!

С минуту Роксана стояла, безмолвно глядя на него, а он корчился от стыда и бормотал бессвязные слова, то обвиняя себя, то делая жалкие попытки объяснить и оправдать свое преступление. Потом Роксана опустилась на стул, сняла шляпу, и пряди длинных каштановых волос рассыпались у нее по плечам.

— Если я еще не поседела, так не тебе должна говорить за это спасибо, — печально промолвила она, глянув на свои волосы.

— Я знаю! Я подлец! Но клянусь, я хотел тебе добра, клянусь!

Рокси начала тихо плакать, потом, всхлипывая, сквозь слезы заговорила. Слова ее звучали скорее жалобно, чем гневно:

— Продал человека в низовья реки — *в низовья реки*, и еще говорит, что это ради его добра! Да я бы с собакой так не поступила! Ох, устала я, измучилась, даже злость и та куда-то пропала; прежде, бывало, спуску не дам, если кто посмеет меня обругать или обидеть. А теперь словно какая-то другая стала. Где уж мне теперь бунтовать, когда я столько выстрадала! Сидеть да горько плакать — вот и все, что мне осталось!

Слова матери не могли не тронуть Тома Дрисколла, но вместе с тем они подействовали на него еще иным образом: разогнали давивший его страх, вернули утраченную было самоуверенность, наполнили мелкую душонку чувством покоя. Однако он хранил благоразумное молчание, воздерживаясь от всяких реплик. Тишина длилась довольно долго, только слышно было, как барабанит по стеклам дождь, стонет за окном ветер да всхлипывает время от времени Роксана. Потом плач ее постепенно утих, и она снова заговорила:

— Прикрути-ка немного рожок, еще, еще немножко. Когда за человеком гонятся, ему что ни темнее, то лучше. Вот так, хорошо. Мне-то и без света видно, какой ты! Сейчас я тебе расскажу про свои дела — не бойся, я быстро, — а потом научу, что тебе надо делать. Этот человек, который купил меня, вообще-то ничего, не так плох, если сравнить с другими плантаторами, и будь его воля, он бы меня сделал служанкой в доме. Но жена у него — янки, и не сказать чтоб красивая, так она с первой минуты взъелась на меня и поселила с другими неграми, с простыми полевыми работниками. Да только ей и этого показалось мало, и она от злости и ревности начала натравливать на меня надсмотрщика, а тот стал поднимать меня до света и заставлял работать дотемна, да еще бичом хлестал, если я отставала от самых здоровенных работников. Он тоже был янки, из Новой Англии, а кому уж на Юге не известно, что это за люди! Мастера вколачивать нас в гроб, и бич пускать в ход мастера, — так исполосуют тебе спину, что она у тебя как стиральная доска станет! Хозяин сперва за меня заступался, но, на мою беду, хозяйка и это пронюхала и принялась совсем меня со свету сживать — что, бывало, ни сделаю, за все попадало!

Сердце Тома вспыхнуло ненавистью... к жене плантатора, разумеется. «Если бы эта дура не совала нос, куда не следует, все было бы хорошо», — злобно подумал он и смачно выругался.

Ослепительная вспышка молнии на мгновение рассеяла полутьму комнаты, и Роксана заметила искаженное гневом лицо Тома. Радость охватила ее — радость и благодарность: значит, сын еще способен пожалеть свою тяжело обиженную мать и возненавидеть ее обидчиков, — а она-то в нем сомневалась! Но радость вспыхнула и тотчас погасла. «Он же продал меня в низовья реки, — напомнила себе Рокси, — значит, нет в нем жалости, это он только сейчас на минутку!»

— Ну вот, дней десять назад я и подумала, — продолжала Рокси прерванный рассказ, — что долго не протяну, издохну от работы, заперют меня до смерти. И так мне все опостылело, такая я была несчастная, что ничего уж мне не хотелось. Чем так жить, лучше в могилу. Ну, а уж если такие мысли приходят, тогда пропади все пропадом. Была там на плантации одна девчущка черномазенькая, годочков десяти, хиленькая такая, сирота, без матери; привязалась ко мне, полюбила меня, и я ее тоже. В тот день приходит она туда, где я работала, и сует мне кусок жареного мяса — свой отдала, знала, что надсмотрщик совсем меня голодом заморил, — а он тут как тут и хватить ее палкой по спине, а палка у него толстенная, как от метлы. Девчонка как закричит благим матом и повалилась на землю, корчится в пыли, как паук, когда его раздавят. Тут уж я не стерпела. Давно накопело у меня на сердце, выхватила я у надсмотрщика палку и раз-раз его по голове! Он упал, воет, клянет меня на чем свет стоит, а все негры вокруг столпились и дрожат от страха, вроде бы помочь ему собираются. А я — скок на его лошадь и — к реке. Понимала, что мне за это будет. Подымется — забьет меня насмерть, а если хозяин не даст меня бить, тогда продадут меня еще дальше вниз по реке — опять беда! Утоплюсь, думаю, раз и навсегда избавлюсь от всех своих бед. Уже вечерело. За две минуты я прискакала к реке. Вижу, у берега лодка, — всегда, думаю, успею утопиться-то. Привязала лошадь к бревну, вскочила в лодку, оттолкнулась от берега и гребу вниз по течению, вдоль высокого берега — там темнее. Дай бог, думаю, чтоб ночь поскорее настала! Пока тебе везет, Рокси: хозяйский дом от реки далеко, за три мили, а ездят у нас на рабочих мулах, и ездят ведь наши, негры, *они-то* не станут спешить, дадут мне уйти. Да и пока еще доберутся до дома и потом сюда, будет ночь, значит лошадь до утра не найдут и до тех пор не догадаются, куда я делась, а каждый негр будет врать им по-своему.

Совсем стемнело, а я все гребу, гребу уже часа два, а то и больше. Теперь уж мне было не страшно. Я бросила весло; лодка моя сама плывет, а я сижу и размышляю: что ж буду дальше делать, коль не утопилась? Кое-что придумала и перебираю разные планы в голове. Было уже наверняка за полночь, я отплыла миль пятнадцать — двадцать от плантации, никак не меньше. Вдруг вижу возле берега пароходные огни. А там ни города, ни пристани не должно вроде быть. Небо все в звездах... и вдруг, — что ты думаешь, — знакомые трубы!

Господи, радость-то какая, это же «Великий Могол»! Восемь лет я на нем проплавала горничной от Цинциннати до Нового Орлеана! Тут я на своей лодочке проскользнула мимо, никто меня и не заметил; слышу — в машинном отделении стук молотков, значит что-то у них испортилось, вот почему и стоянка. Вылезла я на берег, а лодку пустила дальше плыть, подкралась к пароходу, вижу: одна сходня спущена. Поднялась я на борт. Жарища страшная, все матросы развалились прямо на палубе вокруг полубака и спят, а на мостике — младший помощник, Джим Бэнгс, свесил голову, глаза закрыты, — видали, как младшие помощники несут капитанскую вахту?! И сторож, Билли Хэтч, тоже дрыхнет возле трапа. Все мои старые знакомые. Ох, и обрадовалась же я, милые вы мои, хорошие! Ну, думаю, старикашка хозяин, попробуй сунься, никто меня отсюда не отпустит, тут все друзья! Прокралась я мимо них прямо на корму, в дежурку для горничных, присела на скамейку, где небось миллион раз до того сиживала, и сразу как в родной дом попала, — понимаешь?

Прошел, верно, час, слышу сигнал к отплытию; начинается суэта. Потом гонг. Это значит: «Правое колесо задний ход», — я всю эту музыку на зубок знаю. Снова гонг. Я шепчу: «Левое колесо передний ход». Третий раз гонг. А это: «Правое колесо стоп». Потом еще четвертый: «Правое колесо передний ход». Значит, мы идем к Сент-Луису, и никто меня теперь не схватит, и не к чему мне уже топиться! Я-то еще раньше слышала, что «Могол» делает теперь рейс до Сент-Луиса. Уже было совсем светло, когда мы прошли мимо нашей плантации, и на берегу я увидела много рабов и белых, они там каждый кустик обшаривали: это я им задала работу, — а мне-то что, пускай!

Тут как раз вышла на дежурство Салли Джексон, — когда я работала, она была у меня помощницей, а теперь уже сама стала старшей горничной. Она мне очень обрадовалась, и все начальство тоже обрадовалось. Я рассказала, что меня украли и продали в низовья реки, и они собрали мне двадцать долларов, а Салли подарила хорошее платье. Как только мы приехали сюда в город, я сразу пошла в тот дом, где ты раньше останавливался, а оттуда — сюда; а мне говорят, ты уехал, но со дня на день должен воротиться. Ну я уж и не поехала в Доусон: боялась разминуться с тобой.

А в прошлый понедельник прохожу я по Четвертой улице, мимо одной из этих контор, где принимают объявления о беглых неграх и помогают их ловить, и, как ты думаешь, кого я там вижу? Моего хозяина! У меня со страху ноги подкосились. Он ко мне спиной стоял и разговаривал с каким-то человеком, и я видела, что он давал ему такие листки, какие развешивают, когда сбежит негр. А этот негр — я. И он за меня награду обещает. Верно я поняла?

Том слушал ее, и леденящий страх сжимал его сердце. «Как ни поверни, пропал я! — подумал он. — Ее хозяин сказал мне, что вся эта сделка кажется ему теперь подозрительной. Он получил письмо от какого-то пассажира с «Великого Могола», тот написал ему, что ехал сюда вместе с Рокси, и все на пароходе знали ее историю; потому хозяин думает, что, раз она бежала сюда, а не в свободный штат, значит я тут тоже замешан, и если я не найду ее и не верну ему в самый короткий срок, то он притянет меня к ответу. А я еще не хотел ему верить, не мог допустить, что материнский инстинкт изменил ей и она явится сюда! Ведь понимает же она, в какую я могу попасть беду. И вот вам — она и впрямь тут как тут! А я-то дурень, дал слово помочь ему разыскать ее, я же был уверен, что меня это ни к чему не обязывает. Если я рискну сдать ее теперь хозяину, тогда... но какой же у меня еще выход? Я вынужден это сделать, иначе он потребует с меня деньги, а где я их возьму? Я... я... что ж, ведь она сама сейчас говорила, что он хороший человек; если бы он побожился, что будет справедливо обращаться с ней, не даст изнурять ее работой и морить голодом...»

Блеск молнии озарил бледное лицо Тома, помрачневшее и осунувшееся от невеселых мыслей. Роксана восторженно сказала, словно осененная догадкой, сказала:

— Прибавь-ка огня. Я хочу разглядеть тебя получше. Вот так. Ну-ка, дай я посмотрю на тебя, Чемберс. Ты что-то бел, как полотно! Скажи, ты видел этого человека? Он приходил к тебе?

— Д-да.

— Когда же?

— В понедельник днем.

— В понедельник днем? Ты думаешь, он меня выследил?

— Кто его знает, может — да, а может — нет. Ему-то кажется, что выследил. Вот его объявление, которое ты видела на улице. — Том вытащил из кармана листок бумаги.

— Читай вслух!

Она задышалась от волнения, и в глазах ее, горевших мрачным огнем, Тому почудилась затаенная угроза. На листе бумаги была изображена традиционная фигура бегущей негритянки, с головой, повязанной платком, с обычным узелком через плечо на палке. Первые слова объявления — «Сто долларов награды» — были напечатаны жирным шрифтом. Том громко прочел текст — по крайней мере ту часть, где излагались приметы Роксаны и сообщались фамилия и адрес ее хозяина, временно находящегося в Сент-Луисе, а также адрес агентства на Четвертой улице. Он не прочел ей, однако, то место, где говорилось, что желающие получить вознаграждение могут сообщить свои сведения также мистеру Томасу Дрисколлу.

— Дай-ка мне этот листок!

Том успел сложить его и собирался сунуть назад в карман. По спине его пробежал холодок, но он ответил самым небрежным тоном:

— Этот листок? Ты же не умеешь читать! На что он тебе?

— Ничего, давай сюда!

Том отдал ей объявление с большой неохотой, которую даже не сумел скрыть.

— Ты мне все тут прочитал?

— Конечно все.

— Подними руку и побожись!

Том подчинился. Не спуская с него глаз, Роксана бережно положила объявление к себе в карман.

— Ты врешь! — сказала она.

— Зачем мне врать?

— Не знаю зачем, только врешь. Вижу, что врешь. Ладно, бросим этот разговор! Когда я увидела своего плантатора, я так испугалась, что еле добралась до дома. Купила у одного негра все это тряпье и уже больше ни в какой дом не заходила ни днем, ни ночью. Вымазала себе лицо сажей и днем пряталась в погребе какого-то сгоревшего дома, а ночью пробиралась на пристань — искала чего-нибудь поесть: то залезу в бочку с сахаром, то в мешок с крупой, — а в лавку пойти боялась. С голодухи уже едва ноги таскаю. Я и к тебе не смела прийти; теперь решила только потому, что льет дождь и все сидят по домам. Я тут стояла в переулочке с самого вечера, ждала, пока ты мимо пройдешь. И сразу за тобой!

Она задумалась, потом спросила:

— Ты в понедельник днем видел этого человека?

— Да.

— И я в тот же день, но уже под вечер. Он что, сам тебя нашел?

— Да.

— И тогда дал тебе этот листок?

— Нет, тогда они еще не были напечатаны.

Рокси метнула на сына подозрительный взгляд.

— Это ты ему помог составить, да?

Том выругал себя за промашку и поспешил исправить положение, притворившись, будто вспомнил, что плантатор действительно дал ему листок в понедельник днем.

— И опять все врешь! — сказала Рокси. Она выпрямилась и погрозила ему пальцем. — Вот я тебе сейчас кое о чем спрошу и погляжу, что ты на это скажешь. Ты знал, что он меня ищет. Если бы ты сбежал и не остался помочь ему, он бы тогда понял, что дело нечисто, и начал бы узнавать, кто ты есть, дошел бы в конце концов до твоего дяди. А если бы дядя прочитал это объявление и понял, что ты продал свободную негритянку в низовья реки, он

бы тебе показал, ты его характер знаешь! Мигом порвал бы завещание и выгнал бы тебя из дому. Так вот, отвечай мне: говорил ты этому человеку, что я наверняка заявлюсь к тебе, обещал ему помочь меня сцапать?

Том понял, что, как он ни ври, как ни отпирайся, ничего ему не поможет, — он попал в тиски и ему не выкрутиться.

Лицо его перекошилось от злобы, и он грубо проворчал:

— А что же мне оставалось делать? Сама видишь, он меня к стенке прижал!

Роксана бросила на него испепеляющий взгляд.

— Ох, бедняжечка! Что тебе оставалось делать? Ты, Иуда, предал собственную мать, чтобы спасти свою паршивую шкуру! Кто бы мог этому поверить? Собака и та лучше тебя! Ты же самый подлый из всех подлецов на свете! А кто во всем виноват? Я, больше никто! — И она плюнула ему в лицо.

А он даже не пытался возмутиться. Рокси подумала и сказала:

— Ну вот, слушай, что тебе надо делать. Отдай этому человеку деньги, что у тебя отложены, а остальные попроси подождать, пока ты съездишь к судье и привезешь сколько нужно, чтобы меня выкупить.

— Черт! Придумала тоже! Как это я поеду просить у дяди триста долларов? Да тут и не триста, а больше надо! Как я ему объясню, для чего они мне понадобились, скажи на милость?

Рокси ответила холодно и невозмутимо:

— Так и объяснишь. Продай, мол, Рокси, чтоб расплатиться за карточные долги, и признаешься ему, что соврал мне и вел себя, как разбойник; а я теперь потребовала: «Доставай деньги и выкупай меня на свободу».

— Да ты с ума сошла! Он порвет завещание в клочки, разве ты не знаешь?

— Знаю, ну и что?

— И ты думаешь, что я к нему поеду? Идиот я, что ли?!

— Зачем мне думать, я знаю, что поедешь! Да и ты знаешь не хуже меня, на что я способна, если ты не достанешь денег. Я сама поеду к нему, и уж тут он продаст не меня в низовья реки, а тебя... Поймешь тогда, как это сладко!

Глаза Тома злобно сверкнули. Дрожа от волнения, он поднялся и шагнул к двери, заявив, что хочет выйти на воздух из этой духоты, проветриться немного, а потом уже что-то решать. Но дверь не открывалась. С мрачной усмешкой Рокси сказала:

— Ключ-то у меня, миленький. Садись! Ничего тебе не надо проветривать и решать. Будешь делать все, как я прикажу!

Том воротился на свое место и стал растерянно и беспомощно ерошить волосы.

— Этот человек здесь в доме? — спросила Рокси.

Том удивленно взглянул на нее.

— С чего ты взяла?

— Да ты сам себя выдал! Ты только что сказал, что идешь проветривать мозги. Как будто у тебя есть, что проветривать! И еще — твои глаза, они тоже тебя выдали. Ох, и подлый ты человек, самый подлый из всех подлецов на свете! Это я тебе не впервой говорю! Ну так вот: сегодня пятница. Договорись с этим человеком: скажи, что едешь достать для него остальные деньги и привезешь их во вторник или — самое позднее — в среду, Понял?

— Понял, — буркнул Том.

— А как получишь бумагу, что я выкуплена, положи ее в конверт и отправь по почте мистеру Простофиле Вильсону и сделай приписку: пусть держит ее у себя, пока я не приеду. Понял?

— Да.

— Ну, значит все. Бери зонтик и надевай шляпу.

— Это еще зачем?

— Проводишь меня до пристани. Видишь этот нож? Я ношу его все время, с тех пор как чуть не попала на глаза хозяину. Я тогда купила вместе и одежду и нож. Если хозяин

меня схватит, сразу заколюсь. Ну, пошли. Только ступай тихо и осторожно, а я буду идти сзади; и помни, если ты хоть пикнешь или с кем-нибудь остановишься на улице, я всажу нож тебе в спину. Ты мне веришь, Чемберс?

— Еще бы! Я знаю, ты всегда слово держишь.

— Да, уж не так, как ты! Ну, гаси огонь и выходи! Вот ключ.

Конечно, никто за ними не следовал, но каждый раз, когда Том замечал какого-нибудь запоздалого гуляку, идущего ему навстречу, его начинала бить дрожь. Он ждал: сейчас холодное лезвие ножа вонзится ему в спину. Пройдя с милю, они очутились на огромной заброшенной пристани, мокрой и скользкой от дождя, и здесь, в кромешной тьме, мать и сын расстались.

Том возвращался домой, и мрачные мысли одолевали его, он строил самые фантастические планы. Порядочно устав от всей этой умственной работы, он сказал себе в конце концов:

«Да, другого выхода нет, остается принять то, что она предлагает. С одной только поправкой: я не стану просить у него денег — охота мне себя губить! Лучше я ограблю старого скупердя!»

Глава XIX

Пророчество сбывается

Пожалуй, нет ничего более раздражающего, чем чей-то хороший пример.

Календарь Простофили Вильсона

Если бы все люди думали одинаково, никто тогда не играл бы на скачках.

Календарь Простофили Вильсона

Пристань Доусона мирно доживала период скучного отдыха и терпеливо ждала дуэли. Ждал ее и граф Луиджи, — правда, по слухам, не очень-то терпеливо. В воскресенье утром он все-таки настоял на том, чтоб его вызов был передан. Взял на себя эту миссию Вильсон. Но судья Дрисколл заявил ему, что отказывается драться с убийцей.

— Я имею в виду, драться на поле чести, — добавил он многозначительно. Всякую другую борьбу судья готов был допустить.

Сколько ни пытался Вильсон убедить судью, что тот не считал бы поступок Луиджи позорным, если бы сам слышал рассказ Анджело об этом убийстве, упрямый старик продолжал стоять на своем.

Вильсон вернулся к своему клиенту и сообщил ему, что его старания не увенчались успехом. Луиджи вознегодовал: как это пожилой джентльмен, далеко не глупый к тому же, придает больше веры нелепым домыслам своего племянника, чем словам адвоката? Но Вильсон рассмеялся.

— Да очень просто, — сказал он, — и очень понятно. Племянник ему вместо сына — это его баловень, его любимчик; а я ему — никто. Судья и его жена-покойница никогда не имели детей. И вот только под старость судьба подарила им это сокровище. Надо принять во внимание, что родительский инстинкт, который лет двадцать пять — тридцать остается неудовлетворенным, превращает человека, изголодавшегося по ребенку, в безумца. И кого бы ни послала ему судьба, он уже всему рад, его вкус настолько притупился, что он не в состоянии отличить рыбу от курицы. Если у молодой четы рождается ребенок с дурным нравом, родители довольно скоро начинают понимать, что это сам сатана, но если этого сатану усыновляет пожилая чета, то для нее он всегда ангел, что бы ни случилось. В глазах судьи — Том ангел, старик боготворит его. Том иной раз добывается от старика того, чего никто другой бы не добился, — ну, не всегда, но очень часто, особенно в таких случаях, когда надо расположить дядюшку к кому-нибудь или, наоборот, восстановить против.

Старику вы оба понравились. Том возненавидел вас. И этого было достаточно, чтобы дядя изменил к вам свое отношение. Самые старые и прочные узы дружбы рвутся, когда на них замахивается вот этакий ангелочек, усыновленный людьми преклонного возраста.

— Странные рассуждения! молвил Луиджи.

— Не рассуждения, а жизненный опыт. Но в этом есть даже что-то трогательное и красивое. Хуже и противнее бывает, когда подобная бездетная чета обзаводится сворой визжащих и лающих собачонок, хриплыми попугаями с ослиными голосами, сотней, а то и двумя, певчих птиц, которые свистят и трещат на все лады, выводками вонючих морских свинок и кроликов и в довершение всего — целой армией мяукающих и воющих кошек. Это все беспомощные, неумелые попытки найти замену того, в чем им отказано природой. Эти люди похожи на безумца, который собирает разный медный и железный хлам и думает, что скопил несметное сокровище. Простите за отступление. По неписанному закону здешних мест, вам полагается застрелить судью Дрисколла. И он, и все остальные наши жители ожидают, что он падет от вашей руки, хотя, если окажется наоборот, город и этой новости обрадуется. Будьте осторожны! Хорошо ли вы вооружены, все ли у вас припасено на тот случай, если встретитесь с ним?

— Да, я не откажу ему в этом удовольствии: если он нападет на меня, я отвечу достойно.

Уже уходя, Вильсон сказал:

— Судья не совсем оправился после выборов и денька два еще посидит дома, но как только он начнет выходить на улицу, советую вам быть начеку.

Около одиннадцати часов вечера близнецы вышли подышать свежим воздухом. Сквозь дымку облаков светила луна, и они предприняли довольно дальнюю прогулку.

Тем временем Том Дрисколл высадился с парохода у Хэкетского склада, в двух милях к югу от Пристани Доусона. Он был единственным пассажиром, сошедшим на берег в этом глухом местечке. Пройдя вдоль реки и не встретив за всю дорогу ни души, он, никем не замеченный, проник в дом судьи Дрисколла.

В своей комнате наверху он задернул шторы, зажег свечу и, сняв сюртук и шляпу, начал готовиться к маскараду. Отпер сундук, вытащил оттуда спрятанное среди мужских вещей женское платье. Затем вымазал себе лицо жженой пробкой и сунул пробку в карман. Расчет его был таков: он проберется вниз, в маленькую гостиную, оттуда в спальню судьи, достанет из кармана старика ключ от несгораемого шкафа, стоящего в гостиной, отомкнет шкаф и вытащит что там есть. Том взял свечу и собрался идти. До этой минуты он храбрился и был уверен в успехе, но сейчас его уверенность несколько поколебалась: а вдруг он нечаянно наделает шума и его схватят, когда он будет открывать несгораемый шкаф? Том достал из потаенного места индийский кинжал и, к своей великой радости, ощутил новый прилив отваги. Он вышел и стал красться по узкой лестнице вниз, замирая при каждом скрипе ступеней и чувствуя, как от страха у него встают дыбом волосы. Еще на лестнице он заметил внизу свет. Что это? Неужели дядюшка не спит так поздно? Не может быть! Наверно, ушел спать и забыл погасить лампу. Том продолжал спускаться, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Дверь гостиной была открыта, и Том заглянул внутрь. То, что он там увидел, наполнило его сердце радостью. Дядя спал на диване, у изголовья его, на маленьком столике, тускло горела лампа, а возле нее стояла небольшая закрытая шкатулка, в которой старик обычно хранил деньги. Рядом лежала пачка банкнотов и листок бумаги, исписанный цифрами. Несгораемый шкаф был заперт. Очевидно, старик подсчитывал деньги, устал от этого занятия и прилег отдохнуть.

Том поставил свечу на ступеньку лестницы и, согнувшись в три погибели, стал подкрадываться к банкнотам. Когда он приблизился к старику, тот пошевелинулся во сне, и Том мгновенно замер; впившись взглядом в лицо своего благодетеля, он начал осторожно вытаскивать кинжал из ножен, чувствуя, как бешено колотится у него сердце. Переждав секунду-другую, он сделал еще один шаг и схватил деньги, но при этом уронил ножны, и они со стуком упали на пол. В то же мгновение он почувствовал, как сильная рука судьи сдвинула

его плечо, и услышал отчаянный крик: «Караул! Помогите!» Без малейшего колебания Том пустил кинжал в ход и... освободился. Несколько ассигнаций вылетели из его левой руки и упали на пол, в лужицу крови. Том кинул кинжал, схватил ассигнации и бросился было бежать, потом вне себя от страха переложил деньги из правой руки в левую и поднял кинжал, но тут же опомнился и снова отшвырнул его в сторону, сообразив, что это опасная улика, которую нельзя уносить с собой.

Он выскочил на лестницу, притворил за собой дверь и схватил свечу. Взбегая наверх, он услышал чьи-то торопливые шаги, приближающиеся к дому. В следующую минуту Том был уже у себя в комнате, а братья-близнецы стояли, объятые ужасом, над трупом судьи.

Том надел сюртук, спрятал под полу свою шляпу, а поверх напялил женское платье и закрыл лицо вуалью. Затем он задул свечу, запер дверь, через которую вошел, и, спрятав ключ, выскочил на заднюю площадку через другую дверь, запер ее тоже и, сунув ключ в карман, неслышно спустился по черной лестнице. Здесь он не встретил никого, как и рассчитывал: все внимание домочадцев было привлечено теперь к другой части дома, и его расчет подтвердился. Пока он крался через задний двор на улицу, миссис Прэтт со слугами и дюжиной полуодетых соседей успели уже присоединиться к близнецам и окружить убитого, а с парадного крыльца прибывали в дом все новые и новые люди.

Когда Том, дрожа как в лихорадке, вышел за калитку, из дома напротив выскочили три женщины. Они промчались мимо него с криком: «Что случилось?», но не стали дожидаться ответа. Том подумал: «Эти старые девы все-таки задержались, чтобы одеться, как в ту ночь, когда горело рядом, у Стивенса!» Через несколько минут он был уже в доме с привидениями. Там он зажег свечу и снял женское платье. С левого боку платье было испачкано кровью, а на правой руке Тома были пятна от окровавленных банкнотов — единственные улики. Том вытер руку о солому и тщательно смыл сажу с физиономии. Потом он сжег все, что снял с себя, — и мужское платье и женское, разгреб пепел кочергой и облачился в костюм бродяги. Задув свечу, он спустился по лестнице на улицу и пошел неторопливой походкой к реке, решив использовать опыт Роксаны. И в самом деле, у реки он нашел лодку и поплыл на ней по течению, а с наступлением рассвета причалил к берегу и, оттолкнув пустую лодку, зашагал в сторону ближайшей деревни. Там он прятался до тех пор, пока не прибыл транзитный пароход. Он купил себе место на палубе до Сент-Луиса, но и на пароходе продолжал еще некоторое время трепетать от страха. Лишь после того как Пристань Доусона осталась позади, он подумал: «Теперь ни один сыщик на свете не доберется до меня, ведь я же не оставил никаких следов; тайна этого убийства сохранится навечно, как и многие другие тайны подобного рода, и даже через полсотни лет люди будут ломать над ней голову!»

На следующее утро он прочел в сент-луисских газетах телеграфное сообщение из Пристани Доусона:

«Судья Дрисколл, один из самых почтенных и уважаемых жителей нашего города, был убит ночью у себя дома неким распутным итальянским цирюльником, выдающим себя за аристократа. Поводом для убийства послужила ссора, возникшая на почве состоявшихся недавно выборов. Убийце, вероятно, грозит суд Линча».

— Одного из близнецов схватили! Вот здорово! — воскликнул Том. — И все благодаря кинжалу. Неисповедимы пути твои, господи! А я-то ругал Простофилю Вильсона за то, что он лишил меня возможности продать этот кинжал. Беру все свои слова назад.

Наконец он станет богат и независим! Том поспешил договориться с плантатором относительно выкупа Рокси и послал Вильсону документ, согласно которому его кормилица могла снова считаться свободной; затем протелеграфировал тетушке Прэтт:

«Прочел страшное известие в газетах.

Сражен горем. Выезжаю пакетботом сегодня. Старайтесь не падать духом,

скоро буду».

Придя в дом, где лежал покойник, Вильсон постарался выяснить у миссис Прэтт и собравшихся там соседей наиболее точно обстоятельства преступления и, в качестве мэра, потребовал, чтоб никто ничего не трогал до прихода мирового судьи Робинсона, который будет вести следствие. Он выдворил из гостиной всех, оставив там только близнецов. Вскоре явился шериф и отвез братьев в тюрьму. Вильсон просил их не терять надежду, обещав, что сделает все от него зависящее для их защиты на суде. Вскоре прибыл мировой судья Робинсон в сопровождении констебля Блейка. Они тщательно обследовали комнату и, конечно, нашли ножны и кинжал. На рукоятке кинжала Вильсон заметил отпечатки пальцев. Это его обрадовало, так как едва только первые из сбежавшихся соседей показались в гостиной, близнецы тотчас потребовали, чтобы те осмотрели их руки и платье, и никому из присутствующих, включая самого Вильсона, не удалось обнаружить никаких следов крови. Может быть, близнецы действительно не лгут, утверждая, что они прибежали на крик и нашли судью мертвым? Первой пришла Вильсону на ум таинственная девушка. Но в следующий миг он подумал, что вряд ли женщина могла совершить такое преступление. Так или иначе, комнату Тома Дрисколла необходимо было обыскать.

После того как следственная комиссия осмотрела труп и место преступления, Вильсон предложил сделать обыск наверху и направился туда вместе с остальными. Пришлось взломать дверь в комнату Тома, но там, разумеется, ничего подозрительного не обнаружили.

Следственная комиссия вынесла заключение, что убийство совершено графом Луиджи при соучастии Анджело.

Весь город метал громы и молнии против несчастных братьев, и первые несколько дней им грозило линчевание. Присяжные, решавшие вопрос о предании суду, признали Луиджи виновным в преднамеренном убийстве, а Анджело — в соучастии. Близнецов перевели из городской тюрьмы в окружную, и там они сидели в ожидании суда.

Вильсон осмотрел отпечатки пальцев на рукоятке кинжала и отметил про себя: «Это не их отпечатки, ни Анджело, ни Луиджи!» Значит, здесь замешан кто-то еще, либо самостоятельно действовавший, либо наемный убийца.

Но кто? Это он должен выяснить. Несгораемый шкаф оставался запертым, шкатулка с деньгами тоже, а в ней оказались нетронутыми три тысячи долларов. Значит, целью убийства было не ограбление, а месть. Но кто еще мог быть врагом покойного, кроме Луиджи? Только он один на свете мог затаить глубокую обиду на судью Дрисколла.

А кто была таинственная девица? Мысль о ней не давала Вильсону покоя. Однако ее можно было заподозрить лишь в том случае, если бы целью убийства оказалось ограбление; но какой девушке могло понадобиться лишить старика жизни из мести? Судья никогда не обижал никаких девушек — он был джентльмен.

Отпечатки пальцев на рукоятке кинжала были очень четкими; среди коллекции Вильсона имелось громадное количество отпечатков пальцев женщин и девушек, снятых за последние пятнадцать — двадцать лет, но напрасно искал Вильсон среди них отпечатков, одинаковых с теми, которые были на кинжале.

То, что на месте преступления нашли это оружие, сильно смущало Вильсона. Еще неделю тому назад он готов был поверить вместе с остальными, что Луиджи по-прежнему владеет кинжалом, хоть и заявил о его пропаже. Но вот факт налицо: кинжал оказался здесь, и оба брата рядом. Большинство местных жителей считало, что близнецы стараются всех околпачить баснями о мнимой краже кинжала. Теперь каждый из них с торжествующим видом восклицал: «А что я говорил?!»

Если бы на рукоятке кинжала были отпечатки их пальцев... Да что говорить, когда это явно не их отпечатки, — Вильсон готов был дать голову на отсечение!

Что касается Тома Дрисколла, то его Вильсон не подозревал по ряду причин. Вильсон считал, что, во-первых, Том слишком труслив; во-вторых, если бы он даже был способен на убийство, то не избрал бы своей жертвой ни собственного благодетеля, который его обожал,

ни другого близкого родственника; в-третьих, он не сделал бы этого из эгоистических соображений, ибо при жизни старика был щедро им обеспечен и мог надеяться, что завещание еще будет восстановлено в его пользу. Правда, теперь стало известно, что завещание было и так восстановлено, но Том же этого не знал! Уж если бы знал, то, при своей болтливости и неумении хранить секреты, непременно рассказал бы это Вильсону. И наконец самое главное: когда было совершено убийство, Том находился в Сент-Луисе и узнал о нем на следующее утро из газет, что явствовало из телеграммы, которую он послал тетюшке. Все это были скорее смутные ощущения, чем оформленные мысли, ибо Вильсон поднял бы на смех всякого, кто заподозрил бы Тома в убийстве судьи Дрисколла.

Дело близнецов Вильсон считал безнадежно проигранным. Рассуждал он так: если соучастник не будет найден, премудрый суд присяжных штата Миссури несомненно приговорит их к повешению; но если даже соучастник обнаружится, то и это не поможет делу: просто шериф вздернет еще одного человека. Вот если бы нашелся действительный убийца, преследовавший собственную цель, — это спасло бы близнецов; но такая возможность, по-видимому, исключалась. И все-таки Вильсон решил продолжать поиски человека, оставившего отпечатки пальцев на кинжале. Пусть близнецы не виновны в убийстве, но если убийца не будет найден, их осудят как виновных.

Вильсон ходил угрюмый, день и ночь думал и гадал, но так ни до чего и не додумался. Стоило ему увидеть какую-нибудь незнакомую девушку или женщину, он под любым предлогом старался получить у нее отпечатки пальцев, но каждый раз вздыхал, сравнивая их с отпечатками на кинжале.

Что касается Тома, то он клялся, что понятия не имеет ни о какой таинственной девушке и ни на ком не замечал такого туалета, какой описывал Вильсон... Что греха таить, он не всегда запирал свою комнату на ключ, и слуги тоже, заявлял он, по временам забывали запирали наружные двери, но все же вряд ли эта особа так уж часто могла проникать в их дом: неужто ее бы не заметили?! Когда Вильсон высказал предположение о какой-то связи между ее появлением и совершенными в городе кражами, — а вдруг она была соучастницей старухи или сама рядилась в старушечье платье? — Том сделал удивленное лицо и с притворным жаром пообещал, что будет теперь зорко следить, хотя, конечно, эта особа или особы, если их несколько, не настолько глупы, чтобы совать нос снова в город, где жители долго еще будут начеку.

Весь город жалел Тома, который притих и казался убитым горем. Отчасти он, конечно, играл роль, но было здесь и нечто другое. Нередко, лежа ночью с открытыми глазами, он видел перед собой своего мнимого дядю таким, каким видел его в ту роковую ночь; этот же образ преследовал его и во сне. Он не мог заставить себя войти в комнату, где произошла трагедия. Это еще больше подкупило боготворившую его миссис Прэтт, которая начала говорить, что она «впервые по-настоящему поняла», какой чувствительной и тонкой натурой обладает ее драгоценный племянник и как он обожал своего несчастного дядюшку.

Глава XX

Убийца посмеивается

Даже самые ясные и несомненные косвенные улики могут в конце концов оказаться ошибочными, поэтому пользоваться ими следует с величайшей осторожностью. В качестве примера возьмите любой карандаш, очиненный любой женщиной: если вы спросите свидетелей, они скажут, что она это делала ножом, но если вы вздумаете судить по карандашу, то скажете, что она обгрызала его зубами.

Календарь Престофили Вильсона

Однообразно потянулись недели; никто из друзей не посещал заточенных в тюрьму близнецов, кроме их адвоката да еще Пэтси Купер; но вот настал наконец день суда — самый

мрачный день в жизни Вильсона, ибо, несмотря на все его неутомимые старания найти следы исчезнувшего соучастника, тот как в воду канул. Словом «соучастник» Вильсон давно уже стал называть некое неизвестное лицо, хотя далеко не был убежден в правильности этого термина. Все-таки, если он был их соучастником, почему же тогда близнецы не последовали его примеру и не бежали, как он, а остались возле трупа убитого, чтобы быть схваченными на месте?

Разумеется, зал суда был битком набит, и следовало предполагать, что так и будет до конца процесса, ибо не только в городе, но и на много миль вокруг все только о нем и говорили. Миссис Прэтт в глубоком трауре и Том с черным крепом на шляпе занимали места рядом с Пемброком Говардом, который выступал в роли прокурора, а позади разместились бесчисленные друзья их семьи. На стороне же близнецов оставался только один-единственный человек — их участливая, сострадательная старушка хозяйка. Она сидела возле Вильсона и казалась воплощением доброжелательства, чем немало его подбадривала. В «негритянском углу» можно было видеть Чемберса и Рокси — она была в хорошем платье, и в кармане у нее лежал документ о выкупе. Это было ее самое главное богатство, с которым она не расставалась ни днем, ни ночью. Вступив во владение наследством, Том назначил ей ежемесячную пенсию в тридцать пять долларов, причем не мог удержаться, чтоб не заметить вслух: «Спасибо близнецам, что они сделали нас с вами богатыми!» Но Рокси так возмутилась, услышав подобные речи, что Том уже больше их не повторял. Подумать только, негодовала Рокси, покойный судья обращался с ее ребенком в тысячу раз лучше, чем тот заслуживал, и сама она никогда не слышала от него дурного слова! Да она готова растерзать этих злодеев чужеземцев — такого человека убили! И она не успокоится, пока не увидит их на виселице! Она будет здесь, в суде, до самого конца и, как только прочитают решение, во всю глотку закричит «ура!», — пускай ее в тюрьму сажают за такое поведение хоть на целый год! Она потрянула головой, повязанной платком, и прибавила:

— Когда их приговорят, я подскочу до потолка от радости!

Пемброк Говард произнес довольно краткую обвинительную речь. Он заявил, что собирается доказать при помощи цепи косвенных улик, ни одно звено которой не нарушено, что обвиняемый совершил это убийство, и совершил его отчасти из мести, а отчасти из желания обезопасить собственную жизнь, и что его брат, присутствуя при этом, стал соучастником наиболее подлого из всех известных человечеству злодеяний — убийства; что только самая черная душа могла замыслить и только самая трусливая рука — осуществить это злодеяние; что убийца разбил сердце преданной сестры, отнял счастье у юного племянника, которого покойный любил, как родного сына, и поверг город в скорбь и печаль. Пемброк Говард требовал самой суровой кары для преступников и не сомневался, что эта кара будет к ним применена. Остальные доводы он приберег для своей заключительной речи.

Прокурор сел, растроганный собственным красноречием, и вся публика в зале была тоже растрогана, некоторые женщины — в том числе и миссис Прэтт — плакали, и не одна пара глаз была с ненавистью устремлена на несчастных подсудимых.

Один за другим выступали свидетели обвинения, которых допрашивали очень обстоятельно. Но Вильсон не стал задерживать их и устраивать перекрестный допрос. Он понимал, что его подзащитным это пользы не принесет. Публика жалела Простофилю: ему, как начинающему адвокату, этот процесс не обещал славы.

Несколько свидетелей показали под присягой, что судья Дрисколл говорил в своей публичной речи, что близнецы отыщут потерянный кинжал, если им понадобится кого-нибудь убить. Это было известно и раньше, но сейчас прозвучало как роковое пророчество, и по притихшему залу, потрясенному пересказом этих страшных слов, пронесся взволнованный шепот.

Тут поднялся прокурор и заявил, что в день смерти судьи Дрисколла ему довелось с ним беседовать, и он узнал следующее: адвокат обвиняемых принес ему вызов на дуэль от лица, судимого ныне за преступление, но мистер Дрисколл не принял вызова, мотивируя

свой отказ тем, что этот человек — убийца, однако многозначительно добавил: «Я не хочу встречаться с ним на поле чести», давая этим понять, что при других обстоятельствах он к его услугам. По всей вероятности, тот, кому ныне предъявлено обвинение в убийстве судьи, был предупрежден, что при следующей встрече он должен убить мистера Дрисколла, в противном случае судья убьет его. Если адвокат подсудимых подтверждает это заявление, прокурор согласен не требовать у него свидетельских показаний по этому вопросу. Мистер Вильсон заявил, что ничего не опровергает. В зале шепот: «Дело принимает плохой оборот для обвиняемых».

Миссис Прэтт, допрошенная в качестве свидетельницы, заявила, что криков брата она не слышала и не знает, что ее разбудило, — вернее всего, чьи-то поспешные шаги, приближавшиеся к дому. Она вскочила с постели и, в чем была, поспешила в прихожую; услышав, что кто-то взбегает по парадной лестнице, она побежала следом. В гостиной она увидела подсудимых, стоящих над ее убитым братом. (Тут ее голос прервался, и она разрыдалась. Волнение в зале.) Продолжая свои показания, миссис Прэтт заявила, что следом за ней в гостиную вошли мистер Роджерс и мистер Бэкстон.

Отвечая на вопросы Вильсона, она показала, что близнецы заявили о своей невинности, они утверждали, что прогуливались по улице и, услышав крики еще довольно далеко от дома судьи, поспешили на помощь; они упросили ее и упомянутых двух джентльменов осмотреть их руки и платье, — и это было сделано, причем никаких следов крови не оказалось.

Свидетели Роджерс и Бэкстон подтвердили показания миссис Прэтт.

Далее суд установил обстоятельства, при которых был обнаружен кинжал, и ознакомился с объявлением, содержащим подробнейшее описание кинжала и обещание вознаграждения тому, кто его доставит, причем сличение кинжала с его описанием доказало, что это и есть тот самый пропавший кинжал. Затем суд уточнил кое-какие подробности, и на этом представление материалов обвинения было закончено.

Вильсон заявил, что им вызваны три свидетеля: барышни Кларксон, которые могут подтвердить, что спустя несколько минут после того, как раздались крики о помощи, они столкнулись с молодой женщиной под вуалью, выбежавшей из боковой калитки со двора судьи Дрисколла. Их показания, подчеркнул Вильсон, вместе с некоторыми другими обстоятельствами, которые он желал бы довести до сведения суда, должны, по его мнению, убедить суд, что в этом преступлении замешано еще какое-то лицо, до сих пор не найденное, и что в интересах подсудимых он требует отсрочки судебного разбирательства до тех пор, пока это лицо не будет обнаружено. Что касается допроса свидетельниц, то, вследствие позднего часа, он просит перенести его на следующее утро.

Публика высыпала на улицу и, расходясь по домам группами и парами, азартно, с жадным интересом обсуждала события дня; казалось, все сегодня развлекались в полную меру и были довольны, — все, кроме обвиняемых, конечно, их адвоката и преданной им старушки. Им этот день не принес ничего обнадеживающего и радостного.

При прощании с близнецами тетя Пэтси пыталась сделать веселое лицо и бодрым тоном пожелать им спокойной ночи, но вместо этого вдруг расплакалась.

Том хоть и чувствовал себя неуязвимым, но торжественный судебный ритуал сперва произвел на него угнетающее впечатление и вызвал смутную тревогу в его душе, так как он всегда легко поддавался страху. Но когда суду стала очевидна вся несостоятельность того, на чем строил свою защиту Вильсон, Том снова успокоился и даже возликовал. Он ушел из суда, исполненный презрительной жалости к Вильсону. «Девицы Кларксон встретили где-то на задворках неизвестную женщину, — думал он, — вот его козырь! Пусть попробует ее найти, даю ему сто лет сроку, а то и двести, пожалуйста! Была да сплыла, и платье сгорело, и пепел развеяно». И Том в сотый раз похвалил себя за то, какой он молодец, как хитро застраховал себя не только от разоблачения, но от всякого намека на подозрение!

«Ведь почти всегда в таких случаях кто-то чего-то недоглядел, оставил какой-то крохотный след, какую-то царапину — и это влечет за собой разоблачение. А вот уж я не

оставил ни малейшего следа! Как птица, что пролетела по небу темной ночью! Только тот, кто выследит птицу в ночном небе, может угадать, что это я убил судью, другим не дознаться! И ведь надо же было, чтоб такое дело досталось бедняге Вильсону! Боже, вот-то будет потеха, когда этот простофиля начнет обшаривать все углы и закоулки, разыскивая несуществующую женщину, в то время как тот, кого он ищет, торчит у него перед глазами!» Чем больше Том размышлял об этом, тем забавнее казалась ему вся история. Наконец он решил про себя: «Я его изведу: до самой смерти буду спрашивать об этой женщине. Как увижу с кем-нибудь в компании, прикинусь простачком и с дружеским видом наступлю ему на мозоль. Уж я его позлю, как бывало, когда я осведомлялся о его успехах в юриспруденции, хотя знал, что никаких успехов нет. «Ну как, — скажу, — Простофиля, все еще не напали на ее след, а?»»

Том чуть не захохотал, но вовремя спохватился — нельзя, кругом народ, а ему положено скорбеть по дядюшке! И тогда он решил отложить удовольствие на вечер и наведаться к Вильсону; у того, верно, будет дрянное настроение — его защита-то провалилась с треском! Ну, он, конечно, посочувствует Вильсону, выразит ему участие и уж доведет его до белого каления...

А Вильсон даже ужинать не стал — пропал аппетит. Он извлек свою коллекцию отпечатков, снятых у женщин, и уже час, а то и более, сидел, мрачно вглядываясь в свои стеклышки, стараясь убедить себя, что где-то среди них находится и то, которое хранит отпечатки пальцев неуловимой особы, — очевидно, он его как-то пропустил. Однако и новые поиски не дали никаких результатов. Вильсон откинулся на спинку кресла, обхватил руками голову и предался унылым, бесплодным размышлениям.

Час спустя, когда уже стемнело, к нему зашел Том Дрисколл и, усевшись в кресло, сказал с добродушным смешком:

— Вот те на, что я вижу? Мы снова вернулись к былым забавам, которыми тешились в дни безвестности и одиночества! — Он взял одно из стеклышек и поднес его к лампе, чтоб получше разглядеть. — Полно кукситься, старина! Ну стоит ли впадать в отчаяние и опять хвататься за эти игрушки. Ну, не выгорело так не выгорело. Все пройдет, все наладится. — Он положил стекло на стол. — Вы что, думали — так уж и будет вам вечно везти?

— О нет, напротив, — со вздохом ответил Вильсон, — но я не могу поверить, что Луиджи убил вашего дядю, и мне его очень жаль. Вот почему я в таком настроении. И вам было бы так же горько, если бы вы не были предубеждены против этих молодых людей.

— Ну, не знаю, — буркнул Том, и лицо его потемнело от воспоминания о полученном пинке, — каюсь, симпатии к ним у меня нет, и причиной тому грубость, которую однажды позволил себе этот брүнет по отношению ко мне. Называйте это предубеждением, Простофиля, если вам угодно, но мне они не нравятся, и когда они получают по заслугам, меня вы не увидите среди плакальщиков.

Он взял в руки другое стеклышко и воскликнул:

— Смотрите, ярлычок старухи Рокси! Вы что, для украшения королевских дворцов собираете отпечатки негритянских лап? По дате, которая здесь указана, мне тогда было семь месяцев, и она кормила нас обоих: меня и своего негритянского щенка. Тут какая-то линия пересекает отпечаток большого пальца. Что это? — Он протянул стеклянную пластинку Вильсону.

— Обычное явление, — вяло ответил тот, почувствовав вдруг ужасную усталость. — Так бывает, когда на пальце порез или царапина... — и с равнодушным видом взял пластинку, поднес ее к лампе.

И разом вся кровь отхлынула от его лица, рука затряслась, и он устался на блестящую поверхность пластинки остекленевшим взглядом мертвеца.

— Господи боже, Вильсон, что с вами? Вам дурно?

Том вскочил, налил воды в стакан и поднес Вильсону, но тот, весь дрожа, отшатнулся.

— Нет, нет, не надо! — С трудом ловя губами воздух, он тупо и удивленно повел головой, как человек, которого внезапно оглушили чем-то. Потом сказал: — Кажется, мне

лучше лечь, сегодня у меня был очень трудный день, и вообще последние дни я переутомился.

— В таком случае я уйду, а вы отдохните. Спокойной ночи, старина! — Но на прощанье он не мог отказать себе в удовольствии кольнуть Вильсона и добавил: — Не принимайте вашу неудачу так близко к сердцу, не всегда же везет. Ничего, вам еще удастся вздернуть кого-нибудь на виселицу!

«Смотри, как бы я не начал с тебя! — подумал Вильсон. — Хоть ты, ей-богу, дрянная собака, а мне все-таки тебя жаль!»

Он выпил для бодрости стакан холодного виски и снова сел за работу. Сравнить случайно оставленные Томом отпечатки пальцев на стеклышке Рокси с отпечатками на кинжале он не стал: для его опытного глаза сходство было очевидно и так. Он занялся другим, время от времени бормоча себе под нос:

— Какой же я идиот! Искал зачем-то *девушку*, а о том, что это может быть мужчина, переодетый в женское платье, я и не подумал!

Итак, первым делом Вильсон достал стеклышко с отпечатками пальцев Тома, когда ему было двенадцать лет, затем — другое, с его же отпечатками в семимесячном возрасте, и обе эти пластинки приложил к той, на которой этот же субъект, сам того не подозревая, только что оставил отпечатки своих пальцев.

— Теперь у меня тут полная коллекция, — радостно сказал Вильсон и уселся поудобнее, чтобы хорошенько рассмотреть свои экспонаты и насладиться ими.

Но насладиться ему не пришлось. Сперва он долго, словно отупев от изумления, взирал на стекла, наконец положил их на стол и воскликнул:

— Черт возьми, ничего не понимаю! Отпечатки, когда он был младенцем, совершенно не похожи на остальные!

С полчаса Вильсон расхаживал по комнате, упорно думая, что бы это могло означать, потом вытащил откуда-то еще два стеклышка.

Он снова сел за стол и долго еще бился над этой головоломкой, хотя уже почти потерял надежду.

— Ну что толку ломать голову! — бормотал он. — Совершенно непонятная история! Они не совпадают, а я все-таки даю голову на отсечение, что всегда записывал имена и даты правильно. Значит, все его отпечатки должны быть одинаковы. Я еще ни разу в жизни не ошибся, наклеивая ярлычки. Нет, тут что-то загадочное!

Под конец Вильсон почувствовал невыносимую усталость, мысли его стали путаться. Не поспать ли ему, а утром с ясной головой снова взяться за дело? Авось что-нибудь и надумается. На час он забылся тяжелым, беспокойным сном, но вдруг словно что-то толкнуло его, и он сел на постели, еще окончательно не проснувшись.

— Что мне снилось? Что? — мучительно пытался он припомнить. — Похоже на разгадку...

И, не договорив, он одним прыжком перелетел с кровати на середину комнаты, подкрутил фитиль в лампе и схватил со стола стеклышки с отпечатками пальцев Тома. Одного беглого взгляда на них было для него довольно, чтоб воскликнуть:

— Ну конечно же! Силы небесные! Вот так открытие! И целых двадцать три года никто ничего не подозревал!

Глава XXI

Возмездие

На поверхности земли он совершенно бесполезен; ему надо находиться под землей и вдохновлять капусту.

Календарь Простофили Вильсона

1 апреля. В этот день нам напоминают, что мы собой представляем в течение остальных трехсот шестидесяти четырех

дней.

Календарь Простофили Вильсона

Вильсон поспешно, кое-как оделся и лихорадочно принялся за работу. Сна как не бывало. Неожиданное открытие, словно струя свежего ветра, взбудило его и развеяло всю усталость. Он с великой тщательностью скопировал несколько образцов из своей коллекции и при помощи пантографа увеличил их в десять раз. Он сделал это на листах белого картона, а затем обвел черной тушью все линии, составляющие узор в этой густой, неразборчивой сети черточек, извилин и завитков. Неопытному глазу все отпечатки пальцев из коллекции Вильсона казались одинаковыми, но при десятикратном увеличении их рисунок начинал напоминать узор на поперечном распиле дерева, причем даже самый невнимательный наблюдатель мог издали заметить, что среди всех этих узоров не было двух одинаковых. Покончив с этой трудной, утомительной работой, Вильсон расположил новые листы в хронологическом порядке, а затем прибавил к ним еще несколько старых увеличенных снимков, сделанных им за много лет.

За этими занятиями прошла ночь и начался день. Было уже девять часов, когда Вильсон, наскоро позавтракав, отправился в суд, спеша попасть к открытию заседания. Через двенадцать минут он уже был на месте и выкладывал на стол свои материалы.

Увидав, что Вильсон принес с собой образцы коллекции, Том Дрисколл толкнул локтем сидящего рядом приятеля и, подмигнув, сказал:

— Этот Простофиля на редкость предприимчив: решил, что если нельзя выиграть процесс, то он по крайней мере использует этот случай для бесплатной рекламы своих дворцовых украшений.

Вильсона уведомили, что его свидетельницы по каким-то обстоятельствам задержались и с минуты на минуту будут, но он встал и заявил, что, пожалуй, ему не понадобятся их показания. (По залу пронесся насмешливый шепот: «Идет на попятную!» «Отступает без боя!»)

— У меня есть другие доказательства, куда более веские! — пояснил Вильсон. (Это вызвало любопытство и послужило поводом для удивленных возгласов, впрочем не без доли разочарования.) — Прошу прощения, — продолжал он, — за то, что не предъявил суду этих вещественных доказательств своевременно, но я сам обнаружил их лишь нынче ночью, просидел над проверкой и классификацией полученных мною данных до утра и только полчаса назад все закончил. Сейчас я предъявлю суду свои улики, но прежде мне хочется сказать несколько слов.

Да будет мне дозволено напомнить суду, что прокурор весьма настойчиво и, я бы сказал, даже воинственно утверждал, что человек, оставивший кровавые следы пальцев на индийском кинжале, и есть убийца судьи Дрисколла.

Вильсон помолчал несколько секунд, чтобы придать многозначительность своим последующим словам, и добавил невозмутимо:

— Мы согласны с этим утверждением.

Его слова произвели поистине потрясающее впечатление, к такому заявлению никто из присутствующих не был подготовлен. Удивленные возгласы неслись со всех сторон, кое-кто даже позволил себе высказать догадку, что адвокат от переутомления спятил. Даже многоопытный судья, достаточно привыкший к юридическим засадам и замаскированным ловушкам в уголовном судопроизводстве, не поверил своим ушам и попросил адвоката повторить сказанное. На бесстрастном лице Говарда не отразилось ничего, однако его осанка и манеры на какое-то мгновение утратили обычную самоуверенность.

— Мы не только согласны с этим утверждением, — продолжал Вильсон, — но приветствуем его и со всей решительностью поддерживаем. Впрочем, оставим на время этот вопрос и займемся обсуждением других сторон дела, которые мы сейчас подкрепим доказательствами, а упомянутое утверждение найдет себе соответствующее место в последующей цепи улик.

Вильсон решил выдвинуть несколько смелых догадок, объясняющих причину убийства и то, как оно было осуществлено. Эти догадки должны были восполнить кое-какие пробелы, допущенные следствием. Если они достигнут цели, это поможет разобраться в обстоятельствах дела, если же нет, они ничему не повредят.

— На мой взгляд, некоторые обстоятельства дела подсказывают мотивы преступления, в корне непохожие на те, которые были выдвинуты прокурором. Я убежден, что убийство было совершено не из мести, а ради ограбления. Здесь утверждалось, что присутствие моих подзащитных в гостиной покойного судьи Дрисколла в роковую минуту и вскоре после полученного ими предостережения, что один из них падет от руки судьи при первой же встрече, если сам раньше не лишит судью жизни, якобы неопровержимо доказывает, что инстинкт самосохранения заставил их тайно проникнуть к судье и убить его, чтобы спасти графа Луиджи.

Но в таком случае почему же они продолжали оставаться там после совершения убийства? Миссис Прэтт не слыхала криков о помощи, проснулась не сразу и прибежала в гостиную тоже не сразу — однако она застала там этих братьев-близнецов, которые и не собирались скрываться. Если же они совершили бы убийство, то несомненно поспешили бы покинуть дом, прежде чем в гостиной появилась миссис Прэтт. Если допустить, что, следуя властному инстинкту самосохранения, они решились убить безоружного человека, почему же этот инстинкт вдруг потерял над ними власть именно в ту минуту, когда он должен был заговорить с удвоенной силой? Будь мы на их месте, неужели кто-нибудь из нас остался бы в гостиной судьи Дрисколла? Право же, не будем так клеветать на наш здравый смысл!

Здесь особо подчеркивалось следующее обстоятельство: мой подзащитный обещал весьма значительное вознаграждение за кинжал, которым позднее оказался убит мистер Дрисколл, однако, несмотря на заманчивость этого обещания, вор так и не объявился, — и этот факт рассматривается как косвенное доказательство того, что заявление о пропаже кинжала было пустым хвастовством и обманом; при сопоставлении же этого факта с известными всем пророческими словами покойного и учитывая, что в конце концов именно этот кинжал и был найден в роковой гостиной, где подле убитого не оказалось ни души, кроме владельца кинжала и его брата, — создается якобы прочная цепь доказательств того, что злосчастные чужестранцы повинны в убийстве.

Но я клятвенно заверяю суд и готов присягнуть, что в свое время была обещана также большая награда за голову вора, хотя и тайно, без объявления; однако о ней было кое-где неосторожно упомянуто, или, во всяком случае, факт обещания такой награды не отрицался в присутствии некоторых людей, не вызывавших, казалось бы, подозрения, — но, быть может, так только казалось. Тот, кто похитил кинжал, мог находиться среди них. (Том Дрисколл, глядевший на оратора, при этих словах опустил глаза.)

Если так, — продолжал Вильсон, — то вор сохранил у себя кинжал, не осмеливаясь ни продать его, ни заложить. (Некоторые из публики кивнули с понимающим видом.) Я берусь привести доказательства, которые убедят присяжных заседателей, что в комнате судьи Дрисколла за несколько минут до того, как туда вошли мои подзащитные, находился какой-то человек. (Это заявление вызвало сенсацию в зале: если кого-нибудь клонило ко сну, то тут уж он очнулся и превратился в слух!) В случае надобности барышни Кларксон могут подтвердить, что они встретили некую особу под вуалью, по виду женщину, которая вышла из задней калитки Дрисколла через несколько минут после того, как раздались крики о помощи. Но эта особа была не женщина: это был мужчина, переодетый женщиной.

Еще одна сенсация! Высказав свое предположение, Вильсон скосил глаза на Тома, проверяя, какое впечатление оно произвело. Результаты обрадовали его. «Удар попал прямо в цель!» — подумал он и продолжал:

— Этот человек явился в дом не с целью убийства, а с целью грабежа. Правда, несгораемый шкаф он так и не открыл, однако на столе стояла жестяная шкатулка с тремя тысячами долларов. Легко можно предположить, что вор прятался где-то в доме, что он знал о существовании этой шкатулки и о привычке ее владельца каждый вечер пересчитывать

деньги и приводить в порядок свои счета, — конечно, я этого не утверждаю, а только предполагаю. Итак, вор хотел унести шкатулку, пока владелец спал, но произвел шум, был схвачен и, спасая свою шкуру, прибежал к кинжалу; затем, услышав, что кто-то спешит на помощь, он бросился бежать, не успев захватить добычу. Я изложил вам свою теорию, а теперь перейду к фактам, посредством которых собираюсь доказать ее правильность.

Вильсон взял со стола несколько стеклышек. Когда публика увидела знакомые ей предметы давнишних забав Простофили, напряженное ожидание, написанное на лицах, сразу исчезло, и все весело и облегченно расхохотались, а громче всех Том. Один только Вильсон оставался невозмутимым; он разложил свои стекла перед собой на столе и продолжал:

— Прошу суд разрешить мне дать несколько предварительных разъяснений, а затем перейти к предъявлению улик, подлинность которых я готов подтвердить под присягой. Каждый человек сохраняет неизменными на всю жизнь, от колыбели до могилы, некоторые физические приметы, благодаря которым он может быть в любую минуту опознан, причем без малейшего сомнения. Эти приметы являются, так сказать, его подписью, его физиологическим автографом, и этот автограф не может быть ни подделан, ни изменен, ни спрятан, ни лишен четкости под влиянием времени. Этот автограф — не лицо, лицо как раз с годами меняется до неузнаваемости; это не волосы, волосы могут выпасть; это не рост, ибо бывают люди одинакового роста; и это не фигура, ибо фигуры тоже бывают одинаковые, — а этот автограф неповторим, и двух одинаковых автографов не сыщется среди всех миллионов людей, обитающих на земном шаре! (В публике снова пробуждается интерес.)

Этот автограф состоит из тонких линий и складок, которыми природа наделила наши ладони и ступни ног. Если вы взглянете на кончики ваших пальцев, те из вас, кто обладает хорошим зрением, заметят густую сеть слабо очерченных линий — вроде тех, какими обозначают на карте морские глубины, — образующих явные узоры: круги, полукруги, петли; что ни палец — то свой неповторимый узор. (Каждый из присутствующих поднял к свету руку и, наклонив голову набок, принялся внимательно разглядывать кончики своих пальцев; тут и там слышались приглушенные восклицания: «Действительно! Никогда прежде этого не замечал!») Узоры на правой руке отличаются от узоров на левой. (Восклицания: «А ведь он прав!») Каждый ваш палец отличается от пальцев вашего соседа. (Все стали сравнивать, и даже судья и присяжные заседатели погрузились в это непривычное занятие.) У близнецов узоры на пальцах тоже неодинаковые; присяжные заседатели сейчас убедятся, что узоры на пальцах моих подзащитных не являются исключением. (Пальцы близнецов сразу же подверглись осмотру.) Вы часто слышали о близнецах, обладающих таким сходством, что собственные родители с трудом отличали их друг от друга, если они были одинаково одеты. Тем не менее не родилось еще таких близнецов, которых нельзя было бы различить по этому верному, замечательному природному автографу. И никто из близнецов не мог бы, вопреки этому доказательству, обманным путем выдать себя за другого.

Вильсон сделал долгую паузу. Когда оратор прибегает к этому приему, все, кто отчаянно зевал за минуту до того, моментально обращаются в слух. Пауза предупреждает, что сейчас последует нечто важное. И вот все руки легли на колени, все спины выпрямились, все головы поднялись, и все взоры обратились к Вильсону. А он переждал секунду, другую, третью, чтобы полностью завладеть вниманием аудитории, затем, когда в глубочайшей тишине стало слышно тиканье стальных часов, протянул руку, взял за лезвие индийский кинжал, высоко его поднял, давая всем обозреть страшные пятна на ручке слоновой кости, и произнес ровным, бесстрастным голосом:

— На этой рукоятке убийца оставил свой автограф, написанный кровью беззащитного старика, который никому не причинял зла, который любил вас и которого вы все любили, и на всем свете есть только один человек, с чьих пальцев можно снять копию этого кровавого автографа. — Вильсон снова помолчал и, посмотрев на качающийся маятник, добавил: — И не успеют часы пробить двенадцать, как мы, с божьей помощью, покажем вам этого человека здесь, в зале.

Потрясенная, ошеломленная публика невольно привстала, словно ожидая увидеть убийцу на пороге зала. «Прошу соблюдать порядок! Сядьте!» — потребовал шериф. Все повиновались, и снова воцарилась тишина. Вильсон украдкой поглядел на Тома и отметил про себя: «Он взволнован, это видно; даже люди, которые презирают его, прониклись к нему жалостью. Они думают о том, какое это тяжкое испытание для молодого человека, потерявшего своего благодетеля из-за жестокого убийцы... Да, тяжкое — они правы».

— Больше двадцати лет, — продолжал Вильсон, — я заполнял вынужденные часы безделья, собирая в городе эти загадочные автографы. На сегодня у меня в доме накопилось их великое множество. Каждый снабжен ярлычком с именем, фамилией и датой, причем ярлык наклеивается не через день и даже не через час, а только в ту минуту, когда снимается отпечаток. Если вы меня допросите как свидетеля, я повторю под присягой то, что сказал сейчас. У меня хранятся отпечатки ваших пальцев, господин судья, и ваших, шериф, и каждого из присяжных заседателей. Едва ли найдется такой человек в этом зале, белый или негр, чьих отпечатков пальцев я не мог бы вам продемонстрировать; и никому не удастся спрятаться от меня: я найду его среди множества ему подобных и безошибочно узнаю по рукам. И если нам с ним суждено дожить до ста лет, я и тогда сумею это сделать. (Публика слушала Вильсона с возрастающим интересом.) Некоторые из этих «подписей» я изучал столь старательно, что знаю их теперь так, как знает банковский кассир подпись самого старейшего вкладчика. Я повернусь к вам спиной и попрошу нескольких человек провести рукой по волосам, а затем коснуться пальцами оконных стекол позади стола присяжных заседателей, и пусть вместе с ними приложат свои пальцы мои подзащитные. Прошу затем, чтобы лица, производящие опыт, или любой, кто пожелает, оставили отпечатки своих пальцев на другом окне, а рядом с ними еще раз мои подзащитные, но только в ином порядке. Я готов допустить, что в одном случае из миллиона можно угадать чисто случайно, и чтоб исключить этот элемент случайности, прошу вас проверить меня дважды.

Он отвернулся, и оба окна быстро покрылись бледными пятнами овальной формы, которые, впрочем, были заметны только тем, кто видел их на темном фоне, например на фоне листвы. Когда все снова расселись по местам, Вильсон подошел к окну, присмотрелся и сказал:

— Вот это — правая рука графа Луиджи; а вот это — на три ряда ниже — его левая. Вот правая рука графа Анджело; а в этом углу — его левая. На втором окне: вот отпечатки пальцев графа Луиджи, а здесь и вот здесь — его брата. — Он обернулся: — Я не ошибся?

Оглушительный взрыв аплодисментов послужил ему ответом. Судья воскликнул:

— Это просто какое-то чудо!

Вильсон снова обернулся к окну и продолжал, указывая пальцем:

— Вот это — автограф мистера судьи Робинсона. (*Аплодисменты.*) Это — констебля Блейка. (*Аплодисменты.*) Вот — Джона Мейсона, присяжного. (*Аплодисменты.*) А это — шерифа. (*Аплодисменты.*) Я не могу сейчас назвать остальных, но у меня имеются дома отпечатки их пальцев; все датировано, и помечены фамилии, и я смогу назвать их, как только загляну в свою коллекцию.

Вильсон вернулся на место под гром аплодисментов, вызвавших неудовольствие шерифа, который отчаянно шикал, пытаясь заставить публику снова сесть, ибо все стояли и вытягивали шеи, чтоб получше видеть. Судья, присяжные заседатели, да и сам шериф со всеми остальными были так увлечены сеансом, что почти забыли о порядке.

— Итак, — сказал Вильсон, — вот передо мной отпечатки пальцев двух детей, увеличенные в десять раз на пантографе, благодаря чему любой из вас, обладающий хорошим зрением, может различить их по первому взгляду. Назовем этих детей *A* и *B*. Вот отпечатки пальцев ребенка *A*, снятые, когда ему было пять месяцев. Вот они снова — теперь уже ребенку семь месяцев. (Том вздрогнул.) Как видите, они одинаковы. Вот отпечатки пальцев ребенка *B* в возрасте пяти месяцев, а здесь — в возрасте семи месяцев. Они тоже представляют точную копию друг друга, но их рисунок существенно отличается, как вы сами видите, от рисунка *A*. Я потом вернусь к этому, а пока положим их обратной стороной.

Вот перед вами увеличенные в десять раз отпечатки пальцев двух братьев, которых обвиняют в убийстве судьи Дрисколла. Я сделал эти снимки на пантографе нынче ночью и готов засвидетельствовать это под присягой. Прошу господ присяжных заседателей сравнить их с отпечатками пальцев, которые обвиняемые оставили на оконных стеклах и подтвердить суду, что они одинаковы.

И он передал увеличительное стекло старшине присяжных заседателей.

Один за другим, заседатели брали в руки картон, глядели на окно сквозь увеличительное стекло и сличали. Когда это было закончено, старшина заявил судье:

— Ваша честь, мы пришли к единогласному выводу, что они идентичны.

Тогда Вильсон сказал старшине:

— Теперь переверните этот лист оборотной стороной вверх, возьмите вот этот и при помощи увеличительного стекла сравните то, что вы там увидите, с роковыми отпечатками на рукоятке кинжала и объявите суду о результатах.

Присяжные заседатели снова погрузились в изучение экспонатов; засим последовал ответ:

— Мы находим их совершенно идентичными, ваша честь.

Вильсон повернулся к прокурору, и в голосе его явственно прозвучала угроза.

— Напоминаю суду, — заговорил он, — упорные и настойчивые утверждения прокурора о том, что кровавые следы пальцев на рукоятке кинжала принадлежат убийце судьи Дрисколла. Вы слышали, что мы охотно поддержали это утверждение. — Тут Вильсон снова обратился к присяжным: — Сравните отпечатки пальцев обвиняемых с отпечатками пальцев убийцы и дайте ваше заключение!

Сличение началось. Пока присяжные заседатели сопоставляли образцы, в зале царил тишина, публика словно замерла. Все с величайшим нетерпением ждали ответа, и когда наконец раздались слова: «Они совершенно не похожи», гром аплодисментов нарушил тишину, и все как один вскочили на ноги; впрочем, официальные лица быстро применили свою власть и восстановили порядок. Том непрерывно вертелся — ему не сиделось ни так, ни этак, но сколько он ни ерзал, легче ему не становилось. А Вильсон, снова завоевав внимание публики, сказал веско, указывая на близнецов:

— Эти люди не виновны, о них мне больше нечего говорить. (Новый взрыв аплодисментов, правда сразу же прекращенный.) Теперь займемся поисками настоящего преступника. (Глаза Тома буквально вылезли из орбит. А каждый в зале думал: «Да, тяжелый это день для осиротевшего юноши!») Вернемся к младенческим отпечаткам пальцев *A* и *B*. Прошу присяжных заседателей взять эти увеличенные «факсимиле» ребенка *A*, на которых стоит пометка «пяти месяцев от роду» и «семи месяцев от роду». Соответствует ли одно другому?

— В точности! — провозгласил старшина.

— А теперь посмотрите на этот пантограф, где зафиксированы отпечатки восьмимесячного *A*. Соответствует ли он двум другим?

И удивленные присяжные отвечали:

— Нет, нисколько!

— Вы безусловно правы. Теперь возьмите вот эти два пантографа ребенка *B*, пяти месяцев и семи месяцев от роду. Соответствуют ли они друг другу?

— Да, полностью.

— И вот вам третий пантограф, помеченный *B*, восьми месяцев от роду. Соответствует ли он двум другим того же *B*?

— Ни в коей мере!

— А знаете ли вы, чем объяснить это странное несоответствие? Сейчас я вам расскажу. По неизвестной для нас причине, преследуя, очевидно, какие-то личные цели, кто-то поменял этих детей в колыбелях.

Эти слова произвели, разумеется, невообразимое впечатление на всех; Роксана была поражена столь замечательной догадкой, но ничуть не обеспокоена. Одно дело — догадаться

о подмене, другое — догадаться о виновнике. Простофиля Вильсон несомненно способен на редкостные фокусы, но до чудес ему далеко! Может ли она считать себя в безопасности? Безусловно! И Рокси в душе усмехнулась.

— Малыши были подменены в возрасте от семи до восьми месяцев. — Вильсон сделал еще одну эффектную паузу и добавил: — И лицо, повинное в этом, находится здесь, рядом с вами!

Кровь застыла у Рокси в жилах! По залу словно прошел электрический ток, все вскочили с мест — каждому хотелось хоть одним глазком увидеть, кто же это. Том обомлел, ему показалось, что у него останавливается сердце. А Вильсон между тем продолжал:

— Младенец *А* был положен в колыбель младенца *Б* в детской господского дома; младенец *Б* был отправлен на кухню и стал негром и рабом. (Переполох в зале.) Но через четверть часа он предстанет перед вами как белый и свободный человек! (Взрыв аплодисментов, подавленный служителями.) Итак, с тех пор, когда ему было семь месяцев от роду, и до сегодняшнего дня *А* являлся узурпатором, ибо, согласно отпечаткам пальцев в моей коллекции, он живет под именем *Б*. Вот его пантограф в двенадцатилетнем возрасте. Сравните его с отпечатками пальцев на рукоятке кинжала. По-вашему, они похожи?

— Как две капли воды! — отвечивал старшина присяжных.

И Вильсон торжественно закончил:

— Убийца нашего общего друга Йорка Дрисколла, доброго, щедрого человека, находится в зале. Вале де Шамбр, негр и раб, ложно именующий себя Томасом Бекетом Дрисколлом, приложи к оконному стеклу пальцы и оставь отпечатки, которые пошлют тебя на виселицу!

Том с мольбой повернул землистое лицо к говорившему, сделал попытку произнести что-то побелевшими губами и без чувств свалился на пол.

Вильсон нарушил мертвую тишину, произнес:

— Больше ничего не требуется. Он сознался.

Рокси рухнула на колени, закрыла лицо руками и, рыдая, запричитала:

— Господи, помилуй меня, грешницу!

Часы пробили двенадцать.

Судья встал. Нового арестанта, в железных наручниках, вывели из зала.

Заключение

Часто бывает, что человек, который ни разу в жизни не соврал, берется судить о том, что правда, а что ложь.

Календарь Простофили Вильсона

12 октября — день открытия Америки. Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.

Календарь Простофили Вильсона

Эту ночь город провел без сна. Все только и обсуждали необычайные события дня и ждали суда над Томом. Целыми толпами граждане шли петь хвалу Вильсону, требовали, чтобы он произнес речь, и кричали до хрипоты, повторяя каждую его фразу, ибо теперь все, что он говорил, ценилось на вес золота, казалось чудом. Долгая борьба Вильсона с неудачами и предубеждением кончилась, он стал знаменит.

В каждой группе восторженных обывателей, когда они покидали дом Вильсона, обязательно находился хоть один совестливый человек, который робко говорил:

— И вот такие, как мы, целых двадцать лет называли его простофилей! Друзья, он освободил это место!

— Конечно, но оно уже занято: простофили-то мы!

Братья-близнецы снова были возведены в ранг героев, и репутация их восстановлена. Но они устали от своих приключений на американском Западе и тут же отбыли в Европу.

Сердце Рокси было разбито. Хотя юноша, которого она заставила двадцать три года жить в рабстве, и обещал сохранить ей пенсию в тридцать пять долларов, назначенную ей мнимым наследником, раны Рокси были слишком глубоки, чтобы деньги могли их залечить; взор ее потух, статная фигура утратила свою воинственную осанку, беззаботный смех умолк. Единственным утешением Рокси стала теперь религия.

Подлинный наследник внезапно оказался богатым и свободным человеком, но положение его было весьма затруднительным. Он не умел ни читать, ни писать и говорил на том простом диалекте, на котором говорят только негры. Его манеры, походка, жесты, смех — все было неотесанно и грубо, все выдавало в нем раба. А деньги и дорогое платье не могли исправить эти недостатки или, тем более, скрыть их: наоборот, делали их еще более явными, а его — еще более жалким. Бедный юноша замирал от страха, находясь в гостиной среди белых, и чувствовал себя спокойно только на кухне. Пыткой было для него и сидеть на родовой скамье Дрисколлов в церкви, а между тем «негритянский балкончик», где можно было отдохнуть душой, оказался теперь для него закрытым навсегда. Но мы не можем дальше заниматься его необыкновенной судьбой — это отняло бы слишком много времени.

Мнимый наследник признался во всем и был приговорен к пожизненной каторге. Но тут возникло одно осложнение. Имение Перси Дрисколла находилось в таком плачевном состоянии после его смерти, что в свое время кредиторам было предложено получить только шестьдесят процентов долгов, и им пришлось согласиться. Зато теперь все кредиторы сбежались и подали жалобу: поскольку-де была такая ошибка и мнимый наследник не числился среди описанного имущества, значит по отношению к ним была совершена ужасная несправедливость! Мнимый Том Дрисколл, по закону, должен был уже целых восемь лет принадлежать им; они и так достаточно потеряли, оттого что были лишены его услуг в течение столь долгого времени, и нельзя же требовать, чтобы они терпели дальнейшие убытки. Если бы «Тома» выдали им в самом начале, они бы продали его, и он не смог бы тогда убить судью Дрисколла, а посему в убийстве судьи виноват не он, а виновата неправильная опись имущества. И все согласились, что это логично. Все поддержали мысль, что, будь «Том» белым и свободным, его бесспорно следовало бы наказать, поскольку это не принесло бы никому убытка, но посадить за решетку на всю жизнь раба, представляющего денежную ценность, — это уж совсем другое дело!

Как только губернатор уразумел, в чем тут суть, он сразу же помиловал Тома, и кредиторы продали его в низовья реки.

Комментарии

Американский претендент Том Сойер за границей Простофиля Вильсон

Произведения Твена, печатающиеся в седьмом томе, были написаны в первой половине 90-х годов XIX века. Это был период создания в США новых капиталистических монополий и укрепления старых, обострения классовых противоречий внутри страны и роста экспансионистских тенденций в ее внешней политике, «...американцы, — писал в конце 1892 года Ф. Энгельс, — с давних уже пор доказали европейскому миру, что буржуазная республика — это республика капиталистических дельцов, где политика такое же коммерческое предприятие, как и всякое другое»⁹. В эти годы продолжает углубляться

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIX, 1946, стр. 179.

недовольство Твена американской действительностью и его разочарование в буржуазной демократии. Однако все это находит в его произведениях сложное и даже противоречивое выражение.

В повести «Американский претендент», написанной Твеном в 1891 и опубликованной в 1892 году, читатель снова встречается с героями «Позолоченного века» (1874) — Селлерсом и Вашингтоном Хокинсом. Снова они носятся с проектами обогащения, принимающими на этот раз совершенно абсурдный характер. Значительное место в «Американском претенденте» занимает мотив претензий Селлерса на графство Россмор, который был, очевидно, подсказан Твену длительной борьбой за свои «права» его дальнего родственника, считавшего себя законным носителем титула графов Дерхем.

Твен затрагивает в «Американском претенденте» серьезные вопросы американской жизни, выражая свои сомнения насчет достоинств буржуазно-демократических порядков. Общественный строй США получает в ряде глав повести острое сатирическое освещение. Вместе с тем в повести есть много забавных фарсовых ситуаций и эксцентрики, напоминающей раннее творчество Твена. В известной мере писатель пародирует модный американский роман своего времени.

Приехав в Америку, молодой английский аристократ Беркли обнаруживает там не идеальный, справедливый строй, о котором он мечтал, а раболепие перед богатством и даже перед титулом, наряду с жестокостью к слабым. В пансионе Марша, как бы воплощающем все американское общество (недаром один из персонажей книги — рабочий Бэрроу — говорит, что «наш пансион лишь уменьшенная копия большого мира»), царит неравенство.

Сопоставляя порядки, характерные для европейских стран, в которых еще сильны пережитки феодальных нравов, и американские буржуазные устои, Твен уделяет больше всего внимания в повести критике социальных пороков Нового Света.

Повесть «Американский претендент» пронизана иронией, иногда выбивающейся на поверхность, а иногда глубоко скрытой. Так, не сразу становится очевидной ирония автора там, где он описывает восторженное восприятие его героем, виконтом Беркли, выступления клерка патентного бюро, восхваляющего технический прогресс США.

Даже фарсовые элементы в повести нередко служат многообразным сатирическим целям. Изображая, например, намерение Селлерса «материализовать» мертвецов — эту нелепейшую выдумку, Твен высмеивает прежде всего спиритизм, получивший в ту пору широкое распространение в буржуазных кругах. Вместе с тем в затее Селлерса создать компанию и выпустить акции под «материализованных» покойников содержится издевка над духом американского делячества, над дутыми спекулятивными предприятиями, повседневно возникавшими в США.

Пародийное начало, ощущающееся в «Американском претенденте», ясно выражено Твеном в предисловии к книге, в котором указывается, что описания погоды, заимствованные «у высокоопытных и признанных мастеров своего дела», будут помещены в особом приложении, где они «никому не мешают».

Особое место занимает в повести проект Селлерса купить у русского царя Сибирь, представляющий собой, конечно, еще одну типичную селлерсовскую фантазмагорию. Но в уста этого фарсового героя автор вкладывает некоторые свои душевные мысли о сосланных в Сибирь русских революционерах — людях «мужественных, смелых, исполненных подлинного героизма, бескорыстия, преданности высоким и благородным идеалам, любви к свободе, образованных и умных». Твен глубоко сочувствовал русскому революционному движению. В письме в редакцию «Свободной России», относящемся к 1890 году, он призывал «ликвидировать царя, все его гнездо и всю систему». Год спустя, прочитав книгу С. М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», Твен выразил в письме к нему свое восхищение моральной красотой русских революционеров.

В русском переводе «Американский претендент» появился впервые в год выхода

американского оригинала. Небезынтересно, что в переводе, напечатанном в журнале «Русское обозрение» (1892, №№ 9–12), вместо России и Сибири фигурируют Турция и Балканский полуостров. Русскому читателю сообщалось, что Селлерс собирается купить Европейскую Турцию, а «благороднейшие и достойнейшие люди», живущие «под турецким игом», ссылаются турецким правительством «куда-нибудь в Анатолию или на далекие острова» («Русское обозрение», 1892, № 11, стр. 239–241). В других ранних переводах повести (журналы «Художник», 1892, №№ 19–24, и «Наблюдатель», 1893, №№ 1–4), по тем же цензурным соображениям, были произведены сокращения в тех местах, где говорится о покупке Сибири и о русских революционерах.

После опубликования «Приключений Гекльберри Финна» Твен не раз собирался снова вызвать к жизни своих старых излюбленных героев — Тома и Гека. В 1888 году было набрано 26 гранок нового произведения Твена — «Гек Финн и Том Соьер среди индейцев», но повесть осталась незаконченной.

В 1892 году Твен начал работать еще над одной книгой о Томе и Геке. Повесть «Том Соьер за границей» печаталась в детском журнале «Сент-Николас» с ноября 1893 по апрель 1894 года.

В путешествии за границу, которое предпринимают Том, Гек и негр Джим, средством сообщения служит уже не плот, а воздушный шар. Их путь лежит теперь не в южные районы долины Миссисипи, а в пустыню Сахару и Египет.

Хотя, создавая «Тома Соьера за границей», Твен, по-видимому, ориентировался прежде всего на детского читателя, в некоторых беседах героев книги можно обнаружить язвительные намеки и выпады, имеющие серьезный социальный смысл. Остроумна уничтожающая критика, которой подвергают Гек и Джим проект Тома Соьера устроить «новый крестовый поход» и отобрать землю у людей, которые издавна на ней трудятся. Твен выступает здесь против романтики средневековья, но одновременно и против грабительских колониальных войн, которые вели разные державы в конце XIX века. Есть элементы злободневной сатиры также в рассказе о перспективах ввоза в Америку... песка из Сахары и в дискуссии о пошлинах. Вокруг вопроса о таможенных пошлинах в США шла в то время ожесточенная борьба. Твен был противником протекционистской политики, дававшей огромные барыши американской буржуазии.

Повесть «Том Соьер за границей», в большой мере представляющая собой экстравагантную шутку, по глубине и художественной силе слабее первых двух книг Твена о Томе и Геке. Но и в этом произведении читателя радуют блестящие твеновского юмора и острые сатирические эпизоды.

Наращение критических тенденций в творчестве Твена конца XIX века сказалось не только в тех его произведениях, в которых он прямо обращается к современности, но и там, где писатель говорит об Америке прошлого. В повести «Простофиля Вильсон» писатель создает образ рабовладельческого городка, в котором нет и тени патриархальной привлекательности, ощущаемой в Санкт-Петербурге, изображенном в «Приключениях Тома Соьера», а царят мещанство, косность, пошлые обывательские интересы.

Творческая история «Простофили Вильсона» охватывает несколько лет. В 1892 году Твен работал над носящей откровенно фарсовый характер повестью «Эти удивительные близнецы», в которой фигурировали сросшиеся телами близнецы-итальянцы. Повесть эта, однако, его не удовлетворила, и он начал перерабатывать рукопись. В новом варианте близнецы должны были занять подчиненное место, а второстепенный персонаж — провинциальный юрист Вильсон — становился центральным. В конце концов родилось самостоятельное произведение — «Простофиля Вильсон». В 1894 году вышла в свет книга, в которой были напечатаны вместе «Простофиля Вильсон» и «Эти удивительные близнецы».

Следы первоначального замысла сохранились в тексте «Простофили Вильсона» — среди жителей провинциального американского городка фигурируют экзотические итальянские близнецы.

В целом «Простофиля Вильсон» — значительное произведение, в котором с большой

силой и выразительностью показано разлагающее воздействие рабства на жизнь в США, развернута яркая картина быта затхлого провинциального городка — Пристани Доусона — и созданы яркие, запоминающиеся образы, особенно Вильсона и «белой» негритянки Роксаны.

Мир рабства в «Простофиле Вильсоне», как, впрочем, и в «Приключениях Гекльберри Финна», изображен Твеном не в обнаженно-жестокой форме, характерной для «глубокого Юга», но писатель показывает, что и «смягченные» формы рабства бесчеловечны и духовно уродуют людей. Жестоким, наглым и одновременно трусливым деспотом становится Том Дрисколл, получивший типичное воспитание рабовладельца. Развращающее влияние рабства продемонстрировано Твеном и на примере «доброе» рабовладельца — Перси Дрисколла, который, по ироническому замечанию писателя, «был человеком довольно снисходительным, когда дело касалось негров и прочих домашних животных».

Невежественным и спесивым обывателям Пристани Доусона противопоставлен благородный и умный Вильсон. Твен создает парадоксальную ситуацию: именно Вильсон, этот проницательный человек, вольнодумец, безгранично превосходящий силой интеллекта всех своих сограждан, долгие годы считается в городке простофилей, отпетым дураком. Это дало богатый материал для пропитанных горечью и едкостью афоризмов «Календаря Простофили Вильсона». Яркие и сильные афоризмы Вильсона порождены отвращением к пошлости и ничтожеству жизни мещан. Впрочем, желчная сатиричность «Календаря» нередко переходит в пессимизм, характерный для ряда поздних произведений Твена. Афоризмы «Нового календаря Простофили Вильсона» включены Твеном в качестве эпиграфов в книгу «По экватору» (1897).

Имеющее существенное значение в развитии сюжета повести увлечение Вильсона дактилоскопией — научным методом опознавания личности — отражает интерес к ней самого Твена, еще в «Жизни на Миссисипи» (1883) посвятившего ряд страниц «отпечатку большого пальца».

А. Наркевич

Американский претендент

Глава I

Стр. 11....кавалера орденов Подвязки, Бани, Святого Михаила. — Английские ордена. Орден Подвязки основан в середине XIV в. королем Эдуардом III. Легенда объясняет происхождение названия ордена так: когда танцевавшая с королем графиня Солсбери уронила подвязку с ноги, король, подняв подвязку, вернул ей и обратился к придворному со словами: «Nonni soit qui mal y pense» («Стыдно тому, кто об этом дурно подумает»), ставшими девизом нового ордена. Орден Бани, по преданию, был основан в 1399 г., при коронации короля Генриха IV, когда 46 эсквайров были посвящены в рыцари после совместного с королем омовения в бане, символически означавшего нравственное очищение; орден Бани возобновлен в 1725 г. королем Георгом I. Орден св. Михаила (и св. Георгия) основан в 1818 г.

Стр. 13. *Фейрфакс* Томас (1692–1782) — барон, унаследовавший от своей матери обширные поместья в Виргинии и переселившийся туда в 1747 г.

Глава II

Стр. 19. *Джесон Эндрью* (1767–1845) — известный североамериканский политический деятель, президент США (1829–1837).

Стр. 21. *Чероки* (Чироки) — племя североамериканских индейцев, по языку

принадлежащее к ирокезской группе. После открытия золота на земле Чироки это племя было изгнано войсками США и переселено на Индейскую территорию, (ныне штат Оклахома).

Стр. 22...*Сент-Джеймский двор.* — Сент-Джеймс — королевский дворец в Лондоне, служивший до 1809 г. постоянной резиденцией английских королей.

Стр. 23.*Тайкондиорога* — деревня в штате Нью-Йорк (США). Место это имело большое стратегическое значение, и в 1755 г. французы основали под Тайкондиорогой форт. Во время Семилетней войны под Тайкондиорогой происходили значительные сражения. 8 июля 1758 г. французы разбили там англичан; 26 июля 1759 г. англичане захватили форт и разрушили его.

Глава III

Стр. 30.*Грант, Шерман, Шеридан, Джонстон, Лонгстрит, Ли.* — Грант Улисс Симпсон (1822–1885) командовал войсками Севера, впоследствии был президентом США; Шерман Уильям Текумсе (1820–1891) и Шеридан Филипп Генри (1831–1888) — генералы армии северян. Остальные названные здесь полководцы — Джонстон Альберт Сидней (1803–1862) (или Джонстон Джозеф Эггльстон (1807–1891)), Лонгстрит Джеймс (1821–1904) — сражались на стороне южан; Ли Роберт Эдуард (1807–1870) — главнокомандующий армией южан.

Стратфорд-он-Эйвон (Стратфорд-на-Эйвоне) — город в Англии, знаменитый тем, что в нем родился и умер Шекспир.

Стр. 32.*Эндорская волшебница* — упоминаемая в Первой книге царств волшебница, предсказавшая царю Саулу поражение в битве с филистимлянами (библ.); Джон Мильтон (1608–1674) — великий английский поэт; сиамские близнецы — знаменитые близнецы Чанг и Энг; с 1829 г. показывались за деньги в различных городах Европы и Америки. Твен посвятил им специальный очерк (1869).

Стр. 36.*Фра-Анджелико* — Анджелико Джованни (1387–1455), выдающийся итальянский живописец.

Глава IV

Стр. 41.*...все у них там названо по романам сэра Вальтера Скотта.* — Твен сатирически затрагивает характерное для североамериканской буржуазии XIX в. увлечение средневековой бутафорией и объясняет его влиянием Вальтера Скотта.

Стр. 43.*Будь я Жаном Кальвином, я б всю жизнь промучился: все бы думал, куда я после смерти уйду.* — Сущность учения французского деятеля протестантизма Жана Кальвина (1509–1564) состояла в положении об абсолютном предопределении, согласно которому одни люди обречены на погибель и адские муки, другие же обретут спасение и райское блаженство.

Глава V

Стр. 44.*Донжон Кенильворт.* — В колледже Ровена-Айвенго все помещения названы по романам Вальтера Скотта: донжон (главная башня средневекового замка) именуется в честь романа «Кенильворт» (1821), аудиенц-зал — в честь романа «Роб-Рой» (1818).

Стр. 45.*...знати во вкусе Мак-Аллистеров...* — Мак-Аллистер Уорд (1827–1895) — американский адвокат и арбитр хорошего тона в Нью-Йорке, утверждавший, что к нью-йоркскому высшему обществу принадлежат только четыреста человек.

Стр. 49.*Берк* Джон (1787–1848) — ирландский генеалогист. В 1826 г. составил справочник, содержащий родословную баронетов и пэров, известный под названием «Burke's Peerage».

Сент-Олбенсы, Буклей и Графтоны — три знатные английские фамилии. К одной из ветвей рода Буклеев через дальних предков принадлежал Вальтер Скотт.

Стр. 51.*Колумбийский округ США.* — Колумбийский округ (округ Колумбия) включает в себя столицу США Вашингтон и его пригороды.

Глава VII

Стр. 58.*...Буффало Билл в ту пору еще не приезжал в Англию.* — Буффало Билл — псевдоним Коди Уильяма Фредерика (1846–1917), знаменитого североамериканского охотника, разведчика и хозяина цирка, героя бесчисленных (переводившихся и на русский язык) книжек о его приключениях; посетил Англию со своим цирком в 1886 г.

Стр. 62.*Грэхем Белл* — Белл Александр Грэхем (1847–1922) физиолог и физик, один из изобретателей телефона.

Глава X

Стр. 76.*Мэтью Арнольд* (1822–1888) — английский поэт, критик и педагог; в 1883–1884 и 1886 гг. посетил США для чтения лекций. Впечатления М. Арнольда от США, отразившиеся в его выступлениях в печати, сводились к тому, что за океаном наряду с богатством и относительным комфортом наблюдается низкий уровень культуры. Особенно Арнольд подчеркивал вульгарность прессы. В американской печати утверждения М. Арнольда вызвали бурные протесты. Твен первоначально предполагал отвечать Арнольду на его критику американских газет, но набросанная им статья не увидела света, пролежала четыре года и в урезанном виде была включена им в выступление мистера Паркера. Две цитаты взяты (с незначительными изменениями) из очерка М. Арнольда «Цивилизация в Соединенных Штатах», 1888.

Стр. 80.*...профессора Генри из Принстонского университета, изобретателя телеграфной азбуки мистера Морзе...* — Генри Джозеф (1797–1878) — американский физик, известный главным образом трудами по электротехнике; окончил академию в Олбени. Морзе Сэмюел (1791–1872) — американский изобретатель электромагнитного телеграфа и азбуки Морзе; окончил йельский университет.

Глава XI

Стр. 83.*...обе партии вслух выражали свои симпатии Ирландии, а про себя честили ее на чем свет стоит.* — Вторая половина XIX и начало XX в. — время ожесточенной борьбы ирландцев с правящими кругами Англии за землю и самоуправление. «Англия веками порабощала Ирландию, доводила ирландских крестьян до неслыханных мучений голода и вымирания от голода, сгоняла их с земли, заставляла сотнями тысяч и миллионами покидать родину и выселяться в Америку» (Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 130). Массовая эмиграция ирландцев в США привела к тому, что удельный вес ирландцев в политической жизни США (особенно в организации демократической партии в штате Нью-Йорк — Тамани-Холл) стал очень велик. Это вынуждало обе основные партии США — демократическую и республиканскую, — заинтересованные в поддержке ирландцев, демонстрировать — по крайней мере показные — симпатии к борьбе ирландцев с англичанами.

Стр. 92.*Геркуланум* — древний город в Италии (около Неаполя), разрушенный и засыпанный пеплом вместе с Помпеей во время извержения Везувия в 79 г. Раскопки Геркуланума начались в 1738 г.

Стр. 93.*Маттерхорн* — гора на границе Швейцарии и Италии. Высота 4481 м.

Мемнон — так называли в Древнем Египте две колоссальные статуи Аменхотепа III.

Глава XIII

Стр. 107. *Джонни Буль.* — Джон Буль — прозвище англичан, возникшее после создания английским писателем Д. Арбетнотом (1667–1735) образа англичанина-буржуа в сатире «История Джона Буля» (1712).

Стр. 108. *...сравнил себя с блудным сыном... Блудному сыну приходилось только кормить свиней.* — Имеется в виду евангельская притча о блудном сыне.

Глава XVI

Стр. 129. *Недостаточно уметь зарифмить сезни.* — Риф-сезни — поперечный ряд завязок, пропущенных через парус, с помощью которых можно уменьшить рабочую площадь паруса во время сильного штормового ветра.

«И да падет зло на голову замышляющему его», — говорит Исайя. — Приведенной цитаты нет в Библии.

Глава XVII

Стр. 136. *...настоящая Балаклава.* — Во время Крымской войны 1853–1856 гг. под Балаклавой 13 октября 1854 г. произошло сражение между русскими и англо-турецкими войсками, не раз служившее темой батальным живописцам.

... если б вы жили в Париже, вы получили бы Римскую премию... — Академия художеств Франции присуждает с XVII в. живописцам, скульпторам, архитекторам, граверам и композиторам Римскую премию, дающую возможность в течение определенного времени жить в Риме на казенный счет для усовершенствования в своем искусстве.

Стр. 139. *...копи Голконды.* — Голконда — столица одноименного государства в Индии в XVI–XVII вв., знаменитая месторождением алмазов.

Глава XVIII

Стр. 150. *Дель Сарто* Андреа (1486–1531) — выдающийся итальянский живописец.

Глава XXII

Стр. 178. *Клайв* Роберт (1725–1774) — английский полководец, жестокий колонизатор, основатель британского владычества в Индии.

Глава XXIII

Стр. 186. *...примирить Йорков с Ланкастерами, привив враждующие розы на одном стебле...* — Имеется в виду война Алой и Белой розы — борьба за английский престол между домом Ланкастеров (гербом которых была алая роза) и домом Йорков (белая роза).

Стр. 189. *Пэр* — звание представителя высшего дворянства, обладающего наследственным правом заседать в палате лордов.

Глава XXIV

Стр. 198. *...именовавшееся «Дщери Силоамские».* — Силоам, Силоамская купель — упоминающийся в Библии источник, вода которого считалась священной.

Глава XXV

Стр. 213. *...чтобы проверить... с помощью большого телескопа Лика.* — Лик Джеймс (1796–1876) — американский финансист, пожертвовавший крупную сумму денег на постройку мощного телескопа. В его честь названа обсерватория, в настоящее время

принадлежащая Калифорнийскому университету.

Приложение

Стр. 216. Пародийно сгруппированные здесь описания погоды извлечены Твенем из произведений О'Коннора Уильяма Дугласа (1832–1889) — критика и романиста; Сколларда Клинтона (1860–1932) — американского поэта; Мерффри Фанни-Ноайль Диккинсон (годы жизни неизвестны) — американской писательницы, оставившей только одну книгу, откуда и взята Твенем цитата; Льюиса Чарльза Бертрана (1842–1924) — американского журналиста и юмориста писавшего под псевдонимом «М. Квод»; Мерффри Мэри Ноайль (1850–1922) — американской романистки и новеллистки, писавшей под псевдонимом «Чарльз Эгберт Креддок»; Хорнунга Эрнста Уильяма (1866–1921) — английского романиста, автора «Лесной невесты»; из библии (книга Бытия, 7, 12).

«Американский претендент» переведен с американского издания «Харпер энд брозерс», 1896.

Том Сойер за границей

Глава I

Стр. 227. *Чокто* (чоктавы) — племя североамериканских индейцев.
Святая Земля — Палестина.

Стр. 228. *Ричард Львиное Сердце* (1157–1199) — английский король (1189–1199), участник третьего крестового похода.

Готфрид Бульонский (ок. 1060–1100) — герцог Нижней Лотарингии, один из руководителей первого крестового похода.

Стр. 230. *Том взял этот план из книги Вальтера Скотта...* — Крестовые походы описаны Вальтером Скоттом в романах «Талисман» (1825) и «Граф Роберт Парижский» (1832).

Глава VIII

Стр. 271. *Анания и жена его Сапфира* — библейские персонажи.

Глава IX

Стр. 282. *Года два или три назад мы отняли у мексиканцев Калифорнию...* — Калифорния была присоединена к США после захватнической войны с Мексикой (1846–1848) по мирному договору, заключенному в Гвадалупе-Гидальго 2 февраля 1848 г.

Стр. 285. *Он всегда говорил, что рай — это Род-Айленд того света.* — Род-Айленд самый маленький из штатов США.

Глава X

Стр. 285. *Однажды... по пустыне тащился пешком дервиш.* — В этой сказке воспроизводится с некоторыми изменениями сюжет «Истории Баба Абдаллаха» из «Тысячи и одной ночи».

Стр. 286. *...доставил в Басру большой груз.* — Басра — часто упоминаемый в «Тысяче и одной ночи» торговый город и порт.

Стр. 292....стал бы знаменитым, как капитан Кидд... — Кидд Уильям — пират, повешенный в Лондоне в 1701 г., герой многих песен и баллад.

Глава XI

Стр. 294.*Великий Могол.* — Великими Моголами называлась династия индийских государей, правившая с 1526 по 1858 г. Название произошло оттого, что основателя династии — афганского феодала Бабура (1483–1530) — его современники европейцы сочли за монгола и стали называть основанную им династию Великими Монголами. Впоследствии «монголы» превратились в «моголов».

Стр. 297.*Креозот* — маслянистая желтоватая жидкость, применяемая в технике для предохранения дерева от гниения, а также в медицине и ветеринарии.

Крез — последний царь Лидии (VI в. до н. э.), славившийся своим богатством.

Стр. 301.*Планишир* — доска или брус, проходящий по верхнему краю бортов судна.

Глава XII

Стр. 302.*Мафусалим* (искажен.) — Мафусаил, библейский персонаж, проживший якобы 969 лет (библ.).

Стр. 303.*Моисей, Иосиф, Фараон и другие пророки,* — Моисей (по библии) — «пророк», которому приписывается освобождение древних евреев от преследования египетских фараонов. Иосифа и фараона Джим и Гек ошибочно причисляют к пророкам.

И это та самая река, которая превратилась в кровь... тут и Иосиф с братьями, и Моисей в камышах... и серебряная чаша... — Здесь идет путаный пересказ некоторых эпизодов из библии.

Нуреддин (Нур-ад-дин), *Бедреддин* (Бедр-ад-дин) — герои «Тысячи и одной ночи».

Стр. 308....на том самом месте, откуда принц вылетел на бронзовом коне. — Здесь пересказывается сюжет одной из известных сказок «Тысячи и одной ночи» — о волшебном коне (с той лишь разницей, что конь в «Тысяче и одной ночи» был из черного дерева и слоновой кости).

Стр. 314....над тем самым местом, где израильтяне переходили. Чермное море, когда фараон хотел их догнать и на него обратились воды. — Фараон со своим войском, догонявший ушедших из Египта евреев, застиг их у Чермного (Красного) моря. Море расступилось перед беглецами, и они благополучно перешли на другой берег. Когда же преследователи двинулись за ними, воды снова сомкнулись, и фараон погиб вместе со своим войском (библ.).

Стр. 315....над горой Синай и осмотрели то место, где Моисей разбил каменные скрижали, и ту равнину, где расположились сыны Израилевы и где они поклонялись золотому тельцу... — После исхода из Египта Моисей получил от бога на горе Синай (на Синайском полуострове Красного моря) заповеди, по которым надлежало жить еврейскому народу. Во время его отсутствия евреи впали в вероотступничество — стали поклоняться золотому тельцу. Вернувшийся Моисей в гневе разбил каменные скрижали, содержавшие заповеди и уставы (библ.).

«Том Сойер за границей» переведен с издания «Таухниц», 1894.

Простофиля Вильсон

Глава II

Стр. 333.*Пантограф* — в данном случае прибор для снятия копий в том же или

увеличенном масштабе.

Стр. 336...*о посещении... методистской церкви.* — Методисты — одна из протестантских сект в Англии и США.

Глава III

Стр. 341...*Давиду, Голиафу и другим пророкам.* — Давид — древнееврейский царь XI–X веков до н. э. Голиаф-филистимлянин — великан, убитый Давидом в единоборстве; Библия не относит Давида и Голиафа к пророкам.

Глава IV

Стр. 345...*случай с детьми, медведицами и пророком...* — По библейскому преданию, пророк Елисей, над которым насмеялись дети, проклял их. Из леса вышли медведицы и растерзали детей.

Стр. 348...*сэр Кэй, облаченный в доспехи Ланселота.* — Сэр Кэй и Ланселот — персонажи средневековых рыцарских романов о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Сэр Кэй — хвастливый, трусливый неудачник, постоянно попадающий в смешные положения. Ланселот — доблестный рыцарь, самый прославленный герой романа о короле Артуре.

Глава VII

Стр. 366...*баптистская церковь.* — Баптисты — одна из протестантских сект.

Глава X

Стр. 387.*Кракатау* — вулкан на островке в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра.

Стр. 388...*проклятие Хама.* — По Библии, Хам — младший сын Ноя. За непочтительность к отцу Хама постиг гнев Ноя, предревшего рабство потомству Хама.

Глава XI

Стр. 399...*гаеквар Бароды.* — Барода — княжество в Индии. Гаекварами назывались правители этого княжества.

Глава XII

Стр. 406...*Когда говорят о... Нельсоне и Путнэме.* — Нельсон Горацио (1758–1805) — знаменитый английский адмирал; Путнэм Израиль (1718–1790) — американский генерал во время войны за независимость США.

Глава XIV

Стр. 424–425...*капитан Джон Смит... индейская царица Покахонтас.* — Смит Джон (1579–1631) — один из ранних колонистов в Америке, историк и географ, автор ряда книг, в одной из которых он рассказывает, как, попав в плен к индейцам, был спасен от угрожавшей ему казни дочерью индейского вождя Поухаттана «принцессой» Покахонтас. Впоследствии она вышла замуж за англичанина Джона Рольфа. Таковы факты, приукрашенные фантазией Рокси в созданной ею собственной генеалогии.

Глава XVII

Стр. 443. Четвертое июля — день провозглашения Декларации независимости США — ежегодно отмечается в стране праздником, сопровождаемым фейерверком и иногда стрельбой.

«Простофиля Вильсон» переведен с американского издания «Харпер энд брозерс», 1922.

А. Наркевич

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)